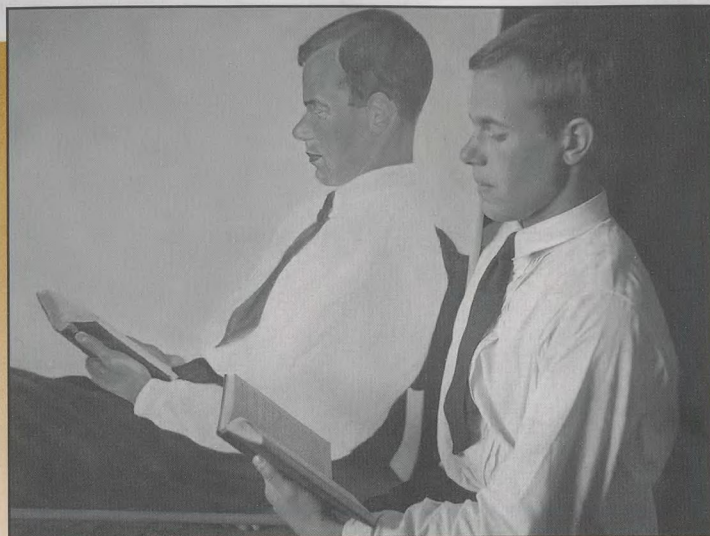


Наталья Громова

Наталья
Громова



РАСФАД

Судьба
советского
критика:
40–50-е годы



Судьба советского критика:
40–50-е годы

Наталья
Громова

Наталья Громова

РАСПАД

Судьба
советского критика:
40–50-е годы

Судьба
советского
критика:
40–50-е годы



*Памяти
Марии Иосифовны Белкиной*

Мы все лауреаты премий,
Врученных в честь его,
Спокойно шедшие сквозь время,
Которое мертво.

Мы все его однополчане,
Молчавшие, когда
Росла из нашего молчанья
Народная беда.

Таившиеся друг от друга,
Не спавшие ночей,
Когда из нашего же круга
Он делал палачей...

Мы сеятели вечных, добрых
Разумных аксиом
За мрак Лубянки, сумрак Допров
Ответственность несем.

И пусть нас переметит правнук
Презрением своим
Всех до единого, как равных, —
Мы сраму не таим.

И очевидность этих истин
Воистину проста.
И не мертвец нам ненавистен,
А наша немота.

Павел Антокольский

Наталья Громова

РАСПАД



**Судьба советского критика:
40–50-е годы**

Москва
Элис Лак
2009

ББК 83.3(2Рос=Рус)6

УДК 82091-930.85(47)

Г 87

*Издано при финансовой поддержке
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
в рамках Федеральной целевой программы «Культура России»*

Культурный центр «Дом-музей Марины Цветаевой»

Художник В.М. Мельников

Редакционно-издательский совет:

А.М. Смирнова

(председатель, директор издательства)

Э.С. Красовская

(директор Дома-музея Марины Цветаевой)

Н.А. Громова

Т.А. Горькова

В.М. Мельников

С.В. Федотов

От автора

Уже год, как ушла из жизни Мария Иосифовна Белкина, писательница, автор одной из лучших книг о судьбе Марины Цветаевой и ее семьи — «Скрещение судеб».

Но мало кто знает, что до последнего своего часа, а прожила она 95 лет, Мария Иосифовна пыталась осмыслить судьбу своего мужа — литературного критика Анатолия Кузьмича Тарасенкова (ушедшего из жизни в 1956 году в возрасте 47 лет). В истории литературы он остался знаменитым библиофилом и коллекционером поэзии XX века. Свою следующую книгу Мария Белкина хотела посвятить главной драме жизни Тарасенкова — его отречению от Пастернака, поэзию которого он истинно любил, с ранней юности писал о ней, но в трудные моменты истории все-таки отступался, клеймил Пастернака на собраниях и в статьях. Близкий друг Тарасенкова — Даниил Данин — в книге о Пастернаке «Бремя стыда» посвятил своему товарищу главу под красноречивым названием «Повесть о неверном друге».

Мария Иосифовна хотела написать книгу не только о Тарасенкове, скорее о времени, изломавшем судьбы многих ее друзей и близких. Будущей книге она дала библейское название — «И дважды отрекшись...». Но так и не написала ее, не успела... Когда закончилась работа над «Скрещением судеб», ей было уже за семьдесят. Новая книга шла очень тяжело, и тому было много причин. Чем сильнее Мария Иосифовна углублялась в те годы, пытаясь вновь и вновь погрузиться в атмосферу конца 40-х — начала 50-х, тем невыносимее для нее было соприкосновение с кошмаром, который был уже однажды пережит и отброшен памятью. Ибо именно послевоенные годы, вплоть до смерти Стали-

на, ассоциировались с самым черным советским временем. Прочитать его заново она так и не смогла. Потом к ней пришли слепота и физическая немощь, но ее ум, память и глубина оценок не изменялись и оставались ясными до последнего часа.

Я получила от Марии Иосифовны материалы ненаписанной книги, документы и письма. Было решено, что ее заметки, устные рассказы, документы будут положены в основу начатой, но незавершенной книги, а одним из героев станет Тарасенков. М.И. Белкина считала, что в моем положении, человека другого поколения, есть свои плюсы, и прошлое лучше открывается со стороны. Множество переплетающихся связей удастся увидеть только спустя годы, что позволяет запечатлеть общий рисунок жизни. И я стала дописывать холст, на котором уже была сделана экспозиция и набросаны основные черты главных героев.

Несмотря на то что Тарасенков был в 30–50-х годах ведущим советским критиком (его знал Сталин, ему покровительствовал Фадеев), судьба его была незавидной. Человек, тонко чувствующий поэзию, писал о ней мертвым, суконным языком. Так было со многими критиками той поры. Их отличало друг от друга только то, что одни это делали искренно, а другие мучаясь и страдая. Та эпоха состояла именно из таких людей, беспрерывно уклоняющихся от наносимых ударов и утешающих себя тем, что они делают меньшее из зол. Почти все в уме они держали некую высшую цель, ради которой сегодня грешили.

Главной любовью Анатолия Кузьмича была знаменитая поэтическая библиотека, которую он собирал всю жизнь, ради которой совершались маленькие и большие подлости, и, не будь у него этой тайной, неофициальной жизни (собираательства книг), имя Тарасенкова было бы давно стерто из истории литературы. До конца дней он играл роль идеологической машины, штампующей нужные статьи, видимо думая, что именно их создание и является «охранной грамотой» его библиотеки.

По поводу его ранней смерти, которая настигла его 14 февраля 1956 года в день открытия XX съезда партии, Пастернак произнес слова, ставшие для Тарасенкова трагической эпитафией: «Сердце устало лгать».

Но все-таки надо понимать, что это поколение изнутри видело свое время иначе, чем мы. Они были абсолютно уверены, что советская власть — навсегда, что в муках они создают новое, и что если лгут, то делают это во имя счастья будущего, что их подлинные записи послужат защитой, когда все увидят, скольких трудов им стоила победа коммунизма. Так думал не только Тарасенков, но и неукротимая Маргарита Алигер, ироничный Эммануил Казакевич, добродушный Даниил Данин и многие-многие другие. Кто-то из них увидит конец советской истории, а кто-то, к сожалению, нет.

И еще одно напутствие из прошлого: «Не торопитесь с характеристиками литераторов моего поколения, — писал критик Борис Рунин, — если только они сами не заявили себя заведомыми палачами или очевидными мздоимцами. Не доверяйте еще при нас окаменевшим репутациям. Все было гораздо сложнее, чем вам покажется, и куда проще, чем истолкуют историки. Поймите, что чаще всего мы руководствовались в своем поведении даже не столько естественной борьбой интересов, сколько подсознательно действующим страхом. В конечном счете, страх таился за всеми нашими поступками. И конечно, он был постоянным психологическим фоном нашего нравственного и интеллектуального бытия»¹.

Героями этой книги стали Всеволод Вишневский, Александр Фадеев, Александр Твардовский, Василий Гроссман, Даниил Данин и другие литераторы, затянутые в поток литературной борьбы тех лет. А рядом с ними незримо и явно присутствовал тот, о котором спорили до хрипоты, к кому апеллировали как к высшей правде, кого ненавидели и любили, — поэт Борис Пастернак.

Автор выражает благодарность за помощь в работе над книгой *Валентину Масловскому, Борису Белкину, Дмитрию Тарасенкову, Андрею Туркову, Маргарите Трушиной, а также Э.С. Красовской.*

Часть I
1944–1947
СТРАСТИ ВОКРУГ ПАСТЕРНАКА

Возвращение

Страна дождалась до победы. И каждая семья,ждавшая родных с фронта, каждый солдат, вернувшийся домой, не мог не считать это подлинным везением. Повезло и тем, кто выжил в блокадном Ленинграде, и тем, кто протянул годы войны в холодной Москве, и тем, кто пережил оккупацию, и тем, кто вынес нескончаемые дороги эвакуации, – все они были награждены великой наградой – возможностью жить.

Долгие четыре года они ждали победы, и, наконец, она пришла. Люди устали, не было больше сил страдать, оглядываться назад. Все мечтали о счастье.

В 1944 году в Москве почти каждый вечер – салюты. Город разбитый, холодный, продуваемый ветрами, с забитыми фанерой окнами, но такой близкий и родной после стольких лет бездомности, после скитания по чужим домам, чужим землям, чужим людям. В январе 1944 года открылись новые станции метро – «Новокузнецкая» и «Павелецкая». Под землей – непривычно яркий свет, мраморные стены и потолки, всегда тепло. Хотя вокруг

была нищета, но богатое убранство не раздражало. Мир подземных дворцов продолжал превращать метро в свершившуюся мечту о коммунистическом рае для всех.

17 июля 1944 года в 11 часов через всю Москву по Ленинградскому шоссе до Маяковской, а затем по Садовой до Курского вокзала провели пятьдесят семь тысяч пленных немцев.

Леонид Агранович, недавно вернувшийся в Москву с фронта, где работал во фронтовом театре, рассказывал, что наблюдал проход немцев с козырька бывшего Театра Сатиры на Садово-Триумфальной площади (потом в этом здании будет знаменитый «Современник»).

В начале колонны шли какие-то неплохо одетые немецкие генералы, кто-то даже был с моноклем, но вскоре их сменила серая масса ободранных, грязных немецких военнопленных, с ужасом оглядывающихся по сторонам. Конвойные добродушно их подгоняли. А москвичи, стоявшие по сторонам улицы, смотрели на немцев вполне спокойно. Когда кто-то из немцев рассыпал тряпье, уронил котелок, прохожие стали помогать им, собирать их жалкий скарб. После того как вся процессия, наконец, прошла, вслед за колонной проехали поливальные машины, смывая мусор, грязь и даже запах, который принесли с собой бывшие завоеватели.

То там, то здесь в городе возле домов высились груды разбитого кирпича — последствия бомбежек, многие здания простояли «обкусанные» до 60-х годов, и уже следующее поколение застало отметины войны.

Москва к концу войны наполнилась большим количеством калек, безногих и безруких, катящихся на маленьких тележечках, с деревянными «утюжками» в руках, которыми они отталкивались от земли.

Так вот, нужна ли была этим израненным, усталым и измученным людям, еще неприятным, изголодавшим-

ся, правда о прошедшей войне? Нужна ли она была фронтовикам, калекам, заполнившим улицы городов, застывшим по тротуарам костылями, тележками, палками?..

Но ведь нельзя было забыть странное начало войны, когда столько людей сгинуло в окружении! И отчего оказалась не готова армия, хотя власть постоянно твердила о том, что «завтра война»? А ведь страна только и делала все предвоенное десятилетие, что работала на войну. В результате оказалось, что кадровые военные погибли, попали в плен, пропали без вести в первые же месяцы, и вся тяжесть войны упала на плечи населения.

Война заполнила более четырех лет жизни советских людей; боевые действия распространились на огромные территории страны, и почти у каждого выжившего за эти годы возник уникальный, неповторимый опыт: каждый увидел *свой* отдельный фрагмент войны, жизни тыла, эвакуации. Для советского человека переживание войны стало центральным событием жизни. Возникла постоянная потребность говорить о войне, вспоминать о ней, возвращаться к этому опыту вновь и вновь. Сложение опыта каждого человека могло дать истинную картину трагедии и победы над злом, которая была необходима народу для дальнейшей жизни.

Интеллигенция пошла на войну по зову сердца, не отделяя себя от народа. Она осознала себя частью солдатской массы, вместе выходя из окружения, пропадая в болотах, умирая на полях боев, форсируя реки и освобождая города. По мысли Василия Гроссмана, рассказывать о войне обязано было именно их поколение: «Неужели мы уступим писателям будущих поколений честь рассказать об этом миру?» – вопрошал он в газетной статье в «Литературной газете» в 1945-м накануне Парада Победы.

С войны вернулись В. Гроссман, А. Твардовский, А. Гарковский, Д. Данин, Эм. Казакевич, В. Некрасов, К. Симонов, Д. Самойлов, Б. Окуджава и многие другие. Пройдя войну, они по праву могли сказать, что это была их война, и они хотели и имели полное право ее понять. Они продолжали жить памятью о войне, не расставаясь с тенями погибших товарищей, познав на краю жизни и смерти истинные ценности дружбы, любви, правды. Писатели чувствовали себя ответственными перед миллионами погибших. «Нет ничего драгоценнее на земле жизни, — писал Василий Гроссман, — потеря ее безвозвратна. ...Каждый человек вплетается нитью в ткань жизни. Выдернута, порвана нить, оборвавшись, исчезнув, она обедняет ткань. Новые, вплетенные в ткань жизни нити уж никогда не заменят исчезнувшую — она единственная и неповторимая в своей пышности, в скромности своей, в прочности, тонкости, хрупкости»¹.

На страницах журналов и книг появились военные стихи и проза, лишённые искусственности и лживости. Власть была вынуждена считаться с этим, но наверху поняли достаточно быстро, что чем дольше будет длиться неуправляемый поток военных воспоминаний, чем больше будет возникать реальных героев, выдвинутых самой войной, тем яснее станет истинная картина произошедшей катастрофы. Победа не могла покрыть трагических провалов власти. Вне сомнения, Сталин это понимал. У него был большой опыт перекраивания истории. Героизм отдельных людей должен быть постепенно вытеснен подвигом партии и личной победой в войне товарища Сталина. Но действовал он осторожно, так как напор, искренность, с которой писатели-фронтовики раскрывали военную тему, был такой, что сделать его сразу же управляемым было не под силу даже вождю всех народов.

Первый звонок прозвенел в 1946 году. Постановление о журналах «Звезда» и «Ленинград», моральное уничтожение Ахматовой и Зощенко — изменило атмосферу во всем обществе. Снова собрания, заклания и поиск врагов среди собратьев по цеху.

В душливой атмосфере стали исчезать еле ожившие ростки свободы и бесстрашия, обретенные интеллигенцией на войне.

Неслучайно в 1946 году был отменен выходной день 9 мая, приходившийся на День Победы, — его перенесли на 1 января.

Удивительно, что любые свободно возникающие течения, поднимающиеся снизу, оказались абсолютно не нужны наверху. Даже прославление власти было доверено не тем, кто делал это с искренним энтузиазмом, а, скорее, циникам и приспособленцам. Искренность пугала своей непредсказуемостью.

В это время возникло необычное произведение, созданное, словно вне воли автора. С. Эйзенштейн, лауреат Сталинской премии, награжденный за первую серию фильма «Иван Грозный», неожиданно для себя самого высказал власти очень опасную мысль: страну, управляемую тираном, ждет гибель и саморазрушение.

Небольшое отступление о второй серии «Ивана Грозного»

Последнее, что написал Сергей Эйзенштейн в своих мемуарах в декабре 1946 года, была запись:

P.S. 2 февраля этого года случился разрыв сердечной мышцы и кровоизлияние (инфаркт). Непонятным, нелепым, никчемным чудом остался жив. Должен был умереть согласно всем данным

науки. Почему-то выжил. Поэтому считаю, что все, что происходит, — уже постскрипtum к собственной биографии... P.S.²

Все, кто знал Эйзенштейна, говорили, что в то время в нем словно произошла подмена. Он был чрезвычайно весел, дерзок, в нем чувствовался какой-то вызов. Он знал, что вторая серия «Ивана Грозного» пошла наверх, в министерство, и предчувствовал, чем это может для него закончиться. Именно поэтому, когда он ощутил страшную боль в сердце, не стал вызывать «скорую», а пошел к своей «эмке» — предполагал, что живым до больницы его не довезут.

Михаил Ромм вспоминал, что в министерстве попросили группу режиссеров посмотреть картину. После просмотра Эйзенштейн стал весело допрашивать товарищей, что их тревожит? Что не нравится? Скажите прямо?.. Но никто не решался не только сказать, но даже просто поднять глаза. Ромм вспоминал, что параллели с современностью прочитывались настолько прямо, что они поняли, что Эйзенштейн действует сознательно — решил идти напропалую.

А ведь только что Эйзенштейн был осыпан почестями, похвалами, милостями, деньгами. В Барвихе, лежа на больничной койке после перенесенного инфаркта, он высказал театральному критику Иосифу Юзовскому леденящую кровь теорию про то, что все, кто брались за сюжет про «Грозного», — быстро умирали. Актер Хмелев сыграл на сцене МХАТа Грозного и вскоре после этого умер. В соседнем корпусе барвихинского санатория умер Алексей Толстой — создатель пьесы об Иване Грозном. В начале войны ходили мистические слухи, что вскрытие археологами в июне 1941 года могилы Грозного в Кремле привело к началу войны.

В мемуарах, которые Эйзенштейн начал после чудесного воскрешения, он записал, что ищет способ обходного самоубийства: то есть это будет не яд, динамит или пистолет, он просто загонит себя насмерть — работой.

Он знал, что рано или поздно погибнет вслед за друзьями — Бабелем, Третьяковым, любимым учителем — Мейерхольдом. Оттого и включил в текст первого синодика Ивана Грозного странные имена (из истории известно, что Иван, убив очередную порцию своих мнимых врагов, давал деньги на то, чтобы помянули их души). Всеволод Большое Гнездо — это не тот древнерусский князь, который жил за несколько веков до Ивана Грозного, а Всеволод Мейерхольд со своими многочисленными учениками, которые стали жертвами сталинских репрессий, Сергей Третьяк — Сергей Третьяков, также ставший жертвой 1937-го года³.

Вторая серия фильма называлась «Боярский заговор». Митрополит Московский Филипп (Колычев) устраивает в Успенском соборе Кремля в присутствии царя Ивана Грозного так называемое Пещное действо. Пещное действо — это библейская история о том, как вавилонский языческий тиран Навуходоносор казнил трех невинных отроков: Ананию, Азарию и Мисаила. Ввергнутые в огненную печь, отроки поют: «Преданы мы естми ныне в руки владык беззаконных, отступников ненавистнейших, царю неправосудному и злейшему на всей земле. Омалены мы, Господи, паче всех народов, и унижены ныне на всей земле».

Юноши, изображающие трех святых, погибших в огне от рук библейского языческого царя Навуходоносора, поют о гибели честных христиан. Это настоящая гамлетовская мышеловка, которую ставит для Грозного митрополит Филипп.

Не желая того, Эйзенштейн соорудил мышеловку для Сталина. Всем живущим тогда невозможно было не увидеть параллели с недавними процессами 30-х годов.

В той же сцене в самый напряженный момент, когда царский гнев обрушивается на митрополита, маленький царевич Димитрий, показывая на взбешенного царя, кричит, как андерсеновский мальчик из «Голого короля»: «Мамка, это грозный царь языческий?»

Высшей точкой фильма стали дьявольские пляски опричников, которые режиссер снял в цвете, что придавало им образ адских сполохов в пламени преисподней.

Что же случилось? Всю жизнь Эйнштейн творил гениальные мифы о советской истории: «Стачка», «Броненосец Потемкин», «Октябрь» и др. Он, как и Маяковский, создал свой, ставший новой мифологией образ Октябрьской революции. И вдруг иной Иван Грозный, не тот, что в первой серии объединяет земли и борется со страшными боярами, а абсолютно другой — одинокий, мятущийся, в ловушке собственной паранойи.

В мемуарах Эйзенштейн беспощадно сравнивает с Грозным и самого себя (!). Куда могут завести талантливого человека верность одной идее, абсолютная власть? Все эти вопросы он обращает и к себе тоже. Где пределы жестокости, оправдывает ли цель средства! Первая серия «Грозного» говорит: «Да!» А вторая?

Сталин при личной встрече с Эйзенштейном и Черкасовым предложил ему... подучить историю и переделать фильм. Режиссер почти всю встречу молчал. Говорил Черкасов, уверял, что всё уберут, всё переделают. Эйзенштейн слишком хорошо знал, что ничего переделывать не будет, и потому молчал.

В холодном январе 1948 года в еврейском театре прощались с великим актером и режиссером Соломоном Ми-

хоэлсом. Очередь перешептывалась. — Его убили! — Эйзенштейн шепнул на ухо своему другу, актеру Максиму Штрауху: «Следующий я...».

Через месяц его не стало.

В постскриптуме он приводил цитату о себе из французского ежемесячника кинематографии:

...Эйзенштейну охотно простили бы то, что он еще жив, если бы он удовлетворился только повторением «Потемкина» или «Генеральной линии». Но явился «Иван Грозный» и перевернул все здравые и простые истины, которые критика с легкостью извлекла из изучения опыта великих создателей немого кино...» (*Пер. с фр.*).

И заканчивал словами:

Я полагал, что так обо мне начнут писать в лучшем случае к семидесяти годам, и рассчитывал, что просто не доживу до этого!

И вот к сорока восьми... P.S. P.S. P.S...⁴

Настоящий талант сродни истинной смелости.

Писатели

Партия следила за писателями. 30 декабря 1943 года Александр Фадеев выступил на общемосковском собрании, где обвинил коллег, проводших годы в эвакуации, в недостаточном, на его взгляд, служении народу и партии во время войны. Критике были подвергнуты писатели, которые ранее в общем ряду никогда не упоминались: Федин, Зошенко, Сельвинский, Асеев. Правда, Сельвинскому инкриминировалась не фрондерство

в эвакуации, а стихотворение «Кого баюкала Россия», вызвавшее гнев наверху⁵.

Про Пастернака Фадеев сказал, что тот нарочно ушел в переводы Шекспира, дабы не писать о войне. Это было абсолютной ложью, так как цензура не пропускала у Пастернака почти ничего, что он писал о войне. Через две недели 19 января 1944 года на расширенном заседании Пленума Союза советских писателей Фадеева освободили от обязанностей секретаря правления и на его место назначили Николая Тихонова. Фадеев достаточно легко перенес свое отстранение от дел: за последние месяцы войны он увяз в бытовых писательских проблемах — жалобах из эвакуации, хлопотах о жилье, распределителях и многом другом, что легло на его плечи. Отставку он воспринял как возможность писать роман и сел за «Молодую гвардию». В помощь Тихонову был назначен новый секретарь Д.А. Поликарпов, бывший работник управления пропаганды и агитации ЦК ВКП(б), бывший председатель Радиокomiteта. Более широкая известность в литературной среде придет к нему в конце 50-х — в 60-х годах и будет связана с гонениями на Пастернака и Солженицына.

В начале августа 1944 года Маленкову на стол легла докладная записка от Д. Поликарпова, а также от Г. Александрова и П. Федосеева (работников Агитпропа) о положении в журнале «Знамя». В ней указывались основные идеологические недостатки журнала, которые сводились к неверному освещению темы войны. Приводились примеры: критик Е. Усиевич в статье о романе Б. Горбатова «Непокоренные» выделяла сюжеты, связанные со страданиями советских людей, оказавшихся под господством немцев. И. Юзовский писал о том, что «довоенное искусство не вооружило сознание народа на предстоящую войну». И даже Евгений Долматовский в поэме «Вождь» показал отступление Красной армии в первые

месяцы войны, «от самых границ почти до Москвы». Чиновников пугало любое соприкосновение с реальностью, любое слово правды о войне.

23 августа 1944 года было решено создать новую редколлегия под руководством Всеволода Вишневского и улучшить идейный уровень журнала. Анатолия Тарасенкова вызвали с фронта и вернули на должность заместителя главного редактора, которую он занимал до войны. В редколлегия также назначили Константина Симонова, Леонида Тимофеева, Николая Тихонова и других писателей, которые считались вполне надежными. За работой журналов надзирал Поликарпов.

Но тут случилось непредвиденное.

Давид и Голиаф

В 1944 году Тарасенков попадает в ситуацию, которая вряд ли могла ему привидеться в конце 30-х годов: он начинает борьбу с высокопоставленным чиновником из ЦК Дмитрием Поликарповым. В это время главный редактор Вишневский находится в Германии. Вернувшись, он неожиданно поддерживает его. Такую безоглядность можно было объяснить одним — за Тарасенковым, Вишневским и его товарищами стояла война. Только что они были под пулями, только что могли погибнуть. Фронтовики помнили об этом и апеллировали к опыту смерти как к высшей правде. Вернувшись с войны, Тарасенков стал печатать в журнале только то, что казалось ему — *истинным*. В статье 1945 года о новых стихах Пастернака он не скрывает, что желает открыть в литературе *новое время*:

...И вот теперь, когда снова свободна наша земля, когда все самое тяжелое позади, когда ослепи-

тельный свет победы разгорается все ярче, может быть, уже настало время снова заговорить о лирике и человеческой душе...⁶

Именно теперь, казалось, можно публиковать более глубокие произведения; стараться потихоньку, полупотом — говорить правду.

В предвоенные годы Тарасенков вошел в когорту ведущих советских критиков как символ проповедующих социалистический реализм. Унылое это занятие он компенсировал бешеной активностью заместителя главного редактора журнала «Знамя», с удовольствием открывая новые имена, выводя на страницы журналов молодых поэтов и прозаиков, пытался протаскивать уже именитых авторов и авторов со сложной репутацией. Он страстно любил литературу: русскую, советскую и даже антисоветскую.

Но работа редактора была сопряжена с постоянным риском. Если вдруг автор окажется политически незрелым, или вдруг в органах на него заведено дело, или у него арестованы родственники, — спросят с редактора. Страх стал частью его жизни и профессии. Тарасенков боялся... Дни и ночи, ночи и дни...

Его знаменитая библиотека поэзии XX века собиралась не им одним. Ему везли поэтические сборники отовсюду, со всех концов страны и даже из-за рубежа. Стихи он любил, как отмечали его современники, до самозабвения. Искал и собирал сборники любых поэтов: известные и неизвестные, талантливые и графоманские, переплетал в ситец, а если не мог достать стихи напечатанными, то записывал запретные или же эмигрантские строки за теми, кто запомнил и привез из заграничных путешествий. Книги разыскивались годами, на них тратились все средства. В процессе поиска Тарасенков вел

библиографию, ему приходилось тратить уйму времени, роаясь в старых газетах и журналах. В результате у Тарасенкова образовалась уникальная поэтическая библиотека, в которой оказались как дореволюционные, так и собственноручно переписанные сборники стихов и поэм и даже прозы Цветаевой. Именно поэтому в 1940 году Борис Пастернак обратился к нему с просьбой познакомиться приехавшую в Советской Союз Марину Цветаеву с его библиотекой с тем, чтобы она могла воспользоваться ею для своей работы. Тарасенков согласился, он был невероятно рад и горд такой просьбой. Однако не надо забывать, что даже бывшие друзья избегали общения с Цветаевой, эмигранткой, у которой были арестованы муж и дочь. Так Марина Цветаева стала приходить в дом Тарасенкова и его жены Марии Иосифовны Белкиной (о чем подробно рассказано в книге «Скрещение судеб»).

После смерти Тарасенкова Мария Иосифовна нашла среди бумаг рукопись под названием:

«История борьбы с Д.А. Поликарповым».

До наших дней документ дошел почти никому не известным. Историю своей битвы, которая продолжалась около двух лет, Тарасенков запечатлел на 25 машинописных страницах.

В этом документе, довольно внушительном по объему (целиком он приводится в приложении к настоящей книге), рассказывается, как около двух лет шла война с кремлевским чиновником и как Тарасенков победил в этой войне. И хотя победа была короткой, но она все-таки была.

Итак, все по порядку.

Как уже говорилось, Тарасенков был вызван с фронта для улучшения работы журнала «Знамя» с обновленной редколлегией. Он приступил к работе, которая была ему

прекрасно знакома по довоенным временам. Теперь, когда война дала множество «горячего» материала, когда выросли новые писатели и поэты, казалось, что можно начать делать абсолютно ни на что не похожий журнал. Тарасенков очень любил журнальную жизнь и начал действовать.

Но и власть не дремала. Поликарпов, который до этого держал в страхе Радиокomiteт, и уже был снят оттуда по просьбам сотрудников, все равно оставался «любимцем партии» и продолжал свою деятельность уже на новом поприще. Как пишет Тарасенков, он сразу же стал проявлять огромную активность, вмешиваясь буквально во все, что происходило в «Знамени». Сначала это касалось мелочей. Он приходил на собрания, организационные встречи с известными фронтовиками, где выражал недовольство обсуждаемыми темами, требовал строжайшего контроля.

Затем начались нападки и на журнальные материалы.

«Из готовой верстки № 9–10 он вынул рассказы Успенского за то, что в них рассказывалось о “микроклимате” ленинградской осады. Поликарпов усмотрел в этом влияние антимарксистских теорий Тэна. Скандалы по отдельным вопросам участились...» – писал Тарасенков.

Лев Успенский был прекрасным писателем-петербуржцем, приятелем Вишневого и Тарасенкова по Оперативной группе писателей Пубалту (Политическое управление Балтфлота). Интеллигентный, остроумный рассказчик, мужественный человек, прошедший всю блокаду в Ленинграде, вместе с Всеволодом Азаровым, Александром Кроном, Николаем Чуковским, Александром Яшиным, Верой Инбер и другими писателями. Между ними, прошедшими голод, бомбежки, госпиталя, сложилось особое военное братство.

То же было и с Верой Инбер, представившей в журнал свой блокадный дневник, который назывался «Почти три года», в котором было множество страшных страниц, связанных с блокадным Ленинградом. Поликарпов выступил категорически против публикации, обосновывая свой протест личным характером записей Инбер, однако редколлегия обошла запрет. «Об Инбер он не выражался в разговорах наедине иначе как “Вера Ёбнер”...». Опубликовать ее дневник оказалось возможным только благодаря поддержке заместителей главы Агитпропа Еголина, Иовчука и Орловой. Наиболее любопытна среди них фигура Александра Михайловича Еголина (профессора-некрасоведа). На тот момент он был почти либерал, активно помогал Тарасенкову бороться с Поликарповым. Но уже в 1948 году его назначают директором Института мировой литературы (он занимал эту должность до 1952 года), где под его руководством будет проходить изгнание из института евреев-космополитов. В конце 50-х годов он «прославится» своими похождениями вместе с бывшим начальником Г. Александровым; их обвинят в аморалке — на даче в подмосковной Валентиновке будет раскрыт подпольный бордель, где ответственные работники встречались со студентками литературного и театрального институтов.

Поликарпов держал нос по ветру и потому уже в 1945 году не раз заводил с Тарасенковым разговоры на темы о том, что в «Знамени» печатается слишком много авторов с нерусскими фамилиями. «Не думайте только, что я антисемит, — предупреждал тут же Поликарпов». Кроме Веры Инбер, он нападал на Маргариту Алигер, а Ольгу Берггольц называл эстонской еврейкой.

«Фыркал Поликарпов на “Молодую гвардию” Фадеева, говорил, что это не ахти какое произведение, но на этот раз на открытую борьбу не решился».

Тарасенков рассказывает, что Поликарпов всеми способами пытался повлиять на него, предлагая ему стать своим агентом в журнале, искушал выгодными материальными предложениями. Но Тарасенков слишком ценил свою независимость и ни на какие предложения не соглашался. Их отношения окончательно испортились в связи с публикацией повести Веры Пановой «Спутники». Поликарпов категорически требовал редколлегию запретить повесть.

В письме в редакцию он писал:

Членам редколлегии журнала «Знамя».

Я ознакомился с рукописью В. Пановой «Спутники» («Санитарный поезд»), принятой вами для опубликования, кажется, в первом номере журнала в 1946 году. Считаю это произведение ошибочным, извращающим действительную картину быта и семейной жизни советских людей. В романе Пановой преобладают мелкие люди, запутавшиеся в семейно-бытовых неурядицах. По существу говоря — это несчастные люди, у которых война — выбила почву из-под ног. Намеченная автором галерея персонажей — представляет собой убогих в душевном отношении людей. Публикация произведения в таком виде была бы грубой ошибкой. Я категорически возражаю против опубликования романа В. Пановой и настаиваю на проведении специального заседания редколлегии с участием автора и моим заявлением об этом произведении.

*С уважением Д. Поликарпов.
24 XII 1945 г.*

Тарасенков и редакция были категорически не согласны с подобным взглядом на повесть Пановой, да и первый номер «Знамени» уже был сверстан и сдан в печать. Но на письмо Поликарпова надо было реагировать, и потому Тарасенков срочно созвал редколлегию, где получил коллективное одобрение повести «Спутники» с учетом мелких доработок. Сам же решил подстраховаться, позвонил Еголину и Иовчуку с просьбой прочесть повесть Пановой и поддержать его. Когда повесть вышла, буквально на следующий день было множество восторженных звонков, в том числе и из ЦК, с поздравлениями в адрес писательницы. Еголин спрашивал о Пановой, просил рассказать подробно, о чем она пишет еще.

Это была первая и явная победа над Поликарповым, резкое возражение которого не возымело никакого действия. Все это не могло не вызвать его нарастающего раздражения. С того момента его нападки стали постоянными.

Из «Истории борьбы...» А. Тарасенкова:

На обсуждении пьесы Симонова «Под каштанами Праги» (осень 45 г.) он выступает и требует, чтобы в пьесе почему-то была показана революция с точки зрения того, какие материальные блага она дала народу. Иронический ответ Симонова.

В начале весны 46 г. на президиуме читает свою поэму Твардовский («Дом у дороги»). Поликарпов выступает с надуманной критикой. Ему, видите ли, кажется, что в поэме слишком много горя, не хватает запаха победы, нет описания Бранденбургских ворот... Примитивные, плакатные требования! Я вступаю в резкую полемику с Поликарповым. Мои выступления встречают пи-

сатели сочувственно. Твардовский отвечает Поликарпову, повторяя мои доводы. Победа, ее ощущение разлиты в самом духе, стиле вещи, ее не обязательно описывать, ее надо ощущать нутром. Тихонов робко поддерживает меня. Поликарпов здесь проваливается.

Редакция «Литературной газеты», тоже постоянно получавшая пинки от Поликарпова, предельно мягко передала напряжение, возникшее вокруг поэмы Твардовского. В редакционной статье от 2 марта 1946 года говорилось, что участниками совещания было выражено сожаление, что чувство радости и счастья от победы не нашли такого же высокого поэтического звучания, как чувство горя и потрясения от ужасов войны. В целом же поэма была названа очень удачной.

А уже 18 марта 1946 года на заседании президиума ССП, посвященном выдвижению произведений литературы на Сталинскую премию, на Тарасенкова посыпался град ударов. Каждое предложение Тарасенкова Поликарпов грубо прерывает, нападает на него, повышает голос.

Из «Истории борьбы...» А. Тарасенкова:

Обсуждается «Великий государь» Соловьева. Я выступаю, отвожу вещь, как художественно слабую, противопоставляю вещи Соловьева «Ливонскую войну» Сельвинского, говорю о ее выдающихся качествах. Поликарпов прерывает меня на каждом слове. Кричит. Не дает говорить. Твардовский возмущен. Я говорю:

– Прошу вас, Дмитрий Алексеевич, вести собрание более демократично и дать высказать свою точку зрения.

Снова визг Поликарпова.

Возмущенный Твардовский произносит слова в порядке ведения собрания, желая остепенить Поликарпова. Тот цыкает на Твардовского, слова ему не дает. Твардовский встает и молча демонстративно покидает собрание.

Тарасенков пытается провести на премию сборник стихов Пастернака.

Выставляю «Избр<анные> стихи» Пастернака (Гослитиздат, 1945). Поддерживают меня Асеев, Кирсанов, Антокольский. Против Сурков. Поликарпов резко снимает вопрос с обсуждения под тем предлогом, что в книге нет стихов с датой позднее «1944 г.» Я возражаю: «Мы только что выдвинули книгу Исаакяна. Там последняя под стихами — «1942». Ничего не помогает. Обсуждение сорвано.

В результате Сталинские премии за 1945 года получили: А. Фадеев за «Молодую гвардию», А. Исаакян за стихотворения, Я. Колас за стихотворения, удалось все-таки провести на премию Веру Инбер с ее «Пулковским меридианом» и «Ленинградским дневником». В области драматургии была удостоена премии пьеса В. Соловьева «Великий государь»

После тяжелейшего столкновения с Поликарповым на собрании, Тарасенков, измученный, придя домой, звонит Еголину.

Рассказываю ему весь ход заседания. Еголин разделяет мое возмущение хамским поведением Поликарпова — «Что делать, А<лександр> М<ихайлович>?» — «Напишите от имени группы писателей письмо в ЦК». —

«Я в армии отучен от коллективов. Если буду писать, то сам, лично». — «Что ж, советую написать, только нигде и никогда не ссылайтесь на меня, иначе вы меня страшно подведете. Я вам советовать не имею права». Тут же ночью я сажусь за машинку и пишу письмо тов. Маленкову.

В условиях неустановившегося равновесия Тарасенков совершил единственно верный ход, который возымел действие. Смысл письма к сталинскому любимцу Маленкову, который тогда отвечал вместе с Ждановым за идеологию, был в том, что некий партийный чиновник установил в «Знамени» и в «Литературной газете» режим диктатуры и личного террора. «Все, что не совпадает с его вкусом, беспощадно режется, снимается, запрещается», — жаловался Тарасенков. Казалось бы, странно, что Тарасенков изобличает Поликарпова именно в таких выражениях. Однако в глубине души он понимал, что в стране существует только один диктатор, который может позволить себе режим террора, а для других, даже крупных, начальников подобное поведение недопустимо. Оттого и открывалась возможность жаловаться на таких самодуров, как Поликарпов. Чиновники прекрасно знали, что Сталин недолюбливал «вождизма» на нижних ступенях власти.

Письмо заканчивалось очень смело.

Поликарпов вреден нашей литературе, он глушит все новое, свежее, под флагом ортодоксии он глушит молодые дарования, не дает развиваться принципиальной литературной критике, насаждает подхалимаж, угодничество в литературной среде. По-моему, пора убрать Поликарпова из литературы, — взывал

Тарасенков, — и поручить руководство Союзом писателей группе известных народу партийных и беспартийных писателей, которые вполне могут обойтись без устрашающей поликарповской нагайки.

Простите, что я отнимаю у вас время этим письмом, но я считаю своим долгом написать вам правду и только правду.

1 апреля в 4 часа дня Тарасенкову позвонили из ЦК и предупредили, что его письмо будет обсуждаться 3-го апреля в 2 часа дня на оргбюро, куда приглашают его и Вишневского. На его слова о том, что Вишневский в Нюрнберге, ответили, что тот непременно прилетит. Теперь надо было дожидаться до 3 апреля; было ясно, что в этот день решится судьба и Тарасенкова, и Поликарпова. По всей видимости, Поликарпову стало известно о том, что за вопрос будут обсуждать в ЦК. Поэтому на текущем партийном собрании в Союзе писателей, посвященном проблемам критики, где часть писателей, напуганных барским гневом чиновника, обвинили Тарасенкова в отрицании партийного руководства литературой, Поликарпов вел себя необычно тихо.

Накануне совещания в ЦК ночью из Нюрнберга прилетел Вишневский, Тарасенков буквально на ходу рассказывал ему хронику своей борьбы с Поликарповым.

3 апреля к 14 часам Тарасенков с замиранием сердца входит в здание ЦК на Старой площади. Про себя отмечает, что попускают его по партбилету. У охраны видит список приглашенных, в нем Пospelов, Ильичев, Гуторов, Поликарпов, Твардовский, Тихонов, Вишневский. Сначала их держат перед огромным кабинетом, где заседает Маленков с членами ЦК.

Наконец нас зовут на заседание оргбюро. Входим. Просторная светлая комната на 5 этаже. Большой стол под зеленым сукном. В крайнем его конце – Маленков, за столом – члены оргбюро (кроме Сталина и Жданова). Во втором ряду вижу Поспелова, Мишакову, Иовчука.

Мы все приглашенные садимся на диван у другой стены.

Маленков открывает заседание. На повестке дня вопрос о журнале «Знамя». Маленков говорит:

– К нам поступило письмо заместителя редактора журнала «Знамя» тов. Тарасенкова. Я думаю, попросим тов. Александрова доложить нам его, изложив не полностью, а в важнейших моментах. Все читать не надо.

Александров встает, спокойно, точно, очень подробно, почти наизусть передает содержание, и даже стиль моего письма, опуская лишь место о Тихонове.

Слово получает Поликарпов.

Он пытается отбиться. Он отрицает зажим, администрирование. Он нападает. Следуют цитаты из моей статьи «Среди стихов» («Знамя». № 2–3. 1946), где я говорю о хороших традициях в литературе Одессы. «Что это за традиции Адалис и Олещи? Куда нас зовет Тарасенков?» Следуют цитаты из моей статьи о Пастернаке («Знамя». № 4. 1945 г.), там, где я сравниваю Пастернака с Левитаном и Серовым». Да, тут у нас с Тарасенковым разногласия действительные... Поликарпов, однако, очень робеет. Держится нервно, как нахулиганивший школьник. Успеха не имеет.

Получаю слово я. Говорю спокойно. Волнение уже где-то позади. <...> Слово получает Вишнев-

ский. Он начинает с рассказа о том, что такое «Знамя» (накануне мы с ним проштудировали комплект «Знамени» за 15 лет), каковы его военные и литературные традиции.

— Кто спорит с Поликарповым? Я хочу рассказать о Тарасенкове. Это балтийский офицер. Когда он взорвался в море, он ощупал партбилет, пистолет, прыгнул в воду, плавал в море несколько часов. Его подобрал другой наш корабль. Мокрый он явился в политуправление флота: «Готов к новым заданиям». Я хочу напомнить Поликарпову, как мы пришли с войны и устроили первый вечер офицеров-литераторов в «Знамени». Выступает полковник генштаба Болтин.

Поликарпов шлет мне записку: «Что это за мелкобуржуазная болтовня?!» и демонстративно покидает собрание. Я положил эту записку в карман, не помню, цела она или нет. Или другой случай. Стоит как-то группа офицеров-писателей, разговаривает. Проходит Поликарпов и бросает насмешливо:

— «Аристократы!..» Что это? Шутка? я попросил так с нами не шутить. Вера Инбер провела всю блокаду Ленинграда. Старая беспартийная женщина встретила в конце августа 41 г. на ст<анции> Мга с некоторыми ленинградскими писателями. Спросила: — «Вы куда?» — они машут рукой на Восток. — «А вы куда?» — «Я в Ленинград». Инбер вела себя в Ленинграде превосходно. Она вступила в эти годы в партию. Почему же ее книга, признанная дважды редколлегией «Знамени» вполне пригодной к печати, встречает такое противодействие со стороны Поликарпова? Почему Инбер буквально зарубили на редсовете издатель-

ства «Советский писатель»? А Панова? Это чистый, молодой талант. Мы обрадовались, когда она принесла к нам свою рукопись. Тов. Поликарпов и здесь ставит палки в колеса. Почему у нас в ССП так? Почему писателей никто после войны не встретил, не поговорил, не спросил, — что у вас на душе, на сердце? В этом духе Вишневский строит всю речь. Он обращается к Поспелову: — «Я правдист, но я захотел выступить против повести Леонова, напечатанной в «Правде» — «Разве это не право литератора?» Вишневский отстаивает право на спор, на дискуссию по литературным вопросам.

Далее выступают Твардовский, Иовчук, очень неуверенно Тихонов. И, наконец, берет слово Маленков.

Пантеон советских богов, сидящих в ЦК, наблюдал и судил простых смертных и следил, чтобы не нарушался порядок и закон. Во всяком случае, обставлено дело было именно так. Поликарпов в этой античной драме выглядел, как смертный, возомнивший себя бессмертным, за что и был наказан.

Звучит заключение Маленкова, Тарасенков передает его речь.

— По-моему, правда на стороне товарищей из «Знамени» Мы их поддержим. Преступник Поликарпов или не преступник? Вот что важно, — в результате его ошибочных действий мы могли бы потерять хорошего писателя Панову. А мы узнали ее через журнал «Знамя». Грубая ошибка Поликарпова. Сейчас все признают, что и Инбер, и Панова написали талантливые, хорошие книги. Но мало того, что т. Поликарпов ошибается, он свою неправильную по существу точку зрения отстаивает

неправильными методами. Вы товарищ Поликарпов не выражали мнения Центрального комитета партии. Зачем использовать свой авторитет и запрещать издавать Инбер отдельной книгой? — Ошиблись вы и с Пановой.

(Поликарпов с места, чуть слышно:

— Это моя личная ошибка...)

Маленков:

— А нам от этого не легче. Из-за этой вашей ошибки мы могли потерять хорошего писателя. Вы говорите, что у вас не было конфликтов с другими журналами. А может быть, не было потому, что они не подавали своего голоса. Товарищи из «Знамени» смело вскрыли недостатки в работе Союза писателей, и мы встаем на их поддержку. Неправильный у вас подход к делу, тов. Поликарпов. Тов. Поликарпов неправ по существу. Сомневаюсь, чтобы он мог дальше осуществлять руководящую роль в Союзе Писателей. Вряд ли его правильно там оставлять. В Союзе Писателей должны быть работники другого рода.

Маленков говорил и вел себя в точности, как Сталин. Его слова о проштрафившемся чиновнике звучат прямым плагиатом высказываний вождя: «Преступник Поликарпов или не преступник?» Именно так, расхаживая с трубкой вдоль длинного стола, часто говорил Сталин об обсуждаемой на совещании персоне, о чем сохранилось немало свидетельств.

В заключение Маленков немного пожурил Тихонова, а затем подвел черту:

Могло ли правление Союза Писателей во время заметить ошибки тов. Поликарпова, во время

их поправить? Могло, и должно было. Разве не доходит до правления, что т. Поликарпов действует непривычными методами? Я высказываюсь за то, чтобы освободить его от работы в Союзе Писателей. И учесть это Союзу Писателей в его дальнейшей деятельности, линию журнала «Знамя» надо одобрить и сказать, произведения Инбер и Пановой – хорошие вещи...

(Кто-то с места:

– А не будет это оценкой этих вещей со сторон ЦК? Желательно ли это?)

Маленков:

– А что ж этого бояться? Других предложений нет?

(*Общий ропот одобрения*). Решение принимаем, значит. Потом подыщем формулировку.

Вишневский, Тихонов, я встаем, жмем руку тов. Маленкову. Я спрашиваю тов. Маленкова:

– Можно ли обо всем происшедшем рассказать на партсобрании в Союзе Писателей?

Маленков отвечает:

– Будут даны дополнительные указания.

Эта история производит странное, если не сказать фантастическое впечатление. В сущности, рядовой член Союза писателей, редактор журнала сваливает заведующего отделом ЦК. Каким образом? Как могло получиться, что Маленков вдруг воспринял аргументы не «своего» Поликарпова, а постороннего Тарасенкова?

Перед нами был разыгран спектакль, в котором партия в лице Маленкова и идеологического Олимпа встали на сторону Тарасенкова, на время отстранив Поликарпова, которого собственно они сами и поставили, и, казалось бы, и спрашивать должны были бы с себя. Но все

прекрасно знали правила игры, всем было показано торжество добра над злом и то, как недогнувшая рука партии указывает, что Поликарпов переступил некую грань дозволенного и был наказан.

Тем самым был дан сигнал и всей творческой интеллигенции, «мы сверху все видим, а вы продолжайте верно служить нам». Интеллигенция в ответ аплодировала, искренне радуясь мудрому решению руководства.

Тарасенков завершает свою многострадальную историю борьбы и победы.

Выходим в приемную. Я устал от нервного напряжения, как после тяжелой физической работы. Поликарпов быстро уходит один. Мы все, не сговариваясь, переживаем его уход еще несколько минут. Тихонов растерян. Он говорит:

— Как же все это вышло? Мне жаль Поликарпова. Он был честный человек, хороший...

Твардовский отвечает:

— По-человечески жаль, а для литературы нет. Надо любить литературу, а у него этого не было. Конечно, он был влюблен в наш блистательный XIX век, но советскую литературу он не любил.

Мы расходимся.

Вс. Вишневский мне: — Ну, пес, запомним бой на Старой площади.

На следующие дни новости распространяются довольно быстро по Москве...

5 апреля мне звонит домой Иовчук:

— Товарищ Тарасенков. Я должен вас информировать о решении ЦК. Отменяется теперь контроль ЦК над версткой. Можете ее не посылать больше. Решайте сами. Наши редколлегии теперь по-

литически окрепли. Конечно, это не значит, что снимается партийное руководство литературой. Будем хвалить вас, если напечатаете хорошие вещи, будем ругать за плохие, давать критику в печать... Но формы партийного контроля теперь будут иные... Это дает вам большую свободу, но и налагает гораздо большую ответственность. Вы сделали большое партийное дело, — помогли убрать негодное руководство. Но имейте в виду, вокруг вас могут пытаться группироваться люди, которые вообще против партийного руководства литературой. Не идите на поводу у таких людей. Ставлю вас также в известность, что я дал указание издательству «Сов<етский> Писатель» издать книги Инбер и Пановой.

Через три минуты звонок от Ярцева — просьба быть отв<етственным> редактором книги Инбер.

В воскресенье 7 апр<еля> подвал о Пановой в «Правде».

Фадеев звонит Инбер и по секрету сообщает ей, что ему рекомендовали из ЦК провести Сталинскую премию Инбер за «Пулковский меридиан» и дневники.

Москва литературная полна слухов о происшедшем.

Масса поздравлений, звонков, одобрений, рукопожатий.

*Ан. Тарасенков.
7.IV.46.⁷*

Рукопись датируется 7 апреля 1946 года. Запомним это число. До августовского постановления о журналах «Звезда» и «Ленинград» остается всего два месяца. И еще один

(кроме снятия Поликарпова) поразительный результат этого сражения

На два месяца из журнала «Знамя» исчезает цензура. Главлит не запрашивает текущие номера, редакторам журналов предлагается печатать материалы под свою ответственность.

И все-таки несмотря на то, что Тарасенков несомненно сыграл на противоречиях между агитпроповскими и Поликарповым, именно так это выглядит со стороны, в своей личной судьбе он совершил смелый поступок, которым мог по праву гордиться. Каждый день ему нужно было делать выбор: или подчиняться диктату кремлевского чиновника, или сопротивляться ему. А ведь почти все товарищи Тарасенкова сразу же без особых усилий склонились перед Поликарповым.

Скорее всего, Тарасенков, сам того не ведая, угодил в серьезную игру, ведущуюся на самом верху. Действительно, судя по документам, мы присутствуем при борьбе двух ближайших сановников Сталина, которым он фактически поручает одну и ту же работу на идеологическом фронте в агитпропе. Маленков и Жданов ведут борьбу за место возле вождя. Как это ни удивительно, Маленков, связанный прочными узами с Берией, в этой истории выступает почти «либералом». Хроника тех событий выглядит так. 18 марта 1946 года пленум ЦК утверждает Маленкова членом политбюро. 19 марта Тарасенков отправляет свое письмо о положении в журнале «Знамя».

Маленков пытается использовать возникший конфликт в своих целях, показывая Сталину более гибкую линию работы с интеллигенцией.

3 апреля происходит то самое собрание в ЦК с Маленковым, Поликарповым и всеми заинтересованными лицами. Письмо Тарасенкова и последовавшее затем

отстранение Поликарпова Маленков использует, чтобы завоевать расположение Сталина. Однако Жданов оказывается сильнее, и уже 13 апреля Маленков сдает ему все управление идеологической сферой. Жданов проводит на важные посты своих людей из Ленинграда. Маленкова вытесняют из Политбюро (разумеется, с ведома Сталина, который делает ставку на Жданова), и, несмотря на видимую опалу, Маленкова нагружают по линии Совета министров – Сталин оставляет его запасным. Но история с журналом имеет продолжение: 18 апреля на совещании по вопросам пропаганды и агитации Жданов вынужден сказать, что относительно лучшим или самым лучшим товарищ Сталин считает журнал «Знамя». То есть все нападки Поликарпова в цель не попали. Но среди кремлевских начальников идет крупная игра, в которой судьба журнала лишь крохотный эпизод.

4 мая Маленкова выводят из состава Политбюро и его звезда закатывается (до 1948 года), а на идеологическом небосклоне воцаряется – Жданов. Маленков вернется... после смерти Жданова. Он станет могильщиком всех тех ленинградцев, которых вынес наверх Жданов. Вернется и Поликарпов. Но не сразу. Судя по его биографии, еще с 1933 года он работает в системе народного образования (не имея высшего образования), в 1939-м возглавляет Всесоюзное радио, затем становится ответственным секретарем правления Союза писателей. И только в 1948 году он заканчивает заочный факультет педагогического института и Высшую партийную школу. Спустя несколько лет, буквально чуть ли не со студенческой скамьи, он станет директором Московского педагогического института имени В.И. Ленина, который будет возглавлять до 1954 года, а в 1955-м вновь вернется в Союз писателей в качестве ответственного секретаря Союза.

Мария Белкина. О Поликарпове

Поликарпов был колоритной фигурой. Он явно опоздал родиться, ему бы быть купцом, бить зеркала в трактирах, давать по морде первому встречному, который бы косо на него посмотрел, и тут же бросить к его ногам бумажник с деньгами! Ему бы держать дом, полный подхалимов, нахлебников, он бы издевался над ними, карал, одарял. А ему было поручено руководить идеологией! Ему подвластен был Радиокomiteт! И там все дрожали при упоминании одного его имени. Он был хам и самодур. Он не управлял — он властвовал, он не говорил — он орал. Он не терпел возражений, он разносил за малейшую провинность и без всякой провинности, а хотел — и миловал и мог вдруг вне всякой очереди дать квартиру тому, кто и ожидать этого не смел, или наградить премией.

Как уже отмечалось, он был снят из Радиокomiteта по многочисленным жалобам сотрудников в ЦК, но, как в кулуарах говорили о нем, он был «любимым сыном партии», и его назначили в Совинформбюро курировать антифашистские комитеты, в одном из которых работала я.

Знакомство наше состоялось довольно странным образом: я брала интервью у партизанки, вывезенной из немецкого тыла в Москву, когда в гостиницу позвонила моя начальница и сказала, чтобы я немедленно все бросила и ехала в Комитет, меня срочно требует Поликарпов. Я неслась пешком по бульвару на Кропоткинскую, не дожидаясь трамвая, перебирая в уме все последние статьи, посланные мною за границу. Я должна была по плану давать каждый месяц до семидесяти материалов, которые переводились на разные языки и посылались в разные страны. Это были очерки, зарисовки, информация — страничка, полторы, не более трех. Было очень хлопотно все это организовывать. В чем я могла ошибиться-

ся, что я сделала не так, почему срочно меня требует Поликарпов, только что назначенный к нам?!

Совинформбюро всегда лихорадило, сколько было арестовано заведующих отделов, иной и месяца не продержался! Правда, таких мелких сошек, как я — редакторов, корреспондентов не трогали. Но что-то все же должно было случиться. Когда я, взмыленная, влетела в комнату, секретарша, сочувственно поглядев на меня, шепнула: «Он ждет». Он был большой, видный, блондинистый, вальяжный — но мужик. Мужик — это прежде всего бросалось в глаза. Расхаживая по кабинету, он оглядел меня с ног до головы оценивающе, нагло. «Так вот, значит, какая эта Белкина! Садись». «Что случилось?» — спросила я. «Ничего, просто все говорят — Белкина, Белкина, вот я и хотел посмотреть, что это за Белкина». — «И это всё?» «А что еще?» — пожал он плечами. И тут меня понесло, я была в том нервном состоянии, когда уже не знаешь, что говорить, да и потом я не привыкла служить. Это была моя первая и последняя служба в жизни. И чинопочитание у меня не успело выработаться.

И я высказала ему все, что думала, — сорвать с работы, заставить бежать, нервничать, черт знает что думать, все только для того, чтобы посмотреть, какая я есть!! Помню, я еще сказала, что если бы я не боялась оставить сына сиротой, я бы с радостью швырнула в него чернильницей, чтобы он перестал смеяться. «Ты мне определенно нравишься, — сказал он, — мы с тобой сработаемся!»

«Ну, хочешь я сейчас вызову свою машину и отправлю тебя к твоей партизанке?» «Поздно, — говорю я, — ей должны в Кремле вручать орден, а ночью отправят назад».

«Срабатываться» с Поликарповым не пришлось. Его совершенно не интересовал ни Антифашистский комитет, ни Славянский, который совсем захирел. А что касается Молодежного комитета, очень активно работаю-

шего, то в нем властвовала Мишакова – первый секретарь ЦК комсомола, которую все боялись, помня недавнюю трагическую историю с Косаревым, и ее неблагоприятную роль в снятии его с должности первого секретаря ЦК комсомола и его расстрел.

И только позже я поняла, что Поликарпова больше всего интересовала работа Еврейского комитета.

Многие были уязвлены тем, что мальчишка, выскочка, ничего из себя не представляющий, так легко и просто снял Поликарпова, в то время как они – орденоносные, лауреатные, известные всей стране – не подумали освободиться от хамского отношения и раболепно жили под его «гнетом».

На собраниях писатели выступают осторожно: они помнят, что в партийных кругах о Поликарпове говорят как о «любимом сыне партии». И рано или поздно его вернут к «руководству» литературой.

Бурно высказывают свое одобрение Тарасенкову только молодые писатели-фронтовики.

На партийных собраниях старые большевики, типа Бахметьева, высказывали свое неодобрение Тарасенкову в том, как он смел позволить себе критиковать действия человека, назначенного на работу ЦК партии. И ставили вопрос: не рано ли он был принят в партию? (Принят в партию Тарасенков был в блокадном Ленинграде).

Могу еще привести и слова самого виновника всех этих обсуждений – Дмитрия Алексеевича Поликарпова. Правда, произнес он их много лет спустя, уже после смерти Тарасенкова, в начале 1960-х годов.

Я как-то днем случайно зашла в Дом писателей на Никитской улице. В фойе былолюдно. Накурено. Видно, на втором этаже проходило собрание и сейчас был

перерыв. Я заметила среди присутствующих Поликарпова и хотела прошмыгнуть мимо, но он окликнул меня.

– Ты что это не здороваешься?

– Вы окружены такой свитой, что к вам не протолкнешься.

Жаров, поэт, разговаривавший с ним, сказал:

– А мы Машу только в Союз приняли.

– Знаю, я все о ней знаю.

И он бесцеремонным жестом руки дал понять, что говорить хочет только со мной.

– Ну, как жизнь твоя сложилась? – спросил он.

– Хорошо, Дмитрий Алексеевич, много езжу, пишу.

– Читаю, я за прессой слежу. Я тебя спрашиваю, как твоя личная жизнь сложилась? Замуж вышла?

– Нет, не собираюсь, предпочитаю вольно жить.

– Ну и зря. Это сейчас за тобой хвост бегаёт, а составишься, никому не будешь нужна.

– А я одиночества не боюсь.

– Да я не об этом. Я тебе вот что хотел сказать: ты не думай, что я на твоего Тарасенкова зло держу. Смелый мужик был. Уважаю. Не то что эти...

И он показал на группу писателей, ожидавших на его у лестницы, среди которых был Николай Тихонов и Константин Федин, возглавлявший в то время Союз писателей.

Перекур закончился, и Поликарпов, не прощаясь, пошел к ним⁸.

Конечно, снятие Поликарпова буквально взорвало писательскую среду. В дневнике Корнея Чуковского читаем: «22 апреля. Понедельник. Был у меня вчера Л. Квитко (с Бертой Самойловной) – и он рассказал, что Поликарпов снят “за грубость и самоуправство” – и

что в Союзе Писателей атмосфера немного прояснилась»⁹.

Тарасенков чувствовал себя победителем. И почти сразу же в угаре победы, не тратя времени, пишет письмо наверх. На этот раз — уже товарищу Сталину. Еще раньше он мечтал составить сборник любимых стихов и рассказов Бунина. И даже из блокадного Ленинграда он писал, что эта мечта не оставляет его.

Дорогой Иосиф Виссарионович!

В продолжение двух лет мы работали над составлением и подготовкой к изданию книги избранных произведений И. Бунина. В составленный нами сборник (объемом свыше 50 авторских листов) вошли лучше прозаические и поэтические вещи Бунина, как написанные им до 1917 года, так и после. Мы откинули все случайное, преходящее в творчестве Бунина, оставив рассказы, повести и стихи, имеющее художественное и объективно-познавательное значение. Этот сборник произведений И. Бунина был уже начат печатанием в Государственном Издательстве Художественной литературы (отпечатано 8 листов), но по непонятным нам причинам печатание его было месяц тому назад приостановлено.

Возможно, что некоторых товарищей смутило недавнее письмо И. Бунина из Парижа к писателю Н.Д. Телешову, где Бунин выражал напрасные опасения, что ему не выплатят в СССР гонорара и недостаточно внимательно сверят тексты его произведений. Нам думается, что эти опасения И. Бунина лишены оснований, — тексты его вещей нами тщательно выверены по авторизованным из-

даниям, а гонорар ему, разумеется, будет выплачен, как это имеет место по отношению ко всем писателям.

Мы думаем, что выход книги избранных произведений И. Бунина будет полезен для нашей интеллигенции. Потому мы просим Ваших указаний о выпуске в свет книги И. Бунина, составленной и подготовленной нами к печати.

С глубочайшим уважением
А. Тарасенков, А. Чагин.
19.4.46

Ответа на письмо не последовало. Верстку Тарасенков переплел в книгу. Она находится в Государственном Литературном музее как и черновой набросок письма¹⁰.

Литературная Москва продолжала еще волноваться и обсуждать снятие Поликарпова с поста ответственного секретаря Правления ССП. Отношение к этому было разное. Так, например, Тихонов, с которым Тарасенков дружил в блокадном Ленинграде (дружба эта продолжалась в Москве; вместе с женой они бывали у него в «Доме на набережной»), был обижен, что тот написал Маленкову, не посоветовавшись с ним. И хотя Николай Семенович приглашал к себе по-прежнему, но отношения между ними стали натянутыми.

Те, кого защищали

Как уже говорилось, к ленинградцам Вишневский и Тарасенков относились по-особенному. Это было своего рода братство, выстраданное во время блокады. Петр Капица, ленинградский морской писатель, оставил в

дневниках запись в начале 1942 года о совещании флотских писателей:

Вечером, после ужина, все собрались послушать новые стихи. Вера Инбер — маленькая, женственная, со светлыми кудряшками, в жакете с высоко поднятыми плечиками — познакомила с главами незаконченной поэмы. Негромким печальным голосом она читала о том, как пытаются ленинградцев стужей, огнем и голодом. Мне понравилась главка о корочке пеклеванного хлеба, которого мы давно не видели. По мере чтения во рту накапливалась голодная слюна, и я как бы ощущал тминный вкус поджаристой, хрустящей корочки.

Эту поэму Вера Михайловна собиралась назвать «Пулковский меридиан», а узнав только здесь, что под таким названием вышла книга Успенского и Караева, сказала, что подумает о новом названии.

После нее выступили с гневными стихами Борис Лихарев и Александр Яшин.

В этот вечер, наверное, икалось писателям, которые по возрасту могли бы служить в воинских частях, но поспешили покинуть осажденный город. Мы их вспоминали с презрением. Что эти беглецы напишут после войны? И как будут смотреть в глаза блокадников? Они обворовали себя, не увидев и не пережив того, что испытали блокадники¹¹.

Поликарпова, привносившего в свое отношение к Инбер антисемитский душок, смущала ее личная интонация, ведь она рассказывала о муже-враче, который работал дни и ночи патологоанатомом в блокадной больнице, о боли за дочь, потерявшей в чистопольской эва-

куации маленького сына, вспоминала о встреченном в блокадном Ленинграде Эренбурге, о столиках парижских кафе, за которыми они сидели когда-то в 20-х годах. Для партийного чиновника это было уж чересчур.

Вера Панова во время войны оказалась в Детском Селе, оккупированном немцами, с трудом вышла оттуда с дочкой и пожилой родственницей и прошла с ними через все фронты в украинское село Шишаки, где оставались ее маленькие сыновья. Все они чудом остались живы.

Ее муж Борис Вахтин, журналист из Ростова-на-Дону, был расстрелян в 1937 году. В литературных кругах она никому не была известна, однако Вишневский, прочтя ее первую повесть, тут же дал ей рекомендацию для вступления в Союз писателей. Панова вспоминала, что в Москве, зайдя в журнал «Знамя», встретила там Тарасенкова, который очень лестно отозвался о «Санитарном поезде» (позже по требованию редакции переименованном в «Спутники»). Тарасенков сказал, что для него очень важно мнение Софьи Разумовской (ее все называли Туся, будущая жена Даниила Данина, она была знаменитейшим на всю Москву редактором).

В те дни, когда шла борьба с Поликарповым за повесть «Спутники», и вся редакция была на ее стороне, Вера Панова случайно встретила на улице — прототипа главного героя — начальника поезда. С огромной радостью она сообщила ему, что ей удастся опубликовать повесть. Он ей не поверил, и тогда она привела его в журнал, где объявила всем, что он и есть главный герой «Спутников». «Вот пришел комиссар Данилов», — сказала она, и из всех трех фанерных клетушек, где помещалась редакция, сбежались люди на него поглядеть и пожать ему руку, — и жали и глядели они так, что Иван Алексеевич был тронут и всех пригласил на завтра на

Белорусский вокзал, в штабной вагон ВСП-312 на прощальный обед, где работники поезда в последний раз собирались вместе перед расставанием»¹².

Литературные герои входили в жизнь, и, наоборот, реальный человек запросто превращался в персонажа. Это был период искреннего ощущения гармонии с пережитым временем, с собой.

Маргарита Алигер с конца 30-х годов принадлежала к компании, в которую входили Тарасенков, Данин, Долматовский, Ярослав Смеляков и ее муж композитор Константин Макаров-Ракитин. Тарасенков постоянно подкидывал работу ей и их общему другу Даниилу Данину. Их связывала огромная любовь к поэзии. С начала войны Маргарита выезжала в зону фронтовых действий. Тогда же она написала поэму «Зоя», на сюжет которой ее натолкнула газетная статья, о девушке, называвшей себя «Таня», повешенной фашистами в подмосковном селе Петрищево. С этой поэмы началось превращение Зои Космодемьянской в легенду. За поэму Маргарита получила Сталинскую премию, которую отдала на оборону.

Муж погиб в первые же месяцы войны, в то время, когда она везла в эвакуацию в Набережные Челны свою мать и маленькую дочь Таню. Сама же вернулась в Москву, выезжая корреспондентом на фронт. В холодные московские дни и ночи 1942 года она много времени проводила в доме своего друга Павла Антокольского на улице Щукина. Там жили, ночевали, кочевали, останавливались на время писатели и поэты, проходящие через Москву на фронт. Там Маргарита встретила Фадеева, который убежал из гостиницы «Москва» и на несколько месяцев поселился в доме Антокольских. Здесь начался их роман, который стал для нее главным собы-

тием жизни. В 1943 году родилась Маша. А потом они с Фадеевым расстались¹³. Но история их любви не могла не отразиться в стихах. Она написала «Твою поэму» – гимн любви на войне, где реальный прототип был тщательно скрыт от читателя за образом погибшего мужа. Поэма была напечатана в 9-м номере «Знамени» в 1945 году, под одной обложкой с романом «Молодая гвардия» Фадеева.

Поцелуй меня так чудесно,
Чтобы мне не чувствовать тела...

Образ потерянного мужа и возлюбленного сливались воедино.

В поэме был фрагмент, который отозвался в судьбе Маргариты в годы космополитизма.

Разжигая печь и руки грея,
Наново устраиваясь жить,
Мать моя сказала: «Мы – евреи,
Как ты смела это позабыть?»

И потомков храбрых Маккавеев...

Прославляю вас, во имя чести
Племени гонимого в веках,
Мальчики пропавшие без вести,
Мальчики, убитые в боях

И еще такое признание:

Мы забыли о своем народе,
Но фашисты помнили о нем.

Наталья Соколова (Ата Типот), ее приятельница по институту, писала в дневниках:

Главка эта без конца менялась, перерабатывалась по требованию «Знамени». Еврейский вопрос был уже достаточно острым, Вишневский предполагал обойтись без него, Тарасенков тоже опасался. Но Рита настаивала...

Признаться, я смотрела с некоторым изумлением на молодую женщину моего поколения и примерно моего воспитания, в которой внезапно пробудилась еврейка. Тогда это было в диковинку¹⁴.

И вот ближайший друг Маргариты Дании Данин, в тот момент вернувшийся с фронта, занимавшийся поэтической критикой, написал в «Литературной газете» жесткую рецензию на «Твою поэму». Годы спустя он объяснил причину своего поступка Наталье Соколовой, когда рассказывал о космополитических временах. Тогда Грибачев его поносил за то, что он будто бы хвалил «Твою поэму».

Грибачев истреблял Алигер, обвиняя меня в том, что я захваливал «Твою поэму». А я как раз поэму разругал. Рита полтора года со мной не разговаривал, не могла простить этой рецензии. И многие меня осуждали, считая оценку незаслуженно строгой, так и слишком резкой.

Подоплека этого дело такова. Я обиделся за Костю Макарова, мужа Риты, одаренного композитора, погибшего в самом начале войны, которого я хорошо знал и любил. Она взяла его в свою поэму и рассказывала как о человеке многообещающем, рано ушедшем из жизни, решив отдать дань его памяти, но на самом деле сотворила противоестественную смесь из него и Фадеева, что угадывает-

ся и кажется нечестным и кощунственным. Напрямую она не могла написать о своем романе с Фадеевым, это было бы невозможно. <...> И это меня оскорбило. Писать рецензию было очень трудно, потому что о главном я не мог говорить прямо. Возился с ней почти два месяца. Надо было прятать концы, намекать, выражаться обиняками <...>. Туся <Разумовская. – Н.Г.> была против этой рецензии.

– Ты не должен этого делать, это нечестно. Вы с ней дружите, а ты наносишь близкому человеку такой удар. Лучше промолчи.

Неудачно получилось с названием. У меня «Неразгаданный поворот» (взято из самой поэмы). Рецензия стояла на полосе «Литгазеты», я уехал из редакции. Заголовок не понравился, и Саша Мацкин быстро придумал по-другому. «Неуправляемое слово». Ковальчик согласилась и поставила. А это уже было прямое оскорбление. <...> Рита позвонила необыкновенно обозленная.

– Ты подлец! Нож в спину! Теперь выкинут поэму из книги, а все из-за тебя. Никогда тебе этого не прощу! <...>¹⁵

В письме к Тарасенкову в августе 1946 года с Рижского взморья Маргарита горестно писала:

Читая статью, с первых же абзацев, я все время неотступно помнила один из своих последних разговоров с Анной Андреевной Ахматовой. Она читала мне свои заметки о поэзии. Это записки, наброски, размышления о судьбе лирического поэта, о поэзии собственно удивительной чистоты, прозрачности и мудрости. Их всего несколько страниц,

но это страшно впечатляет. Прочитав это, она сказала: «Пожалуй, этого не следовало бы делать. Как бы Вам не стало страшно». Основная мысль записок, которая А<нна> А<ндреевна> очень часто высказывает в частных разговорах, а именно: нет ничего страшнее и трагичнее судьбы лирического поэта, пишущего без оговорок, без оглядки, без опасений и без радости.

Все считают вправе трогать эту судьбу руками, рассматривать ее со всех сторон, обсуждать публично и не публично. Это горькая и беспощадная истина.

Мне трудно, да и не хочется судить о том, насколько правильна или не правильна, или не интересна статья Данина <...>¹⁶.

Пастернак. 1945 год

В конце войны Тарасенков вернулся к попыткам напечатать Ахматову и Пастернака, наивно считая, что их положение во время войны упрочилось. Просьбы к Ахматовой дать стихи в журнал он начинает стремительно, сразу же в сентябре 1944 года, уже в первые же месяцы своей работы в «Знамени»:

Сегодня я встретил – Ольгу Федоровну Берггольц – и она рассказала мне о том, что Вы написали очень интересный цикл стихов о Ленинграде. Новая редколлегия журнала «Знамя» крайне заинтересована этим. Мы просим <...> дать нам эти Ваши стихи¹⁷.

Переговоры с Ахматовой увенчались успехом. 14 апреля 1945 года Тарасенков писал ей:

Большое спасибо за цикл стихов, которые Вы прислали нам через тов. Чаковского. Мы всей редакцией (Тихонов, Симонов, проф. Тимофеев, я) <...> решили остановиться на следующих вещах: 1. «Наше священное ремесло...», 2. «Как ни стремилась к Пальмире я...», 3. «Справа раскинулись пустыри...», 4. «А вы, мои друзья последнего призыва...». <...> Однако есть к Вам, Анна Андреевна, наша большая коллективная просьба: нельзя ли в последнем стихотворении слова «для бога мертвых нет» заменить словами «для славы мертвых нет». Этот вариант придумал Симонов. Я опасуюсь, что иначе возникнут трудности с напечатанием этого стихотворения, а нам его обязательно хочется поместить. Прошу Вас тотчас по получении этого письма дать мне телеграмму в два слова: «Согласна поправкой» или «Не согласна поправкой»¹⁸.

В апрельском номере «Знамени» вышли стихи А. Ахматовой и статья Тарасенкова «Новые стихи Бориса Пастернака».

Для читателя такой номер мог показаться сигналом о том, что прежнее миновало, все кошмары 30-х годов перемолоты войной, искуплены страданием.

Итак, исподволь он подходит к опасной для себя черте — не только писать о Пастернаке, печатать его стихи, но и пробить лауреатство, то есть Сталинскую премию.

Тарасенков стал вновь встречаться с Пастернаком сразу, как только вернулся с фронта в Москву. По-видимому, в марте, когда на несколько дней Тарасенкову удалось вырваться в Москву для того, чтобы, наконец, познакомиться со своим сыном, которого он так и не видел со дня его рождения, они встретились с Пастернаком.

Их первая встреча, по-видимому, состоялась в марте 1944 года. На книге переводов Клейста «Разбитый кувшин», вышедшей еще 1941 году, Пастернак написал:

Анатолию Тарасенкову. Как все было... непохоже в 1914 году летом, когда я это переводил!! Б. Пастернак. 19.III.44¹⁹.

Следующая надпись была сделана на книге Шекспира «Ромео и Джульетта», выпущенной уже в 1944-м:

Другу, не нуждающемуся в эпитете, совершенно (нарочно не говорю, — «в доску») Толе Тарасенкову. Б. Пастернак. 16.XI.44²⁰.

И в тот же день, по-видимому, Тарасенков был у Бориса Леонидовича в Переделкине, ибо надпись на другой книге перевода Шекспира «Антоний и Клеопатра» гласит:

И это тоже дорогому Анатолию Кузьмичу Тарасенкову. Б. Пастернак. 16.XI.44. Переделкино²¹.

Затем уже в 1945 году в издательстве «Советский писатель» выходит книга стихов Бориса Леонидовича «Земной простор», и он надписывает ее:

Толе Тарасенкову, вот тебе для пополнения коллекции. Живи долго и счастливо. Б. Пастернак. 15.II.1945²².

Тарасенков тут же пишет об этой книге статью, пользуясь отсутствием Вишневого, который не любит Пастернака, и торопится вставить ее в апрельский номер. Он

отлично понимал, что статья эта вызовет неодобрение в определенных литературных кругах — «Опять Тарасенков! Опять о Пастернаке!..»

«Новые стихи Б. Пастернака» он заканчивал словами:

У Пастернака было много пороков индивидуализма. Кто же не порадует, когда он отказывается от них? У Пастернака было много камерности и усложненности. Кто же не скажет ему доброе слово за отход от них? Но пусть на их место встанут не мнимые, а подлинные ценности. Пусть снова зазвучит прекрасная речь поэта, много передумавшего и переосмыслившего заново в дни великой войны²³.

Он всячески изворачивается, говоря с любовью о стихах Пастернака. У Пастернака было много камерности и усложненности. Кто же не скажет ему доброе слово за отход от них?.. Но все это Тарасенкову не поможет, и он свое получит за эту статью с лихвой!..

Мария Иосифовна вспоминала, что Борис Леонидович будто бы был доволен статьей. Имелось в виду даже не ее качество, а сам факт появления. Сурков и Безыменский при первой же встрече выразили свое неодобрение. Вишневский, вернувшись, выругал Тарасенкова, но пока по-отечески, как «блудного сына», который опять берет-ся за свое. Только что кончилась война, и все были в некотором угаре, и все еще было не до сведения литературных счетов и споров о «вакансии поэта»...

Скандал разразится год спустя.

Пастернак с семьей только что вернулся из эвакуации. Вселиться в свою квартиру было очень непросто, вернувшись домой, хозяева находили у себя дома — руины.

«Окна были выбиты и заклеены картинами Л.О. Пастернака, — вспоминала жена поэта. — Зенитчики, жившие у нас в Лаврушинском, уже выехали, и мы стали хлопотать о ремонте квартиры. Временно нам пришлось расстаться с Борей. Меня и Стасика приютили Погодины, а Боря переехал к Асмусам, у которых сохранились и мебель, и вещи, потому что они никуда не выезжали»²⁴.

Весной 1945-го из Грузии в гости к Пастернаку приехал Симон Чиковани, он дружил и с Луговским, у которого была квартира на Лаврушинском, этажом ниже пастернаковской. Луговской только-только вернулся из Ташкента, где был в эвакуации, познакомился с молодой красивой женщиной Еленой Быковой, позже она стала называть себя Майей Луговской, ухаживал за ней, водил в гости.

«Мы были приглашены к Пастернаку — писала она, — в связи с тем, что Симон Чиковани снова приехал из Тбилиси и должен быть у них вечером. Пастернак хотел, чтобы, именно в присутствии Симона, Луговской и почитал свои поэмы. В обусловленное время мы поднялись на восьмой этаж нашего подъезда. Луговской захватил с собой оранжевую папку. На наш звонок дверь открыла и впустила нас в узенький коридорчик мужеподобная особа с крупными чертами лица, смуглая, черноглазая, с низким хрипловатым голосом. До этого я не была знакома с женой Пастернака и только, когда Луговской поцеловал руку этой неуклюжей и грубоватой женщине, поняла, что это и есть Зинаида Николаевна. Оживленный, с приветственными возгласами к нам вышел Пастернак, обнял нас и повел в маленькую комнату, служившую столовой. <...> Удивила меня бедность обстановки в комнате, мне было неловко за

нашу пустую столовую, а тут несколько поломанных стульев, стол, придвинутый к матрасу, покрытому фланелевым одеялом и заменявшему диван, и такое же фланелевое одеяло, прибитое к стене вместо ковра. А на противоположной стене несколько рисунков. Только было открыл свою оранжевую папку Луговской, вынул из нее несколько поэм и собрался читать, как погасло электричество.

<...> Но так случилось, ужин оказался неожиданно роскошным. Были поданы горячие сосиски. На столе крабы и неправдоподобное количество паюсной икры. Симон шумно выражал свое изумление:

– Ну и живете вы!

А Пастернак был смущен и выглядел провинившимся. Сказал, что он сам сегодня побывал в писательском распределителе и, к огорчению Зинаиды Николаевны, все мясные талоны отоварил паюсной икрой и крабами. Грузинское вино принес с собой Симон. Ели, пили, ужин затянулся. Электричество не включали, керосиновая лампа мигала. Зинаида Николаевна ушла к своим мальчикам наверх. Казалось, что уже и не судьба сегодня Луговскому читать свои поэмы. Но Симон требовал выполнения обещанной программы. Луговскому не захотелось читать, он сослался на лампу. Симон не унимался:

– Плохо видишь?! – сказал он. – Пусть читает она, зачем ее тогда привел? – Это прозвучала так непосредственно, Луговской рассмеялся и поручил чтение мне.

Из трех прочитанных поэм Пастернаку больше других понравилась “Эфемера”, особенно то место, где шла речь о воскрешении Христа. Он даже попросил меня перечитать этот кусок второй раз, Симону понравились все три поэмы. О “Гибели вселенной” он даже сказал, что, несмотря на то, что это, казалось, любовная поэма, более антивоенной вещи он не знает»²⁵.

Пастернак все время думает о своей главной книге, о ее герое. Он размышляет над главной идеей «Живаго» и его поэтического цикла — его волнует идея жертвенности художника. И здесь на чтении, он слышит рифмы своим мыслям — о воскрешении Христа.

В течение 1945 года Пастернак пережил несколько трагедий: 29 мая умер от туберкулезного менингита его пасынок Адик Нейгауз, а буквально через три недели после победных майских дней в Оксфорде скончался отец — Леонид Осипович Пастернак, с которым они так и не увиделись с 1921 года.

Летом 1945 года, видимо в августе, в Москве появился сотрудник английского посольства — Исайя Берлин, профессор Оксфордского университета, знакомый сестер Пастернака — Лидии и Жозефины. Он привез для него из Англии посылку от сестер, две пары обуви. Для Берлина были организованы встречи с Сергеем Эйзенштейном, Корнеем Чуковским и другими писателями, но он не был удовлетворен этими встречами; за ним установили слежку, все прослушивалось, он же хотел общаться с писателями неформально. Пастернак был тем человеком, от которого он услышал много того, чего не мог бы узнать ни от кого другого. Как вспоминал Берлин, они говорили и о Сталине, его личном разговоре о Мандельштаме, о расстрелах конца 30-х годов, о погибших поэтах и многом другом. Пастернак, вспоминал Берлин, очень нервничал и переживал, что у того останется ложный взгляд на Россию, прививаемый иностранцам советской властью, ему казалось, что и Берлин зачарован ею, и что он не замечает весь ужас царящий вокруг.

«Пастернак был очень чувствителен к возможным обвинениям в том, что он старается приспособиться к партии и государству и подлаживается к их требованиям, — спустя годы писал Исайя Берлин. — Даже то, что он

остался в живых, не давало ему покоя; он все боялся, что люди подумают, что он старался угодить власти и пошел на какой-то низкий компромисс со своей совестью, чтоб его не трогали. Пастернак все время возвращался к этой теме и доходил до абсурда, пытаясь доказать, что он никак не способен на такие компромиссы, в которых ни один из людей, хоть мало-мальски знавших его, и не думал его подозревать. Как-то раз он спросил меня, читал ли я его сборник военного времени “На ранних поездах”. Слышал ли я, чтобы кто-нибудь говорил об этих стихах как о попытке примириться и сблизиться с господствующим режимом? Я совершенно честно ответил ему, что никогда ничего подобного не слышал, и что само предположение кажется мне полнейшим абсурдом»²⁶.

Они виделись в течение лета несколько раз. Эти встречи были невероятно важны и в жизни Пастернака, а потом и Ахматовой, с которой Берлин увидится уже в Ленинграде в ноябре 1945 года. В лице Исая Берлина они встречались с Европой.

Несомненно, за Пастернаком следили, тем более что общение с иностранцем, да еще из дипломатического ведомства, не могло остаться незамеченным. И не только следили, но и записывали чтение стихов и разговоров на магнитофон. Существует до конца еще не ясная история с чтецом, актером филармонии Сергеем Балашовым, который жил в доме на Лаврушинском. Обычно он приглашал знаменитых людей к себе в дом, незаметно устраивал на столе микрофон, а внизу под столом у него крутился трофейный магнитофон. Об этом рассказывала Е.Б. и Е.В. Пастернакам Наталья Крымова, работавшая над книгой об Яхонтове.

Косвенным тому подтверждением стала сохранившаяся запись чтения Пастернаком стихов из «Доктора

Живаго». Знаменитый собиратель звукозаписей Лев Шилов писал об истории с найденной магнитофонной записью поэта: «Читая друзьям и знакомым отдельные главы или рассказывая о романе, — Пастернак читал обычно и некоторые стихотворения из “Юриной тетради”. Так было однажды и в гостях у известного чтеца Сергея Балашова — Пастернак не только говорил присутствующим (среди которых был К. Паустовский) о романе, но и прочитал пять стихотворений. Хозяин дома записал на магнитофон и этот несколько сумбурный разговор, и само чтение.

Бесценный подарок и для нас с вами, и для будущих поколений!

По-видимому, из-за низкого технического качества записи С.М. Балашов долгие годы мало кому давал ее слушать и лишь в 1988 году по нашей неотступной просьбе предоставил ее журналу “Кругозор”»²⁷.

Скорее всего, дело было не в низком качестве — запись предназначалась абсолютно для других слушателей.

Павел Крючков, комментируя рассказ Шилова (уже после его смерти), приводит более подробную версию возникновения этой записи. «На этом CD (имеется в виду диск с записями Пастернака), конечно же, переизданы знаменитые пять стихотворений из “Тетради Юрия Живаго”, записанные известным чтецом С.М. Балашовым — буквально при застолье. Аудиозапись делалась “тайно”, но Л. Ш<илов> говорил, что Пастернак догадывался о находящемся где-то рядом микрофоне — “для истории”. Об этой чувствительности вспоминала и З.Н. Пастернак. Это, пожалуй, самая “вкусная”, самая живая и неожиданная запись декламации Пастернака. Поэт читает свои стихи и тут же, в процессе чтения, “как бы резвяся и играя” реагирует на них — реагирует интонацией, каким-то беспечным, “пьянящим и пьяным” удивлением от

того, в какую живописную музыку сплетаются образы и волнующие повороты сюжетных линий»²⁸.

«Тайная» запись Сергея Балашова, скорее всего, и была тайной. Наталья Крымова рассказывала чете Пастернак, что наткнулась на целый ряд фактов, свидетельствующих о том, что Яхонтова пытались завербовать в агенты МГБ и как он старался этого избежать. Она тоже говорила, что после войны к нему неоднократно посылали актера филармонии Сергея Балашова, который жил в доме на Лаврушинском. Он приглашал знаменитых людей к себе в дом и записывал их на магнитофон. Яхонтов считал, что если он вступит в партию, то освободится от предложений МГБ, но это не помогло. От него требовали, чтобы он доносил на Пастернака. Несколько раз он собирался в гости к Пастернаку на дачу и даже договорился с какой-то девушкой. Они доехали до дома, и он сел с ней на лавочку перед калиткой и все не решался войти, потом сказал, что не пойдет к нему вовсе. Через некоторое время — покончил с собой. В то время, когда Крымова писала книгу, она никак не могла использовать эти факты.

С этим рассказом конечно же еще надо разбираться. Однако неясная фигура чтеца Балашова, факт чтения у него дома под спрятанный магнитофон дает повод рассматривать его роль в ином свете.

Раз уже зашла речь о Яхонтове и его трагической гибели, о причинах которой по сей день ничего не известно, приведем небольшой рассказ о нем молодой актрисы Л. Бершадской, напечатанный за границей в «Русской мысли» в 1971 году. В самом конце войны она готовила с ним сцены из «Маскарада». «И вот я дома у Владимира Николаевича в Москве в Климентовском переулке. Старый дом без лифта, он живет на 7 этаже. Звоню,

мне открывает толстая, грязная баба, когда я ее спросила — дома ли Владимир Николаевич, она сказала: “К нему надо позвонить три раза” — и захлопнула дверь. Я чуть не заплакала. Позвонила три раза.

Владимир Николаевич, усталый и бледный, открыл мне дверь и очень обрадовался, что я пришла.

Я с ужасом поняла, что этот талантливый человек живет в общей квартире, в одной комнате на седьмом этаже, без лифта, а эта сердитая женщина — его соседка. Я вошла в комнату и чуть не закричала от неожиданного вида этой комнаты, там стояла тахта, с одной маленькой подушечкой — постель Яхонтова.

В углу комнаты старый письменный стол со стулом. На полу множество книг, а на стене гвоздик, на гвоздике вешалка с носильными вещами.

Владимир Николаевич распахнул окно и сказал: “А правда, Любушка, страшно отсюда упасть!”.

Мы начали первую репетицию из “Маскарада”, и я забыла об ужасной обстановке. Мы работали, посещали театры, музеи, говорили об искусстве. В 1944 году в декабре в Москве, Яхонтова вызвали в партийную организацию филармонии и заявили ему, что такой артист в Советском Союзе должен вступить в партию, на что Владимир Николаевич ответил, что, вероятно, ему предстоит экзамен на политические темы и он должен готовиться.

В феврале 1945 года Яхонтов подготовил к Пушкинским дням программу, но на этот раз, впервые в его жизни, его на радио с этой программой не пригласили. Те, кто ему симпатизировали, сказали, что это потому, что он отказался вступить в партию.

Владимир Николаевич помрачнел, и, гуляя со мной по зимней Москве, рассказал мне об этой истории. <...> Мне было его жаль, я старалась его утешить...

В мае 1945 года я уехала на дачу под Москвой, а в июне, после окончания войны, мой муж приехал на дачу и сообщил мне, что в Климентовском переулке В.Н. Яхонтов в 3 часа дня выбросился из окна седьмого этажа. Из этого окна, где он говорил...

В комнате Яхонтова сотрудники МГБ, конечно, произвели обыск и, по разговорам соседней, на столе нашли какое-то письмо, которое никому не показали»²⁹. На самом деле Яхонтов погиб 15 июля 1945 года. А еще в декабре 1944-го певица и переводчица Лещенко-Сухомлина писала, что в это время с Яхонтовым было очень тяжело общаться: «Он непонятный; чего кривляется — не пойму. Грустно мне было с ним. Или он скрывает какое-то страдание, или болен... Мне с ним душевно тяжело, хотя я высоко ценю его великолепное искусство. Но в нем чувствуется какая-то встревоженность. Он перестает думать о чем-то своем и весь обращается в слух, только когда я пою»³⁰.

Говорили, что он пил и страдал депрессией. Но где причина, а где следствие, нам пока узнать не дано. К сожалению, мы можем только догадываться о том, что происходило на самом деле.

Пастернак жил, не принимая опасности всерьез, то есть более не обращая на нее внимания. Закончился этап обольщения властью, наивной веры в скорое изменение будущего. Что-то решительно изменилось в нем после войны. В декабре 1945 года он написал сестрам в Англию: «Мне 55 лет, у нас трезвое холодное советское время...»³¹.

В Пастернаке возникает иное понимание жизни. Оно и отразится в его новом романе.

Вишневский и Тарасенков: о войне

У победы над Поликарповым оказался горький прикус. Вишневский почти сразу стал слышать отовсюду

голоса: «Тарасенков снял Поликарпова». Это вызывало у него огромное раздражение. Он был очень честолюбив. Любил власть, командовал Тарасенковым с самого начала, с того времени, как тот пришел в «Знамя» еще совсем юным. И во время войны в оперативной группе писателей в блокадном Ленинграде Тарасенков служил под началом Вишневого.

В первые же дни войны Тарасенков с Вишневым были направлены на Северный флот, где под Таллинном базировались почти все корабли Балтийского флота. Таллинн почти сразу был окружен немцами. И в конце августа 1941 года пришлось выводить наши корабли по узкому водному пространству, забитому минами. Разобраться в этом минном поле по картам было невозможно. Корабли гибли от взрывов мин, от бомбежек немецких самолетов, которые не прекращались ни днем, ни ночью. Советская авиация не могла обеспечить оборону Таллинна.

Вишневецкий ушел на флагманском корабле, но в последнюю минуту успел передать распоряжение, чтобы Тарасенкова, оставшегося оборонять порт, срочно направили на корабль «Верония». В корабль попала немецкая бомба, сброшенная с самолета, и Тарасенкова выбросило в море. Некоторое время он плыл в холодной воде, среди мин, сверху по барахтающимся людям били с самолетов. Все море было полно тонущими и замерзающими. Тарасенкова, уже погибающего от холода, втащили на буксир, лавировавший между минами. Придя к себе, он первым делом побежал в котельную сушить письма жены. С размытыми чернилами, покоробившейся бумагой — такими они и сохранились в архиве Марии Белкиной. Тогда он не знал, что в тот день, когда он чуть не погиб, у него родился сын.

Буксир доставил его на корабль, управляемый молодым капитаном Омельченко, вспоминала Мария Иоси-

фовна, который, сумел вывести его под непрерывными бомбежками в Кронштадт.

Затем был Ленинград. Блокада. Работа в Оперативной группе писателей при Политуправлении Балтфлота, организованной Вишневским. В эту группу входили Николай Чуковский, Александр Яшин, Александр Крон, Вера Инбер, Лев Успенский и др.

Для Вишневского была создана воинская часть из писателей, которой он руководил. Под нее он получил штаты, помещение, пайки и др. Писатели работали на казарменном положении, сочиняли патриотические книги, а Вишневский удовлетворялся амбициями командира. Лев Успенский вспоминал, что ему «не приходилось слышать о других таких военно-писательских объединениях»³². Николай Чуковский мечтал вырваться из писательской казармы на фронт, ведь все чувствовали необходимость находиться в частях, а не под началом Вишневского. Прослужив в Пубалте всего полгода, как только выпала возможность, Чуковский ушел в газету авиации Балтийского флота... В группе в Пубалте он подружился с Тарасенковым, но еще ближе с Успенским.

Чуковский пишет, что Успенский ему однажды сказал: «Вишневский похож на двухлетнего ребенка, увеличенного до размера взрослого человека. Я удивился точности этого наблюдения»³³. Далее Чуковский приводит рассказ Успенского о поездке с Вишневским на какую-то батарею. «На батарее было тихо и скучно, немецкая артиллерия вяло постреливала, где-то раза три что-то разорвалось... <...> Вишневский вернулся в Пубалт и доложил начальству, что был на передовой, в пылу битвы, “это был пламенный рассказ о невиданных героях. Но в батарее он ничего не заметил. Не заметил даже того, что от нее до передовой, по крайней мере, семь

километров и что на участке фронта, где она расположена, больше года вообще ничего не происходило. Реальную батарею он не увидел и полностью заменил ее в своем воображении другой батареей, нисколько не похожей на настоящую»³⁴.

Однако тяжелее приходилось Тарасенкову. Чуковский вспоминал, как не раз бывал свидетелем мелочной, несправедливой критики или прямых оскорблений Вишневого в адрес Тарасенкова. «Личные внеслужебные отношения их носили отпечаток служебных: несмотря на соединявшую их дружбу, между ними и в личных отношениях не было равенства — Вишневский всегда оставался начальником, а Тарасенков его секретарем, Вишневский покровительствовал, Тарасенков принимал покровительство <...>. Это была одна из тех дружб, которые напоминают трудный роман, полный измен, охлаждений, уходов и возвратов, подозрений и ревности. Вообще в характере Тарасенкова было много женственного — и доброта, и тонкость чувств, и капризность, и исключительное непостоянство»³⁵. Думаю, что Чуковский писал о характере Тарасенкова гораздо шире, имея в виду не только военный период.

В своем военном дневнике Тарасенков редко, скорее всего под влиянием все усиливающегося голода, запечатлевает откровенные картины блокадного быта:

Был в госпитале у Всеволода. Он в прекрасных условиях (отдельная палата, диетический изысканный стол, колоссальное внимание врачей, радио, газеты, тепло)...³⁶ <...>

...безумство — за проезд в машине от аэродрома до «Астории» уплачено батонем белого хлеба! На столе — пир: курица, шоколад, какой-то загранич-

ный ликер, печенье, колбаса, сыр. Наедаюсь до отвала. Ощущение счастья. Засыпаю на диванчике под шинелью. Всеволод и Софья Касьяновна — на роскошных двуспальных, сдвинутых вместе «астро-рийских кроватях...

Там же встречаются отдельные характеристики командира: «...болезненные сцены с донельзя раздраженным Вишневым», «...истерика Всеволода...»³⁷.

Не все писатели вынесли пребывание в Ленинграде до конца, изнемогая от тяжелой дистрофии, под разными предлогами они улетали в Москву. В феврале 1942 года в Ленинграде проходило совещание писателей-фронтовиков, которое организовал Тарасенков. После его окончания Тарасенков упал в обморок: у него был тяжелый приступ дистрофии, и его отвезли в госпиталь. Он прошел курс лечения, а когда выписался, перед больницей увидел штабеля трупов.

Вишневецкий был человеком, любящим театральные жесты, громкие фразы, демонстративные поступки. Однажды во время войны они с Тарасенковым шли по Дворцовой набережной Ленинграда, началась тревога, а вслед за ней — обстрел. Вишневецкий остановился и, опираясь на перила, что-то долго объяснял, не оглядываясь на разрывы падающих снарядов. Тарасенков ничего не мог делать, уйти одному было нельзя, показать, что страшно, было неловко.

Капитан подводной лодки Грищенко вспоминал, что в блокадном Ленинграде Вишневецкого звали Плаксой. «Он любил выступать перед народом. Приезжает на завод, сгоняют на митинг истощенных рабочих. Выходит перед ними на помост, в шинели, в ремнях, сытый, толстый, румяный капитан первого ранга и начинает кричать о необходимости победы над врагом. Истерик, он

себя заводил своей речью. Его прошибала слеза. Начались рыдания. Рыдания душили его. Он ударял барашковой шапкой о помост и, сотрясаемый рыданиями, уходил с помоста в заводоуправление получать за выступление паек. Приставленный к нему пожилой краснофлотец подбирал шапку и убегал следом. Изможденные рабочие, шаркая неподъемными ногами, разбрелись к станкам. И если кто спрашивал о происшедшем за день, ему отвечали: “А-а, Плакса приезжал...”»³⁸.

Вера Панова, относившаяся к Вишневскому с симпатией, писала: «...при своей пламенной непосредственности он не был лишен и своеобразного артистического кокетства, даже склонности к позированию. Он любил поразить слушателей парадоксальностью своей речи. Любил показываться в орденах. Любил напоминать о том, что он моряк.

Когда я передала ему рукопись “Кружилихи”, он сказал мне:

— За ответом приходите в пятницу. — И тотчас поправился: — Нет, в четверг: моряки ничего не назначают на пятницу.

И я своими глазами видела, как он плакал (настоящими крупными слезами) от идейного расхождения с автором (ему поначалу очень не понравился мой Листопад из романа “Кружилиха”). Он плакал, вытирая глаза платком и отвернувшись от меня к окну (но не забыв задернуть занавеску на окне, чтоб с улицы, из переулка им. Станиславского, не увидели, что он плачет)»³⁹.

О Тарасенкове, которой непосредственно отстаивал все ее повести и романы, отзывалась с огромной нежностью. «Тарасенков был довольно известным критиком, был внимателен к начинающим, любил литературу так, как все мы должны ее любить, — самоотверженно и

беспредельно. Он был мягче и доступней Вишневского, вероятно — поэтому начинающие с ним дружили больше»⁴⁰.

Славился Вишневский графоманией, которая в чем-то оказалась полезной; он писал огромные простыни-письма и вел столь подробные дневники, что в них помещались и сводки всех внешнеполитических событий; пламенные рассказы о встречах со Сталиным, посредственные мысли о литературе, диалоги с писателями, режиссерами и сложные любовные отношения с женой писателя Ленча. Страсти в его личной жизни кипели нешуточные, и порой Софья Касьяновна Вишневецкая, строго проверявшая записи в дневнике, возникала сама и размашистым почерком комментировала любовные переживания мужа.

Вишневский и Тарасенков: дружба и вражда

В конце войны и уже после ее окончания Вишневского месяцами не было в Москве. Он отвык сидеть в журнале, на «хозяйстве» был Тарасенков. Но когда все военно-политические проблемы улеглись, когда ему некуда больше было ездить, он решил взять управление журналом в свои руки. И тут увидел, что в журнале многое изменилось. И даже победа над Поликарповым, которую он сначала считал своей, при ближайшем рассмотрении оказалась подозрительной. Вот и письмо наверх Тарасенков написал сам, и выступил против без согласований, а как же Вишневский, а коллектив? Вишневский почувствовал угрозу своей журнальной власти.

Он любил выяснять отношения в письмах, непомерно больших, шумных. Уже через две недели после снятия Поликарпова, 20 апреля 1946 года, он с нескрываемой обидой в голосе писал Тарасенкову:

<...> Помнишь, после беседы в Клубе (числа 6-го апреля) я взял тебя за руку и хотел с тобой поговорить?.. Ты пошел домой с кем-то. А я как раз хотел сказать тебе существенные вещи о дальнейшем, и в частности о наших, порой вспыхивающих *личных* разногласиях. Хотел напомнить, что во все моменты — боевые, острые, политические (в дни когда, тебя громили в «Правде» и др., в дни Таллинна, в Ленинграде и пр., в дни когда снова возрождалось «ЗНАМЯ», и в канун 3-го апр<еля> с.г.) — я ясно — во имя большого нашего дела — я думал о тебе. Психологические моменты мне тоже понятны: *ты вырос*, тебе хочется своего простора, своего хозяйства и пр. Придет такой день, — и я буду, не сомневайся, — первым, кто поддержит... — Но вносить постоянно нотки раздражения, допускать хотя бы тень «двоевластия», полузатушеванного «спора» о месте, правах, функциях — совсем не надо... — У каждого из нас свои силы, свои обязанности, свое место в литературе, в Армии и т.п. — Простора хватит. А главное, на отчетливо понимать наши, твои и мои обязанности в «ЗНАМЕНИ», в ССП...

На скрытые и явные упреки Тарасенков отвечает на следующий день, 21 апреля 1946 года:

Привет, Всеволод! В который раз мы пишем письма друг другу и объясняемся?.. Ну, давай объяснимся еще раз. <...> Я очень ценю твою роль в литературе нашей и в «Знамени». Тысячи раз говорил об этом и с писателями, и в ЦК. В ответ на бесчисленные вопросы на протяжении многих месяцев: — Ну, вы, конечно, делаете журнал один?.. Всеволод ведь занят другим... — я отвечал так, как

считал: «Нет, Всеволод очень много работает в журнале, без него не идет ни одна рукопись, он много работает с авторами». <...> Никакого стремления отодвинуть тебя от руководства журналом, отнять у тебя что-то у меня нет и в помине. Я люблю журнал наш бесконечно, в нем проведены лучшие годы жизни, реализованы лучшие лит<ературные> мечты. Абсолютно согласен, — да, все в «Знамени» плод коллективного труда, коллективных усилий. В том числе и общелитературное значение победы над Поликарповым, над жандармскими методами «руководства» литературой. <...>

Я всегда видел в тебе самого близкого друга. Да и в литературной дискуссии 37 года, когда она склонна была перерасти в политическую расправу. И в Таллинне в 41 г. — И в блокаду Ленинграда. И на заседании 3-го апреля. Все это я очень хорошо помню. Именно потому меня удивляет такая крайняя непоследовательность в тебе. Никакая самая горячая привязанность моя к тебе не заставит меня вносить в отношение к тебе хотя бы оттенок холуйства, «личного секретарства». Ты — мой старший товарищ. Только так я понимаю наши отношения, которые нельзя уложить в служебную схему. Да, старший и по возрасту, и по партийности, и по литературе, и по войне. Но товарищ. Это святое слово⁴¹.

Тарасенков снова и снова повторяет ему, что не мог иначе, так как тот почти год отсутствовал то в Нюрнберге, то в Прибалтике, то на курорте, и кому-то надо было брать ответственность за все происходящее на себя.

Тарасенков любил журнал. Виктор Некрасов вспоминал, как в «Знамени» воспринимался Тарасенков и Виш-

невский. «Люди они по складу характера были разные. С легкой руки Тарасенкова — в основном он вел работу с авторами — атмосфера в редакции была на редкость неофициальная, приходило много народу, все смеялись, хохотали, Толя принимал, как всегда, сидя на столе, — в общем, было весело. В те дни, когда приходил Всеволод Витальевич, все немного подбиралось, пытались сосредоточиться, листали рукописи. И не то чтоб Вишневский был строг или как-нибудь по-особенному требователен, просто он был главным редактором и приходил не ежедневно, на два-три часа, не больше, и это создавало другую атмосферу — более деловую, во всяком случае внешне»⁴².

Но Тарасенков прекрасно понимал, что никто бы не дал ему возглавить «Знамя». Вишневский был локомотивом, который мог помочь осуществить его замыслы. В том числе напечатать Пастернака. Он умел уговаривать Вишневского. Освобождал его от текучки. К тому они были идейно очень близки. Пафос Вишневского — борца за коммунизм, Тарасенков вполне разделял, пока он не мешал ему любить литературу.

Вот тут и начинались внутренние противоречия. В этом смысле Вишневский был более последователен. И наверху чувствовали его абсолютную преданность. Но к 1946 году Тарасенков поверил в себя. Всю войну он пытался писать стихи и даже выпустил несколько сборников, но все-таки сумел понять, что это не его дело. Он служил журналу, который любил больше всего на свете, пытаясь печатать, то, что ему интересно.

А тем временем в Москве в течение двух месяцев проходят поэтические вечера. Ахматова с группой ленинградских поэтов выступает в Колонном зале Дома союзов, в вечере участвует и Пастернак. Их прекрасно

принимают, выступления имеют огромный резонанс, и поэтому даже у таких чутких партийных деятелей, как Вишневский, не возникает предчувствия опасности.

В дневнике от 19 мая Вишневский записывает, что к нему пришли Крон, Тарасенков с женами. Видимо, много читали. «Строки Ахматовой и Цветаевой... Стихийная мощь Цветаевой. Ее стихов на смерть Маяковского. Вечер, тихо пьем вино. Мне как-то смутно грустно...». Затем 23 мая: «Читаю из “Шести книг” Ахматовой...»⁴³.

Отношение к Ахматовой такое, словно ее поэзию только что открыли. В это же время проходит вечер Пастернака, и Тарасенков пишет восторженный материал для Совинформбюро, то есть для западного читателя. А затем большую статью для журнала под названием «Мозаика», где подтверждает свое восхищение перед Пастернаком и другими полуразрешенными поэтами.

Пастернак и Ахматова накануне постановления

В конце марта 1946 году в Москву выехала группа ленинградских поэтов. В «Литературной газете» писали, что 3 апреля Николай Тихонов будет вести вечер в Колонном зале Дома союзов. Выступать должны были Анна Ахматова, Ольга Берггольц, Николай Браун, Михаил Дудин, Александр Прокофьев и Виссарион Саянов. Ленинградцы выступят также в Центральном офицерском доме летчиков, в Доме актера и в других аудиториях столицы.

О тех встречах осталось много восторженных записей.

Из воспоминаний В.И. Виленкина: «Мы с Вадимом Шверубовичем попали на самый парадный, первый вечер — в Колонном зале Дома союзов. Какое же это было торжество, какой незабываемый светлый праздник

русской поэзии! Сколько здесь собралось в этот вечер военной и студенческой молодежи, какие славные мелькали лица, как забиты были все входы в зал, как ломились хоры и ложи от наплыва этой толпы юношей и девушек с горящими глазами, с пылающими щеками. Каким единством дышал этот зал, хором подсказывая Пастернаку, то и дело, забываемые им от волнения слова, вымаливая у Ахматовой еще, еще и еще стихи военных лет, стихи о Ленинграде, стихи о любви. Она и здесь, в Колонном зале, читала негромко, без жестов, чуть-чуть напевно, стоя в своем простом черном платье и белой шали у края эстрады»⁴⁴.

Эренбург запомнил слова Ахматовой, которая почувствовала, что эти торжества могут для нее кончиться плохо: «Два дня спустя Анна Андреевна была у меня, и когда я упомянул о вечере, покачала головой: “Я этого не люблю... А главное, у нас этого не любят”»⁴⁵.

Л.В. Горнунг писал в дневнике о встрече публикой Ахматовой: «...когда она вышла на эстраду, публика, поднявшись со своих мест, встретила ее громом аплодисментов и в течение 15 минут не давала ей начать свое выступление. Концерт прошел с исключительным успехом. Второй концерт был отменен, и кассы Дома союзов возвращали деньги»⁴⁶.

Очень любопытен в этой связи рассказ Марии Белкиной, который она привела в книге «Скрещенье судеб», о том, как происходил вечер в гостях у Пастернака в эти самые дни.

«Это произошло в 1946 году весной; тогда в Колонном зале состоялся знаменитый вечер поэзии, на котором выступали Ахматова и Пастернак, и их тогда не отпускали со сцены, требуя еще и еще стихов, а выступавших был длинный список. Зал был так набит, что и проходы все были заполнены людьми. Анна Андреевна вы-

ступала в черном платье и белой шали с длинной бахромой. Потом в этой же белой шали на плечах она сидела за столом у Бориса Леонидовича в Лаврушинском переулке. После обеда — а может быть, ужина — накрывали к чаю. Анна Андреевна сидела на тахте, и рядом с ней Олечка Берггольц, она тогда была очаровательна, остра, весела, поминутно вскидывая льняное крыло волос, которое падало ей на глаза, рассказывала что-то смешное, и Анна Андреевна ей ласково улыбалась. Там же, на тахте, рядом с Олечкой уселся Тарасенков, он был еще в форме офицера Балтийского флота. Были и еще гости, но кто именно — не помню. Борис Леонидович то появлялся в комнате, то исчезал. Где-то там, в коридоре или в другой комнате, зазвонил телефон, и Борис Леонидович снял трубку. Потом он появился в дверях и, несколько смущаясь, стал объяснять, что это звонит Вертинский.

...Вертинскому кто-то сказал, он от кого-то услышал, словом, он знает, что здесь сейчас Ахматова... Это становится просто невыносимым, все всё знают, все всё слышат, что делается у тебя за стеной, за запертой дверью! Ты живешь, как под стеклянным колпаком, так невозможно больше, так невыносимо жить... Я не скрываю, что у меня Ахматова, я горжусь тем, что у меня Ахматова... Но зачем же об этом надо говорить... И при чем тут Вертинский? А может быть, Ахматова не хочет видеть Вертинского, и это надо будет ему объяснять... Он преклоняется перед Ахматовой, он просит, нет, он умоляет разрешить ему приехать и поцеловать руку Ахматовой...

Гости шумели, смеялись, говорили все разом, а Борис Леонидович терпеливо ждал у дверей.

— Ну, так как же быть, как же мы поступим, Анна Андреевна, пускать его или не пускать?

— Пускать, — сказала Анна Андреевна, — пускать, мы поглядим на него, это даже интересно.

— Но, может быть, кому-то это неприятно?.. Может быть, кто-то не хочет видеть Вертинского? Вы скажите, — говорил Борис Леонидович.

— Пускать, пускать! — отвечали все хором.

Пили чай, когда пришли Вертинские, она тоненькая, с каким-то странным, загадочным птичьим лицом — огромные холодные глаза и широкие разлетающиеся брови. Она потом играла в одном фильме птицу Феникс, и лицо ее, казалось, было создано специально для этой роли. Он высокий, статный, с мучнисто бледным большим лицом, с залысинами надо лбом, за которыми не видно волос, безбровый, безресничный, с припухшими веками, из-под которых глядели недобрые студенистые глаза, и тонкий прорез рта без губ. Он поставил бутылку коньяка на стол и попросил разрешения поцеловать руку Анны Андреевны. И Анна Андреевна театральным жестом протянула ему руку, и он склонился над ней. Все это походило на спектакль, где я, сидевшая в стороне от всех, за другим концом стола, была, как в зрительном зале. Гостям, видно, не понравился Вертинский, не понравилось и то, что он приехал со своей бутылкой коньяка, а теперь, откупорив бутылку, хотел всем разлить коньяк. Все отказались и наполнили бокалы вином. И он, налив коньяк себе и жене, произнес выпретенный и долгий тост за Анну Андреевну, и его длинные тонкие руки взлетали и замирали, и из рюмки не расплескалось ни капли коньяка. Я была уже на его концертах, и меня тогда поразила его артистичность и умение “держат” зал. Но здесь он взял неверный тон и, должно быть, понимал это, но не мог уже отступить. Олечка, не выдержав, шепнула что-то. Анна Андреевна повела в ее сторону

глазами, и она притихла, уткнувшись в плечо Тарасенкову. Когда Вертинский кончил, Анна Андреевна благосклонно кивнула ему головой и, отпив глоток, поставила бокал на стол.

И почему-то Вертинский сразу стал читать стихи Георгия Иванова о любви к России. Было ли это связано с тоской, хотел ли он заполнить возникшее напряженное молчание — не помню. Помню, что он стоя читал стихи и, закончив их, заговорил о том, что никто из нас здесь — в России — не мог любить Россию так, как любили они Россию там... Я видела, как Борис Леонидович, чуя недоброе, растворился в темном коридоре. Тарасенков рванулся что-то сказать, а Олечка дернула его за рукав, она сама хотела ответить Вертинскому. Но всех предупредила Анна Андреевна. Она поднялась с дивана и, поправив шаль на плечах, сказала, что здесь, в этой комнате, присутствуют те, кто перенес блокаду Ленинграда и не покинул город, и в их присутствии говорить то, что сказал Вертинский, по меньшей мере бестактно и что, по ее мнению, любит Родину не тот, кто покидает ее в минуту тяжелых испытаний, а тот, кто остается вместе со своим народом на своей земле.

Не знаю, быть может, Олечка или кто другой записали и более точно.

— Уйдем отсюда, нас здесь не принимают, — прошептала птица Феникс.

Анна Андреевна, окончив говорить, села, и влюбленная в нее Олечка бросилась целовать ей руки»⁴⁷.

28 мая 1946 года Тарасенков сдал материал для Совинформбюро о вечере Пастернака. Приведем частично эту статью. По ней видно, насколько открыто Тарасенков говорит о пастернаковском поэтическом мире, так, словно тот вполне «разрешенный» поэт.

ВЕЧЕР БОРИСА ПАСТЕРНАКА В МОСКВЕ

«<...> Полукруглая эстрада, затянутая серым сукном. Маленький стол, на нем — лампа, стакан воды и рукописи поэта. Около стола, — высокая фигура поэта в скромном черном костюме. Ему уже 56 лет, волосы его обильно тронуты сединой, но по-прежнему юношески стройна его фигура, так же энергичны и порывисты движения, тот же огонь в глазах, что был и три десятилетия назад, в пору первых литературных выступлений этого замечательного и своеобразного лирика современности. Сначала Пастернак читает старые хорошо знакомые аудитории стихи, — о дожде, о ревности, о трагическом любовном разрыве двух сердец, о природе Урала, о первом отвергнутом признании. Все это вещи двадцати-тридцатилетней давности. Аудитория знает их наизусть. Когда поэт забывает — из зала несется дружный хор голосов, напоминающих автору его собственное творение, уже ставшее достоянием многих сердец и умов. Аудитория как бы зачарована, — она в сотый раз переживает вместе с поэтом его стихи. Пастернак читает очень своеобразно. Его читка непохожа на чтение актера, — она небогата интонациями, поэт подчеркивает скорее ритм, рифму, но не смысловые ходы своих очень сложных вещей. Некоторые критики долгие годы твердили о непонятности многих стихов Пастернака массам.

Вечер в Политехническом музее — живое опровержение этой усталой легенды. Аудитория вчерашнего вечера была разнородна, здесь были молодые поэты, старые опытные редактора газет и журналов, партийные работники, библиотекари, ученые, но огромную прослойку аудитории составляли рядовые студенты и студентки, рабочие, служащие Москвы. Свыше тысячи человек около трех часов слушали своего поэта. Ни один

человек не вышел. Как с самого начала вечера в зале не было ни одного свободного места, так он оставался абсолютно полон до самого конца. В чем же секрет обаяния пастернаковской лирики? Может быть, в том, что поэт касается, так называемых, “вечных” тем — любви, ревности, природы? Нет. Это неверно. Пастернак насквозь современен. Русский читатель очень точно ощущает, что его стихи не могли быть написаны ни в пору классического русского реализма 19 века, ни в более позднюю пору символизма или футуризма. Пастернак часто касается тем общественных, — таков, например, великолепный по драматизму отрывок из поэмы “1905 год”, прочтенный автором на вечере. Здесь Пастернак изображает мятеж матросов-революционеров на броненосце “Потемкин”. Есть у Пастернака и стихи на темы войны против немецкого фашизма, исполненные драматизма и гнева к врагу. Но даже тогда, когда Пастернак пишет на самые, казалось бы, отвлеченные, “вечные” темы — он до мозга костей современен. Только современному читателю близка и понятна та многоплановая система ассоциаций, которой Пастернак пользуется с такой виртуозной внутренней свободой, без труда перенося воображение читателя от описания жизни лесных дроздов к афоризмам о сущности искусства, когда он переплетает описание игры на пианино с любовным объяснением, когда пейзаж современного города в фантастическом освещении луны становится фоном для трагического монолога героя о неразделенной его страсти к женщине. Картины русской зимы и осени чередуются у Пастернака с чисто философскими строчками о народе, которому “чужды черты холопства, которые кладет нужда”, запах сосен мешается с монологом Гамлета, обращенным из глубины 17 века к нашим современникам. Во всем этом сложном импрессионистическом сочетании

самых неожиданных метафор сегодняшней читатель без труда разбирается. В кратком вступительном слове к вчерашнему вечеру импрессионистическими назвал свои ранние стихи сам автор. <...> Гибкость и емкость поэтической формы Пастернака поразительна. Это сказывается и на чрезвычайной широте его тематического кругозора, и на умении Пастернака переводить стихи других народов. Вчера Пастернак продемонстрировал некоторые образцы поэтического перевода, — он читал грузинского романтика 19 века Николо Бараташвили, он читал Верлена, и, наконец, “Зиму” и “66-ой сонет” Шекспира в своих переводах. Все это перевел Пастернак виртуозно, с полным пониманием национальных и эпохальных особенностей интерпретируемых поэтов. Переводы Пастернака пользовались таким же успехом, как и его оригинальные стихи. Во время чтения этих переводов от имени неизвестных почитателей поэта, — на сцену принесли подарок Пастернаку, — огромный куст цветущей сирени. Он был поставлен на стол. Чтение стихов продолжалось. Несколько раз поэт объявлял свой вечер законченным. Тогда публика вставала со своих мест и стоя аплодировала три, четыре, пять минут подряд. Поэт выходил снова, смущенно улыбался своей доброй, почти детской улыбкой и продолжал чтение. Вещи, еще не успевшие появиться в печати, аудитория заставляла повторять по два раза. Одно известное стихотворение, написанное еще в 1916 году (“Импровизация”), поэт прочел в совершенно новом варианте. Это вызвало бурю восторга и требование немедленного повторения, что поэт охотно и сделал. Вечер прошел с каким-то особым накалом и трепетом. Он превратился в триумф тонкого и сложного лирика современности, нашедшего полный духовный контакт со своей аудиторией»⁴⁸.

Пастернак как поле боя

Тарасенков в своем рассказе о борьбе с Поликарповым очень осторожно написал о Пастернаке. А ведь Поликарпов, понимая, что проиграл, настойчиво твердит — что к книге Пастернака «Земной простор» относится резко отрицательно, и поминает статью Тарасенкова в «Знамени», и статью эту считает очень вредной для советского читателя.

Вишневецкий, тоже произнося свою речь, хоть и поддерживал Тарасенкова в борьбе с Поликарповым, все-таки ультимативно предупреждает его: «Будешь за Пастернака — буду против тебя, буду драться».

Тарасенков опускает эту фразу из своего рассказа. Почему? Видимо, старается не дразнить гусей. В июне он пишет статью «Мозаика» и дает познакомиться с ней редколлегии журнала. В ней ряд портретов-зарисовок: Пастернак, Ахматова, Симонов, Тихонов, Сельвинский и др.

Тихонов во внутренней рецензии не разделяет восторгов критика.

«Пастернак — гениальный поэт», — цитирует Тихонов Тарасенкова. — При всей моей любви к Пастернаку я бы так легко не писал такое слово, гениальность — всегда народное или, во всяком случае, очень общечеловеческое. Правда, можно сказать: гениальный миниатюрист. Это не в отношении Пастернака, а так вообще. Нет, слова “гениальный” я бы не ставил, потому что чувствую тут не настоящую правду, а только неприятный для критика привкус обожания, чего не надо показывать и в самой легкой разговорной, по душам, критике. Потом Пастернак не нуждается в такой яростной защите, точно автор хочет сказать: да ведь он советский поэт, наш. Что значит: наш! А кто говорит, что

он не наш? Почему спор в этом направлении? Нет, дело не в этом, абсолютно не в этом — и автор это знает, но не говорит»⁴⁹.

Но Тихонов бывший друг и поклонник поэта, и поэтому его отношение к Пастернаку вполне лояльное, а Вишневский от новой позитивной статьи о Пастернаке потихоньку впадает в раздражение. Он снова отправляет письмо-простыню Тарасенкову.

26 июня 1946. Утро.

Вишневский — Ан. Тарасенкову

Дорогой Толя.

Снова думаю о прочитанном тобой «портрете» Б. Пастернака. Ты хочешь сделать определенно скандальный шаг... — Он будет иметь тяжкие последствия, особенно после острого обсуждения темы Пастернака 3-го апреля.

Здесь Вишневский отсылает Тарасенкова к выступлению Поликарпова в ЦК.

Ты в полемическом задоре готов опрокинуть всю советскую критику и библиографию по Пастернаку и объявить его великим советским поэтом, забыв совсем, что значит в народном, боевом, партийном плане слово «великий»... <...>

Ты споришь с Ан. Тарасенковым, — который написал в 1931 году «Охранную грамоту идеализма («Литературная» газета). Ты споришь с ним же по журналу «Звезда»... И сопоставления цитат молодого Тарасенкова 1931 года и Тарасенкова 1946 года произвело бы убийственное впечатление... Слу-

чай превращения марксистского критика в апологета аполитического, стихийного, мечущегося поэта <...>

Почему, дорогой друг, ты забыл уход Пастернака из ЛЕФа явно политический. «ЛЕФ» тогда заявил о необходимости поставить искусство на службу революции...

Почему ты забыл позицию Пастернака в «Поверх барьеров»?.. «Поверх» войны 1914–18 гг., которую П<астернак> определил лишь как «дурной сон», «поверх» революции и гр<ажданской> войны, «поверх» борьбы последующего периода.

Почему ты забыл о стонущем, пассивном отношении Пастернака к социализму?.. Он изображает человека жертвой революции. Ты не видишь этого?.. Странно! «Напрасно в дни великого совета... оставлена вакансия поэта — она опасна, если не пуста»... — Критик Ан. Тарасенков обходит все программные заявления Пастернака. Он не видит, что даже «Кремль в буряне 1918 года» — Пастернак полон идеей гибели, пассивной отдачи людей в жертву неумолимой революции. Лейтенант Шмидт — тоже только пассивная жертва... «Судьбы, расплющенные в лепеху» (— о, как это символично для Пастернака!). А ты закрываешь глаза, — и кричишь о великом поэте... Очнись, Анатолий!

Страна делает спасительный рывок пятилеток... «Телегою проекта нас переехал новый человек»... Хрустнули ребра, полезли кишки?.. Так ведь! А не будь этих проектов пятилетки, — где был бы Пастернак? Опять в Марбурге... *Кстати, в дни бегства из Москвы — Пастернак говорил Соф<ье> Касьяновне: «Как я рад, что у меня сохранились письма из Германии...».* Деталь, которую ты не смеешь

пропустить! Я довожу ее до тебя открыто, официально. О «великом» — полезно знать побольше...⁵⁰

В ответ на сплетню, пущенную женой Вишневского о Пастернаке, Тарасенков отвечает в письме, посланном в тот же вечер.

Я пришел домой, перечел твое письмо, переворочил еще кое-какие материалы и должен сказать прямо, — я ожидал от тебя не такой критики моей работы. Твои аргументы? Первый аргумент разговор с Софьей Касьяновной. Я не могу его принять. Пастернак говорит очень, очень сложно, подчас витиевато в обычном житейском разговоре. Софья Касьяновна могла его не точно понять, перепутать, позабыть (разговор имел место 5 лет тому назад). Скорее всего, Пастернак разумел письма к нему от Рильке, крупного немецкого поэта, умершего в 1926 г. Знаю, как Пастернак вел себя в дни бомбовых атак на Москву, он героически тушил немецкие «зажигалки», работал на крышах ночами, как член команды МПВО. Я категорически отмечаю приклеивание Пастернаку каких-либо пронемецких разговоров. Этого не могло быть, и не было. Я в это не верю и никогда не поверю.

Вишневский продолжает кроважидный «разбор» Пастернака.

СССР «курится сквозь дым теорий». Некий костер, где сгорают миллионы, не так ли?.. — Схласты, доктринеры, теоретики?.. — О, это почти «Россия во мгле»... — Люди там, в СССР, «грызутся» и

«заподозревают (так!) друг друга». Перечитай книги Пастернака.

Об «Охранной грамоте» ты сам писал. Перечитай на досуге свою статью. М<ожет> б<ыть,> ты вспомнишь пастернаковское «Лучше спать, спать, спать»? О, какой великолепный лозунг для народа, – какое выражение сил, ума, прозрения у «великого»!.. «Мне смерть, как приелось жить»... Какое признание, как оно великолепно!

А его теории: поэзия как «гипнотическая отчизна», искусство как «смещение действительности» и пр. и пр. – Как это обогатило народ! Я не продолжаю. Просто утром, встав, набросал тебе эти несколько слов предупреждения и совета.

На это Тарасенков использует классический прием советского критика, мол, это рапповцы ругали Пастернака.

Твой второй аргумент, – жалкая статейка мерзкого Селивановского из «Литературной энциклопедии». <...> Все твои цитаты – из статьи Селивановского, а не из первоисточника. Ты вспоминаешь – по Селивановскому – стихи «Лучше спать, спать, спать». Ты восклицаешь: о, какой великолепный лозунг для народа»... и т.д. Напрасно ты верил фальсификатору Селивановскому. Эти стихи, которые он выдает за написанные Пастернаком в наши дни, на самом деле написаны до Октябрьской революции (проверь, если хочешь, по однотомнику Пастернака, Л., 1933, стр. 76). Ты толкуешь строфу, где Пастернак говорит об СССР «курится сквозь дым теорий», как некий костер, где сгорают миллионы. Неправда!!! Вот полный текст:

«Ты рядом даль социализма.
Ты скажешь – близь? – Средь тесноты,
Вот имя жизни, где сошлись мы, –
Переправляй, но только ты.

Ты куришься сквозь дым теорий,
Страна вне сплетен и клевет,
Как выход в свет и выход к морю,
И выход в Грузию из Млет».

Это поворотные, этапные стихи Пастернака, написанные в 1931 году, в них он приветствует социализм, он нашу страну сравнивает с курящимся вулканом (надо понять, – все стихотворение о г о р а х, из контекста весь образ ясен). Я писал об этом в «Литературной газете» от 11 декабря 1932 г. (статья «Второе рождение Пастернака»). Никто из критиков меня не опроверг в этом пункте. Я сейчас подтверждаю абсолютную правильность такой трактовки. Снова из Селивановского – о лейтенанте Шмидте в изображении Пастернака как о пассивной жертве. Снова из этого же источника строки о торфе. Напрасно ты веришь Селивановскому. Пастернак говорит здесь о том, что каждая эпоха имеет свой вкус, запах. В этом смысле он и утверждает: «И внуки скажут как про торф, – горит такого-то эпоха». Привязывать к этому символический смысл совершенно не стоит. Это точно, реалистично и не нуждается в истолкованиях. «Марксизм» Селивановского состоял в том, чтоб в любой пейзажной или лирической строчке видеть социальный смысл и «уличать» любого художника, – ах, вы сравниваете березу со свечой, – значит, вы в бога верите, ах, вы сравниваете волосы со снопом ржи, – значит, вы кулацкий поэт. Храни нас от такого «марксизма»!!!

Откуда взялось утверждение, что стихи Пастернака «Кремль, в бурян конца 1918 года» полны идей гибели, пассивной отдачи людей в жертву неумолимой революции? Опять из Селивановского! На самом деле стихи эти выражают восторг Пастернака перед образом Кремля, который, как корабль революции, несется сквозь пургу. Здесь у Пастернака много общего с Блоком, его «Двенадцатью». Я отмечаю этот аргумент Селивановского просто как недобросовестный, как, впрочем, и все остальные его аргументы. Абсолютный вздор трактовать «Поверх барьеров» как «поверх революции» (книга вышла до нее!!!).

Я готов спорить, готов вести дискуссию. С тобой такая дискуссия для меня была бы очень интересна. С Селивановским спорить не желаю. Я же довольно полно (в двух подвалах «Литературной газеты», от 5 июня 1936 года) высказал свой взгляд на «творчество» этого типа. После этого он в литературе выступить уже больше как-то «не успел»...

Вношу предложение:

Сними твое письмо ко мне от утра 26 июня с.г. Давай все же наш спор начинать на новой подлинно творческой основе, так мы с тобой привыкли.

Привет тебе сердечный.

Ан. Тарасенков⁵¹.

Но Вишневого переубедить невозможно. Всем существом истинного коммуниста он чувствует, что Пастернак идейно чужой, а кроме того, видимо, получает, какие-то сигналы с самого верха. В один из дней Пастернак заходит в «Знамя». Вишневецкий записывает в дневнике его монолог:

Когда я написал статью о Шекспире — я проснулся утром с ощущением волнения и человеческого счастья. Позвонил брату: «Запомни, если я потом отрекусь или забуду...» — Вышел на лестницу: неужели испортят это ощущение? Крик снизу: «Борис <нрзб>. Вот какая неудача, беда! Я прочла списки лауреатов и не нашла Вашего имени!.. От сердца отлегло: «Ну, все в порядке. Ощущение мое — полного счастья — я удержал... Хоть ненадолго⁵².

Вишневский слышит слова Пастернака о списке лауреатов, и они задевают его. Ведь Тарасенков подавал от «Знамени» сборник Пастернака на Сталинскую премию. И, может быть, Пастернак, рассказом о своей нечаянной радости, дает понять Вишневскому, что не премия для него главное в жизни, а вдохновение. Но Вишневского не провести. Он наблюдает за Пастернаком давно и не верит ни одному его слову. Пастернак — заноза в его душе, вечный ужас. Тем более, что и Тарасенков становится все более неуправляем.

26—31 июля в дневнике Вишневский пишет раздраженно:

Беседа с А. Тарасенковым и Даниным о работе в «Лит<ературной> газете». Тарасенков нестерпим, капризен, полон самомнения. — Я поставил его на место, сказал: «Тебе рано командовать». Он помесь «дипломатии» и хамства — нервен, труслив, лит<ературный> дилетант, и дотошный, прилежный ред<акционный> служака. <...> Я 15 лет тяну Тарасенкова, слабость его я видел в 1937, в 1941 в Галлинне (страх), в Л<енингра>де (нервы, упадок, дух. Разложение, психоз от голода). Бывают привязанности...⁵³.

Постановление

Мария Белкина говорила, что накануне постановления о журналах «Звезда» и «Ленинград» не было никакого предчувствия, что что-то готовится. Казалось, интрига созрела наверху спонтанно; писателям должны были показать, что с мимолетным чувством свободы придется расстаться. Однако показательная порка двух ленинградских журналов «Звезда» и «Ленинград» и преследование Ахматовой и Зощенко — получилось из-за странного неустойчивого равновесия, которому Сталин позволил сложиться в Агитпропе.

У Маленкова были отобраны все полномочия члена президиума ЦК, кроме возможности вести собрания ЦК. Жданов остался на должности, которую только что делил с Маленковым, а Сталин оставался над схваткой, наблюдая за дракой двух своих выдвиженцев. И вот Маленков решил выжать из своего положения все, что только мог.

У него оставалось право вести Оргбюро ЦК, и он сумел испортить триумф Жданова. О самом постановлении написано очень много, поэтому коснемся наиболее важных моментов. Разговоры о неподобающем состоянии журналов возобновлялись с 1944 года постоянно, причем в этот список попадали все журналы без исключения. Тема эта широко использовалась в аппаратной игре за Агитпроп, которым руководили Маленков и Жданов. С другой стороны, атаки на Зощенко тоже начались с 1944 года, с момента выхода романа «Перед заходом солнца», который попеременно ругали то Фадеев, то верхушка Союза писателей. Мало того, Зощенко 20 июля 1944 года вызывался на беседы-допросы к агенту НКВД, но его не арестовывали, а критиковали наряду с другими поэтами и писателями.

Интересно, что и Ахматова никак не фигурировала среди критикуемых, что и позволило ей спокойно публиковаться в «Знамени» и выступать в Колонном зале. Ее присутствие в постановлении могло быть вызвано тем, что она «слишком тепло», по мнению власти, была принята публикой, а ей давно уже сопутствовала репутация наверху «старой, забытой поэтессы». Второе, что явно вызвало раздражение Сталина, — встречи Ахматовой с Исайей Берлином. В своем исследовании «Тайная политика Сталина», посвященном послевоенной жизни СССР и оснащенном большим архивным материалом, Г. Костырченко пишет: «Еще в конце 1945 года Сталину донесли, что Ахматова без санкции сверху принимает в своей ленинградской квартире важных иностранцев. Дело в том, что в ноябре ее трижды посетил специально приехавший из Москвы второй секретарь английского посольства Исайя Берлин. Причем нес он эти визиты не по долгу службы, а движимый большим интересом к русской литературе, переросшим потом в профессиональную научную деятельность и принесшим ему в итоге широкую известность в ученом мире и рыцарский титул.

Согласно сводкам наружного наблюдения, на первую встречу с Ахматовой Берлин прибыл в сопровождении ленинградского литературоведа В.Н. Орлова. Будучи представленным поэтессе, английский гость прямо с порога несколько высокопарно заявил: “Я приехал в Ленинград специально приветствовать вас, единственного и последнего европейского поэта, не только от своего имени, но и от имени всей старой английской культуры. В Оксфорде вас считают самой легендарной женщиной. Вас в Англии переводят с таким уважением, как Сафо”. И хотя Сталину, скорее всего, докладывали о литературоведческом характере этих встреч, однако он предпочитал рассматривать их как замаскированную шпионскую деятель-

ность английского дипломата. В этом убеждении он наверняка укрепился после того, как с Лубянки ему сообщили о том, что Берлин пытался договориться с Ахматовой об установлении “нелегальной связи”, а потом был замечен у дома поэтессы в обществе Рэндольфа Черчилля, сына бывшего премьер-министра Великобритании, гостившего в Ленинграде. По городу поползли тогда слухи о том, что англичане хотят выманить Ахматову за границу и даже тайно прислали для этой цели самолет. Есть свидетельства, что, узнав об этом, Сталин, еле сдерживая ярость, произнес: “А, так нашу монашку теперь навещают иностранные шпионы...”»⁵⁴.

Сама интрига состояла в том, что Жданов, на основании записки начальника управления агитации и пропаганды Александрова и его заместителя Еголина от 7 августа 1946 года о неудовлетворительном состоянии журналов «Звезда» и «Ленинград» (повторим, такие записки были обычной рутинной практикой), подготовил заседание Оргбюро, на котором решил со всей мощью обрушиться на представителей старой интеллигенции Зошенко и Ахматову. Сталину был показан рассказ Зошенко «Приключение обезьяны», который привел его в ярость.

Сталин позволил Жданову воспользоваться задуманным планом и в полной мере подвергнуть остракизму Зошенко и Ахматову и иже с ними, но Жданов не мог и представить, что сам попадет в расставленные сети. Маленков в полной мере воспользовался своим правом вести Оргбюро ЦК и с удовольствием перевел разговор с Союза писателей, недосмотревшего за Зошенко и Ахматовой, на ленинградскую партийную организацию, которая курировала журналы, в которых они печатались.

Получилось так, что, когда Жданов закончил произнесение гневных обличений в адрес Зошенко и Ахмато-

вой, Маленков обратил внимание ЦК и Сталина на то, что Зошенко был введен в состав редколлегии журнала «Звезда» ленинградским горкомом партии. «Бдительность Маленкова, получившая одобрение у Сталина, способствовала тому, что в окончательный вариант постановления о журналах был внесен пункт о грубой политической ошибке ленинградского горкома. Для руководителей Ленинграда и их московских покровителей — Жданова и Кузнецова это был, конечно, удар, хотя они попытались сделать все для того, чтобы смягчить его. Характерная сцена произошла в перерыве заседания оргбюро 9 августа. По воспоминаниям П.И. Капицы, «к Саянову подошел секретарь ЦК по кадрам Алексей Кузнецов. Он начал уверять Виссариона, что сказанное Сталиным надо принять как похвалу. При этом пожал ему руку и произнес:

— Поздравляю, держи голову выше!

К нам подошли секретари ленинградского горкома, а потом присоединился и Жданов, решивший, видимо, нас подбодрить:

— Не теряйтесь, держитесь по-ленинградски, мы не такое выдержали <...>

В дверях показался Сталин. Видя толпящихся ленинградцев, шутливо удивился:

— Чего это ленинградцы жмутся друг к дружке? Я ведь тоже питерский. Жданов отошел от нас»⁵⁵.

Виссариона Саянова, в то время главного редактора журнала «Звезда», все подбадривают, хотя, если следовать логике, критика была направлена именно против него и его журнала.

Видимо, именно Маленкову история обязана той странной формулировкой, с которой навсегда связали многострадальных Ахматову и Зошенко с деятельностью журналов «Звезда» и «Ленинград».

Сталин, верный себе, почувствовал заговор. Он увидел в Жданове неискренность. Может быть, именно в этот день и была открыта дорога к уничтожению ленинградской партийной организации. Но Сталин всегда расставлял свои ловушки незаметно, тихо, чтоб не вспугнуть жертву. А в воображении вождя уже возник образ ленинградской «оппозиции», которая «жмет-ся друг к дружке».

Заседание оргбюро ЦК ВКП(б) проходило 9 августа 1946 года. А 14 августа вышло знаменитое постановление, круто изменившее жизнь советской интеллигенции.

Последствия

Одно мне стало предельно ясно, все надежды, переполнявшие меня в связи с нашей великой победой, оказались иллюзиями.

М. Алигер. «Воспоминания об Ахматовой».

Послевоенное движение культуры с робкими попытками самостоятельности было грубо остановлено. Теперь надо было выступать, и выступать с поддержкой постановления.

Маргарита Алигер, верная линии партии, но при этом страстно любящая Ахматову и ее поэзию, спустя годы на страницах, не вошедших в основной корпус воспоминаний об Ахматовой, писала: «Весной 1946 года я некоторое время прожила в Ленинграде, — репетировалась моя пьеса. Жила я в “Астории”, где неизменно встречались знакомые москвичи, ежевечерне приходили друзья-ленинградцы и было интересно и весело. У Ахмато-

вой я бывала часто и чувствовала себя с ней все свободнее и проще. Она охотно читала свои новые стихи, — они у нее в ту весну писались и печатались, готовя большую книгу, была деятельна и бодра. Лев Николаевич вернулся с войны здоровым и невредимым, жил с матерью. Жизнь, наконец, пошла нормально.

Бывая у Ахматовой днем, я несколько раз заставляла ее за работой, — большой стол посреди комнаты и скорее обеденный, чем рабочий, был завален тонкими тетрадными бумагами. Разбирая бумаги, Анна Андреевна иногда протягивала мне какие-нибудь фотографию или страницу, на которой подчас было записано всего несколько слов, а то читала вслух отдельную выписку или заметку. Помню поразившие меня строки о полной обнаженности и незащищенности лирического поэта, о том, что в этой-то обнаженности и заключена суть лирического, что лирик сам представляет самое личное и сокровенное. Мне запомнились эти слова. Их мудрость помогла мне пережить равнодушно-холодную критику моих собственных стихов.

А то, бывало, взяв какую-нибудь книгу, читала вслух строки, показавшиеся ей замечательными. Слово брала за руку и вводила в мир, где жила.

Раз она протянула мне старую фотографию прелестной, совсем юной девушки, почти девочки.

— Это я в Царском, — сказала она, — еще в гимназии.

<...> Лето 1946 года я проводила с детьми на Рижском взморье, много работала. Писала пьесу и решила, закончив ее, не возвращаться в Москву. Соседи мои поразъехались, а я не спешила. Уж очень хорошо было после дня работы бродить по берегу моря, по песчаной кромке, утрамбованной прибоем почти до твердости асфальта. Там и застало постановление о журналах “Звезда” и “Ленинград”. Трудно сейчас, пере-

жив последние 25 лет со всеми их потрясениями, в полной мере восстановить себя тогдашнюю, свое восприятие жизни. И не хочу я сейчас стараться выглядеть умнее и прозорливее, чем была на самом деле. Нет, было бы сильным преувеличением, если бы я утверждала сейчас, что в полной мере понимала тогда, сколь противоположно искусству любое административное вмешательство, сколь бесполезно и бессмысленно оно.

Я считала, что самое главное для литературы, продолжающей жить в мире, где столько лет бесчинствовал фашизм, самое главное для нее — высокая идейность, духовно укрепляющая людей, но зачем при этом изничтожать Зощенко и Ахматову? Зощенко я знала только как писателя, и этого было совершенно достаточно, что же до Ахматовой, — по-моему, все написанное мной выше освобождает меня от необходимости что-то добавить. Одно мне стало предельно ясно, все надежды, переполнявшие меня в связи с нашей великой победой, оказались иллюзиями.

Хотелось зажмуриться, забыться и потом очнуться, и чтобы все это оказалось лишь тяжелым сном. Но реальность оставалась реальностью. И почти физически я ощутила: в мире, где я живу и надеюсь еще долго жить, в литературе случилось нечто непоправимое. Но едва ли я тогда понимала меру той непоправимости.

В Москву я вернулась в начале октября. Там царило невеселое оживление, без конца созывались собрания, всячески раздвигались рамки действия постановления, применяемого к местному материалу. Шла упорная пустая деятельность, на которой литература наша (увы) потеряла много лет и немало драгоценных сил»⁵⁶.

Вишневский 18 сентября записывает в дневнике:

Очень много совещаний.... Вчера общемосковское собрание писателей. Слух о том, что гр<ажданка> Ахматова застрелилась⁵⁷.

Так как Ахматова перестает выходить из дома у себя в Ленинграде, возникает слух, который долетает до Москвы, что она покончила с собой.

Вишневский пишет у себя в дневнике — «гражданка Ахматова». В уме он уже перевел ее в уголовно обвиняемую. Но его в этот момент не особенно волнует Ахматова, он должен спасти себя, свой журнал. Он старается вычистить всех, кто как-то может бросить тень на его собственную линию. В дневнике появляется список неблагонадежных писателей, которых в случае чего можно будет по очереди сдавать. И, конечно же, здесь же — Пастернак.

30 августа. <...> Леонов из торгово-кулацкой среды... политически он не наш человек.

Вс. Иванов — глубоко враждебен марксизму. «Серапион» <...>. Б. Пастернак — политически и духовно совсем чуждый, идущий своей дорогой... Копаются в предках, пишет прозу (роман о 1905 годе), переводит Шекспира превосходнейше. Абсолютно не подлаживается, независим (порой демонстративно)⁵⁸.

Душа болит у Вишневского за идеологически близкого Николая Тихонова, которому за недосмотр (председатель Союза писателей, да еще связанный с Ленинградом) грозит что-то серьезное. Однако, забегая вперед, скажем, что Тихонов, как и в конце 30-х, когда была

расстреляна ленинградская группа писателей, которую согласно материалам дела он возглавлял, отделался легким испугом, что означало только одно – власть назначала врагов произвольно, не следуя никакой логике.

Вишневского связывает с Тихоновым и похожая личная ситуация, адюльтер. Втайне они имеют любовниц, из-за которых страдают и пьют. У Тихонова не первый год длится роман с Татьяной Лагиной, женой писателя Лагина, автора «Старика Хоттабыча», которая искала совсем иной судьбы. Неудачный роман с Тихоновым не остановил ее, ей удалось выйти замуж за классика советской литературы, орденоносного лауреата Сталинских премий Николая Вирту.

Наталья Соколова, бывшая с Лагиной в чистопольской эвакуации, писала о ней: «Танечка была хорошенькая до невозможности, ужасно хорошенькая, именно хорошенькая, а не красивая или интересная. Светлые волосы, голубые глазки, короткий носик, губки бантиком. Немного банально, но смотреть приятно. Мой отец называл ее – “переслащенный чай”»⁵⁹.

Т. Лещенко-Сухомлина, приятельствовавшая с женой Тихонова, 24 августа пишет в дневнике:

«Я еще в прошлом году сказала Николаю Семенычу Тихонову, что “положение обязывает” и что многое неприлично делать на виду у всех (Танька Лагина, беспрестанное пьянство), что следует выбирать людей, которыми себя окружаешь, и прочее. Бедная Маруся (жена Тихонова) знала, чем все это кончится. В нашей стране люди это должны понимать, особенно те, кто председатели. Сегодня в “Правде” от 21-го речь Жданова о журналах “Звезда” и “Ленинград”, о “пошлых” рассказах Зощенко и “салонно-чуждых” нам стихах Ахматовой. Бедная старая поэтесса. Уж ее-то можно было не трогать. Ее стихи превосходны!»⁶⁰

Вишневский продолжает на ту же тему в своем дневнике:

«О Тихонове». Он переживает свою драму: его снимают с поста ССП за полит<ическую> недалковидность, попустительство Зощенко, Ахматовой и пр. Чуждое влияние нравов и отсутствие борьбы с вредными тенденциями. Это тяжелая запись в формуляр Тихонова. <...> Т<ихонов> пессимистически говорит: «Мы попали в конвейер... <...> Т<ихонов> по натуре «бродяга», очень замкнутый, равнодушный к людям, к общественной борьбе. — Достаточно умный, но без опыта политической деятельности <...>. И, к сожалению, увяз в любви к Т<атьяне> Л<агиной>, которая за его спиной выделывала разные «номера».

18 октября, продолжает Вишневский, Н. Тихонов вернулся из Армении.

На душе кошки скребут: тяжело переживает замужество Т<атьяны> Л<агин>ой. Традиционно прощает ее, «я твой друг везде». Встречается, чтобы посидеть с ней за обедом, с ней и ее мужем, пряча боль... — Т<атьяна> Л<агина> изливается, плачет по ночам, что не мешает ей вкушать комфорт, с утра «принимает все знаки внимания, заказывать меню⁶¹.

По воспоминаниям Майи Луговской, Владимир Луговской тяжело переживал нападки на Ахматову, тем более что после ташкентской эвакуации, где они проживали рядом около двух лет, у них сложились теплые отношения. После войны, приезжая в Ленинград, он вмес-



**Семья Тарасенкова. В центре сидит: отец Кузьма Сильвестрович,
слева: мать Агния Николаевна. 1910 г.**



Толя Тарасенков. 1913 г.



**Трое подростков.
Справа Ан. Тарасенков. 1917 г.**



Ан. Тарасенков. 13 июня 1931 г.



А. Твардовский. Смоленск. 1930 г.

Анатолью
Магассилову
от А. Твардовского
12/III 30
Смоленск

КРЕДИТ ТЕОДОРИ СР.

Надпись на фотографии.



Отец М. Белкиной: художник-оформитель Осип Белкин. 1910 г.



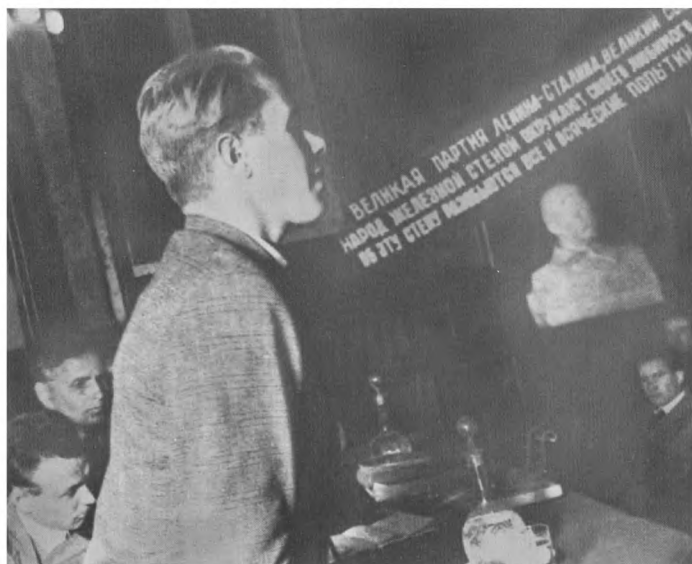
Мария Белкина в доме в Конюшках. 1930-е гг.



М. Белкина. 1933 г.



Московская РАПП.
В центре за столом Ан. Тарасенков и А. Фадеев. 1920-е гг.



Выступление Ан. Тарасенкова. 1930-е гг.



Алексей Толстой.
Шарж Ан. Тарасенкова. 1939 г.



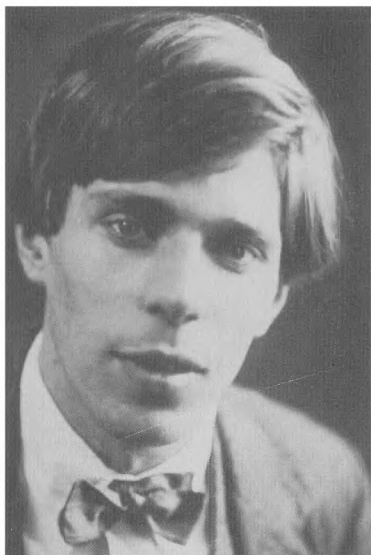
П. Игнатьев.
Шарж Ан. Тарасенкова. 1939 г.



Вс. Вишневецкий.
Шарж Ан. Тарасенкова. 1939 г.



Н. Адуюев.
Шарж Ан. Тарасенкова. 1940 г.



В. Яхонтов.
1930-е гг.



Наталья Соколова (Ага Типот).
Середина 1930-х гг.



Портрет Ан. Тарасенкова. 1935 г. Художник неизвестен. Фотокопия.



Ан. Тарасенков и М. Белкина. 1940 г.



М. Белкина, Ан. Тарасенков, О. Белкин.
Квартира в Конюшках. 1940 г.



М. Белкина.
Малеевка. 1940 г.



М. Белкина и Ан. Тарасенков.
Новая Ладога. Зима 1942 г.



Вс. Вишневский. Вс. Азаров копает грядки.
Дом на Песочной. Ленинград. Май 1943 г.



**Совещание писателей в Ленинграде. Л. Успенский, В. Азаров, А. Яшин,
В. Инбер, Н. Браун, Ан. Тарасенков. 6–7 февраля. 1942 г.**



**С. Вишневецкая и Л. Успенский.
Ленинград. 1942 г.**



Ан. Тарасенков в редакции журнала «Знамя». 1946 г.



Д. Данин. 1945 г.



**Б. Пастернак.
Конец 1940-х гг.**

ГЕНРИХ КЛЕЙСТ

Антонио

РАЗБИТЫЙ КУВШИН

Тарасенкову

КОМЕДИЯ

как все было... кем-то

Перевод с немецкого
Б. ПАСТЕРНАКА

*в 1914 году летом, когда
я это переводил!!*

Дн. Тарасенков

Б. Пастернак

19. III. 44.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ИСКУССТВ, О-
Москва 1941 Ленинград

Дарственная надпись Б. Пастернака на книге. 1944 г.



Ан. Тарасенков с сыном.
Москва. Весна 1945 г.

те с Майей навещал ее в комнате в Фонтанном доме. «Постановление по поводу журналов “Звезда” и “Ленинград”, – писала Майя, – болезненно были восприняты Луговским, как и очень многими. Луговской глубоко сочувствовал Ахматовой и Зощенко, был возмущен. Не мог понять, как Жданов позволил себе сказать об Ахматовой: “полумонахиня, полублудница”. Иронический Светлов, подтрунивая над Луговским по этому поводу, шутил:

– А ты знаешь, Володя, все-таки в этом что-то есть, какая-то точность оценки, что ни говори.

Полчища учеников из литобъединений постоянно овладевали кабинетом Луговского. Из осторожности, на всякий случай, зачем дразнить чертей, я заменила чудесную фотографию Ахматовой, стоявшую на книжном стеллаже, открыткой, привезенной Луговским из Парижа, изображавшей одну из женоподобных химер на Notre-Dame. Другую, точно такую же открытку с “Печальным дьяволом” – Луговской, утверждая, что похож на него, всегда держал на своем письменном столе. Было органично – стоят две однотипные открытки, никто и внимания не обратит на замену. Но не тут-то было, зоркий глаз Светлова сразу же заметил. Хитро подмигнув мне, он произнес:

– Как Ахматова переменялась после проработки! Ну, ну, босячка, ты даешь!

И только тут я обратила внимание, что у химеры этой есть сходство с Ахматовой – сосредоточенность, горбоносость, да и на голове как будто шаль... Ай да Светлов! <...>

Постановление о журналах “Звезда” и “Ленинград” привело к тому, что Тихонова сняли с главы Союза писателей. На его место был вновь назначен Фадеев. Тихонов переживал это довольно тяжело. Будучи блестящим поэтом, он оказался к тому же и службистом. Тихонов не

знал, во что еще выльется его отставка, что за ней может последовать. Он волновался. Мария Константиновна хранила олимпийское спокойствие. А Тихонов не скрывал озабоченности своей судьбой, он даже попросил меня погадать ему на картах, что его ждет. Я иногда удачно гадала. Луговской как-то этим похвастался у Тихоновых и — вот. Стала раскладывать карты. Седовласый пятидесятилетний Тихонов, затаив дыхание, следил за картами и слушал. Меня несло, вдохновение гадалки на этот раз посетило, хотя случалось это далеко не всегда. Карты ложились удачно, никакого удара не выпадало, все неприятности оставались в прошлом, получалось, что все уладится и главную роль в этом сыграет благородный король.

— Сталин... — с радостной надеждой прошептал Тихонов.

— Да, да, конечно Сталин, — поддержала его Мария Константиновна.

Даже Луговской умилился тогда наивности своего друга.

— Коля страшно суеверный. Не будь советской власти, он наверняка бы стал поэтом-мистиком, убежден, — говорил мне Луговской потом.

Он нежно любил Тихонова и сетовал на то, что все последние его стихи утратили, как он выражался, пружину.

— Удивительно плохо стал писать!

— Так же и о тебе, наверное, скажут, когда прочтут твои стихи в “Московском комсомольце” или в “Гудке”, — встала я на защиту Тихонова.

— Да, наверное, — кротко согласился Луговской.

Мое гадание оправдалось. Никаких гонений на Тихонова не последовало. Государственное отношение к нему не изменилось, все ограничилось лишь тем, что он перестал быть председателем Союза писателей. Тихо-

новы уверовали в меня, как в гадалку, и в то, что будто действительно Сталин защитил его»⁶².

Тихонов вышел сухим из воды.

Ахматова держалась, ей помогали друзья, присылали еду, не оставляли заботами, хотя и вызвало обострение ее прежних болезней.

Зошенко переносил опалу очень тяжело, был доведен до угнетающего психического состояния. Он пишет письмо Сталину, пытаясь оправдаться. Ахматова — молчит.

В Москве тем временем атака на всех «подозрительных» писателей.

Чуковский в дневнике за 5 сентября пишет: «Весь день безостановочный дождь. <...> В “Правде” вчера изничтожают Василия Гроссмана. — Третьего дня у меня был Леонов. Говорит: почему Пастернак мешает нам, его друзьям, вступить за него? Почему он болтает черт знает что? <...> Рассказывал подробно о заседании президиума: выступление Фадеева об Антокольском и Гурвиче (“почему Гурвич никогда не похвалит ничего советского?”), выступление Поликарпова против “Знамени”, Тарасенкова — “вот есть статья о поэтах, и тут сказано: “Тихонов, Пастернак и т.д.”. Неужели вам это не обидно, т. Тихонов. <...> Оказывается, сегодня уже кончилось заседание президиума. Результаты: Фадеев — генеральный секретарь. Тихонов, Вишневский, Корнейчук, Симонов — его заместители. В секретариате Борис Горбатов и Леонов...»⁶³. Опять возникает имя Пастернака, все чиновники, близкие к власти, чувствуют, что его не может миновать удар. Кроме того, как и в 30-годы, от него требуют, чтобы он выступил с заявлением для зарубежной печати в том, что поддерживает критику Ахматовой и Зошенко. Но он молчит.

Вместо него для зарубежной печати в Совинформбюро — выступает 21 сентября — Вишневский. В проекте интервью для левой американской газеты он делает разъяснение постановления, где недвусмысленно намекает на лицо, не затронутое в постановлении, — это Пастернак. «Под шум войны, — пишет он, — некоторые отсталые и вредные элементы стали осторожно, озираясь, воскрешать никчемные идеи “искусства для искусства”, идеи ухода от борьбы, мистицизма и прочее. Весь этот сор, вся эта декадентщина были выметены из русской литературы уже давно»⁶⁴.

Далее он подробно пишет о «клеветнике» Зоценко, о том, что в эвакуации он создал «одну из самых мрачных и грязных книг», имея в виду повесть «Перед заходом солнца». Однако Ахматову не поминает, да и как он может — только что в 1945 году в его «Знамени» прошла подборка ее стихов.

11 сентября Вишневский пишет в дневнике раздраженно:

Звонил Тарасенкову, он выкручиваются из своих ахматовских, эстетских склонностей... Пишет статью по моему заданию. Словом, — широкая полоса обсуждений, споров, и т.д. — с некоторыми неизбежными перегибами. Фадеев: «Нельзя быть добрыми». Я и Горбатов: «Но только в этом дело: нельзя допустить несправедливостей». — Стараюсь глубже вникать в ситуацию...⁶⁵

Только что 7 сентября Вишневский вместе с группой писателей (Асеевым, Михалковым, Катаевым, Сурковым) выступил в «Литературной газете» с требованием к Ахматовой ответить на критику партии и народа.

Удивительно, что вполне лояльный к власти Горбатов боится перегибов. Но старшее поколение писателей, судя по агентурным сводкам, опубликованным в наши дни, вообще слабо поддерживает постановление. Они слишком хорошо помнили начало кампаний 30-х годов. Источник из МГБ указывает на то, что часть из них говорит о том, что надо переждать, пока пройдет «кампания массовой порки».

Чуковский в дневнике от сентября писал свою хронику тех дней: «Зощенко и Ахматова исключены из Союза писателей. Говорят, Зощенко заявил, что у него денег хватит на 2 года и что он за эти 2 года напишет такую повесть, которая загладит все прежние. <...> По поводу пьесы Гроссмана, разруганной в “Правде”, Леонов говорит: «Гр<осман> оч<ень> неопытен — он должен был свои заветные мысли вложить в уста какому-нибудь идиоту, заведомому болвану. Если бы вздумали придраться, он мог бы сказать: да ведь это говорит идиот!»⁶⁶

17 сентября Вишневский записывает в дневнике:

Доклад А.А. Фадеева на общемосковском собрании писателей: «Ахматова не одинока как представительница пустой, безыдейной поэзии, поэзии индивидуалистической, камерной. Возьмите творчество Пастернака. Его творчеству присущи также черты безыдейности и аполитичности⁶⁷.

Литературная молодежь, прошедшая войну, порой воспринимавшая «старых» писателей как некую обузу, а кого-то из них как литературную номенклатуру, которая не дает им возможности пробиться, пытается разглядеть «плюсы» этого постановления.

Давид Самойлов, недавно вернувшийся с войны, пишет в своем дневнике 1946 года, что постановление ЦК «часть обширного идеологического поворота, связанного с нынешним положением.... Литературное мещанство, – иронизирует Самойлов, – его не расчихало»⁶⁸. Под «нынешним положением» имеется в виду начало холодной войны и Фултонская речь Черчилля, которую он произнес 5 марта 1946 года, Давид Самойлов считал, что начинается подготовка к следующей войне, готовятся коминтерновские лозунги, будет возвращение к идеям большевизма. Не пройдет и двух лет, как эта наивность будет разбита борьбой с космополитами. Но тогда многим из их поколения мерещилась «справедливость» постановления. Наум Коржавин рассказывал, что восторженно воспринял речь Жданова, ему казалось, что, наконец, будет разрушен дух мещанства, погубивший идеи революции. Он был уверен, что вернут имена тех, кого несправедливо казнили в 37-м году – первых большевиков. Но и его обольщения были разрушены скорым арестом и ссылкой, возможно ставшей спасением для него, так как в Москве ему грозили большие опасности.

А тем временем появляются постановления по фильму «Большая жизнь» и по 2-й серии «Ивана Грозного». Они гораздо мягче, чем постановление о ленинградских журналах, однако вслед за ними – первый инфаркт у Эйзенштейна, затем второй и смерть спустя два года, в 1948 году.

Вишневский записывает в дневнике 11 сентября:

Был К. Зелинский (он растерян, говорил об атомной бомбе, о диверсиях, о необходимости чистки населения и т.д.)⁶⁹.

В 1946 году случилась еще и засуха, которая привела к жестокому голоду 1947-го. «Отмечается из-за голода в

13 губерниях (выражение приехавшей крестьянки) массовый уход крестьян в города и на строительство», — пишет Вишневский. Он присутствует на заседании в ЦК, посвященному неурожаю и обсуждению того, как выйти из положения, однако там рассуждают о более экзотических вопросах.

Задеты основы морали, — горестно констатирует Вишневский в дневнике, — женщины в семьях возвращают 14–16-летних юнцов, сожительствуют с ними⁷⁰.

Им ли, бывшим фронтовикам, не понимать, что в селе практически не осталось мужчин. Как бывалый партийный чиновник, Вишневский нутром ощущает грядущие идеологические войны, которые, как правило, протекают в условиях голода и нищеты. Он заметно нервничает, пытаясь навести «порядок» в собственном хозяйстве. 15 октября он записывает в дневнике:

Тарасенков опять подсунул гниловатые стихи Я. Смелякова, полит<ически> ошибочные. Смеляков требует посоха пророка, сближает себя с Маяковским, Есениным, скулит об их гибели. Написал резкое предупреждение Тарасенкову... Но он, видимо, неисправим, в очередные же статейки ставит не выдержанные формулы⁷¹.

На этом фоне поведение Пастернака выглядит безглядным. Как и в конце 30-х годов, когда идет кампания непрекращающейся истерики по поводу повсюду окопавшихся врагов, он сидит в Переделкине, собирает хвост, сажает картошку, не берет в руки газеты и не слушает радио. Теперь же он занят целиком и полностью

своим романом, который читает в самых разных аудиториях. Разумеется, его слушают и доброжелатели и недоброжелатели. Ровно в те горячие дни происходит одно из пастернаковских чтений первых глав романа.

Чуковский пишет 10 сентября: «<...> Вчера вечером были у нас Леоновы, а я в это время был на чтении у Пастернака. Он давно уже хотел почитать мне роман, который он пишет сейчас. Он читал этот роман Федину и Погодину, звал и меня. Третьего дня сказал Коле, что чтение состоится в воскресенье. Заодно пригласил он и Колю и Марину. А как нарочно в этот день, на который назначено чтение, в “Правде” напечатана резолюция Президиума ССП, где Пастернака объявляют “безыдейным, далеким от советской действительности автором”. Я был уверен, что чтение отложено, что Пастернак горько переживает “печать отвержения”, кот<орой> заклемили его. Оказалось, что он именно на этот день назвал кучу народа: Звягинцева, Корнелий, Вильмонт и еще человек десять неизвестных. Роман его я плохо усвоил, т.к. вечером я не умею слушать, устаю за день к 8-ми часам, но при всей прелести отдельных кусков — главным образом, относящихся к детству и к описаниям природы — он показался мне посторонним, сбивчивым, далеким от моего бытия — и слишком многое в нем не вызвало во мне никакого участия. Тут и девушка, кот<орую> развращает старик-адвокат, и ее мать, с которой он сожительствует, и мальчики Юра, Ника, Миша и какой-то Николай Николаевич, умиляющийся Нагорной проповедью и утверждающий вечную силу евангельских истин.

Потом Юра — уже юноша сочиняет стихи — в роман будут вкраплены стихи этого Юры — совсем пастернаковские — о бабьем лете и о мартовской капели — очень хорошие своими “импрессионами”, но ничуть не выражающие душевного “настроения” героя.

Потом Пастернак пригласил всех ужинать. Но я был так утомлен романом, и мне показалось таким неуместным этот “пир” Пастернака — что-то вроде бравады — и я поспешил уйти. Я считаю гораздо более правильным поведение Зоценко: говорят, что он признал многие обвинения правильными и дал обещание в течение ближайших двух лет написать такое произведение, которое загладит его невольную вину. <...>

Оказывается: Пастернак вчера вечером не знал, что напечатано о нем в “Правде”!!! Зин<аида> Ник<олаевна> скрыла от него газету. Уже за ужином (рассказывает Марина) гости проговорились об этой статье, и он был потрясен... Но почему в таком случае Зин<аида> Ник<олаевна> не отменила чтение?»⁷²

Пастернак все время читает друзьям и знакомым главы из растущего романа. Его ругают в газетах, как мы увидим далее, Вишневский не спит ночами и посылает Тарасенкову письма-простыни с разбором пастернаковских безыдейных сочинений. Фадеев почти во всех выступлениях, помяная Ахматову и Зоценко, непременно присовокупляет к ним имя Пастернака. И именно в это же время возникает последний закатный роман Пастернака с Ольгой Ивинской.

Они познакомились в самом конце горестного 1946 года в редакции «Нового мира», где Ольга Ивинская, золотоволосая и голубоглазая красавица, занималась стихами начинающих поэтов. В начале 1947-го он объяснился ей в любви, что стало началом счастливого до безоглядности и трагического до отчаяния периода жизни поэта. Если бы не появилась Ивинская, наверняка любовный воздух романа «Доктор Живаго» был бы другим. Любовь уводила его от постановлений, от яростных нападок в свой адрес. Несколько лет он жил отдельно от страхов и надрыва, царившего в стране. И только с арестом Ольги

Ивинской осенью 1949 года стало понятно, что и его, наконец, поймали в сети.

4 апреля 1947 года он написал Ивинской на прежней книжечке стихов «Жизнь моя, ангел мой, я крепко люблю тебя». А ведь только что по нему был дан залп статьей А. Суркова, вышедшей 21 марта 1947 года в газете «Культура и жизнь» «О поэзии Бориса Пастернака». Но ведь это время – период самого высокого накала отношений с Ивинской, которые потом перелились в цикл стихов «Лето в городе». Они встречались почти каждый день; наступало лето, медовым ароматом цвели липы, Чистопрудный бульвар на выходе из Потаповского переулка, был полон того же томления любви, как и сам поэт.

А где-то неподалеку шла унылая работа. Газета «Культура и жизнь» была создана ЦК для решения кардинальных вопросов по литературе и искусству, в народе ее называли – «Александровский централ», по фамилии главного редактора, советского философа Г. Александрова, на время вошедшего в фавор. Правда, его восхождение резко закончится в 1947 году, когда его сменит на посту новый бесцветный чиновник с большим будущим – Михаил Сулов.

Сурков давно не терпел Пастернака и ждал своего часа. Еще в 1946 году он говорил Тарасенкову, что спор их о Пастернаке «за гранью партийности». И вот в марте 1947-го, после проработки Пастернака в «Правде», не дождавшись от него отмежевания от «ахматовской линии», Сурков выступает с разоблачением поэта-отшельника.

Друзья Суркова по РАППУ обвиняли Пастернака в отъединенности от действительности, индивидуализме и пр. Ничего принципиально нового в статье Суркова не было – снова и снова говорил о том, что поэт отстал от современности, о невнятице смыслов. Но смысл был именно в знаковом характере статьи. На нее требовалось

откликаться, поддерживать, одобрять. Теперь и Фадеев, и Вишневский требуют, чтобы Тарасенков признал правильность статьи Суркова и выступил в печати. Вишневский полон священной злобы и не отступает от Тарасенкова ни на шаг.

Отступление. Писательские жены

Жизнь писательской номенклатуры, с постоянной оглядкой на власть, с установочными газетными постановлениями, партийными собраниями как в зеркале отражалась в жизни семейной. Порой получалось так, что большие начальники, приходя домой, сами попадали под жесткую власть своих жен.

Знаменитое стихотворение «Бьется в тесной печурке огонь...» («В землянке») Алексея Суркова было посвящено Софье Кревс. Наталья Соколова (Ата Типот), проведшая с ней несколько лет в чистопольской эвакуации, писала: «Соня Кревс — из эстонцев или латышей, дочь петербургского садовника, который служил у какого-то князя. Соня с достоинством несла бремя жены советского вельможи <...>.

“Сурков устал” (напоминая, что гостям надо уйти). “Суркову пора работать”. “Суркову надо поспать после обеда”. Сурков неизменно подчинялся. Соня была членом партии, и на моей памяти никогда работала. Однажды, по словам Сони, ее вызвали в партком и спросили о ее <партийных> обязанностях, <в ответ>: “А забота о Суркове? А удобства Суркова?”»

Соколова также вспоминала о несчастной любовнице Суркова, с которой он встречался, приезжая с фронта в Москву.

«Любовницей стала его не то секретарша, не то завлит театра транспорта по имени Женя, — вспоминала Соко-

лова, — которая успела месяца полтора-два побыть первой женой Миши Матусовского и с которой он развелся, чтобы жениться на Жене Второй (имеется в виду вторая жена Матусовского, тоже Женя. — Н.Г.).

Летом сорок второго года Соня, жена Суркова, возвратилась с двумя детьми в Москву и узнала каким-то образом об этой связи. Она прихватила перепуганного Суркова, который всегда предельно боялся своей энергичной, резковатой жены, и поехала к секретарше. Войдя, увидела на столе продовольственные карточки, изорвала их на маленькие клочки, выбросила в окно. “Попробуй проживи”. Зонтиком разбила оконные стекла. “Попробуй вставь”. (Во время войны стекло было огромным дефицитом, даже маленькие кусочки было практически невозможно достать, его заменяли фанерой, картоном и рентгеновскими снимками, с которых соскабливали черное, словом, кто чем мог. — Н.Г.)

Сурков стоял рядом, руки по швам, и уныло повторял, адресуясь к любовнице: “Мы с вами виноваты и должны страдать”. <...> Эту историю мне рассказала сама Соня Кревс, явно гордясь собой, своей решительностью и предприимчивостью»⁷³.

Совет жен при Совете писателей возник в 1936 году. Положительным было участие женсовета во время войны по организации эвакуации писательского детского сада и лагеря. В то же время оставалась и надзирающая функция, обсуждение морального облика мужей-писателей. У женсовета был выход в писательские партийные органы. Правда, этот орган не смог остановить огромного количества послевоенных писательских разводов.

Писательские жены были легендарными личностями. Жена Вячеслава Иванова — Тамара Иванова обладала кипучей энергией и могла свернуть горы для устройства не только своих детей, но и других тоже.

Софья Касьяновна Вишневецкая, жена Всеволода Вишневецкого, прошла большую школу (ее первым мужем был автор куплетов Николай Адуев, а затем исторический писатель Е.Я. Хазин, брат Н.Я. Мандельштам). Она была настоящей женщиной-комиссаром, но не на судне, а в жизни. Если прежние семейные партии для нее были не столь удачны, то партию с Вишневецким она играла по-крупному и никому его отдавать не собиралась. С ее легкой руки крупного, самоуверенного Вишневецкого стали в дружеском кругу называть «масиком», его домашним именем. За долгим романом Вишневецкого с женой писателя Ленча Софья Касьяновна наблюдала, ежедневно читала его дневники, в которых он описывал свои душевные метания, а иногда оставляла надписи на полях. Но она считала, что раз ее муж — классик, ее долг следить за ним, собирать каждую бумажку с его автографом и готовить его наследие к печати.

Когда Вишневецкий в 1951 году умер, к работе над его литературным наследием все было готово: тысячи его писем аккуратно собраны и разложены, часть его дневников тут же запущена в печать, домашний архив заботливо разложен и сдан государству. После этого жена Вишневецкого умерла. Миссия ее была выполнена.

Изгнание Тарасенкова из «Знамени»

К весне 1947-го Вишневецкий чутко улавливает, что от него чего-то ждут. И хотя напечатанные в журнале романы «Сталинград» Виктора Некрасова, «Спутники» Веры Пановой получили Сталинскую премию и только что вышла «Звезда» Эммануила Казакевича, сразу сделавшая его знаменитым, был напечатан роман «Счастье», написанный любимцем Сталина Петром Павленко, этого было мало. Как истинный партиец, Вишневецкий понима-

ет, что власти нужна на страницах журнала настоящая борьба. В своей гипертрофированной партийности, в послушании Вишневский был предельно искренним. И потому, когда его уберут из журнала в 1948-м, в этом будет своя логика; новому времени нужны были закоренелые циники, которые будут успевать оправдывать стремительные развороты власти. Вишневский не всегда поспевал. В этой связи пророческой видится запись от 28 января, когда к нему пришел молодой создатель советского гимна:

С. Михалков излагает мне свое жизненное кредо: «Надо знать, что там понравится “наверху”». <...> Ну что же: Здравствуй, племя, молодое...⁷⁴

19 апреля Вишневский, понимая, что ему кровь из носа нужна статья, избобличающая Пастернака, жестко требует от Тарасенкова:

Вынужден написать тебе по поводу твоей литературно-политической практики. А. Фадеев говорил тебе относительно необходимости помещения статьи в «Знамени» о Пастернаке, — и твоих высказываний и прочее. — Статью ты не написал и не обеспечил никакого заказа. В последней беседе с А. Фадеевым мы затронули вновь эту тему.

Статья должна быть помещена.<...>

Недавно, когда я сообщил тебе о Пастернаке, его демонстративных письмах в Издательство, Литфонд и пр. — ты вновь взял под защиту этого поэта, из которого на Западе делают «борца», «идеолога индивидуализма» в СССР. (В Англии — оказывается, есть родственники Пастернака, и они прикладывают руку к этой «кампании».)

Ставлю перед тобой вопрос – об определении твоего делового отношения к делам и практике Пастернака. Твоя оценка статьи, напечатанной в «Культуре и жизни» о поэзии Пастернака – НЕПРИЕМЛЕМА.

Задумываться над твоим курсом ты, по-видимому, не хочешь... Полагаешься на то, что «все сойдет»... – Предупреждаю, что это *не так*.

Ты намеренно подчеркиваешь свою особую литературную «позицию. <...>.

Я вновь раздумываю о твоей практике: защищать Пастернака... Ко всему – твое затяжное лит<ературное> молчание, журнальное молчание. – Прошу ясного служебного ответа по всем пунктам (причины непооявления статьи о Пастернаке, положительная оценка его и пр.)⁷⁵.

Вишневский пишет свои письма под копирку и копии отсылает в ЦК! Об этом ставит в известность Тарасенкова Еголин, который в это время там работает. Тарасенкова это сообщение сражает, он был привязан к Вишневскому, они проработали не один десяток лет, вместе были и в дни войны. Тарасенков тоже начинает писать под копирку. Потому в архиве и сохранились эти письма. После письма-ультиматума от Вишневского Тарасенков 21 апреля 1947 года подает заявление об уходе из журнала.

Дорогой Всеволод! Направляю тебе официальное заявление о моем уходе из «Знамени». Бывает так, что люди, десятки лет шедшие рядом, перестают понимать друг друга. Это произошло у нас с тобой. Не стоит длить отношения, ставшие особенно мучительными.

Это приведет только к ненужным конфликтам, взаимной трепке нервов и проч. Надеюсь, что ты не будешь чинить препятствий моему уходу. Я все твердо взвесил и решил. Считаю прошлую свою работу в «Знамени» самым светлым и чистым делом своей жизни. Но, видимо, всему наступает конец...⁷⁶.

Вишневский отвечает в тот же день:

7 ч. вечера 21 апр<еля> 1947

Привет. — Я продумал за истекшие 2-е суток наши дела. Да, — тебе надо с должности заместителя (штатная должность ответственного секретаря) уйти. — Я говорил 3 апреля 1946 года в ЦК вполне серьезно: «Будешь за Пастернака и пр. — буду против тебя, буду драться».

Ты не можешь расстаться с рядом существенных своих лит<ературно->политич<еских> позиций, концепций. В моем большом письме от 2 марта 1947 все (или почти все) было сказано. Ответа я не получил. В сущности — ни о Пастернаке, ни об Ахматовой, ни о прочем. Ты привлек Пастернака в июле 1946 года. — Молчал, когда было решение ЦК, критика «Знамени» и твоих ошибок. (Постановление собрания московских писателей и пр.). — Не ответил на мои советы, просьбы, письма. Не выполнил советов А. Фадеева (по Пастернаку). Не учел советов И. Альтмана, о котором я говорил тебе... В стороне оставим «Мозаику» — но даже беспартийный Тихонов останавливал тебя, узнав о том, что ты читаешь этот апологетический обзор уже в открытую...

У коммунистов должна быть единая линия в вопросах эстетики. — Ты придерживаешься, — к сожа-

лению, «особых» взглядов на Пастернака и подобных. Невыполнение указаний о статье (о Пастернаке) я НЕ МОГУ принять, — ни как член парт<ийной> организации СП, ни как гл<авный> редактор, ни как один из секретарей ССП. Ты глух к товарищеским, братским призывам, звонкам, письмам... Ты упрямуешь... —

Я обязан сделать выводы, политические и деловые...⁷⁷.

Тарасенков ушел из «Знамени», но на прощание, понимая, что могут с ним сделать, используя письма Вишневого, копии которых были отосланы в ЦК, как человек, не первый раз попадающий в скользкие ситуации, сделал для себя копии отзывов членов редколлегии «Знамени» на стихи теперь уже запрещенной Ахматовой, гонимого Пастернака, на Гроссмана и на ряд других поэтов и писателей, на тот момент кажущихся партийным чиновникам — сомнительными. Тарасенков знает, что эти внутренние рецензии в нужный момент можно будет достать из рукава.

Тарасенков уходил со скандалом. Вишневецкий записал в дневнике:

Секретариат (закрытый), разбирали дело Ан. Тарасенкова... Он говорил неубедительно, умалчивал о существенных фактах (сводил дело к «непонятным» ему действиям). Единодушный отпор. Фадеев, Горбатов, Субоцкий, затем я. — Разъяснили Тарасенкову, что он попал на неверный путь, Пастернак — явная литературная оппозиция... Молчит в ответ на английские статьи о нем самом («борец за права индивида» и пр.) Игнорирует общественность <...>

Он бледный встал и сказал: — Я выступлю по вопросу о Пастернаке. — От поста зам<естителя> гл<авного> редактора я прошу меня освободить. Я семнадцать лет работал и хочу поработать свободным критиком <...>. На этом и закончил⁷⁸.

Инвалид литературной проработки

От Вишневского, входившего в секретариат Союза писателей, зависела и бытовая жизнь Пастернака, который пытался в это время получить аванс за свой сборник от издательства «Советский писатель». Пастернак жаловался в письме к Симонову:

...потребовалась виза Союза, Горбатов согласился, Вишневский сказал, что нет, «так» мне денег дать нельзя, надо вызвать меня на секретариат для объяснений. Чудак Вишневский. Если ему требуется моя кровь для поднятия жизни в собственных произведениях, я бы ему дал ее просто, донорским путем, зачем убивать меня для этого, вероятно, технически это не так просто.

Ну, так вот, вот просьба, эти тысячи. Устройте мне их как-нибудь⁷⁹.

Симонов, который в это время был главный редактором «Нового мира», в течение второй половины 1946 года вел изнуряющие переговоры о возможном авансе Пастернаку в счет будущей прозы. Аванс выдали, и в декабре 1946-го Пастернак передал в «Новый мир» несколько стихотворений из «Доктора Живаго», но заместитель Симонова Кривицкий отказался печатать эту подборку, и Симонов с ним согласился. Пастернак, узнав о таком повороте дела, насмешливо отозвался о главном редакто-

ре, которому мешают делать то, что он считает нужным. Отношения испортились, но после того, как из поездки в Англию Симонов привез Пастернаку приветы от сестер и посылку, они вернулись в привычное русло. И все же перед встречей Пастернак отправил Симонову жесткое письмо, в котором вновь говорил о том, что не понимает, почему ему не могут оставить его места в литературе. Пастернак обращался к Симонову как к высокому начальнику: в то время тот был заместителем генерального секретаря Союза писателей – Фадеева.

Я далее не понимаю, отчего десятки заслуживающих этого пожилых беспартийных сделали «нашими», премировав их без допроса и таким образом признав за ними это звание, а я из-под взведенного на меня телескопа сам должен составлять свою рентгеноскопию и покупать это нашенство отречением от тех, кто относится ко мне по-человечески, в пользу тех, кто ко мне относится враждебно, и от тех остатков христианства и толстовства, которые при известном возрасте неизбежны у всякого, кто проходит и заходит достаточно далеко, вступив на поприще русской литературы. Всё это чистый бред и абсурд, на который при краткости человеческой жизни нельзя тратить времени. Тем более, что я ничего не боюсь. Моя жизнь так пряма, что любой ее оборот приемлем⁸⁰.

Конечно же, вопрос о своем месте в советской литературе Пастернака тревожил по вполне земным соображениям, от этого зависела возможность как-то прокормить семью. И поэтому он вновь возвращается к необходимости получать гонорар за свою работу.

14 мая Пастернак рассказал Лидии Корнеевне Чуковской о своей встрече с Симоновым:

«Б<орис> Л<еонидович>:

– Я ему говорю: “Неужели вы не понимаете, что я беспартийный не случайно? Что же вы думаете, у меня ума не хватает, чтобы подать заявление в партию? Или рука правая отсохла? Неужели вы меня хотите заставить на пленуме это объяснять? Ну что же, я объясню, потом меня сотрут в пыль, и вы будете иметь удовольствие при этом присутствовать...” Единственные были в нашем разговоре человеческие слова – это о встрече Симонова с моей сестрой в Англии. Она пришла к ним, когда их принимали в Оксфорде. Вошла женщина, и с нею два мальчика. Симонов сказал: “Два красивых мальчика”. И они говорят по-русски. Вот это меня потрясло... Значит, она их научила по-русски... Они родились и выросли там»⁸¹.

Лето 1947 года. Данин

Тарасенков ушел из журнала и в июне с женой и сыном уехал отдыхать в Дубулты, на Рижское взморье. С этого момента он – свободный художник. Но ничего не заканчивается. Его друг Даниил Данин, который продолжал писать для журнала, вместе с женой Тусей Разумовской (редактором «Знамени») едут в Переделкино в гости к Эммануилу Казакевичу. Данин подробно рассказывает Тарасенкову в письме от 15 июня 1947 года историю воскресного посещения Вишневого: у Данина была готова большая статья о Симонове, которую должен был прочесть Вишневский. Все вместе направились к нему.

Софья Касьяновна пригласила нас ужинать. Мы выпили остатки чьей-то водки и сидели, трепались. Шеф вдруг сказал, что он перечитал всего Пастер-

нака и понял еще раз то, что понимал и раньше: Пастернак — подлец, который 30 лет презирает всё и всех, и т.д. и т.п.

Вишневский уже который раз за последние два года перечитывает Пастернака, казалось, он должен уже выучить его наизусть. Но, напротив, поэзия Пастернака становится для него все более недоступной. Вишневский нападал. Данин отвечал.

Я начал очень вежливо возражать, говорил, что трагические судьбы настоящих художников «не разоблачаются» пустыми и прямолинейными «выводами». Говорил ему, как Маяковский заставил, любя и ругаясь, написать П<астернака> «1905 год» и «Л<ейтенанта> Ш<мидта>», и многое другое выкладывал довольно спокойно и слишком убедительно, чтобы это не задело В. В<ишневского>. Дело в том, что он сам собирался писать в «Знамени» статью о П<астернаке>. Я вспомнил статью Суркова и сказал, что вот наглядный пример нашего низкопоклонства перед западной критикой, которая забирает П<астернака> к себе. А мы соглашаемся со всей аргументацией и со всеми точками зрения Шиманского и др., но только говорим: — «Это все верно, но плохо, а не хорошо, как думает вы, господин Шиманский!» И еще прибавил, что статья против П<астернака> должна быть ударом не по морде, а железной, протянутой рукой⁸².

Ну конечно же Вишневский просто хотел сам сделать то, чего добивался от Тарасенкова, — выступить с «истинным» изобличением Пастернака, он чувствовал, какие огромные дивиденды это может принести ему и журналу.

Но ведь невозможно было писать в каждой строчке, что Пастернак — негодяй. Затем он и перечитывал статьи-отречения Тарасенкова, чтобы обновить их и подать в новом виде. Но статья явно не получалась.

По доводам, которые Данин приводит Вишневскому в ответ на его брань в адрес поэта, видна «иезуитская» логика советского интеллигента, суть которой в том, что большого художника нельзя отталкивать от партии и народа, а надо его «приручать». Эта логика надолго вращается в дух и плоть лучших из лучших. И, наверное, такого рода слова, часто произносимые в то время, и заставили Данина спустя годы назвать свою книгу о Пастернаке «Бремя стыда».

Продолжим.

В. В<ишневский> вспоминал непримиримые письма Ленина к Горькому, а я ему советовал, кроме того, припомнить, что в этих письмах, в самих обращениях к Горькому, Ленин разговаривал с ним как с заблуждающимся другом, гений которого ему важен и нужен, дорог...

Короче говоря, все пересказать я тебе не могу, но кончилось это задыханиями, истерическими криками, зубовным скрежетанием, взвизгиванием и такой чудовишной демагогией, что листья осыпались в лесу, где «заканчивался» этот глупый и ненужный спор. Эмик мудро молчал, только помогал мне цитировать Б<ориса> Л<еонидовича>, а Туся исщидала мне всю руку... В темноте мы ушли напропалую через лес и вышли к какой-то даче. Горело большое окно. Чье бы это могло быть окно? — гадали мы. — Федина — решил переделкинец Эмик. По тропинке осторожно пробрались мимо окна и заглянули. За столом, обхватив голову

руками, сидел в очках Пастернак и Бог его знает, что думал! Сон в руку! Вот и все⁸³.

Эта история не просто символична; она стержень происходящего тогда. Ведь Пастернак даже и не подозревал, что вокруг него кипят такие страсти. Только что в нескольких шагах от него люди кричали, ненавидели друг друга, и все это было с его именем на устах. Может быть, он писал в то время «про сумрак ночи с тысячью биноклей на оси»?

Данин рассказывает Тарасенкову, что Вишневский ответил тем, что зарубил его статью о Симонове. Однако положительным итогом того вечера было то, что Вишневский отказался от мысли писать о Борисе Пастернаке.

«Одной гадости в нашей критике будет меньше», — заключает Данин, и по этому вопросу у них с Тарасенковым, несомненно, царит полное согласие.

Вишневский оставляет в дневнике свою запись о той встрече.

Были С. Разумовская, Данин и Казакевич. Побеседовали, пригласили к ужину. <...> Завязался спор с Даниным — о Пастернаке: он осторожно его защищал, цитировал, увлекаясь, — эти, мол, люди не могут сдвинуться со своих «студенческих» позиций. «Ах, самобытное, честное... Вот Маяковский подходил к нему как к другу. Спорил, заставлял писать «1905 год» «и что вышло»?

Пастернак, в 1941 году удирающий из Москвы и нащупывающий в кармане письма немецких друзей-поэтов, — для меня всегда неприятен⁸⁴.

Сколько раз Вишневскому и говорили и писали, что у Пастернака с собой были письма Рильке, австрийского поэта (умершего в 1926 году), который был знаменитым пропагандистом русской поэзии в Европе. Но Вишневский слышит то, что хочет.

На самом деле, таков механизм слухов, очень часто их просто невозможно опровергнуть, потому что так «хотят» слышать, это некий ответ на запрос определенной части общества. Вишневскому необходимо было, чтобы Пастернак изменял родине, переползал с письмами врагов в стан неприятеля, вынашивал тайные планы сдачи СССР.

Первое отречение Тарасенкова от Пастернака

Возвращение назад

Вишневский написал Тарасенкову огромное письмо с разбором его старой статьи о Блоке и там же посвятил десяток страниц истории отношений Тарасенкова и Пастернака. Казалось бы, зачем ему надо было проделывать столь кропотливую работу? Прочитывать старые вырезки, сопоставлять статьи в энциклопедиях, где Тарасенков написал самые первые строчки о любимом поэте, находить довоенные стенограммы, где тот кается. Зачем все это было нужно Вишневскому? Конечно, он был графоман, но ведь мог бы писать длинные романы, а не письма о Пастернаке к старому товарищу. Тут была особая, хотя и советская, но не без достоевщины, психология. «Смирись!» — как бы призывает Тарасенкова Вишневский. Вспомни, каким покорным ты был в 1937 году, даром, что покорность та была под страхом гибели, однако как все было хорошо.

Ирония истории состоит в том, что Вишневский, искренне бросающийся выполнять любое движение влас-

ти, ровно через год после ухода Тарасенкова будет бит, по нелепому поводу — он не сможет понять, что пришли новые времена — потеряет бдительность, будет отставлен из журнала «Знамя».

Тарасенков впервые отрекся от Пастернака в 1937-м. Ему было тогда 26 лет, и вопрос о его «преступной» привязанности решался еще на комсомольском собрании.

Картина того года складывалась буквально из осколков. Огромный пласт умолчаний, вычищенных архивов, уничтоженных писем этого периода не позволяет полностью реконструировать реальность тех дней. Этому есть простое объяснение: множество упоминаемых в письмах и документах лиц стало фигурантами дел 1937 года. И все-таки надо попробовать размотать тот клубок, который сознательно запутывали репрессивные органы, работавшие не только на настоящее, но и на будущее.

Поэтому, прежде чем рассказать историю его шумного первого отречения, необходимо узнать, откуда этот молодой еще человек приобрел страсть к книжному собирательству и к поэзии.

В 1956 году, когда жизнь Тарасенкова стремительно угасала, Мария Белкина записала его автобиографический рассказ⁸⁵.

Тарасенков о себе

«Я родился в Москве и всю жизнь (за исключением лет войны) прожил в Москве. Я хорошо помню Москву булыжную, кривоколенную, нэповскую. Я помню водо-разборную башню на Сухаревской площади и книжные развалы у палисадников. Книги лежали на брезенте вдоль тротуаров навалом, и прохожие запинались о них.

Книги тогда шли за бесценок, ценились только учебники. Я каждый день ходил в школу на Садово-Спасскую мимо этих книжных развалов. Букинисты, заманивая покупателей, выкрикивали: “Сто веселых анекдотов! Что делает муж, когда нет дома жены”, “Неожиданный скандал в семье новобрачных — невеста оказалась женихом!” За развалами книг начиналась толкучка. На Сухаревской площади был базар.

Однажды, возвращаясь вечером из школы по пустой базарной площади, я увидел, как дворники сметали в кучи мусора — деньги. Вся площадь была засыпана бумажными кредитками. Я набил себе полные карманы миллионами (тогда ходили миллионы). Дворники смеялись надо мной, говорили, что на эти миллионы уже ничего нельзя купить. Днем произошла девальвация. Но я никак не мог понять — почему деньги метут метлами, а у нас дома их не хватает даже на хлеб... Меня и старшую сестру Нину всегда очень волновал вопрос — как помочь матери, которая выбивалась из сил, но не могла прокормить нас. Младшая — Оля этого не понимала. Помню, я сделал из спичечных коробков трамвайчики. Вырезал из картона колеса, раскрасил их цветными карандашами. Они мне очень нравились, и я был уверен, что у меня их купят, и я принесу домой кучу денег. Я понес их в воскресенье на толкучку, на Сухаревку. Там торговали всем, и каждый старался перекричать соседа. “А вот штиблеты! Американские штиблеты! Кому штиблеты?!” “Рыбки для кошечек, рыбки для кошечек!” “Произошло несчастье! Вы шли по улице. На ваш новый спинжак маляр капнул краской! Дома вас ждут неприятности! Но вы спасены. Вы берете корень муций-пуций. Тёрете раз, терете два! Пятен как не бывало!”

Я тоже вначале пытался выкрикивать: “А вот вагончики, кому вагончики!” Но мне почему-то было стыдно.

И я молча простоял весь день, мучаясь и не зная, сколько запросить за свои вагончики, чтобы не продешевить и чтобы не отпугнуть покупателя. Но никто даже не приценился... Нина оказалась предприимчивей — она решила просто выиграть деньги. На толкучке играли в рулетку, в карты — попугаи и белые мыши. Вытаскивали счастливые билеты, кружились колеса лотерей. Я тоже хотел выиграть. Но я сначала решил изучить механику “счастья”. Почему одни выигрывают, а другие проигрывают. Я не хотел рисковать. Я пропустил занятия в школе и ходил от одного “игорного заведения” к другому и часами наблюдал за играющими, но пока сумел только разгадать махинации бородатого дядьки, который носил на груди лоток с ирисками. Заплатив за одну ириску, ты мог выиграть две или проиграть ту, за которую заплатил. Когда я выиграл подряд шесть ирисок, дядька закрыл свою торговлю и прогнал меня. Но Нина была женщина — поверила в судьбу и в провидение. Она просто вынула из ящика стола мамину получку и пошла играть в рулетку на Сухаревку. Ей было двенадцать лет. Она проиграла все деньги, и мы до следующей получки голодали...

Я помню книжные развалы у Ильинских ворот. Ворота тогда еще назывались Тверскими. Там была часовня Иверской Божьей матери. А у Китайгородской стены букинисты торговали в ларьках. Букинисты эти были рангом выше тех, что на Сухаревке. Они ничего не выкрикивали и никого не зазывали. У их ларьков всегда толпились писатели, актеры, художники. Я как-то стоял у такого импровизированного ларька, где под куском фанеры, изображавшим крышу, на выступе стены были разложены книги. Я ничего не мог купить, но я тогда уже любил книги, мне доставляло удовольствие листать, трогать те книги, которые мне хотелось купить.

– Книгами, молодой человек, интересуетесь? Что ж, похвально.

Это произнес грузный человек в меховой шапке, в шубе на лире⁸⁶ нараспашку. Я решил про себя, что он, должно быть, из “бывших” или нэпман.

– Разрешите преподнести вам мою книгу.

Он взял у меня из рук книгу и надписал ее. Это был Гиляровский.

...Помню, как сносился Охотный ряд, где теперь гостиница “Москва”, там тогда были жалкие купеческие лавки. Помню, как строился Телеграф на Тверской. Асеев писал: “Это, с облаками заиграв, вырастает новый телеграф”. Сейчас это звучит наивно и смешно, мы уже не удивляемся и небоскрегам, а тогда это писалось всерьез, и мы чувствовали это так, как писал Асеев. Для нас это было событием. Событием был каждый новый дом в Москве. Мы радовались ему – это был советский дом, построенный нами! Мы тогда могли еще вести счет всему сами, всего еще было немного... И мы были счастливы, что мы соучастники всего этого. Мы были влюблены в идею строительства социализма, мы были влюблены в Маяковского, Мейерхольда. Это была наглая комсомольская юность. Я помню Маяковского на Лубянской площади, тогда еще булыжной. У фонтана на радиаторе машины он стоял и читал “Левый марш”. Площадь была забита молодежью. Шла демонстрация: студентов. Это был ответ москвичей на убийство нашего посла Боровского фашистом Каверда, на ультиматум лорда Керзона. “Пусть, оскалась короной, вздымает британский лев вой, – коммуне не быть покоренной, левой, левой, левой”, – читал Маяковский, и мы, в кепках, в кожаных куртках, и наши девчонки, в красных косыночках, в сапогах, – подхватывали последние слова и гневно сжимали кулаки...

Помню, как на лестнице в Детгизе я столкнулся с Маяковским. Мы с Женей Крекшиным только что получили наш первый гонорар. (Я рано начал писать рецензии и стихи, с шестнадцати лет). Мы обсуждали с Женей, на сколько хватит нам денег и что надо купить в первую очередь. Мы оба были без башмаков и прикручивали подметку проволокой, но нам было нужно купить еще что-то из хозяйственных предметов — не то ведро, не то чайник. Мы жили коммуной... Навстречу нам по лестнице поднимался Маяковский. У него в руках была палка с тяжелым набалдашником, во рту папироса. Мы остановились, пропустив его, и услышали, как кассир сказал ему в окошечко, что денег нет, что последние деньги получили только что двое молодых людей.

— Как, эти разбойники, которых я встретил на лестнице, ограбили всю кассу?

Мы скатились вниз и выскочили на улицу.

Помню, как с Борисом Заксом мы бегали на спектакли Мейерхольда. Мы оставляли пальто у знакомых, которые жили неподалеку от площади Маяковского, и в трескучий мороз раздетые бежали в театр. Делая вид, что мы только что вышли из фойе покурить, мы проскальзывали мимо билетерши. Билетов, конечно, у нас не было. Забившись где-нибудь на галерке, мы с замиранием сердца следили за тем, что происходило на сцене. Мы смотрели по несколько раз одни и те же спектакли и потом допоздна, до хрипоты обсуждали их. Мы жили втроем — Борис Закс, Женя Крекшин и я, в комнате Закса. Дома я не жил потому, что не хотел подвергаться “мелкобуржуазному” влиянию семьи, не хотел, чтобы меня воспитывали. Ходил в черной косоворотке, которую сестра называла “смерть прачкам”, курил, не стригся, сидел, заложив ногу на ногу и вообще во всем проявлял самостоятельность. Но маму, хотя она

и была “мелкобуржуазной” и увлекалась Бальмонтом и Надсоном, и сестер и няню Машу любил. Просто я уже привык жить сам по себе. Когда я окончил шестую группу, матери пришлось отдать меня в детдом. Она не могла нас всех прокормить. Она была учительницей, давала уроки немецкого языка. Она делала всё, чтобы зарабатывать деньги, но денег не хватало. Я помню, как она в двадцатых годах ездила за солью во время каникул. Соль нельзя было провозить открыто, и она обвязывалась мешочками соли под платьем. Она ехала долго, в теплушке было тесно и жарко. И когда мы снимали с нее эти мешочки с солью, под ними была разъеденная кожа. Раны долго не заживали... Отец умер в 1919 году. Мы тогда жили в деревне Подовражное, недалеко от Смоленска. Отец был из смоленских мужиков. Их было четыре брата. Когда они подрастали, дед давал им деньги на дорогу и отправлял в Москву — пусть сами выбиваются в люди. И больше он им не помогал. Только Иван остался в деревне: ему в детстве телега переехала ногу, и он хромал. Дед завещал ему дом и хозяйство. По Ивану вся деревня равнялась: — Иван косит — все косят. Иван сеет, все сеют. К Ивану отец и приехал в 1918 году из Москвы. Отец умер в волости на собрании, он организовывал комитеты бедности. В избе было душно, накурено. Он почувствовал себя плохо, он уже во время империалистической войны страдал болезнью сердца. Он попросил, чтобы за него пока вели собрание, и вышел на воздух... и упал. “Кузьме плохо!” — крикнул кто-то. Из избы повыскакивали люди, решили, что он угорел. Стали качать его, делать искусственное дыхание... У него был инфаркт, или, как тогда говорили, — разрыв сердца.

Его привезли на розвальнях завернутого в тулуп. У нашей хаты стояли бабы и голосили. И когда его внесли в избу, длинного и неподвижного, засыпанного снегом, и

положили на пол, — я забился под кровать в угол и ничего не хотел видеть и слышать.

Потом мать перебралась с нами ближе к Москве в деревню Юдино около станции Перхушково. Она там преподавала в железнодорожной школе. Теперь я часто проезжаю на машине мимо этой школы, когда еду на дачу на Николину Гору. Там за Перхушковым есть чудесная березовая роща, — там я собирал в детстве грибы и заставлял собирать сестер. Мать была в тифу, и няня Маша лежала в больнице, и я должен был кормить девчонок. Я научился жарить грибы без масла и из жмыхов делать лепешки... Но самым мучительным было топить русскую печь. Мне приходилось влезать в нее и укладывать в печи дрова. Я всегда ходил в саже, как трубочист, и мальчишки меня дразнили. А отмыть сажу было трудно — не было воды. Почему-то в колодце пропала вода, и населению выдавали по полведерка на день... Но все тяжелое, трудное ушло вместе с годами, и в памяти застрял один сказочный день. Это тоже было в этой березовой роще в Перхушково. Я получил по почте посылку и нес ее со станции домой. И на посылке было написано: Анатолию Кузьмичу Тарасенкову. Это мой дядя командир Красной Армии, который сражался где-то вместе с Ворошиловым, — прислал мне книги. Я просил его прислать книги. Мне было велено сразу с почты идти домой, но я не утерпел — отбил камнем крышку фанерного ящика. Вначале я просто пересмотрел все книги и сложил их обратно, но у следующего дерева я снова присел и снова открыл свой “ларец”. И теперь я уже не мог удержаться и стал читать. И читал до тех пор, пока было видно, пока мог читать. Домой я пришел, когда уже совсем было темно, и мне влетело. Но я все равно был счастлив. Я тогда, наверное, впервые понял, что такое книга и сколько радости она может дать».

*Продолжение истории Тарасенкова
(рассказ Марии Белкиной)*

«Тарасенков начал печататься рано, в 1925 году, когда ему от роду было всего шестнадцать лет, появляются его первые заметки, а к 1930 году он уже успевает написать чуть ли не обо всех действующих поэтах: Безыменском, Жарове, Алтаузене, Луговском, Суркове, Светлове, Асееве, Голодном и о прочих, прочих других. Рецензии, заметки, обзорные статьи. Литературу он, конечно, рассматривает с классовых позиций, что привито ему детдомом, комсомолом, университетом. У него рано умер отец, мать была очень неприспособленной к жизни, без профессии, она знала немецкий язык, но в двадцатые годы этим было не прокормиться. Семья буквально голодала, и мать решила двух девочек, они были младшие, оставить при себе, а сына отдать в детдом, где он будет хотя бы сыт.

Он был участником всех диспутов, дискуссий, литературных битв. Он даже на каком-то вечере вступил в спор с самим Луначарским! И тот, должно быть, удивленный нахальством и напористостью мальчишки, сажает его рядом с собой в президиум, и Тарасенков, вконец обольщенный и замороженный Луначарским, начинает так же, как и тот, положив ногу на ногу, дергать ногой и всю жизнь не может отделаться от этой привычки. Тарасенков идейный комсомолец, и если он не успел делать революцию, то продолжает дело революции. Он ревностный последователь марксистско-ленинской теории и приучен к тому, что литература и искусство должны прежде всего служить делу революции, делу рабочего класса. Писатель своими произведениями должен помогать строительству социализма, должен воспитывать народ соответственно требованиям коммунистической партии! Так он и пишет.

Но в 1927 году к нему попадают только что вышедшие книги Пастернака. В архиве Тарасенкова был обнаружен листок, вырванный из записной книжки. На нем было написано:

16.IX.27

Решил писать нечто вроде дневника. Получил на днях от Б. Пастернака “1905 год” и “Две книги”. Какой, какой изумительной синтаксис! Какое богатство языка! Какое мастерство пресловутого “показа” в рассказе! Особенно подействовал “1905 год”, прочитанный целиком, конечно, впервые.

“Лейтенант Шмидт” что-то не особенно понятен; окончательно в нем еще не разобрался...

А в конце листка была записана частушка:

Раньше были времена,
А теперь моменты.
Кошка требует с кота
Нынче алименты...

В 1929 году появляется его первая заметка о Пастернаке в Малой Советской энциклопедии.

В этом же году происходит его первый разговор с Борисом Леонидовичем по телефону. Тарасенкову надо было что-то уточнить, а в это время закипает самовар, Пастернаку необходимо скорей снять трубу с самовара, он подробно это объясняет, потом отлучается, потом, справившись с самоваром, снова берет телефонную трубку и дает все нужные сведения. Очно они знакомятся в журнале “Красная новь” в 1930-м летом.

Затем встречаются на литературных вечерах в редакциях. В 1931 году появляются две статьи Тарасенкова о

Пастернаке, одна в журнале “Звезда” – “Борис Пастернак”, другая в Литгазете – “Охранная грамота идеализма”. Не буду касаться качества статей, скажу только, что он пишет о Пастернаке как о выдающемся поэте современности, критикуя его за субъективизм и усложненность формы. Впоследствии, принося покаяние, он будет писать об этих своих статьях, что их смысл заключался “в стремлении повернуть Пастернака в сторону нашей революционной действительности...”. Ну а затем, затем Тарасенков влюбляется в Пастернака, он открывает для себя Пастернака. И открытие это одновременно и благостно, и пагубно... подобно молнии, ударившей в дерево, расщепляет его или, как говорила Аля Эфрон, “рассекает надвое”.

В 1933 году он начинает писать о Пастернаке взхлеб, Вишневский потом обвинял его:

Ты писал «бурно “пьяно”», писал апологетику ГХИЛ, потом ты пел гимн грузинским переводам Пастернака, писал во французскую московскую газету о нем же. Пастернака ты защищал от всякой критики – “рубился” за впервые тобой познанную “буржуазную культуру”, “старую философию”...

“Апологетика в ГИХЛ” – это предисловие в книге “Избранные стихи”.

Борис Леонидович позвонил Тарасенкову и поблагодарил его за предисловие. В том же 1934 году появляется книга Важа Пшавелы “Змеед”, и Борис Леонидович дарит этот свой перевод Тарасенкову с надписью: “Дорогому Анатолию Тарасенкову, с которым я дружить хочу. Б<орис> Л<еонидович> 28.10.34”.

В ноябре 1934 года Тарасенков заводит тетрадь в черном клеенчатом переплете, куда начинает вписывать

все свои встречи и разговоры с Борисом Леонидовичем, вспоминая начало их знакомства. Из этой тетради мы узнаем, что встречается Тарасенков с Борисом Леонидовичем то на совещании, созванном по инициативе Тарасенкова после смерти А. Белого, в кабинете Каменева, директора издательства “Академия” по поводу издания полного собрания стихов поэта. Тарасенков делает сообщение о предполагаемом им плане этого издания. То опять же по инициативе Тарасенкова устраивается читка поэмы Твардовского “Путь социализма”, о которой Борис Леонидович высказывается восторженно, и Тарасенков тут же просит его дать отзыв в издательство, куда он устраивает эту поэму, и Пастернак, хотя говорит, что его отзыв может создать лишнюю отрицательную ситуацию, но охотно этот отзыв дает. То Борис Леонидович просто заходит в редакцию “Знамени” поговорить, он только что вернулся из Парижа с конгресса писателей. Он рассказывает о своей болезни, о дурном самочувствии там, в Париже, о том, как было там худо и неудобно. То заходит, чтобы попросить папиросу, так как он старается бросить курить и принципиально не покупает папирос. То жалуется на безденежье, нужно вносить пай за квартиру на Лаврушинском, в то время этот дом был кооперативный, а денег нет, и он просит опубликовать в “Знамени” перевод “Принца фон Гомбургского”. Тарасенков бывает в гостях у Бориса Леонидовича, бывает зван на семейные действия, бывает и так просто. Заходит и Борис Леонидович к Тарасенкову.

К статьям Тарасенкова отнеслись с напряжением многие поэты. Особенно раздражали эти статьи Суркова, Безыменского, Жарова, Алтаузена, да и других. Маяковский умер, в а к а н с и я первого поэта была пуста, и все рвались в лидеры!.. Сурков, например, проливал кровь за революцию, он сражался на фронтах

Гражданской войны. Он на комсомольской партийной работе с юных лет. Он привык главенствовать. Он неизменно стоит на правильных партийных позициях. Он автор нескольких сборников стихов. Его песню “По военной дороге шел в борьбе и тревоге боевой восемнадцатый год...” поет вся страна! Безыменский – комсомольский поэт – у него стихи, “Комсомольский марш”, поэма “Комсомолия”, “Трагедийная ночь” посвящена строительству Днепрогэса. Он член партии с 1916 года. Он все время откликается, с ранних лет откликается! Ему сам Сталин лично написал письмо 19 марта 1930 года, хвалил его работу. А Жаров – тоже комсомольский поэт; у него поэмы “Комсомолец”, “Гармонь”, его стихи проникнуты “духом революционности и партийности...” Гусев, Алтаузен и другие... А Тарасенков пишет, что Пастернак – тот, кто смеет спрашивать, “какое нынче тысячелетье на дворе” – величайший поэт современности! Он создал лучшее, что есть в нашей поэзии!..

В дубовом зале на Воровского в те годы – 1934–1936 – шли бесконечные дискуссии поэтов. Дня не хватало, переносили на другой, третий. Там выступали все – Асеев, Кирсанов, Сурков, Луговской, Уткин, Безыменский, Жаров, Алтаузен и прочие, прочие. Только Пастернака не было. Но именем его кидались! Входили в раж из-за него. Кто-то нападал друг друга. Но пока все эти споры шли в пределах Союза, выплескиваясь конечно, на страницы газет, журналов. Окрика сверху, указаний еще не поступало...»⁸⁷.

История с доносом

Как уже говорилось, в ноябре 1934 года Тарасенков заводит тетрадь в черном клеенчатом переплете, куда на-

чинает вписывать все свои встречи и разговоры с Борисом Леонидовичем, вспоминая начало их знакомства.

Мария Белкина писала: «Тетрадь он всегда тщательно прятал. Прятала и я после его смерти, пока Пастернак был жив, ибо высказывания Бориса Леонидовича были слишком смелы и откровенны по тем временам, а тетрадь, попав на глаза недоброжелателя, могла бы сыграть пагубную роль. И только уже когда Пастернак умер, я показала эти записи Твардовскому, надеясь, что он сможет напечатать в “Новом мире”, но возможности этой не представилось...».

Именно из этой тетради станет известно о многих страницах жизни Пастернака в темные 30-е годы, о его мыслях, суждениях. В ней же будет откровенно рассказана история их разрыва с Тарасенковым и нового примирения.

Однако А.К. Гладков спустя годы выскажет версию, что, мол, Тарасенков вел эти записи неспроста, они были ему нужны, чтобы использовать в качестве «доносов» на Пастернака. К нему попали записи Тарасенкова в 1966 году через Льва Левицкого, когда до их публикации было еще очень далеко. Левицкий же получил от Бориса Закса, которому дал их Твардовский. Но Гладков и сам вел записи за Пастернаком⁸⁸.

Разрыв Тарасенкова с Пастернаком, цепочка публичных от него отречений — тесно связаны с приездом в нашу страну в июне 1936 года Андре Жида и его встречами с советскими писателями. Затем с публикацией его «Возвращения из СССР», где он писал о тяжелом впечатлении, которое произвела на него Советская Россия.

Еще за полгода до приезда А. Жида в Союз Тарасенков на свой страх и риск решил попросить Пастернака перевести его стихи.

1 марта 1936 года Тарасенков записывает:

13.XI.1935 я звонил Б<орису> Л<еонидовичу> и просил перевести стихи А. Жида из его новой книги (для «Знамени»). Б<орис> Л<еонидович> сразу согласился, сказал, что очень любит меня и сделает поэтому перевод с удовольствием <...>. Уговорились, что стихи Жида pošлю ему с курьером.

Через несколько абзацев Тарасенков пишет:

Стихи А. Жида Б<орис> Л<еонидович> перевел (см. № 1 «Знамени» за 1936 г.). Я заходил к нему за готовым переводом сам. Встретились, расцеловались. О чем-то долго говорили, стоя в прихожей.

Отношения между ними самые теплые.

17/II. В конце февраля длинный разговор по телефону. Прошу у Б<ориса> Л<еонидовича> новые стихи его для «Знамени». Он говорит, что они обещаны «Кр<асной> Нови», но он постарается дать их не туда, а в «Знамя», ибо ему нравится подобравшаяся в «Знамени» компания — Луговской, Мирский, Петровский⁸⁹.

Тарасенков получил от Пастернака стихи, у них частые встречи, подробные разговоры обо всем на свете, и литературе в частности. 28 мая последняя «спокойная» запись. Они общаются в редакции «Знамени», обсуждают статью Эренбурга, где тот описал свои встречи с Пастернаком. Пастернаку эти воспоминания категорически не понравились.

Тем временем на встречу с болеющим или умирающим (!) Горьким едут Андре Жид, а также Арагон с Эльзой Триоле, они свои люди, часто бывают в Союзе, а вот Андре Жид – первый раз в СССР, его приезд организован Эренбургом, в качестве сопровождающего – Михаил Кольцов.

Итак, 18 июня 1936 года Андре Жид прилетает самолетом Берлин – Москва. Во вместительном автомобиле писатель отправляется в гостиницу «Метрополь». В машине вместе с ним еще один французский писатель левых взглядов, приехавший раньше, – Пьер Эрбар, там же и Михаил Кольцов. В гостинице Андре Жид встретился с Пастернаком, с которым за год до того он познакомился на конгрессе в Париже. «Он невероятно привлекателен, – отмечает Андре Жид, – взгляд, улыбка, все его существо дышат простодушием, непосредственностью наилучшего свойства»⁹⁰.

Утром А. Жид узнает о смерти Горького. Газеты, только что начавшие печатать фотографии встречающих писателя советских людей, сменяются траурными полосами: гроб Горького в Колонном зале, траурная процессия, почетный караул членов правительства. Через два дня Андре Жид принял участие в его пышных похоронах, выступил с речью на Мавзолее, постоял рядом со Сталиным, который, впрочем, отказался от личной встречи с писателем.

25 июня в 4 часа Андре Жид вместе с Эрбаром отправились к Пастернаку на обед в Переделкино. Об этой встрече Пастернак откровенно расскажет некоему лицу, которое окажется у него 2 августа в воскресенье (через месяц с лишним). Этот день запечатлен в сводках аномальной погоды – жара Москве тогда достигла 36 градусов.

26 июня Андре Жид обедает у Бабеля, где был и Эйзенштейн. На обеде присутствовала жена Бабеля Пирож-

кова, которая по наивности или еще почему-то пересказывала то, что происходило дома, некоему лицу под кличкой «Эммануэль» (скорее всего, под этим именем скрывался литературовед Эльсберг, который мог вызывать доверие у Бабеля и его жены, так как работал в издательстве «Академия» вместе с арестованным Каменевым); ему она подробно сообщит обо всем, что говорил гость за обедом.

Заметим, что Андре Жид находится под постоянным надзором. Почти каждый день его фотографии украшают «Литературную газету», соперничая даже со Сталиным, или же печатаются отчеты о том, кого он посетил или с кем встретился. Он многим восхищен и потрясен. Он часто выступает и произносит много возвышенных речей.

Андре Жид едет в Грузию, оттуда через Крым в Одессу, оттуда в Абхазию и, не возвращаясь в Москву, отправляется домой, во Францию. Из Грузии он пишет полное высокопарных слов открытое письмо Лаврентию Берии, назвав его – «Прощание с Грузией». В нем были такие проникновенные слова: «Должен добавить, что нигде в СССР я не чувствовал более верной, более влюбленной преданности великому делу восторжествовавшей революции, чем в прекрасной орденоносной Грузии, которая благодаря труду своих руководителей сумела сохранить, восстановить или вновь завоевать основные особенности своей истинной традиции...»⁹¹

Как удалось свободному французскому писателю так быстро научиться повадкам наших писателей? Заметка была напечатана в газете «Заря Востока» от 1 августа 1936 года.

2 августа некий близкий знакомый Пастернака говорил с ним в Переделкине, чтобы узнать истинные мысли и намерения Андре Жида, затем изложил все услышанное в донесении от 7 августа 1936 года.

«Г. Молчанов <подпись> 7/VIII

АГЕНТУРНО

Источник “Февральский” – лит<ературный> критик.

Б. ПАСТЕРНАК о своих встречах с Андрэ ЖИДОМ
Беседа ПАСТЕРНАКА с источником происходила 2/VIII
на даче у ПАСТЕРНАКА в Переделкине. Предупредив
источника, что тот должен сохранить в тайне все, что он
будет говорить, ПАСТЕРНАК рассказал:

“У меня здесь на даче был А. ЖИД два раза. В первый раз
он был с Пьером ЭРБАР (об этой встрече ПАСТЕРНАК не
рассказал ничего), во второй раз приехала с ними еще
БОЛЕСЛАВСКАЯ (из МОПР’а), но он ее попросил уда-
литься и начал задавать мне вопросы.

– Я полон сомнений, – сказал Андрэ ЖИД, – я уви-
дел у вас в стране совсем не то, что ожидал. Здесь неверо-
ятен авторитет, здесь очень много равнодушия, коснос-
ти, парадной шумихи. Ведь казалось мне из Франции,
что здесь свобода личности, а на самом деле я ее не вижу.
Меня это очень беспокоит, я хочу написать обо всем этом
статью и приехал посоветоваться с вами по этому поводу.

– Что же мне вам сказать, – сказал ПАСТЕРНАК
ЖИДУ и ЭРБАРУ, – написать такую статью, конечно,
можно, но реальных результатов она не принесет.

Ваше имя в нашей стране значит меньше, чем имена
ГОРЬКОГО и РОЛЛАНА, но даже они не решались пода-
вать советы. У нас уничтожена эксплуатация. Но мы лишь
мечемся в поисках путей, никакой это не Ренессанс и не
Эллада. А вообще я в таких делах не мастак, лучше посо-
ветуйтесь с КОЛЬЦОВЫМ.

В ответ на это ЖИД и ЭРБАР испуганно замахали ру-
ками и ответили, что КОЛЬЦОВ лицо официальное.

“И вот едет теперь А. ЖИД по стране, – говорил ПАСТЕРНАК, – кричит “Ура!”, и больше ему ничего не остается делать. А написать эту статью по приезде во Францию вряд ли можно ЖИДУ, ведь тогда придется ему ссориться с Народным фронтом”.

Далее разговор носил очень длинный и разнообразный характер. Наиболее яркое и интересное из слов ПАСТЕРНАКА следующее:

“Вот построили нам дачи, учредили нечто вроде частной пожизненной собственности, и думают, что, глядя на землекопов и плотников, возящихся под моими окнами, я буду воспевать, как им приятно строить эту дачу для меня. Ерунда. Я слишком взрослый, чтобы можно было перестроиться. Кругом фальшь, невероятная глупая парадная шумиха самого дурного сорта (меня вчера хотел снять репортер “Торгово-промышленной газеты” при получении продуктов из авто “Гастронома”), ложь, неискренность, фарисейство. Этим фарисейством и ханжеством пропитано все так называемое женское движение (жены инженеров, писателей). Они думают, что люди заводные и что жены писателей смогут заставить писать мужей идеологически выдержанные произведения. – Вот вы говорите – “если б жил МАЯКОВСКИЙ”. Неужели вы думаете, что он умер от гриппа? Наивно. Ведь неизвестно, как бы сложились отношения СТАЛИНА и МАЯКОВСКОГО, если б МАЯКОВСКИЙ был жив. Может быть, он был бы сейчас в ссылке. Время другое. Его борьба с пошлостью, ханжеством не была бы сегодня победоносной. Павел Васильевич (так! – *Н.Г.*) имеет общую практическую судьбу с ЕСЕНИНЫМ.

*ПРИМЕЧАНИЕ. По нашим сведениям, А. ЖИД намеревается в ближайшие дни выехать из СССР (морем из Абхазии), не заезжая в Москву.

Он очень даровит и в нем есть — хоть и уродливый — протест. А вот СЕЛЬВИНСКИЙ — человек благополучный, никаких ни бездн, ни благородства у него нет. В сущности, так же дело и с ЛИДИНЫМ, и с ПИЛЬНЯКОМ, и с ЛЕОНОВЫМ.

Идет страшная волна мещанства, — у нас всё хотят сделать навечно, ведь сейчас добрались до семьи и хотят к ней насильно привязать человека. Конечно, всё это создали разные КИРШОНЫ. Но страшно то, что даже честные люди начинают говорить лживые вещи, не придавая, впрочем, им серьезного значения. ГРОНСКИЙ глуп, но даже он понимает, что все высказываемые им политические пустые слова — просто обязательная дань, не больше. Его даже за это упрекнуть нельзя. У нас из всего делают обязанность, официальщину. Ведь в 1933 г. я бежал в Грузию от этой официальщины. А теперь в 1936 г. мою любовь к Грузии превращают в службу — насильно заставляют меня писать для сборника о Грузии. У нас все трусливы, беспомощны. Ведь надо же как-то протестовать или хоть не потакать всей этой лжи и шумихе парадности. Вот нам хорошо, возят продукты из “Гастронома”, но уже на второй день является женщина с альбомом и просит записать ей туда похвальный отзыв. Зачем это? Что это: достижение Советской власти? Ведь доставка продуктов на дом есть во всем мире, была и у нас до революции. Не на что опереться, нет правдолюбца, который вел бы. Все мы, даже я и ТИХОНОВ, делаем и говорим равнодушные и дипломатические слова.

Я устал. Борьбаться не буду, но и потакать всему этому тоже не собираюсь.

Сейчас хочу снова писать прозу. И затем — мечтаю уехать за границу, поездить, поглядеть мир» (РГАСПИ. Ф. 57. Оп.1. Д. 64. Л. 58–51⁹²).

Публикатор этого документа Л. Максименков относит авторство к реально существующему театральному и литературному критику А.В. Февральскому. Это предположение вызывает сомнение, хотя бы потому, что Февральский и Пастернак были почти не знакомы. Февральский был какое-то время секретарем Мейерхольда, но в этот момент отошел от него и большую часть времени занимался редактированием собрания сочинений Маяковского, что и позволило Максименкову, опираясь на подпись — «Февральский», а также вопрос агента о Маяковском, отнести авторство к театральному критику Февральскому.

Однако из документа видно, что Пастернак говорит с человеком, близко знакомым или даже связанным с ним дружбой, потому он так откровенен. Кроме того, стилистически статьи и воспоминания Февральского абсолютно не похожи на манеру изложения, которая принята в этом тексте.

Высказывается версия, будто бы донос был написан Тарасенковым. Это связано с двумя смысловыми совпадениями в его записях, посвященных Пастернаку, и в агентурном донесении. Посмотрим, насколько такая версия убедительна⁹³.

Тарасенков в своем дневнике описывает лето 1936 года лишь год спустя — 4 июня 1937 года, когда в № 6 «Знамени» уже готовится его заметка с текстом отречения от Пастернака.

Тарасенков восстанавливает по памяти последние встречи с Борисом Леонидовичем с лета 1936-го по зиму 1936 года. Это как раз то время, когда с началом Зиновьевско-каменевского процесса колесо взаимных обвинений, угроз, подозрений закрутилось со страшной скоростью. Весь этот год Тарасенков будет отвечать на собраниях за свои статьи о Пастернаке.

Делаю последнюю, очевидно, запись 4 июня 1937 года, уже после того, как подверглись сокрушающей критике мои статьи о Пастернаке, после того как мы поссорились с ним в ноябре 1936 года...

Летом 1936 года я раза три-четыре был у Пастернака на даче. Это были странные беседы-споры, в которых я уже чувствовал себя удаляющимся от Пастернака, все еще стремясь, однако, как-то понять его.

Однако это понимание становилось все более призрачным. Все более неприятными мне становились Пильняк и Сельвинский, дружившие с Б<орисом> Л<еонидовичем> (курсив мой. — Н.Г.). Я ему об этом прямо говорил, и он, полусоглашаясь со мной, тем не менее, продолжал с ними находиться в близких отношениях. В более резкой форме мы расходились по вопросу о Павле Васильеве, которого Б<орис> Л<еонидович> считал талантливым и значительным поэтом.

Когда мы ходили купаться, говорили об обеде, погоде, природе, Жарове или Алтаузене — все шло хорошо. Как только заходила речь о больших литературных вопросах — понимание взаимно ослабевало.

Помню невероятное возмущение Б<ориса> Л<еонидовича> тем, что у него требовал интервью репортер об обслуживании переделкинских дачников гастрономом (курсив мой. — Н.Г.). Б<ориса> Леонидовича хотели даже заставить сняться на фоне грузовика, привозившего в Переделкино продукты...

Помню, как репортер «Литгазеты» одолевал Б<ориса> Л<еонидовича>, требуя, чтобы тот выска-

зался по поводу каких-то событий. С величайшей неохотой и трудом Б<орис> Л<еонидович> под влиянием П. Павленко решился на этот шаг.

Говорил — очень неопределенно — Б<орис> Л<еонидович> о своем романе, который он продолжал писать. С огромным увлечением прочел книгу Тарле о Наполеоне, которую я ему дал. Рассказывал о том, что читает сейчас многотомную историю франц<узской> Революции — Мишле.

Затем наступили события, связанные с процессом троцкистов (Каменев — Зиновьев). По сведениям от Ставского, Б<орис> Л<еонидович> сначала отказался подписать обращение Союза писателей с требованием о расстреле этих бандитов. Затем, под давлением, согласился не вычеркивать свою подпись из уже отпечатанного списка. Выступая на активе «Знамени» 31 августа 1936 г., я резко критиковал Б<ориса> Л<еонидовича> за это. Очевидно, ему передал это присутствовавший на собрании Асмус.

Когда после этого я приехал к Б<орису> Л<еонидовичу> — холод в наших взаимоотношениях усилился. И хотя Б<орис> Л<еонидович> перед наступавшей на меня Зинаидой Николаевной, которая целиком оправдывала поведение мужа в этом вопросе, даже несколько пытался «оправдать» мое выступление о нем, видно было, что разрыв уже недалек.

Через некоторое время я написал Б<орису> Л<еонидовичу> письмо о том, что хочу к нему приехать и поговорить. Ответа не было. На банкете в честь новой Конституции — в Д<оме> С<оюза> П<исателей> — у нас с Б<орисом> Л<еонидовичем> зашел разговор об этом письме. Б<орис>

Л<еонидович> вилял, не отвечая мне прямо даже на вопрос о том, почему он на него не ответил. Затем разговор зашел почему-то об А. Жиде. Оба мы были в некотором подпитии, и формулировки звучали резко, определенно. Дело свелось к тому, что Б<орис> Л<еонидович> защищал Жида (речь шла о его книге, посвященной СССР). Я резко выступал против. Если припомнить, что летом мне Б<орис> Л<еонидович> рассказывал о своем разговоре с А. Жидом, в котором тот отрицал наличие свободы личности в СССР, — то эти высказывания Пастернака приобретают определенный политический смысл. В результате этого разговора произошла резкая ссора, разрыв. Б<орис> Л<еонидович> заявил, что я говорю общие казенные слова и что разговаривать со мной ему неинтересно.

Позднее об этой нашей беседе, которую слышали многие (Долматовский, Арк. Коган и др.), говорил в своей речи Ставский⁹⁴.

Конечно же, ключевой фразой кажутся слова Тарасенкова о том, что *«...летом мне Б<орис> Л<еонидович> рассказывал о своем разговоре с А. Жидом, в котором тот отрицал наличие свободы личности в СССР, — то эти высказывания Пастернака приобретают определенный политический смысл»*. Вот же, Тарасенков сам признается, что говорил именно про Андре Жида, как и в доносе, и именно о свободе личности в СССР. Получается так, что Тарасенков написал донесение, а затем (почти спустя год!) воспроизвел отдельные тезисы в своем дневнике. Зачем? Можно было вообще «закрыть тему» и не вспоминать о тех минутах своей жизни.

Однако если задуматься, то получается, что весь кусок из Тарасенкова от 4 июня 1937 года — это подведение ито-

гов того, что между ним с Пастернаком произошло в течение последнего года, после того, как Тарасенков предложил Пастернаку перевести стихи Андре Жида и опубликовал эти переводы в «Знамени». Тарасенков — инициатор появившихся в печати произведений французского писателя, превратившегося в конце 1936 года во врага Советского Союза. Тарасенков боится и припоминает все, что произошло у них с Пастернаком за это время. То, что Тарасенков признается, что говорил с Пастернаком летом о приезде Андре Жида, — неудивительно, так как только что вышел его перевод в «Знамени» и они возвращались к этой теме.

Итак, Андре Жид в пересказе Пастернака говорит: *«Ведь казалось мне из Франции, что здесь свобода личности, а на самом деле я ее не вижу».*

Тарасенков в конце этого куска, посвященного последним встречам с Пастернаком, пишет, что у него был разговор об Андре Жиде: *«...Б<орис> Л<еонидович> рассказывал о своем разговоре с А. Жидом, в котором тот отрицал наличие свободы личности в СССР...».*

Однако и во втором случае мы можем иметь дело с некой пастернаковской формулой о «свободе личности», тем более Тарасенков уже приводил ее в дневнике несколько страниц назад. *«Мне предложили в первом майском № “Известий”, — говорит Пастернак, — высказаться на тему о свободе личности. Я написал, что свобода личности — вещь, за которую надо бороться ежедневно, ежедневно, — конечно, этого не напечатали...».* Это слова не Андре Жида, а самого Пастернака. И, казалось бы, если Тарасенков агент, то почему бы ему не привести более откровенную пастернаковскую фразу.

Вот еще одна совпадающая по смыслу фраза: *«Помню невероятное возмущение Б<ориса> Л<еонидовича> тем, что у него требовал интервью репортер об обслужи-*

вании переделкинских дачников гастрономом. Б<ориса> Леонидовича хотели даже заставить сняться на фоне грузовика, привозившего в Переделкино продукты...».

А вот фраза из доноса, где приводится речь Пастернака: «Кругом фальшь, невероятная глупая парадная шумиха самого дурного сорта (меня вчера хотел снять репортер “Торгово-промышленной газеты” при получении продуктов из авто “Гастронома”), ложь, неискренность, фарисейство».

Однако нет никакой уверенности в том, что Пастернак не мог не высказать свой взгляд на историю с гастрономом и про столь возмутившее его поведение репортера самым различным людям.

Напомним, что разговор Пастернака с автором доноса происходит спустя месяц после встречи с Андре Жидом. Формулировки уже отлились. Он мог произнести это уже несколько раз. Однако автор донесения дважды поминает историю с гастрономом, как будто ему нечего больше инкриминировать Пастернаку.

Донос производит впечатление абсолютно иное, нежели дневник Тарасенкова. Пастернака слушает и передает его рассказ человек, хоть и знакомый, даже очень близко знакомый, но видящийся с ним раз от разу, можно сказать давно не видевшийся... Тарасенков откровенно пишет в дневниках, что они много спорят этим летом. Подобному агенту было бы как раз выгодно показать свое несогласие с теми взглядами, которые исповедует Пастернак.

Вообще диалог Пастернака и автора донесения, несмотря на эмоциональность поэта, почти все время остается в рамках литературной и бытовой жизни. Разговор о политике сразу же сведен к нулю. Пастернак не так уж доверяет своему собеседнику и потому очень сдержанно отзывается обо всем.

Совсем иной Пастернак в тарасенковских тетрадах. Трагичный, сомневающийся в правильности советской жизни, в политических преобразованиях в стране.

В доносе есть абсолютно противоположные тому, что пишет Тарасенков в дневнике, слова о Сельвинском и Пильняке. Тарасенков пишет, что ему не нравится дружба с ними Пастернака. В донесении же Пастернак, напротив, пытается убедить своего слушателя, что Пильняк и Сельвинский стали дурны, потому что слушатель явно симпатизирует им или дружит с одним из них.

Но есть то, что при многократном чтении донесения не может не ощущаться. Этот текст, по-своему изысканный, писал человек артистичный, вкладывающий в этот донос свое не востребовавшее дарование. Донос написан ярко, красочно, с хорошо переданной речью Пастернака, насыщенной инверсиями. Тарасенков в дневниках пишет совсем иначе. В эти августовские дни у Пастернака был еще один давний приятель Виктор Гольцев, который отвезет грузинским друзьям Пастернака – Табидзе и Яшвили – стихи, им посвященные. Станным образом, у Гольцева окажется в архиве письмо Андре Жида к Лаврентию Берия, которое он напечатает осенью... Но кроме того, Гольцев давно уже как бы надзирает за грузинскими поэтами. Об этом есть красноречивая запись в дневниках Щербакова, который, возглавляя в 1934–35 годах Союз писателей, получает от Гольцева информацию о политическом и моральном облике грузинских поэтов⁹⁵.

Неожиданно мы слышим голос автора донесения, где он цитирует самого себя.

– Вот вы говорите – «если б жил МАЯКОВСКИЙ». Неужели вы думаете, что он умер от гриппа? Наивно. Ведь неизвестно, как бы сложились

отношения СТАЛИНА и МАЯКОВСКОГО, если б МАЯКОВСКИЙ был жив. Может быть, он был бы сейчас в ссылке. Время другое. Его борьба с пошлостью, ханжеством не была бы сегодня победоносной.

Апелляция к Маяковскому как к высшему авторитету — выдает определенный склад сознания. Маяковский был объявлен Сталиным лучшим и первейшим поэтом. Теперь было принято мерить им все как эталонным метром. Бить именем Маяковского, взывать к нему — стало привычкой тех дней, которая сохранилась и в послесталинские годы в среде литераторов.

И хотя Тарасенков живет по тем же законам и в том же мире, но он вряд ли задал бы такой вопрос Пастернаку. Ведь именно Тарасенкова в печати будут бить за то, что он предпочел Пастернака Маяковскому, что он поставил их не по ранжиру. Зачем ему спрашивать, что думал бы Маяковский, если перед ним — Пастернак и Тарасенков сызмальства знает его место в иерархии поэтов.

А вот формулу, воспроизводящую оппозицию Пастернак — Маяковский, я обнаружила в письме литературного критика Корнелия Зелинского к Всеволоду Иванову в начале 1960 года в продолжение споров, связанных с публикацией на Западе романа «Доктор Живаго».

Корнелий Люцианович Зелинский сопровождал Пастернака в течение всей его жизни. В 1926 году из Франции в Советскую Россию передавал от Цветаевой сборники ее стихотворений. Присутствовал на вечерах, чтениях стихов и романа. Большой ценитель поэзии, он в конце 20-х годов был идеологом конструктивизма, близко дружил с Сельвинским.

Был редактором книги переводов Пастернака «Грузинские лирики», выпущенной в 1935 году. Прекрасно

владел французским языком и последние годы жизни Горького бывал в его доме и присутствовал на его встречах с Роменом Ролланом. После своего редакторства «Грузинских лириков» с Пастернаком, скорее всего, они виделись нечасто, слишком уж разный у них был в то время круг. Однако Пастернак долго еще считал Корнелия «своим», тот был связан и с Маяковским, и с ЛЕФом, у них было много общих друзей, после войны он приглашал его на чтение глав из «Доктора Живаго».

Зелинский неоднократно писал о Пастернаке заметки в дневнике, но не восторженные, как Тарасенков, а злые и ироничные. Именно эти записи, как правило, с огромными кусками прямой речи, я и увидела в его дневниках.

В конце 1956 года Пастернак проходил лечение в санатории «Узкое», и там находился Зелинский, который всячески проявлял к нему свое расположение и участие, активно хлопотал перед администрацией санатория, чтобы Б<ориса> Л<еонидовича> перевели в лучшую палату.

1 января 1957 года он пришел к Пастернаку в Переделькино с поздравлениями и поцелуями, пил с ним шампанское. А тем временем в редакцию «Литературной газеты» была уже сдана его статья «Поэзия и чувство современности», в которой он нападал на поэта и, в частности, на его стихотворение «Рассвет». В день выхода статьи 5 января 1957 года состоялось собрание президиума Академии наук, где оказались одновременно К. Зелинский и Вяч. Вс. Иванов, молодой друг Пастернака, который на протянутую Зелинским руку руки ему не подал, сказав: «Я прочел вашу статью». Об этом эпизоде Зелинский не только сообщил на собрании, где исключали Пастернака, но потребовал провести «очистительную работу» среди поклонников поэта. В ответ на такое заявление Зелинско-

го Вяч. Иванова уволили и из МГУ, где он преподавал, и из журнала «Вопросы языкознания», где он был заместителем главного редактора.

После этих событий с Зелинским порвали отношения многие из его знакомых в литературных кругах. Зелинский был крайне обескуражен и озабочен такой реакцией. Поэтому спустя год он решил писать к Всеволоду Иванову (отцу Комы Иванова) письмо с разъяснением своей позиции.

Черновик письма находится в РГАЛИ. Рассуждение о том, что произведение Пастернака служит разжиганию холодной войны, в многостраничном послании от 30 апреля 1960 года (Пастернак в те дни умирал) сменяется попыткой Зелинского убедить Вс. Иванова, что он не мог поступить иначе. Зелинский писал:

Но представь себе мысленно, какую позицию занял бы в «деле Пастернака» Маяковский, если бы он был жив? Вспомни, что когда Пильняк передал для напечатания в Берлине свой роман «Красное дерево», то Маяковский назвал это «выдачей оружия врагу». Думается, что и сегодня Маяковский так же бы ударил своего друга за его поступок, как это сделали сегодня же когда-то близкие друзья Пастернака — Асеев и Шкловский⁹⁶.

У Зелинского иерархия писателей строилась так же, как иерархия членов Политбюро. Зелинский — идеолог конструктивизма, вовремя убежавший от неудачливого Сельвинского, которого он сначала считал равным Маяковскому, но, вовремя поняв, что большого будущего у его приятеля нет, работает сначала рядом с Горьким, — первейшим и самым великим советским писателем, а затем становится биографом Фадеева.

Отступление. Корнелий Зелинский

В своей неопубликованной биографии, несмотря на множество провалов и умолчаний, Зелинский на многое проливает свет: «Я родился в семье инженера в Киеве в 1895 году. Время и место рождения были впоследствии передвинуты. Место рождения на Москву (поскольку туда вскоре переехали мои родители), а дата рождения сдвинута на месяц позже. Таким образом, как рассуждали отец с матерью, выигрывался год для воинской повинности.

Мой отец, инженер Люциан Теофилович Зелинский, родом из города Любича на Волыни, принадлежал к старинному дворянскому роду. Корни нашего древа, которые как-то для геральдической забавы изобразил наш отец – уходили к началу 18 века. Мать моего отца, служившая гувернанткой в доме моего деда, гордого, но обедневшего польского шляхтича, была немкой. Моя мать Елизавета Александровна Киселева, дочь врача, преподавала в гимназии Н. Шпис на Лубянке русский язык и литературу. <....>

Весной 1914 года я закончил 6-ю гимназию»⁹⁷.

В 60-е годы Зелинский гордится своим дворянским происхождением (если, конечно, это было правдой). С некоторым юмором пишет он о том, что мать работала там, где теперь другое заведение (имеется в виду здание КГБ на Лубянке, на месте которого когда-то была гимназия); там же потом работала учительницей его сестра. Жуткая ирония! Сестра попадет туда уже в качестве заключенной в 1937 году

Его отец – инженер и бывший дворянин – после фронта оказался в Кронштадте, где вступил в партию. Сын тоже «бросается в политику». Закончив историко-филологический факультет Московского университета, Кор-

нелий работает военным журналистом где-то рядом с отцом, в «Кронштадтских известиях», там же он становится военным корреспондентом РОСТА. А оттуда попадает на место «редактора секретной информации при правительстве Украинской ССР». В автобиографии он делает интересное признание: «Тогдашний председатель ЧК Балицкий с некоторым изумлением рассматривал мои бумажные плоды быстрой ориентации в военной и политической работе. — Пошел бы ты, Зелинский, к нам в ЧК работать. С нами не пропадешь и веселее будет». Судя по извилистым дорогам его судьбы, предложение Балицкого не осталось втуне.

Видимо, заведование секретным отделом и привело Зелинского на место корреспондента «Известий» в Париже и место секретаря Христиана Раковского. Старый большевик, руководивший Украинским правительством в 20-е годы, пригласил, или ему посоветовали взять, на службу способного молодого человека. Он прожил несколько лет в Париже, как признавался сам, встретил там своего бывшего преподавателя философии историко-филологического факультета МГУ — Ивана Ильина. Но тот холодно отнесся к бывшему студенту. Тогда-то Пастернак написал ему (еще незнакомому) несколько писем в Париж с просьбой встретиться с Цветаевой и взять у нее для него сборники ее стихов. Таким образом, и с Цветаевой, и с Пастернаком, и со сборником «Сестра моя жизнь», о котором Зелинский говорил как о самом дорогом, что у него было, он познакомился именно в те годы.

В начале 1926 года Зелинский еле спасся от неминуемой смерти. Дело в том, что по совету Маяковского в Париж он отправился вместе с дипкурьерами. Маяковский познакомил его Теодором Нетте, «будущим пароходом и человеком», и тот взял его в свое купе. Поезд шел через Ригу. На дипкурьеров напали некие белоэмигранты-мсти-

тели, они дважды наставляли револьвер на Зелинского, но почему-то не выстрелили. Они убили Нетте и тяжело ранили его товарища. Эта история и по сей день представляется темной, в ней много политики, но абсолютно непонятно, кто и зачем нападал на дипкурьеров. Вполне возможно, что когда-нибудь откроется, что это была очередная провокация ОГПУ, необходимая для обострения отношений с белой эмиграцией.

Корреспонденция Зелинского о том событии, вышедшая в «Известиях», легла в основу стихотворения «Товарищу Нетте...». Маяковский потом очень жалел, что не получил информацию из первых рук, непосредственно от Зелинского.

Одновременно Зелинский возглавляет вместе с Сельвинским литературный центр конструктивистов, что было по-настоящему любимым делом, тогда он верил в свое великое будущее как идеолога этого направления, что не помешало ему в конце 30-х неоднократно от него отречься. К 1932 году все литературные группы были разгромлены вместе с РАППом.

В автобиографии Зелинского есть еще один подозрительный сюжет, приходящийся еще на время до разгона конструктивистов. Он пишет, как любовно и бережно с 1927 года начал собирать библиотеку, а в 1930 году он серьезно пополнил ее, приняв участие в раскулачивании в Удомельском районе Тверской области, откуда привез более полусотни книг, брошенных бежавшими священниками. Можно только представить, при каких обстоятельствах и куда бежали несчастные священники со своими семьями, бросая дома, имущество и библиотеки.

С 1932 года Зелинский участвует в ряде начинаний Горького, пишет большую статью о Ромене Роллане, удостоивается встречи с прославленным писателем.

В 1935 году из НКВД увольняется его отец, с должности «инженера-теплотехника», как написано в документе из архива Зелинского.

После смерти Горького Зелинский решил «лечь на дно». «Я почувствовал, что должен уединиться на время и изменить свою жизнь, отойти от суеты литературного общения и подумать». Он поселился в Быкове на даче своего знакомого актера Горюнова, в одиноком доме на окраине поселка. В автобиографии Зелинский, касаясь своего исчезновения, делает поразительное признание, объясняя природу страха.

«Не следует, — пишет он, — строго судить людей, в которых громче заговорил инстинкт самосохранения»⁹⁸. Он вспоминает Горького, и его рассуждение о том, что совесть эта сила, необходимая лишь слабым духом. И далее он с марксистской прямоотой говорит, что раз жизнь — это существование белковых тел, то выживает то тело, которое стремится выжить. Главная задача человека — это выживание.

Тут много неясного. Близко общаясь с Горьким и его окружением, он, видимо, был связан с Ягодой и его ведомством. Но с началом зиновьевско-каменевского процесса дни Ягоды были сочтены. Однако и прятаться в Быкове на дачном участке было как-то странно, потому что его мог выдать и хозяин дачи, да и место это совсем рядом с Москвой.

Интересно, что донос на Пастернака, приведенный выше, был одним из последних, сделанных в ведомстве Ягоды, перед тем как его сняли. Публикатор Л. Максименков указывает, что документ был составлен не по той форме, по которой подобные донесения обычно составлялись при Ежове. Указания на деятельность агента (литературный критик) потом из донесений исчезнут.

Для Зелинского эти годы, видимо, действительно сложились непросто: были арестован его зять — М. Танин, секретарь Хрущева, а затем и его сестра.

В 1940 году он как-то очень «по-семейному» опекал в Доме творчества Голицыно Цветаеву и ее сына Мура, давал мальчику книжки, беседовал с ним о литературе. А сам тем временем писал внутреннюю, разгромную рецензию на сборник Цветаевой, готовящийся в Гослитиздате. «Сволочь, Зелинский!» — напишет Цветаева в своем дневнике.

Во время войны его следы появляются в Елабуге. Болотин, муж Т. Сикорской, в письме в Москву перечисляет находящихся в Елабуге членов Союза писателей, которые нуждаются в помощи, среди них... К. Зелинский. Что он там делал? Почему это почти нигде не отражено? Почему он не жил в Чистополе вместе с другими писателями?

Дальше его приключения еще интереснее. Из Елабуги он едет в Уфу, а оттуда перебирается в Ташкент, где находится в эвакуации Ахматова, и тут же начинает готовить ее сборник в печать. Выкинув из него большую часть стихов, пересоставив по-своему, пишет предисловие к нему. «Ужасающее по неграмотности и пошлости», — заметила Л.К. Чуковская⁹⁹. А спустя несколько месяцев, 23 октября 1942 года, вернувшись из Москвы, «Зелинский привез разрешение на печатание книги, данное в очень высоких инстанциях»¹⁰⁰, — с удивлением заключала Чуковская в своем ташкентском дневнике. Интересно, что книга выходит в конце мая 1943 года, а в июле Зелинский оказался уже в Москве.

Зачем ему были нужны Пастернак, Цветаева, Ахматова? Конечно, как гурман, он наслаждался хорошими стихами, но он вовсе не стремился их печатать. Мало того, он откровенно их избегал, но словно по чьему-то велению

оказывался рядом с поэтами в самые трудные для них моменты жизни.

Истинное свое назначение он видел в работе с «разрешенными» литераторами. Неслучайно после эвакуации в 1944 году Зелинский становится официальным биографом Фадеева.

В своих очень странных и путаных дневниковых воспоминаниях о Фадееве в 1954 году, написанных не для современников, а для потомков, Зелинский приоткрывает из-под маски казенного биографа ехидное, недоброе лицо человека, который вынужден писать о генеральном секретаре Союза писателей, медленно теряющем после смерти Сталина свой вес.

В извилистом рассказе Зелинского всплывает московский эпизод 1944 года, когда его вызывают на Лубянку, где от него требуют ответ, почему он не сообщает о разговорах среди писателей. Он пишет, что его отпустили лишь под утро и почему-то не арестовали.

Тогда же он бежит жаловаться к Фадееву и просит у него защиты, а тот увещевает его, объясняя, что партия требует от них поддержки в изобличении врагов, а интеллигенция все делает в белых перчатках. Потом Фадеев открывается перед Зелинским, рассказывая страшную историю о том, как его ненавидит и пытается уничтожить Берия. Рассказ Зелинского настолько витиеват, что в нем непросто отделить правду от лжи¹⁰¹.

Итак, возвращаясь к началу истории об агентурном донесении некоего Февральского, осмелимся предположить, что этот агентурный псевдоним мог быть намеком именно на Пастернака. Во-первых, на его знаменитое стихотворение «Февраль», и, во-вторых, на его месяц рождения. К этому заключению подталкивает имя еще одного агента, который следил за Исааком Бабелем и о котором

уже упоминалось. Имя некоего стукача «Эммануэля» отсылало к отчеству писателя — Эммануилович. Наверное, сочинители этих имен казались себе людьми остроумными. Донесение «Эммануэля» (одно из немногих) было опубликовано в сборнике «Власть и художественная интеллигенция»¹⁰².

Формально пути Зелинского с Тарасенковым кажутся параллельными — оба они поэтические критики, в разное время находившиеся рядом с Цветаевой, Ахматовой, Пастернаком. Однако это лишь внешнее сходство. Зелинский, скорее всего, никогда не действовал по своей воле, его любовь к запретной поэзии ограничивалась светскими разговорами.

То он редактор грузинских переводов Пастернака (в тот момент он заведует национальной литературой в издательстве), то он вынужден писать внутреннюю рецензию на сборник Цветаевой, то на него буквально падает необходимость делать книгу Ахматовой.

В отличие от Зелинского, Тарасенков сам влезает в истории с публикацией тех или иных любимых поэтов, а потом, когда его застигают врасплох, отказывается от того, что искренне любит.

Но как мы видим по его работе в «Знамени», как только представлялась возможность, он тут же попытался «протащить» Пастернака, за что в конце концов был изгнан из журнала.

Мог ли Тарасенков быть агентом «Февральским»? Могли его взять после поездки на дачу Пастернака и заставить дать показания? Могли. Тогда ничего не стоило взять любого.

Но ведь есть логика жизни. Мы можем не знать, кто на кого писал доносы, можем подозревать всех или никого, но в каждом следствии есть косвенные улики. Они го-

ворят о том, что все последующие мотивы поступков Тарасенкова по отношению к Пастернаку, все мучения и метания в этом случае просто теряют смысл. Если человек работает осведомителем, доносит на любимого поэта, то зачем так нервно и долго противостоять нажиму Вишневского? Опять и опять выступать на писательских секретариатах, и, как дикий зверь, вилять, крутить, обманывать преследователей. Ведь была спокойная и неспешная жизнь людей, которые сделали свой выбор, строчили наверх доносы и жили в соответствии с платежной ведомостью, где было указано, сколько стоит их работа. Зачем Тарасенков увольнялся из «Знамени», отказываясь писать о Пастернаке?

Кроме того, биография Тарасенкова, как мы увидим из этой книги, канва его жизни — сложна, извилиста, противоречива, но абсолютно прозрачна, в ней почти все на поверхности: и любовь к поэту и измены ему.

Иное дело Зелинский — его путь полон тайн, загадок, провалов и вызывает массу неразрешимых вопросов. Его дневниковые записи, хранящиеся в РГАЛИ, представляют собой почти уничтоженную вполовину тетрадь, с массой вырванных страниц. Записи о Пастернаке, которые там попадаются, особенно после войны, носят то ернический, а то и откровенно злой характер. Точно такие же записи, схожие по интонации, я встречала у С. Островской, ленинградской переводчицы, которая была приставлена после войны к Ахматовой. В «жертве» доноса авторы находили что-то неприятное, отталкивающее, видимо, для того, чтобы как-то самооправдаться.

Тарасенковские записи принципиально иные. В 30-х годах у Тарасенкова случился запомнившийся многим свидетелям публичный скандал, а затем и разрыв с Пастернаком. Агенты обычно работают тихо, их хозяева не заинтересованы в публичных скандалах.

Конечно же, невозможно доказать, кто был 2 августа у Пастернака в Переделкине, а 7-го написал агентурное донесение на Лубянку. Разумеется, было сделано все, чтобы уничтожить следы подобной «работы».

От Зелинского во всем, что он делает, что пишет, как живет, остается ощущение, что это циник. А от Тарасенкова — что он слабый, раздвоенный, но все-таки романтик.

Процессы

В августе 1936 года начинается процесс троцкистско-зиновьевского центра. На скамье подсудимых главные обвиняемые — Каменев и Зиновьев. Официально извещение о «процессе 16-ти» появилось 15 августа 1936 года.

21 августа в «Правде» печатается статья Пятакова, в которой он требует «беспощадно уничтожить убийц и врагов народа», в этот же день в ОГИЗе идет собрание, на котором кандидат в члены ЦК, руководитель издательства Томский клеймит убийц, предателей и кается, что сам был когда-то правым уклонистом. А вечером в Доме союзов на заседании, где проходит суд, Вышинский со своей прокурорской трибуны требует привлечь к судебной ответственности как врагов народа и изменников Родины тех самых Пятакова и Томского, а также Бухарина, Рыкова и других! Томский стреляется на своей даче. Этого скрыть нельзя, об этом сообщают газеты, укоряя его в трусости, в том, что он боялся предстать перед судом «народа».

В Союзе писателей идут собрания, все в едином порыве «голосуют за смертную казнь».

20 августа на заседании правления СПП был зачитан текст: «Всем друзьям Сов. Союза и читателям». Работать над ним было поручено Федину, Павленко и Вишневскому.

Федин говорит на собрании: «У меня такое предложение. Группа товарищей, которая живет у нас в Переделкино, написала проект обращения, рассчитанный на очень широкий резонанс. Это обращение должно пойти от имени Союза. Я прочитаю проект этого обращения»¹⁰³.

Итак, текст создавался как обращение переделкинских писателей. Видимо, 20-го вечером с ним ходили по главным домам Переделкина. Пастернак свою подпись ставить отказался. Тарасенков записал в дневнике:

По сведениям от Ставского Б<орис> Л<еонидович> сначала отказался подписать обращение Союза писателей с требованием о расстреле этих бандитов. Затем, под давлением, согласился не вычеркивать свою подпись из уже отпечатанного списка¹⁰⁴.

Кому из них лично отказал Пастернак — неизвестно. Текст начинался патетически: «Пуля врагов метила в Сталина. Верный страж социализма НКВД — схватил покушавшегося за руку. Сегодня они перед судом страны». И заканчивался словами: «Мы обращаемся с требованием к суду во благо человечества, применить к врагам народа высшую меру социальной защиты»¹⁰⁵.

Сначала под текстом стояли фамилии всего девяти писателей: Ставский, Федин, Павленко, Вишневский, Киршон, Пастернак, Сейфуллина, Жига, Кирпотин. Но уже 21 августа в «Правде» было напечатано письмо абсолютно с другим названием: «Стереть с лица земли!», хотя на собраниях 20 и 21 августа текст с таким названием писатели не принимали. Его уже «сварили» на кухне газеты «Правда». Тогда же к обращению присоединили еще шесть фамилий.

Снежный ком нарастает. О том, что Пастернак отказался подписывать, становится известно участникам со-

брания московских писателей. 25 августа на заседании президиума они, обрушиваясь на «врагов», не забывают «ударить по Пастернаку».

Выступают Афиногенов и Луговской. Афиногенов на том памятном собрании требует себе пистолет, чтобы самолично расстрелять бандитов. Потом Афиногенова выгонят из партии, он окажется в полной изоляции. А Луговской через два года раскается в своих словах, которые он сказал о Пастернаке.

«Какое доверие к нам? – вопрошает Луговской. – Надо творчески сигнализировать, а у нас, у многих есть либерализм. Это приятное человеколюбие, которым многие красуются. Вокруг слышны разговоры, что можно было бы и не так сказать. Возьмем поступок Пастернака, чем его прикрыть? Тем, что он поставлен у нас в положение какого-то советского юридического. Это неправильно. Это дико»¹⁰⁶.

Испортит картину Олеша, объяснявший, что Пастернак такой человек, который не может своей рукой подписать кому бы то ни было смертный приговор. Но если будет война, говорил Олеша, Пастернак непременно с оружием будет защищать родину.

На эту реплику писатель Лахути, иранский коммунист, член правления СП, говорит, что как же Пастернак будет стрелять на фронте. «Нам не нужны такие красноармейцы», – восклицает он. Олеша пугается, берет слова назад.

«Нет, я не то хотел сказать. Если так, то я снимаю свое заявление»¹⁰⁷.

Проходит собрание в журнале «Знамя». Тарасенков пишет в клеенчатой тетради:

Выступая на активе «Знамени» 31 августа 1936 года, я резко критиковал Б<ориса> Л<еонидовича> за это. Очевидно, ему передал это присутствовавший на собрании Асмус¹⁰⁸.

Что же сказал Тарасенков на том собрании?

Как ни горько, но хочется сказать о следующем факте в отношении Бориса Пастернака, человека, которого я очень люблю и литературный авторитет которого ставлю очень высоко. Тот факт, который имел место недавно на президиуме Союза, когда он проявил колебания в подписании документа требующего расстрела террористам, заставил меня очень горько и больно подумать о нем.

Мне обидно за всех за нас, которые переоценивали степень приближения Пастернака к нам. Ведь не секрет, что тот же Пастернак окружает себя всякой нечистью, вроде Пильняка, человека, который собирал деньги для Троцкого, писал халтурные вещи в силу того же равнодушия к задачам настоящего искусства¹⁰⁹.

Пастернак узнал о словах Тарасенкова от своего друга философа Валентина Асмуса. А что же говорил на памятном собрании Асмус? Он обрушился на покойного Андрея Белого:

Я раскрыл псевдоним, под которым Белый в журнале «Весы» выступил с остро политическими статьями, направленными против революции¹¹⁰.

Тарасенков поедет к Пастернаку извиняться за свое выступление, но тот не обиделся на него, нападать на Тарасенкова будет испуганная Зинаида Николаевна. Пастернак, наоборот, вступает за Тарасенкова, объясняя жене, что тот просто не мог поступить иначе.

Андре Жид вернулся на родину как раз с началом процессов. Он пишет книгу о своей поездке. Он по-прежнему

восхищен людьми и их делами, и молодежью, и детьми, но его пугает «унификация душ», «нивелировка личности». В СССР не существует свободы слова, все сводится к тому, насколько то или иное произведение совпадает с «генеральной линией, но никому не позволено критиковать самую эту «генеральную линию». А тот, кто критикует — уклонист, троцкист, буржуазный идеолог и садится на скамью подсудимых. А истинный писатель, как представляет себе Андре Жид, — всегда находится в оппозиции к режиму, он идет впереди, он движет прогресс....

Естественно, печать обрушилась на книгу и на автора, — был, ел,пил, жил и столь неблагодарен!..

Советские люди узнают об этом из газет. В «Правде» 3 декабря выходит статья «Смех и слезы Андре Жида».

Тогда же на банкете писателей в честь принятия новой Конституции у Тарасенкова и Пастернака происходит разговор, окончившийся полным разрывом их отношений. Поводом послужила та самая книга Андре Жида «Возвращение из СССР». А по Москве будут водить нового путешественника Лиона Фейхтвангера. Мария Белкина приводела эпиграмму, гулявшую по Москве в связи с его приездом в 1937 году:

Стоит Фейхтвангер у стены
с весьма неясным видом,
и как бы и сей еврей
не оказался Жидом!

Спор, возникший на банкете в Союзе писателей между Пастернаком и Тарасенковым, оказался явно не ко времени, не к месту, говорила Мария Иосифовна, Тарасенков был той самой «унифицированной душой»! А Борис Леонидович, судя по тетради Тарасенкова, еще до Андре Жида говорил нечто подобное... Но оба они были уже в сильном подпитии и не контролировали себя, и,

горячась, говорили друг другу резкости на людях, привлекая к себе внимание. Один на Андре Жида нападал, другой защищал его. И кончилось все тем, как записал Тарасенков, что Пастернак сказал ему, что он говорит «общие казенные слова и что разговаривать ему со мной не интересно...». И еще он пишет, что «позднее об этой нашей беседе, которую слышали многие (Долматовский, Арк. Коган и др.), говорил в своей речи Ставский».

16 декабря 1936 года в «Литературной газете» и была напечатана эта речь Ставского на собрании членов СПП, где, в частности, были и такие слова: «Борис Пастернак в своих кулуарных разговорах доходит до того, что выражает солидарность свою даже с явной подлой клеветой из-за рубежа на нашу общественную жизнь».

Но и это еще не все. В агентурном донесении от 9 января 1937 года приводится пересказ Пастернаком того разговора.

Б. Пастернак (рассказывая об этом кулуарном разговоре с критиком Тарасенковым): «...Это просто смешно. Подходит ко мне Тарасенков и спрашивает: “Не правда ли, мол, какой Жид негодяй”.

А я говорю: “Что мы с вами будем говорить о Жиде. О нем есть официальное мнение “Правды”. И потом, что это все прицепились к нему — он писал, что думал, и имел на это полное право, мы его не купили”.

А Тарасенков набросился: “Ах так, а нас, значит, купили. Мы с вами купленные”.

Я говорю: “Мы — другое дело, мы живем в стране, имеем перед ней обязательства”»¹¹¹.

Уже наступил 1937 год. 20 января появляется сообщение Прокуратуры СССР, что закончено следствие по делу троцкистского параллельного центра. Пятакову, Ра-

деку, Сокольникову, Серебрякову и другим предателям предстоит разыгрывать спектакль в Доме союзов. 23 начинается суд, 30-го выносят приговор, 31-го, как пишут газеты, рабочие, придя во вторую смену на свои предприятия, выражают поддержку партии и правительству, требуя смертного приговора подсудимым и выходят на «стихийную» демонстрацию. И эту «стихийную» демонстрацию на Красной площади на Мавзолее вполне организовано встречает секретарь МК Никита Хрущев и произносит речь.

В феврале-марте проходит пленум ЦК ВКП(б), на котором Сталин заявляет о том, что по мере приближения к социализму классовая борьба все больше обостряется, он утверждает, что появились «современные вредители» и «диверсанты», обладающие партийным билетом. Затем выступает Молотов, он говорит, что все партийные организации засорены вредителями.

И все парторганизации теперь заняты вылавливанием, выискиванием «вредителей» — раз сказано, что есть, то, стало быть, не может их не быть, хоть только что и прошла чистка партии! В Московской партийной организации Союза писателей «под крылом бывшего секретаря парторганизации Марченко приютились оруженосцы троцкистско-зиновьевской шайки — Серебрякова, Грудская, Тарасов-Родионов, Селивановский, Трошенко и др.

В Союзе писателей неистовствует Ставский.

Вот что вспоминала Мария Иосифовна о нем. «Смешно рассказывал Твардовский (смешно было, конечно, это слушать в сороковом на Конюшках, когда за ужином!), как он тогда в 1937-м зашел в Союз к Ставскому. Тот был грузный, с мясистым лицом, нос свисал грушей. Всегда почему-то ходил в кавказской суконной рубахе, перепоясанной по толстому животу тоненьким ремешком. Он мрачно уставился на Твардовского слюдяными глазами. «Ну чего?

С чем пожаловать изволил?» — «Да вот, Владимир Петрович, стихи новые написал». — «Чего?! Стихи?! Тут дела, брат, такие, государственной важности! А он, понимаешь ты, стишками балуется!... Ты мне врагов народа выгребать помогай!» И Александр Трифонович, подражая Ставскому, нагибается и двумя руками гребет из-под стола. «Тут понимаешь, вся организация засорена! А он стишки сочиняет!..»¹¹²

22 февраля 1937 года открылся Четвертый пленум правления союза писателей СССР. Пленум был посвящен 100-летию со дня смерти Пушкина. Но после официального доклада о Пушкине забывают, не до него... Идет сведение личных счетов, идет самоутверждение, и Пушкина вспоминают, когда надо его именем бить Пастернака! Так, Сурков заявляет, что сейчас в Пушкинские дни в новом свете представляются споры, которые велись на Первом съезде писателей, где Бухарин пытался превратить в вожаков советской поэзии — поэтов наиболее далеких от нашего времени... От сложной и непонятной «мистики» Пастернака... Пушкин зовет нас к высокой гражданственности, к ясному политическому языку! А Джек Алтаузен обвиняет Пастернака в клевете на советскую действительность и предупреждает, что советский народ уже дорос до понимания того, кто его друг, а кто враг даже в такой области, как поэзия! «Я спрашиваю пленум, — говорит он, — как могло получиться, что в течение долгого времени группа людей во главе с Бухариным и его подголосками Мирским и Тарасенковым подсовывала советскому народу (Пастернака), как одного из лучших его поэтов, одновременно дисквалифицируя таких поэтов, как Голодный, Д. Бедный, Сурков, Безыменский, Жаров, Прокофьев и другие?..»

Потом выступает Безыменский все о том же, потом Ставский, ему и вовсе не до Пушкина, когда кругом вра-

ги, когда Троцкий и его агенты пробрались в литературные организации. Когда в Ленинграде — враги народа, на Украине — враги народа. В Москве в журналах «Новый мир» и «Октябрь» печатают врагов народа, когда критик Мирский стремился смять и уничтожить воззрения Фадеева, а критик Тарасенков возвеличивал Пастернака, как делали это на Первом съезде писателей Бухарин и Радек...

Теперь это уже не литературная полемика, не литературный спор, теперь это то, что называлось «навешивание политических ярлыков». «Подголосок Бухарина», «входил в группу, возглавляемую Бухариным» — это уже политические обвинения и страшные по тем временам, ибо Бухарин изменник родины, он арестован и ждет суда!..

28 февраля выходит газета «Правда», где в передовице, а коль передовица — то стало быть указание ЦК, — прямо говорится об ошибках критика Тарасенкова в оценке творчества Пастернака! Все точки поставлены... нет, еще не все. На одном из собраний, а их много, и на каждом «прорабатывают», всплывает вдруг и то, что этот самый Тарасенков в свое время, будучи совсем молодым, состоял членом Литфронта, а эта литературная группа оказалась троцкистской. Теперь он был прижат. Теперь вопрос вставал: либо — либо! Либо он вылетит из комсомола и Союза писателей (это в лучшем случае), либо он должен признать свои ошибки и каяться! И он признает и кается. Он пишет открытое письмо в редакцию журнала «Знамя», где работает. Письмо это будет напечатано в июньском номере.

Он признает свои ошибки: неправильную оценку творчества Пастернака, признает справедливой критику газеты «Правда», товарищей-коммунистов и правления Союза писателей, коллектива «Знамени», товарищей из комсомольской организации, он благодарит их за то, что они все

помогли ему до конца осознать вредоносный характер его заблуждения. Ибо «ошибки в творчестве Пастернака – приобретают в свете моего прежнего пребывания в Литфронте еще более порочный характер...».

16 мая 1937 года помечена объяснительная записка Ставскому и копия в ячейку ВЛКСМ, в которой он объясняет, что в 1930-м, будучи отрицательно настроен по отношению к РАППу, которую возглавлял тогда Авербах, он, Тарасенков – вступает в Литфронт. «Было мне двадцать лет от роду, и я, недостаточно разбираясь, конечно, в том, что представляла собой эта организация, вскоре выродившаяся в троцкистскую группу в литературе, мало чем отличавшуюся от группы Авербаха...»¹¹³

Вишневский в 1947 году с огромным воодушевлением напоминал в письме Тарасенкову его отречение от Пастернака, празднуя десятилетний юбилей того самоунижения.

Но будем еще тщательнее в анализе. Ты пишешь в своем письме в «Знамя» в 1937 году, – то есть десять лет тому назад, – о явной непоследовательности твоих политических оценок и выступлений. Ты признаешь в письме в «Знамя», что расценивал поэзию Пастернака как «лучшее из созданного искусством» и считаешь после раздумий, что подобная оценка есть твоя большая принципиальная ошибка. Отказываешься ж ты от своих слов сейчас – или ты говорил, – обнажив свое «я»?.. Или твое «я» все-таки с эстетамы?

Ты признал, что в годы 1932–1936 ты отказался «заранее от критики художественного метода Пастернака», «проглядел опасные враждебные тенденции» и пр. – Ты написал, сказал, что «Правда», и

товарищи-коммунисты из Правления ССП, и коллектив «Знамени» помогли тебе «до конца осознать твои ошибки и их вред для советской поэзии». — Ты заявил, что не творчество Пастернака, а творчество Маяковского должно быть положено в основу нашей поэзии, о чем ты «неоднократно писал на протяжении ряда лет». Ты говорил, что советская поэзия должна развиваться в русле большевистских политических идей, что попытки врагов зачеркнуть творчество Маяковского и выдвинуть за счет его творчества Пастернака и др. — биты. Ты говорил, что первейшая обязанность и почетное право советской критики — драться за верные пути советской литературы, пути *народной широкой формы*.

Ты говорил в заключение, что приложишь все усилия к тому, чтобы своей литературной работой исправить ошибки»¹¹⁴.

Итак, Тарасенков поблагодарил всех, кто нанес ему удары в те поры.

Не забыл даже помянуть и секретаря комсомольской организации Аркадия Когана.

Мария Иосифовна вспоминала, что был такой маленький кругленький парень с розовыми щечками, похожий на детскую надувную игрушку, он даже рифмовать не умел! И перед самой войной рассмешил всех, напечатав стишок о том, как диверсант переходит нашу границу в коровьей шкуре, ступая всеми четырьмя копытами...

Так состоялось первое отречение Тарасенкова от Пастернака.

В течение всего 1937 года было около десятка статей в газетах и журналах, где писалось о враждебности поэзии Пастернака современности и о том, что Тарасенков поднимал эту поэзию. Под самый занавес 1937 года в «Лите-

ратурной газете» от 31 декабря была напечатана эпиграмма С. Швецова под характерным названием «Тарасенков перестроился».

До перестройки. – С Маршаком я не знаком.
Я знаком с Пастернаком.
После оной. – Я увлекся Маршаком.
И порвал с Пастернаком.
А на самом деле. – И с Маршаком он не знаком
И не знаком с Пастернаком!¹¹⁵

Очень похоже, что и этот злобный выпад был направлен на Тарасенкова.

В 1938 году Пастернак с головой уходит в переводы. Поток ругательных статей прекращается. Его жизнь все больше связана с театром.

А Луговской в этом же году вспоминает о Пастернаке в письме к Фадееву, в связи с тем, что теперь его <Луговского> травят в «Правде»: «...прекрасный поэт Пастернак, которого в нашей печати, в партийной печати смешивали политически с грязью, за два года не написал ничего нового, ни от чего не отказался и вот он сохранил свои чистые одежды и снова поднят на щит, хотя ему как настоящему поэту это и не нужно. То же и с Сельвинским, которого “Правда” объявляла позорнейшими кличками, наравне с “Известиями”. Значит... но, что же все это значит? <...> Может быть, ни к чему было ломать копыя?»¹¹⁶

Одновременно идут два противоположных друг другу процесса; уже нигде в печати не поминают Пастернака дурно, и в то же время проходят аресты Кольцова, Мейерхольда, Бабеля, Пильняка. И на всех допросах звучит его имя, и следователи постоянно вытягивают все новые и новые сведения о нем, так, словно готовят на него дело.

В 1938 году Тарасенков продолжает работать в «Знамени», но дружеские отношения с Пастернаком, как ему кажется, закончились навсегда. И после многих утрат и печалей он вдруг находит женщину, в которой видит свое спасение.

Познакомил их Константин Симонов, с которым они учились в Литинституте. На курсе все ее звали Мусей. У нее была большая белая коса и глубоко посаженные голубые глаза. Красота ее была аристократичной и абсолютно несовременной. Все находили в ней сходство с актрисой, игравшей Дуню в немом фильме «Станционный смотритель». Но Мусей она оставалась недолго. Однажды в литинститутской библиотеке через очередь к стойке, где выдавали книги, стал пробиваться еще юный Константин Симонов (они пока не знали друг друга) и кто-то сказал ему: «Куда ты лезешь, ты же Мусю задавишь». Он внимательно посмотрел на нее и сказал громко: «Какая же это Муся, это настоящая Маша из “Капитанской дочки”». С тех пор ее уже никто в институте, да и дома, иначе, нежели Маша, не называл.

Во дворе писательского клуба в конце 30-х годов находился теннисный корт, и Маша решила заниматься теннисом, но Симонов, к которому она обратилась за помощью, сказал ей, что для занятий теннисом для нее он слишком сильный партнер, нужно выбрать кого-то вровень себе, и показал на Тарасенкова, который только начал играть. Тот бегал по корту с ракеткой в сатиновых трусах. Она сразу отметила про себя, что на вид он чересчур простоват. В конце игры Тарасенков пригласил ее на вечер в Клуб писателей. За столом они сидели вместе с его другом юности — Твардовским. Почему-то в тот первый вечер Тарасенков раздражал ее, был несколько напыщен, как потом оказалось, очень боялся ей не понравиться. Она стала танцевать с Твардовским, тогда Тарасенков вытя-

нул ее гулять на улицу и они пошли по Москве. Он читал ей наизусть множество стихов, и больше всего Пастернака. Мария Иосифовна хорошо знала классику XIX века, а тут на нее обрушился поток поэзии начала XX века, которая была ей неизвестна. Она была заворожена рассказами о поэтах и чтением стихов. Гуляли они всю ночь, а под утро возвращались через Дорогомиловскую заставу. Тарасенков повел к ее дому на Конюшковскую улицу через дворы и сараи. Обитатели московских домиков, более напоминавших дачи, в теплые ночи стелили себе постели прямо во дворе; Тарасенков проводил ее через дыры в заборах, через огороды, и они то перешагивали, то перепрыгивали через спящих и, наконец, вышли к ее дому. Мария Иосифовна удивилась знанию им Москвы, ее тайных ходов и выходов, только потом открылось, что несколько лет он прожил на улицах Москвы как беспризорник. Через несколько дней он сделал ей предложение. Он был неоднократно женат, но теперь разведен и жил один в чердачной комнатке на Пятницкой улице, где помещался только стол и койка, а из окна был выход на крышу. Тарасенков любил открыть окно, насыпав крошки хлеба, на которые слетались десятки белых голубей, теснясь не только у окна, но и заполняя его узкую комнатку. Когда Мария Иосифовна первый раз пришла к Тарасенкову в гости, ее поразила его комнатка, полная белых птиц.

Она не сразу дала согласие выйти замуж, не представляла себя женой и матерью.

Ее воспитал отец, которого Тарасенков сразу же полюбил и стал называть папой. Отец Марии Иосифовны был художник-оформитель, живший на продажу от заказов; он оформлял Дома культуры, Дворцы труда. Когда-то, до Первой мировой войны, помогал расписывать в Санкт-Петербурге особняк Кшесинской. Он глубоко презирал большевиков и считал, что их власть вот-вот кон-

чится. У него было убеждение, что советская школа испортит девочку, и не отдал свою дочку в школу. Ее учила очень хорошая женщина, народоволка, которая ушла из дома отца, коменданта Московского Кремля, ушла в учительницы по убеждению. Но время шло, и отец вынужден был просить учительницу устроить Машу в школу. Она пошла сразу же в старший класс, и поэтому мимо нее прошла и пионерская и комсомольская организации, она не ходила на собрания, не интересовалась общественной жизнью. Мария Иосифовна всегда подчеркивала, что долго не знала страха. У нее сформировался сильный характер и здравый взгляд на вещи, что в эти годы было огромной редкостью.

Зачарованная тарасенковскими познаниями поэзии, полюбив его за добрый и приветливый нрав, она вначале знать не знала его критических статей, а социалистический реализм ей был абсолютно безразличен, как и всеобщее увлечение Маяковским. Она рассказывала, что, когда ее познакомили с Лилей Брик, первым делом она призналась ей в своей нелюбви к Маяковскому и нежелании ничего о нем знать, чем пробудила в Лиле Брик интерес и уважение к себе.

Но все-таки профессиональные драмы Тарасенкова настигли и ее. В 1939 году, спустя год совместной жизни, он пожаловался ей в письме на курорт на тяжкую судьбу советского критика, которого грызут в печати литературные волки, она ответила ему жестко, наотмашь.

Катаев зол на тебя за Пастернака — что ж, так должно быть! Я все стараюсь себя уверить, что ты не виноват, окружающая обстановка, твои верные друзья, но, к сожалению, все больше и больше убеждаюсь, что ты трус и паникер. Грустно и больно, но что поделаешь, так оно и есть. Если современники,

у которых все это было на глазах, не учитывают политической ситуации, то история навряд ли поймет и боюсь, что займешь ты место беспринципного критика. Жаль. Могло бы быть иначе. Но разве ты исключение, разве всем вам, советским критикам, дорог принцип, идеал; вы грызетесь друг с другом, п<отому> ч<то> вам не нравятся физиономии друг друга, из-за какой-нибудь мелкой статейки, разве вам дорога советская литература, разве вы смотрите на нее в историческом аспекте? Вам плевать на все это. Разве вы идейные люди?! Или, может быть, перед социалистической литературой уже не стоит никаких проблем?! Вы смеетесь исподтишка над «Правдой», что она пишет о романе Шпанава — «вершина реализма», «психологический роман», а не стыдно будет вам, когда через 50 лет будут смеяться над вами, критиками, ибо статью эту пишет человек, который смыслит в литературе столько же, сколько я в авиации, а печать это орган ЦКП, а не вернее ли это было печатать в Литературке, и открыть полемику по этому вопросу? А?!

Не видите ли вы разве, что у Вас в литературе — уже штампы, не ты ли первый мне говорил, когда я хотела написать о комсомолке, застрелившейся, узнавши, что отец ее враг народа, ты сказал, что это слишком правдит, <...> конечно не все комсомолки из-за этого стрелялись, но не все же Отелло душат Дездемону. Разве у нас нету трагедий, разве каждая вещь должна кончаться «гип-гип ура»? Разве писателю не ясно, что наша жизнь повернет, что трагедия пройдет, но почему я не могу закончить трагедией?¹¹⁷

Не все понятно в этом письме, Мария Иосифовна не помнила, почему оно было написано. Но можно сказать

одно: она в то время уже знала о конфликте и разрыве Тарасенкова с Пастернаком, и ей это было чрезвычайно неприятно и больно. Белкина пишет о том, что раз современники, которые прекрасно знают, почему Тарасенков так поступал, почему отрекался от Пастернака, которого так любил, не прощают его, и даже втайне презирают его, то история будет еще более жестока к нему.

Она была абсолютно права. Но спустя 50 лет (странно выговоренные в письме), кляла себя за жестокость и безжалостность к Тарасенкову. Мария Иосифовна укоряла себя, говоря, что, когда писала слова «трус и паникер», для нее была абсолютно закрыта история 1937 года; те собрания в Союзе писателей, проклятья, покаяния, аресты. Она не слушала радио, старалась не читать газет. Читала Толстого и Достоевского. Да, и у нее арестовывали знакомых и даже родственников, но отец всегда объяснял ей, что они были как-то связаны с властью, а это и приводит к таким вот последствиям. Тарасенков вошел абсолютно из другого мира, не объясняя толком ни своих взглядов, ни своего прошлого. Да и вообще о собственном прошлом, а тем более своих родителей говорить было не принято, это была самая огнеопасная тема. И все-таки письмо было продиктовано тем, что она очень хотела его уважать, и хотела, чтобы ей было не стыдно за него в будущем.

И вот осенью 1939 года в клеенчатой тетради снова появилась запись.

В октябре месяце 1939 года я, Евгеньев, Данин и Алигер разговаривали о Пастернаке. Я вспомнил перевод, сделанный Пастернаком несколько лет тому назад (Клейст «Принц Гомбургский»). Евгеньев сказал, что он редактирует для издательства сбор-

ник переводов Пастернака, и спросил меня — не думаю ли я, что можно в этот сборник включить «Принца Гомбургского». Я ответил утвердительно. Здесь же возникла идея напечатать «Принца Гомбургского» и в «Знамени». Евгенийев через несколько дней добыл у Пастернака рукопись перевода, принес ее в «Знамя» для перепечатки и сказал, что Б<орис> Л<еонидович> просил перепечатать несколько экземпляров перевода, но не читать, пока он не поправит текст после машинки. Через несколько дней Б<орис> Л<еонидович> позвонил мне. Его разговор был очень приветлив и сводился к тому, что у него, Пастернака, ничего нет против меня, что надо все, происшедшее три года тому назад, предать забвению, и т.п.

— Вы мыслили всегда даже гораздо более самостоятельно, чем многие другие, и не ваша вина, что вы сдали кое в чем перед натиском времени. Когда весной Усиевич начала кричать о вас в связи со мной — я звонил ей и очень просил ее прекратить это делать. Я хочу вас видеть и обо всем поговорить.

Записи в тетради заканчивались следующим пассажем:

Б<орис> Л<еонидович> просил меня уговорить Вишневого напечатать «Принца Гомбургского».

Ну, пусть «попадет». Все равно попадет. Но дайте же ответить мне самому за это. Так и передайте Вишневному. И пусть он не боится....

Вишневикий на это ответил Пастернаку с той же коммунистической простотой:

Драму фон Клейста «Принц Фридрих Гомбургский» печатать не можем, «прусская» пьеса, прославляющая прусскую военщину. Буду рад, если ты дашь нам новые переводы типа тех, которые печатаешь в «Литературной газете»¹¹⁸.

1 ноября 1939 года Тарасенков пришел к Пастернаку. И снова у них возник очень доверительный, открытый разговор.

Мы пережили тягостные и страшные годы. Нет Тициана Табидзе среди нас. Ведь все мы живем преувеличенными восторгами и восклицательными знаками. Пресса наша самовосхваляет страну и делает это глупо. Можно было бы гораздо умней. На восклицательном знаке живет Асеев. Он каждый раз разлетается с объятиями и вскриками и тем вызывает на какую-то резкость с моей стороны. Все мы живем на два профиля — общественный, радостный, восторженный, — и внутренний, трагический. Мне так было радостно когда-то, что Грузию я мог воспринять с ее поэзией искренне, от сердца — и под восклицательным знаком, что совпадало с тоном времени. И вот когда в разгар страшных наших лет, когда лилась повсюду в стране кровь, — мне Ставский предложил ехать на Руставелевский пленум в Тбилиси. Да как же я мог тогда ехать в Грузию, когда там уже не было Тициана? Я так любил его. <...> Даже Вс. Иванов, честнейший художник, делал в эти годы подлости, делал черт знает что, подписывал всякие гнусности, чтобы сохранить в неприкосновенности свою берлогу — искусство. Его, как медведя, выволакивали за губу, продев в нее железное кольцо, его, как дятла, заставляли,

как и всех нас, повторять сказки о заговорах. Он делал это, а потом снова лез в свою берлогу – в искусство. Я прощаю ему. Но есть люди, которым понравилось быть медведями, кольцо из губы у них вынули, а они все еще, довольные, бродят по бульвару и пляшут на потеху публике.

Говорили они очень долго. Затем Пастернак вышел проводить Тарасенкова на трамвай. По дороге он ему сказал:

Под строгим секретом я вам сообщу, что в Москве живет Марина Цветаева. Ее впустили в СССР за то, что ее близкие искупали свои грехи в Испании, сражаясь, во Франции – работая в Народном фронте. Она приехала сюда накануне советско-германского пакта. Ее подобрали, исходя из принципа «в дороге и веревочка пригодится». Но сейчас дорога пройдена, Испания и Франция нас больше не интересуют. Поэтому не только веревочку, могут бросить и карету, и даже ящика изрубить на солонину. Судьба Цветаевой поэтому сейчас на волоске. Ей велели жить в строжайшем инкогнито. Она и у меня была всего раз – оставила мне книгу замечательных стихов и записей. Там есть стихи, написанные во время оккупации Чехословакии Германией. Цветаева ведь жила в Чехии и прижилась там. Эти стихи – такие антифашистские, что могли бы и у нас в свое время печататься. Несмотря на то, что Цветаева – германофилка, она нашла мужество с гневом обратиться в этих стихах с призывом к Германии не бороться с чехами. Цветаева настоящий большой человек, она прошла страшную жизнь солдатской жены, жизнь, полную лишений. Она терпела голод, холод, ужас,

ибо и в эмиграции она была бунтаркой, настроенной против своих же, белых. Она там не прижилась.

В ее записной книжке, что лежит у меня дома, — стихи, выписки из писем ко мне, к Вильдраку. Она серьезно относится к написанному ею — как к факту, как к документу. В этом совсем нет нашего литераторского зазнайства...

Когда-то советский эстет Павленко сказал, что зря привезли в СССР Куприна, надо было бы Бунина и Цветаеву. Этим он обнаружил тонкий вкус. Но Куприна встречали цветами и почетом, а Цветаеву держат инкогнито. В сущности, кому она нужна? Она, как и я, интересуется узкий круг, она одинока...¹¹⁹.

Теперь Тарасенков, который хранил в ситцевых переплетах книги Цветаевой, делал рукописные сборнички сам, мог дотянуться до самого поэта. Летом 1940 года благодаря Пастернаку Цветаева оказалась в старом доме под топодем на Конюшках. И спустя некоторое время принесла туда чемоданчик с архивом. Это значит, что Пастернак представил ей Тарасенкова.

Конец лета, осень 1940-го, весна 1941-го прошли в доме Тарасенкова и Белкиной под знаком Цветаевой. Встречи, разговоры, прогулки. Но Тарасенков в это время вынужден был еще учиться на курсах военных корреспондентов, которые в случае войны должны были работать на кораблях военно-морского флота.

А ранней весной 1941 года Тарасенкова и Гроссмана командировали в Прибалтику писать об участниках боев с белофиннами. Тарасенков вернулся в Москву почти к самому началу войны.

Часть II
1947–1949
КОСМОПОЛИТЫ БЕЗРОДНЫЕ

Как это начиналось. 1947 год

Идеи борьбы с космополитами вползали в жизнь медленно, незаметно для действующих лиц. Еще в мае 1947 года, вспоминал Симонов, они с Фадеевым и Горбатовым отправились на прием к Сталину. Разговор шел об увеличении гонораров и расширении штата Союза писателей. Сталин пообещал писателям удовлетворить все их пожелания, в ответ же выдвинул собственное предложение. Симонов запечатлел монолог вождя.

«А вот есть такая тема, которая очень важна, — сказал Сталин, — которой нужно, чтобы заинтересовались писатели. Это тема нашего советского патриотизма. Если взять нашу среднюю интеллигенцию, научную интеллигенцию, профессоров, врачей, — сказал Сталин, строя фразы с той особенной, присущей ему интонацией, которую я так отчетливо запомнил, что, по-моему, мог бы буквально ее воспроизвести, — у них недостаточно воспитано чувство советского патриотизма. У них неоправданное преклонение перед заграничной культурой. Все чувствуют себя еще несовершеннолетними, не стопро-

центными, привыкли считать себя на положении вечных учеников. Это традиция отсталая, она идет от Петра. У Петра были хорошие мысли, но вскоре налезло слишком много немцев, это был период преклонения перед немцами. Посмотрите, как было трудно дышать, как было трудно работать Ломоносову, например. Сначала немцы, потом французы, было преклонение перед иностранцами, — сказал Сталин и вдруг, лукаво прищурясь, чуть слышной скороговоркой прорифмовал: — засранцами, — усмехнулся и снова стал серьезным»¹.

С этих слов начнется следующий трагический этап существования советского общества. Собrania, проклятия, аресты, снова и снова расстрелы — вот что скрывалось за вкрадчивыми речами вождя. Борьба с низкопоклонством перед Западом, Америкой, борьба со всем «чужим», с «безродными космополитами» незаметно для борцов с ними — Фадеева и Симонова — превратится в уничтожение евреев в литературе, науке, искусстве.

Встреча с писателями у Сталина произошла 13 мая, а всего за несколько дней — 9 мая — в газете «Культура и жизнь» Николай Тихонов опубликовал статью «В защиту Пушкина», направленную против книги И. Нусинова «Пушкин и мировая литература», где творчество поэта закономерно рассматривалось в контексте мировой литературы. Тихонов удивительно быстро распознал конъюнктуру.

Статью предваряла вступительная передовица под характерным названием «Непреоборимая сила советского патриотизма», где прозвучали такие слова: «Советская общественность справедливо осудила проявление низкопоклонства перед буржуазной культурой в работах Б. Эйхенбаума, в романе Е. Шереметьевой “Вступление в жизнь”, в исторических романах Е. Ланна “Старая Англия” и “Диккенс”. Сегодня мы публикуем статью о кни-

ге Нусинова “Пушкин и мировая литература”, содержащей ошибочные, вредные утверждения о русской культуре, оскорбляющие чувства национального достоинства советских людей».

Для Тихонова такого рода статья была попыткой реабилитации перед властью, после того как его сняли с поста руководителя ССП. Печальнее всего, что материалом для статьи стал донос аспирантки Нусинова Е.Б. Демешкан, развернувшей впоследствии в педагогическом институте борьбу с евреями-космополитами².

Книге Нусинова вменялось в вину, что автор посмел увидеть влияние на великого русского поэта — классической мировой литературы. Обвинения выглядели столь дико, что профессор отказывался в них верить.

Нусинов, пытаясь разобраться в происходящем, отправил несколько писем в Союз писателей и Фадееву, 20 мая 1947 года он буквально молил его: «Александр Александрович! Два года меня травят. Сейчас люди решили, что дан пароль: меня затравить, и спешат это сделать. Повторяю свою просьбу — срочно принять меня»³. Вслед за этим Нусинов написал развернутую статью: «В защиту правды». Но ее не напечатали. На душераздирающей записке — резолюция: «Позвоните Нусинову, скажите, что книжка дана на чтение Фадееву, Симонову, Леонову. После чего мы встретимся с Нусиновым. Срок — неделя. Сообщено. 27.V.47». Нусинов думал, что травить решили его. Однако медленно, но верно набирает обороты кампания по борьбе с космополитами, и несчастный литературный критик лишь один из многих, кого захватят в тот страшный поток.

Через месяц на XI пленуме правления ССП Фадеев выступил с докладом о советской литературе после постановления о журналах «Звезда» и «Ленинград» с нападениями на Нусинова за преклонение перед «заграничным»,

за низкопоклонство перед Западом. Родоначальником взглядов Нусинова был объявлен умерший еще до революции академик А.Н. Веселовский, рассматривавший русскую литературу в контексте мировой.

Фактически еще до кампании нападков на космополитов были отработаны первые формулировки. Но Фадеев не мог вообразить, во что выльется эта кампания, не мог представить, что в ней – зарождение его собственной гибели.

Но пока все исполняли очередной «заказ» вождя.

Анна (Ася) Берзер, тогда работавшая в «Литературной газете»⁴, писала, что в это время начались очень резкие перемены в редакционной политике. Сталин решил перестроить статус газеты, для того чтобы через неофициальную печать вести идеологическую войну с Западом. Все самое грубое и хамское по отношению к Западу, должно было появляться именно на страницах «Литературки». Железный занавес лег на плечи писателей.

Как прежде, в 30-е годы, писатели своими произведениями освещали подвиги арестантов-строителей Беломорканала, ужасы коллективизации и индустриализации, так и теперь они должны были отрабатывать свой хлеб на ниве строительства «железного занавеса».

Был значительно увеличен штат «Литературной газеты», повышены оклады. Чудовищный тон, оскорбительные клички – все это через год-другой войдет во внутреннее пользование.

Симонов вспоминал, как принималось это историческое решение: «– Мы здесь думаем, – сказал Сталин, – что Союз писателей мог бы начать выпускать совсем другую “Литературную газету”, чем он сейчас выпускает. Союз писателей мог бы выпускать своими силами такую “Литературную газету”, которая одновременно была бы не только литературной, а политической, большой, массовой га-

зетой. Союз писателей мог бы выпускать такую газету, которая остро, более остро, чем другие газеты, ставила бы вопросы международной жизни, а если понадобится, то и внутренней жизни. Все наши газеты – так или иначе официальные газеты, а “Литературная газета” – газета Союза писателей, она может ставить вопросы неофициально, в том числе и такие, которые мы не можем или не хотим поставить официально. “Литературная газета” как неофициальная газета может быть в некоторых вопросах острее, левее нас, может расходиться в остроте постановки вопроса с официально выраженной точкой зрения. Вполне возможно, что мы иногда будем критиковать за это “Литературную газету”, но она не должна бояться этого, она, несмотря на критику, должна продолжать делать свое дело.

Я очень хорошо помню, как Сталин ухмыльнулся при этих словах.

– Вы должны понять, что мы не всегда можем официально высказаться о том, о чем нам хотелось бы сказать, такие случаи бывают в политике, и “Литературная газета” должна нам помогать в этих случаях. И вообще, не должна слишком бояться, слишком оглядываться, не должна консультировать свои статьи по международным вопросам с Министерством иностранных дел, Министерство иностранных дел не должно читать эти статьи. Министерство иностранных дел занимается своими делами, “Литературная газета” – своими делами⁵.

И газета открылась разухабистым памфлетом Бориса Горбатова «Гарри Трумэн в коротких штанишках». Писатель сравнивал президента США с Гитлером, а его деятельность противопоставлял рузвельтовской. В последующих номерах под рубрикой «Поджигатели войны» газета в тех же выражениях даст отповедь Эйзенхауэру, Беви-ну, Маршаллу («Шейлок с Уолл-стрита»). Вышинский,

чей обличительный пафос был использован Сталиным на страшных процессах конца 30-х годов, теперь с тем же жаром обличал «поджигателей войны» — США и Великобританию — и еще десять государств, поддерживающих их экспансионистские планы.

Весь этот идеологический напор происходил в условиях жестокого голода, который охватил страну весной и летом 1947 года. Женщины шарили в поисках прошлогодней картошки; ее искали по полям, выкапывали из грязи. Пекли лепешки из «конятника» — конского щавеля и запивали молоком испеченный пополам с мякиной силос.

Расцветало воровство, что вынудило государство принять в июне закон «Об уголовной ответственности за хищения государственного и общественного имущества». Тюремные и лагерные «срока» были увеличены до 25 лет. Однако остановить процесс воровства даже такими сроками было невозможно. Народ видел, как воровали начальники, и если во время войны красть считалось постыдным, то теперь, в условиях голода, остановить людей становилось все труднее.

В этот год прошло празднование 30-летия Октябрьской революции, но справлялось оно не в пример скромнее, нежели празднование 800-летия Москвы.

14 декабря вышло постановление Совета Министров СССР и ЦК ВКП(б) «О проведении денежной реформы и отмене карточек на продовольственные и промышленные товары». На обмен старых денег на новые отводилась одна неделя, начиная с 16 декабря.

Современники вспоминали, что в дни денежной реформы люди вымели из магазинов все, что только могли. Прилавки опустели.

А в это время в недрах Лубянки в последние дни 1947 года готовилось абсолютно невероятное по замыслу преступление — план убийства главы Антифашистского комитета,

великого актера и режиссера Еврейского театра Соломона Михоэлса. Целый аппарат МГБ под руководством Сталина занимался организацией этого покушения. Для чего? Ведь Сталин спокойно санкционировал арест и расстрел любого, кто ему мешал. А здесь было задействовано столько сил. Имитировалось расследование, в результате чего даже проверенный следователь прокураторы Лев Шейнин, поведший следствие «не туда», был арестован.

«Разгром Антифашистского комитета начался с убийства Михоэлса, — писал сын репрессированного поэта Переца Маркиша, Давид. — Вопрос о судьбе ЕАК был решен “на самом верху”, на Министерство государственной безопасности было возложено решение технических проблем. Процесс над ЕАК должен был стать судом над еврейским национальным меньшинством и послужить прелюдией к дальнейшим репрессиям и “окончательному решению вопроса” о судьбе этого беспокойного племени в СССР. Аресты писателей можно было держать в секрете, что и было сделано: мир уверили в том, что Перец Маркиш, Давид Бергельсон, Лейб Квитко живы и здоровы, а в столице их нет по той причине, что они разъехались по писательским домам творчества. Скрыть арест Михоэлса, регулярно выходившего на сцену своего театра в самом центре Москвы, было практически невозможно.

13 января 1948 года Михоэлс “попал под машину” в Минске, куда был командирован Комитетом по Сталинским премиям. Наутро мамина близкая приятельница Ирина Дмитриевна Трофименко, жена командующего Белорусским военным округом, позвонила нам в Москву и сказала: “Ночью убили Михоэлса”. И положила трубку.

Мама пошла к отцу в кабинет: “Звонила Ира Трофименко, Михоэлс убит...” Отец поднес палец к губам: “Ша!”

У стен в то время имелись уши, это и дети знали... Отец с матерью вышли на улицу, там можно было говорить.

Через несколько дней приехала из Минска Ирина Трофименко, рассказала матери, — разумеется, под секретом: муж запретил говорить на эту тему, — что Михоэлс был убит на даче, потом его тело перевезли в Минск и инсценировали гибель под колесами грузовика и что все это дело рук белорусского министра МГБ Цанавы.

В стихотворении «Михоэлсу — неугасимый светильник. У гроба» Перец Маркиш писал:

— О Вечность! Я на твой поруганный порог
Иду зарубленный, убитый, бездыханный.
Следы злодейства я, как мой народ, сберег,
Чтоб ты узнала нас, взглядевшись в эти раны.

Сочти их до одной. Я спас от палачей
Детей и матерей ценой моих увечий.
За тех, кто избежал и газа, и печей,
Я жизнью заплатил и мукой человечьей!
Твою тропу вовек не скроют лед и снег,
Твой крик не заглушит заплечный кат наемный,
Боль разможенных глаз вскипает из-под век
И рвется к небесам, как скальный кряж огромный.

(Перевод А. Штейнберга)

Ни о какой “гибели под колесами” нет и речи: заказную работу сделал убийца, “кат наемный”. В официальную версию — наезд грузовика — верили либо те, кто хотел в это верить, либо те, кому в это верить было велено»⁶.

Вишневский записал в дневнике:

Весть о смерти Михоэлса. Я просто ошеломлен.
... — Диверсия, автокатастрофа, ограбление?

– Замерзший труп, где-то лежит, – говорят, разбита голова, документы, деньги, целы.

15 января. Звонки: о Михоэлсе. В городе считают, что их гибель связана с каким-то нападением... Жена Михоэлса говорит, что он получал угрожающие письма...

16 января. Похороны Михоэлса⁷.

На похоронах Михоэлса Сергей Эйзенштейн сказал шепотом своему другу, артисту Михаилу Штрауху, что следующей жертвой – будет он. И действительно, спустя месяц, 10 февраля, когда выходит очередное зубодробительное постановление «Об опере “Великая дружба” В. Мурадели», Эйзенштейн внезапно умирает.

Есть версия, что он услышал текст постановления еще ночью, «по вражеским» голосам, которые могли выдать накануне его в эфир. Тогда-то он, пытаясь выключить приемник, упал сраженный вторым инфарктом. Постановление касалось не только Мурадели, а близких друзей мастера – Шостаковича и Прокофьева.

Убийство Михоэлса дало старт гонениям на евреев.

Появляется эпиграмма:

Чтоб не прослыть антисемитом,
Зови жида космополитом.

С начала 1948 года, как вспоминает Наталья Соколова: «...все твердят русские, русские... Отделы кадров начинают поджимать, притеснять, увольнять евреев... <....>

Спустя годы она записала за Даниилом Даниным характерный для того времени эпизод: «Совещание секретариата. Работа с детьми погибших. “Фадеев: Что это для такой патриотической комиссии не нашли представителя

основной нации? <...> Говорил с трудом, натужно. Но говорил! — Между прочим, я сейчас был в ЦК. И что же? Показывают мне пригласительный билет на совещание критиков. <...> Мало, очень мало критиков основной национальности. Тишина. Все обалдели. Опустили глаза. Не смотрят на Фадеева. Не смотрят друг на друга. Стыдно»⁸.

Лето-осень 1947 года. Тарасенков

Итак, Тарасенков не сдался. Ушел из «Знамени», с ощущением чувства собственного достоинства. Прошлое отречение еще жгло, и, наверное, не забывалось. Да его ни на минуту не давал забыть тот же Вишневский. Тарасенков выехал с Рижского взморья в Москву, а ему на смену приехал Данин и его жена — Туся Разумовская. Всем очень нравилась Прибалтика — культурой, чистотой, остатками буржуазных привычек, в чем они, отправляясь туда каждое лето, порой не отдавали себе отчета. Для Тарасенкова это был еще и клондайк эмигрантской литературы, которую он и другие коллекционеры скупали в букинистических магазинах. Считалось, что на этой неудержимой страсти был пойман и посажен Александр Гладков, с которым Тарасенков часто обменивался раритетами.

Вернувшись в Москву, Тарасенков пишет жене. В подробностях день за днем.

Москва как всегда встретила событиями. Соломон Абрамович снят с работы. За что, почему, как — ничего не знаю.

Речь идет о снятии Лозовского, долгое время (в ранге заместителя иностранных дел) возглавлявшего Совфинформбюро, к которому с военного времени был

прикреплен Тарасенков, а затем с конца 1942 года там стала работать корреспонденткой Мария Белкина. Лозовский пошел на резкое понижение. Этот факт означал приготовление к уничтожению Антифашистского еврейского комитета.

Тарасенкову предложили заведовать отделом литературы в Совинформбюро, до своего снятия Лозовский хотел сделать его корреспондентом по Франции, но теперь Тарасенков посчитал, что идти туда работать не имеет смысла. Ему предложили заведовать отделом поэзии в издательстве «Советский писатель», но он боялся, что это будет чиновничья работа. Тарасенков старался тянуть время и не давал ответа.

3 июля он снова пишет о том же, что волнует всех вокруг:

...Я уже писал тебе. Полный разгром в области пропаганды. Снят Лозовский, ушел на преподавательскую и научную работу. Снят из ВОКСа Кеменов, Жданов, говорят, страшно ругал журнал «Совет ньюс». На днях, видимо, будет снят Александров. Он проваливается со страшным треском. Все это совершенно по секрету. Можешь сказать только Маргарите. Снят Молодцов из журнала «Славяне». Идут большие перемены. Вероятно, Ермилов уже не будет скоро редактором «Литературной газеты». Вообще все очень неясно. Сейчас некое смутное время и это, конечно, приводит меня в дико нервное состояние...<...>

P.S. На пленуме Вишневский подал реплику, что он всегда был против Пастернака и напишет ему солдатский привет. Зал смеялся громко. Позор! Всеволод для всех уже только смешон. Никто не берет его всерьез.

7 июля Тарасенков рассказывал в письме, что был в Переделкине на даче у Вильмонтов и они вместе пошли навестить Пастернака.

Вильмонт голый, белый, в одних трусах, сидит на террасе. Рядом ходит совсем уже усатая Тата и их очаровательная дочка Катя, которая никого не боится, со всеми заигрывает и, в общем, является очаровательным ребенком. Дача у Вильмонта ужасная. Какая-то посреди картофельных полей. Жара, пыль. От жары я даже купался в речке, хотя мне по пояс, знаешь, есть такой ручей в Переделкино. Там теперь поставили маленькую запруду, в результате можно с грехом пополам купаться. Пастернаку немного лучше. Ему заказали книгу переводов венгерского поэта Петефи. Затем Госиздат заказал ему перевод «Фауста» Гёте, и он теперь из всех сил трудится. Ему звонил на днях Фадеев. Кроме того, в «Советском писателе» выходит книжка Бориса — «1905 год», «Лейтенант Шмидт» с гарниром, как он говорит, из лирики. Мы чудно провели часа два на балконе у Бориса в сумерках. Он достал бутылку прекрасного грузинского вина (подарок грузин, приехавших на пленум), и мы трепались обо всем на свете в милой Бориной манере. Передай это все Дане, но по секрету. Я вовсе не хочу, чтобы мои визиты к Пастернаку стали предметом обсуждения в Доме отдыха, хотя, конечно, ничего зазорного в них нет. Спрашивали и Вильмонт, и Борис Леонидович о тебе. Просили передать привет. Тата и Зинаида Николаевна тоже. Ночью мы с Борей Заком вернулись домой, каким-то чудным полутемным поездом, через теплую-теплую летнюю ночь. Хорошо все это было.

В письме от 19 июля 1947 года Тарасенков сообщает Марии Белкиной:

Говорил по телефону с Ярцевым. Он уже приглашает в понедельник приходить в издательство, чтобы окончательно договориться и начать оформляться. Вероятно, в августе приступлю к работе... Фадеев поместил статью о литературной критике в последнем номере журнала «Большевик». Там есть такое место: «Наша критика должна была, к примеру, разобрать поэзию Пастернака и доказать, что он занимает отсталые позиции. Нельзя не поразиться, как смогли поэт Антокольский и критик Тарасенков поднять на щит последнюю лирическую книгу Пастернака. В этой книге такой убогий мирок в эпоху величайших мировых катаклизмов!»

Когда Фадеев от меня отстанет? Ты не знаешь?

Устал я... Сегодня, да и вообще. Чувствую, что очень мало отдохнул, а зима снова будет напряженная, большая, рабочая...

20 июля – снова про то же:

Сегодня в «Известиях» обзор «Знамени» (писал С. Иванов). Там снова вспоминается, что в «Знамени» была напечатана моя ошибочная статья о Пастернаке. Это просто становится смешно и нелепо. Статье моей уже исполнилось два с половиной года от роду, а ее все мусолят и мусолят. Как людям не надоест. Удивляюсь... Отношусь к этому абсолютно спокойно... Противно только.

1 августа 1947 года Тарасенков начал работать в издательстве «Советский писатель» в качестве заведующего

отделом русской поэзии. И ему в руки попадает книга Бориса Пастернака, о которой он пишет в Дубулты жене:

Вставили твердо в план Пастернака.

7 августа 1947 года сообщает:

...С партсобрания в 9 часов мы с Верой Михайловной Инбер поехали к ней домой, поужинали и принялись за редактуру книги стихов Дмитрия Кедрина. Очень был талантливый поэт, его, если помнишь, убили два года назад бандиты, где-то на окраине Москвы. Книжка получилась отличная. Сегодня сдам ее в производство вместе с однотомником избранного Пастернака...⁹

Редактором над сборником еще до Тарасенкова был Федор Левин, когда-то, в 30-е, работавший в разогнанном «Литературном критике». У них с Пастернаком были очень доброжелательные отношения. Тарасенков удивлялся, как это Пастернак с подачи Левина сделал исправления в двух строфах «Лейтенанта Шмидта». Начали они работать в феврале 1947 года, о чем свидетельствует письмо, посланное Пастернаком Федору Левину:

Дорогой Федор Маркович!

Простите за изгрызенный мышами экземпляр (именно потому он у меня остался, именно потому не надписываю его и Вам.)

Это очень скупой отбор. В основном его можно было бы воспроизвести для дополнения (Чагин тогда выбрал вдвое больше, но я тогда не нуждался и сам выбрасывал большие вещи вроде «Волн» и «Высокой болезни».) Когда Вы определите свой выбор,

я к отобранному Вами присоединю еще несколько вещей из более полных сборников.

Но основание сначала положите Вы. Сердечный привет

Ваш Б. Пастернак. *20 февраля 1947.*

Некоторые из ненапечатанных тут вещей имеются в более поздней прозрачной и спокойной редакции. Давайте, серьезно, сделаем еще лучший сборник!¹⁰

В июне Пастернак обратился к Фадееву с письмом, в котором говорил, что та критика, с которой на него набросились в марте (он имел в виду статью Суркова), может быть, и справедлива, но ему не ясно, почему именно его избрали быть «экспериментальным экземпляром»¹¹.

До Пастернака, видимо, дошел ответ Фадеева в Лондоне 26 марта 1947 года на встрече с английскими писателями и журналистами: «Популярен ли в СССР поэт Пастернак?» – тот ответил: «Пастернак никогда не был популярен в СССР среди широкого читателя в силу исключительного индивидуализма и усложненной формы его стихов, которые трудно понимать. У него было два произведения: “1905 год” и “Лейтенант Шмидт”, которые имели большое общественное значение и были написаны более просто. Но, к сожалению, он не пошел далее по этому пути. В настоящее время Пастернак занимается переводами драм Шекспира и как переводчик Шекспира славится у нас».

Еще раз прошелся Фадеев по поводу Пастернака на пленуме Союза писателей: «Некий Шиманский в статье “Долг молодых писателей” (“Лайф энд леттерс тудей”, февраль 1943 г.) противопоставил работу Пастернака работе всех наших писателей: “Работа Шолохова, Эренбурга и т.д. в лучшем случае является образцом хорошей жур-

налистики... Поэтому все написанное Шолоховым национально ограничено масштабом и целью... Только Пастернак пережил все бури и овладел всеми событиями. Он подлинный герой борьбы индивидуализма с коллективизмом, романтизма с реализмом, духа с техникой, искусства с пропагандой". Это в комментарии не нуждается.

Вот почему и приходится говорить, обращаясь к нашим уважаемым представителям формалистско-эстетской школы: подумайте, кто за вас цепляется!»¹²

Фадеев знал, что власть очень болезненно относится к высоким оценкам творчества поэта за границей, и поэтому старался из всех сил грубо обрывать заинтересованное отношение иностранцев к творчеству Пастернака. Но пока еще сборник не трогали, и Тарасенков совместно с поэтом продолжали работать над книгой.

1 октября 1947 года Борис Леонидович подарил Тарасенкову перевод шекспировского «Гамлета», выпущенный в Детгизе, со следующей надписью:

Дорогому Толе соевая шоколадка (обложка!) с шекспировской начинкой. И на том спасибо!
Б<орис> П<астернак> 1 окт<ября> 1947¹³.

16 октября в доме на Конюшках будет встреча, где они снимали какие-то вопросы по сборнику. Судя по оставленной надписи, это одна из последних светлых встреч в их жизни:

Толя, я по твоему желанию надписываю эту статью в октябре 1947 года. Я рад, что у тебя такой дом, с душой и настроением, с таким деревом над ним, в таком живописном и исторически славном переулке. Меня с тобою связывает чувство свободы и мо-

лодости, мы с тобою всё победим. Я целую тебя и желаю тебе и всему твоему счастья.

Б<орис> П<астернак>. 16 окт<ября> 1947 г.¹⁴.

Свидетелем той теплой встречи был близкий друг Тарасенкова — Даниил Данин, который писал о ней в своей книге «Бремя стыда»: «16 октября 1947-го! Да это же был тот самый осенний день, когда мы с Толей поспешили после служебного бдения на издательском десятом этаже приземлиться у него в Конюшках... Поспешили? Да, потому что под вечер к нему должен был зайти по делу Борис Леонидович. И нам следовало по дороге от Гнездиковского до Кудринки спроворить что-нибудь гастрономическое — достойное “вечеринки с Пастернаком”.

А особая для меня примета того осеннего дня была военного происхождения. Ежегодно 16 октября я непременно слегка (или не слегка) прикладывался в кругу приятелей к “фронтовым ста граммам”, поскольку в 41-м то число явилось счастливой датой в моей солдатской судьбе: день выхода из окружения. <...> В общем, пока осенние обострения язвы не отменили ритуала, я по праву год за годом отмечал “шестнадцатые октября”. А тут этому предстояло случиться в обществе Пастернака...

В те дни Толю непосредственно связывало с Б<орисом> Л<еонидовичем> издание пастернаковского тома в “Золотой серии” советской литературы (1917–1947). И встреча в Конюшках имела эту подоплеку...

А свою дарственную с увереньем — “Мы всё с тобой победим”, Пастернак сделал в антракте, когда Маша “меняла стол”. Толя позвал Бориса Леонидовича ненадолго уединиться ради прямой цели их встречи — дабы решить что-то нерешенное; в рукописи или верстке. Они уединились в соседней комнатке — кабинете и переплетной, где был люк в домашний погреб — хранилище журналь-

но-альманашной части Толиной библиотеки. Когда вскоре я заглянул к ним — “Господа, чай подан!”, — люк был открыт. Ясно: Толя лазил в подполье как раз за тем самым альманахом 1922 года, где впервые было опубликовано пастернаковское эссе “Несколько положений”. Затем и лазил, чтобы появилась на эссе дарственная надпись:

Б<орис> Л<еонидович>. <...> «...*Меня с тобою связывает чувство свободы и молодости, мы всё с тобой победим. Я целую тебя...*».

Чувство свободы!.. — и это ровно через полгода после мартовской статьи Алексея Суркова в “Александровском центре” с прямыми доносами: “злоба”, “клевета”, “керенщина”, “реакционность”. И как самое невинное: “Советская литература не может мириться с его поэзией”!

Помните, как ранним летом того 47-го сказал он обо всей этой сурковщине — “свинство неподсудности”. Так неужто к середине октября что-то для него и для его поэзии изменилось к лучшему, — да еще настолько, что вот: “чувство свободы и молодости” и вера в победу над всеми бедами!.. Нет-нет, внешне — снаружи жизни — ничто у него не изменилось к лучшему. Но вся штука, думаю, в том, что в душе его — внутри жизни — ничто не изменилось к худшему: в цельности своей он оставался тем, кто десятилетием раньше, в канун жесточайшего года нашей истории, 37-го, уверял, что нельзя человека одарить свободой, если он не носит ее в себе. И ощущал ее в себе, как условие плодотворности существования. Потому плодотворным оно было и в щедром на беды.

47-й... Ему шел пятьдесят восьмой, а он написал — “чувство молодости”! Очевидно, ему хорошо работалось тогда. И — решусь добавить — хорошо любилось! <...> Едва наступил следующий — 1948 год, как оба они, Борис Леонидович и Анатолий Кузьмич, взамен победы надо

всем, были оба побеждены на полях той самой рукописи или верстки, каковой занимались в памятный вечер»¹⁵.

Данин исчерпывающе рассказал о том вечере, когда была сделана надпись, и все-таки от себя хотелось бы добавить, что пронзительные слова Пастернака на книге о чувстве свободы и молодости были своеобразным авансом на их общее с Тарасенковым будущее в литературе, которое так и не состоялось, а, напротив, все более обрачивалось кошмаром. Победить вместе уже не удастся никогда. Пастернак навсегда останется один на поле боя.

Все герои того вечера будут связаны плотным клубком любви, дружбы, обид и отречений. Это время окажется еще менее предсказуемым, чем довоенное.

Работа над книгой продолжалась, и последнее, что может об этом свидетельствовать, — письмо в архиве Белкиной. Мария Иосифовна хранила записку Бориса Леонидовича Тарасенкову, в которой он просит прочитать верстку этой книги и внести в нее исправления:

Подчеркиваю для тебя. Горе мое не в том, что не «откликаюсь» я на темы, но, наоборот, в любую минуту готов договариваться на них до конца.

1. Я уже говорил тебе: не стар ли «Девятьсот пятый год» (выбросить «Москву в декабре») и не выровнять ли «Лейтенанта Шмидта» по сборнику 1945 г. 157–188. Очень выиграл бы, а сокращения небольшие.

2. Помещать ли стих<отворение> «Город», стр. 113 верстки?

3. Если бы ты пожелал уравновесить предложенные дополнения соотв<етствующими> исключениями, хорошо бы выбросить «Преследование» (стр.137 верстки), неприятное стихотворение, и можно по-

жертвовать стихами: «Так начинают» (стр. 79 верстки) и «Не волнуйся, не плачь» (стр. 107). <Сбоку приписано>. «Преследование» выбросить во всяком случае.

А в общем мне хотелось бы: сократить «1905» и «Лейтенант Шмидт», все сохранить и поставить все предложенное, кроме мож<ет> быть, «Данта и рюмки рому», «Одессы».

Пожалуйста, внимательно прочти верстку с точки зрения корректорской, я скользнул по ней слишком быстро, мог пропустить ошибки и ничего не отмечал в отношении шрифтов, места на странице и пр.

Что значат частые цифры на лев<ых> полях? Где заглавие “Девятьсот пятый год”?¹⁶

Записка не датирована, но, скорее всего, написана в сентябре или в начале октября, так как 6 декабря книга была подписана в печать. И Тарасенков боится только одного, чтобы не случилось непредсказуемое.

«Золотая серия» в издательстве «Советский писатель», в которую должен был войти сборник Пастернака, готовилась к 30-летию Октябрьской революции. В плане издания были книги Тынянова, Горького, Шишкова, Ильфа и Петрова, стихи Багрицкого, Маяковского, Заболоцкого.

Одновременно в те дни шла бурная работа над книгой Заболоцкого. Тарасенков писал ему:

Уважаемый Николай Алексеевич! Я уже передал Вам через Николая Корнеевича Чуковского, что очень хотел бы издать книгу Ваших стихов. Сейчас для этого есть все возможности. Для того чтобы книга вошла в план 1948 года, надо поскорее получить Вашу рукопись. Думаю, что лучше всего, если

бы Вы позвонили мне домой или на работу <...> и мы обо всем условились. <...> Привет сердечный. А. Тарасенков¹⁷.

Заболоцкому помогают на самом верху – Тихонов, Симонов, Фадеев.

Фадеев сам курирует книгу Заболоцкого. В том же октябре он писал ему:

Дорогой Николай Алексеевич! Книга, в общем, хороша. По поводу двух-трех стихотворений у меня есть серьезные возражения. И вообще хотелось бы поговорить. Если Вам удобно, зайдите ко мне на дачу в воскресенье в 11 часов утра Сердечный привет Вашей семье. Крепко жму руку. Ал. Фадеев¹⁸.

26 октября 1947 года Фадеев отправил в издательство «Советский писатель» свой отзыв о сборнике стихов Заболоцкого.

Книга состоит из двух частей, внутренне связанных единством творческого отношения к миру. Первая часть объединяет стихи, уже отмеченные нашей печатью, передающие большой пафос созидания нового мира, – они тематически связаны со строительством новой сталинской пятилетки. Вторая часть может быть условно названа «философией природы», но своим деятельным отношением к природе она, как сказано, перекликается с первой и философски и эмоционально. Наконец, в книгу входит поэтический перевод «Слова о полку Игореве», высокое поэтическое мастерство которого общепризнано.

Рекомендую книгу к изданию.

А. Фадеев. 26/X-47¹⁹.

Однако после 10 февраля 1948 года все становится иным. ЦК ВКП(б) принял постановление «Об опере “Великая дружба” В. Мурадели», в котором «за формалистические извращения и антидемократические тенденции в музыке» были подвергнуты жесточайшей критике композиторы Д. Шостакович, С. Прокофьев, А. Хачатурян, Н. Мясковский и др.

Тон Фадеева по отношению к сборнику Заболоцкого меняется:

Фадеев – Тарасенкову <5 апреля 1948 г. Москва>

Дорогой Толя!

Когда-то я читал сборник и в целом принял его. Но теперь, просматривая его более строгими глазами, учитывая особенно то, что произошло в музыкальной области, и то, что сборник Заболоцкого буквально будут рассматривать сквозь лупу, — я нахожу, что он, сборник, должен быть сильно преобразован.

1. Всюду надо или изъять, или попросить автора переделать места, где зверям, насекомым и др. отводится место, равное человеку, главным образом потому, что это уже не соответствует реальности: в Арктике больше людей, чем моржей и медведей. В таком виде это идти не может, это снижает то большое, что вложено в эти произведения.

2. Из сборника *абсолютно должны быть изъят* следующие стихотворения: «Утро», «Начало зимы», «Метаморфозы», «Засуха», «Ночной сад», «Лесное озеро», «Уступи мне, скворец», «Уголок», «Ночь в Пасанаури». Некоторые из этих стихов при другом окружении могли бы существовать в сбор-

нике, но в данном контексте они перекашивают весь сборник в ненужном направлении.

Пусть Николай Алексеевич не смущается тем, что без этих стихов сборник покажется «маленьким». Зато он будет цельным. Надо, конечно, отбросить всякие разделы и дать подряд стихи, а потом «Слово».

Покажи это письмо Николаю Алексеевичу и посоветуй ему согласиться со мной. В силу болезни я не могу поговорить с ним лично. Скажи ему также, что о квартирных делах его я помню. С приветом²⁰.

Но, как ни удивительно, сборник только что вернувшегося из лагерей Заболоцкого Фадеев все-таки вытягивает. Иное дело Пастернак. Он-то и будет принесен в жертву.

1948 год. Тарасенков и космополиты

Тарасенков вел книгу Пастернака к изданию в условиях, когда снаряды рвались со всех сторон. Как настоящий разведчик, он по-пластунски добрался до цели и сдал сборник в печать.

6 января в Союзе писателей был вечер, посвященный переводам Шандора Петефи, венгерского поэта. Вел его Николай Тихонов. Все было чинно, выступали Николай Чуковский, Леонид Мартынов, Вера Инбер и другие. И последним взял слово Пастернак. Как писала Л.К. Чуковская, на этом закончился один вечер и начался другой. Слушатели долго аплодировали после каждого стихотворения, Пастернак читал еще и еще. Чувствовалось, как напрягся Тихонов. Любое публичное появление Пастернака становилось его триумфом, о чем конечно же становилось известным наверху.

В феврале 1948 года в Политехническом музее состоялся вечер поэзии «За прочный мир, за народную демократию». Как вспоминал М. Поливанов, вечер вел Борис Горбатов, а участвовали в нем Грибачев, Софронов и др. На вечере произошло комическое происшествие. Со вступительным словом вышел Сурков и стал говорить казенные слова — о поджигателях войны, о реваншистах и прочее, и вдруг зал буквально взорвался аплодисментами. Сурков растерянно замолчал, не понимая, почему его речь так зажигает аудиторию, потом он решил обернуться и у себя за спиной увидел Пастернака, который только появился и старался занять место на сцене²¹.

Пастернак продолжал жить своим внутренним временем. В письме, перехваченном Лубянкой к сосланному балкарскому поэту Кайсыну Кулиеву и Е. Орловской, он определял и свое кредо:

Пусть он легче относится к тому, что происходит с ним... Он должен знать, что нынешние его злоключения такая же ничтожная и преходящая условность, какую бы могло быть его начинавшееся тогда благополучие, — подумайте, какой бред пришлось бы ему повторять... Ничего не пропадет, ни о чем не надо жалеть, ничего не надо бояться²².

Но Тарасенков-то был в другой реальности. И он должен был расплачиваться за каждый чистый звук, за правдивое слово — собственным падением. Так казалось ему и Фадееву.

Именно от Фадеева поступило предложение к Тарасенкову как партийному советскому критику внести свою лепту в дискуссию о «космополитах от литературоведения». Как мы помним, 1947 год был некоей пробой пера, прошла статья Тихонова, шли обсуждения и

других литературных космополитов, но, видимо, наверху показалось, что кампания идет слишком вяло. Фадеева резко дернули за нитку, а он соответственно дернул Тарасенкова. Тот выступил с докладом, предполагая, что свою лепту в необходимую борьбу с «литературоведами» он внес и может продолжать выполнять далее свои непосредственные обязанности. Трудно представить, что он с удовольствием говорил всю ту ахинею, какую от него требовали. Однако этим дело не закончилось.

Перед нами записка Фадеева из архива Тарасенкова, которая на многое проливает свет.

Март 1948. Толя! Если бы не я, ты просто положил бы свою статью в стол.

Я тебя буквально вытащил «из грязи в князи». То-то!

А. Ф<адеев>.

А далее рукой Тарасенкова идет пояснение, история этой записки, написанная для истории.

После того как я сделал в конце 1947 года на партсобрании ССП доклад о низкопоклонстве в литературоведении, Фадеев советовал печатать его. Сначала я сомневался, потом напечатал в «Новом мире». Сталин похвалил мою статью. Это нашло отражение в редакционном выступлении газеты «Культура и жизнь». Фадеев написал мне в связи с этим записку в марте, на собрании в «Лит<ературной> газете».

А. Т<арасенков>. 7.4.1948²³.

Итак, переход «из грязи в князи» означал, что Сталину понравилось, как было выполнено его указание о пат-

риотизме, Тарасенков был польщен вниманием к своей статье вождя и не преминул об этом оставить запись.

Статья, которая вышла в № 2 «Нового мира», повторяла навязшие в зубах аргументы по поводу А.Н. Веселовского и И. Нусинова.

Во многих партийных документах последнего времени, писал Тарасенков, очень остро поставлен вопрос о вреде преклонения советских людей перед западноевропейской и американской буржуазной культурой...

...Презрение по отношению к России, ее культуре, ее великим идеям было характерно и для иезуита Бухарина, и для бандитского «космополита» Троцкого. Это грозные напоминания. Они показывают, с чем роднится в современных политических условиях дух преклонения перед западной буржуазной культурой и цивилизацией, кому он служит. <...>

Вспомним хотя бы о статье профессора Эйхенбаума, посвященной Толстому. Эйхенбаум — в прошлом один из столпов формализма — в извращенном свете рисует работу Л. Толстого над «Анной Карениной» <...>. Вместо того чтобы раскрыть великое значение Толстого для мировой литературы, признаваемое даже нашими врагами, профессор Эйхенбаум ищет литературные источники гениального романа Толстого во французской адольтерной литературе. Какое убожество мысли, какая псевдонаучная, крохоборческая эмпирика!

...Пора покончить в нашей литературной науке с ползанием на брюхе перед западными образцами... Пора понять, что нет писателей всечеловеческих, без классовых и национальных корней. Пора раз и навсегда расстаться с пережитками сравнительной

историко-культурной школы. Пора понять, что не пресловутые литературные «влияния», а живая историческая практика классово-борьбы определяла и определяет историю литературы»²⁴.

Ольга Фрейденберг, крупный ученый-филолог, писала о том, что творилось в это время в Ленинградском университете. «Политические тучи сгущались. Преследование науки приняло форму травли ученых. Полицейское заушенье, начавшееся в таких органах диффамаций, как “Культура и жизнь” и “Литературная газета”, перекинулось непосредственно в высшие учебные заведения и в научные институты. Наконец, было назначено заседание, посвященное “обсуждению” травли, на нашем филологическом факультете. Накануне прошло такое же заседание в Академии наук, в Институте литературы. Позорили всех профессоров. Одни, как Жирмунский, делали это изящно и лихо. Другие, как Эйхенбаум, старались уберечь себя от моральной наготы, и мужественно прикрывали стыд. Впрочем, он был в одиночестве. Пропп, которого безжалостно мучили за то, что он немец, уже терял чувство достоинства, которое долго отстаивал. Прочие делали, что от них требовалось. После окончания церемонии произошло два события, которые не вызвали, впрочем, никакого внимания. Известный пушкинист профессор Томашевский, человек холодный, не старый еще, я бы сказала — еще и не пожилой, очень спокойный, колкого ума и без сантиментов, после моральной экзекуции вышел в коридор Академии наук и там упал в обморок. Фольклорист Азадовский, расслабленный и больной сердцем, потерял сознание на самом заседании, и был вынесен.

Всякие научные аналогии были окрещены “космополитизмом”, термином, которому придавали страшное (“политическое”) значение.

Я находилась в глубоком угнетении. У меня сливаются в воспоминании холодные тучи на низком сером небе, ледяной коридор, зимний полусумрак в комнатах и нависшие серые холодные мысли»²⁵.

Уже в январе состоялось совещание деятелей советской музыки. Жданов сделал доклад о формализме, о порочном, антинародном направлении в музыке, о преклонении перед Западом, о подражании образцам безыдейной буржуазной культуры.

Мария Иосифовна вспоминала, что, как-то гуляя с Прокофьевым на Николиной горе (она была подругой его жены Миры Мендельсон), где была его дача, зашел разговор о Жданове. И она сказала, что, говорят, тот любил играть на рояле и часто музицировал. И Сергей Сергеевич, оглянувшись, он был человек осторожный, и, наклонившись к ней, сказал: «Вот в том-то весь и ужас, что он м у з и ц и р о в а л!»

После февральского постановления о музыке начали, как по принципу домино, сыпаться издательские планы.

И, конечно же, первой жертвой пал формалист – Пастернак. Фадеев пишет Симонову:

<1 апреля 1948 г. Москва>

Дорогой Костя!

Дочитал Пастернака, сборник кончается совершенно пошло-эротическим стихом ахматовского толка, помеченным 46-м годом, – прямой вызов. Если не поздно, вели Ярцеву тираж задержать, я окончательно в этом убедился. Если не поздно, пусть задержат. Поправлюсь, – решим вопрос <...>²⁶.

Но через несколько дней речь будет идти уже не о задержании тиража, а об его уничтожении, о чем Фадеев сообщает письмом в ЦК. Он старается изо всех сил отмежеваться от «Избранного» Пастернака.

В ЦК ВКП(б) Тов. Жданову А.А.
Тов. Суркову А.А.

<6 апреля 1948 г. Москва>

Довожу до Вашего сведения, что Секретариат ССП не разрешил выпустить в свет уже напечатанный сборник избранных произведений Б. Пастернака, предполагавшийся к выходу в издательстве «Советский писатель» по серии избранных произведений советской литературы.

К сожалению, сборник был отпечатан по нашей вине. При формировании серии избранных произведений советской литературы к тридцатилетию Октября секретариат допустил возможность включения в серию и сборника Б. Пастернака. Предполагалось, что в сборник могут войти его социальные вещи: «1905 год», «Лейтенант Шмидт», стихи периода Отечественной войны и некоторые лирические стихи.

Однако секретариат не проследил за формированием сборника, доверился составителям, и в сборнике преобладают формалистические стихи аполитичного характера. К тому же сборник начинается с идеологически вредного «вступления», а кончается пошлым стихом ахматовского толка «Свеча горела». Стихотворение это, помеченное 1946 годом и завершающее сборник, звучит в современной литературной обстановке как издевка.

По этим причинам секретариат решил сборник не выпускать в свет²⁷.

Но тираж уже давно отпечатан и разосланы 10 сигнальных экземпляров по соответственным учреждениям. Остается только уничтожить тираж, что и делается. Но так как тираж был отпечатан, то какое-то количество экземпляров пошло по рукам. Об этом вспоминала Белкина.

29 апреля 1948 года Пастернак сообщает Кулиеву и Орловской:

<...> Не ждите от меня обещанного сборника «Избранных». Несмотря на ошибочное объявление в газете об их выходе, давно готовую и однажды уже разрешенную книжку задержали и предложили издательству не выпускать. Сборника не будет²⁸.

И в тот же день одному из своих читателей:

<...> Очень надеялся и сам послать Вам сборник, тем более, что им попутно удовлетворил бы Ваши два других желания (в книжке воспроизведена фотография и к ней приложена короткая биография). Но объявление о книжке в «Лит<ературной> Газ<ете>» ложно или ошибочно. Как раз в этот день сборник, обсуждавшийся около года, более двух месяцев уже как отпечатанный, готовый и разрешенный к выпуску, снова затребовали куда-то в сферы — и задержали, на этот раз навсегда. Сборник не выйдет. Причин не знаю и не интересуюсь. Не огорчайтесь этим. Жизнь так удивительно хороша, столько еще всего впереди и так много можно и нужно сделать²⁹.

И чистопольскому другу Авдееву:

<...> Была у меня мечта послать Вам книжечку избранных моих вещей (в большинстве Вам известных), когда их выпустит «Сов<етский> Писатель». Но объявление о выходе книжки, напечатанное в «Лит<ературной> Газете», вводит в заблуждение. Оно было напечатано как раз в тот день, когда книга была зарезана³⁰.

Книга зарезана, и Пастернак старается принять этот факт философски. Все мысли, которые он мог отнести на свой собственный счет, он формулирует в письме Шостаковичу, отправленном в поддержку 22 апреля 1948 года.

Мужайтесь, Дмитрий Дмитриевич, сохраните среди всего этого ясность духа и здоровье.

Помните, что даже в том случае, если бы за всем этим была хоть тень правоты, не наше дело мудрить и умничать, и ломать и портить в себе лучшее, что дает природа человеку при рождении — цельность.

Спокойно и радостно примите все, что встретит Вас на Вашем — пути и да поможет Вам в эти дни издали Ваше великое будущее.

Ваш Б. Пастернак³¹.

Эти же слова поэт мог обратить к себе, его положение было не лучше.

Вторая попытка: история с переводами

А Тарасенков вновь продвигает сборник Пастернака, только теперь с переводами. Возможно, сказалось то, что были разрешены выступления поэта.

16 июня 1948 года Пастернак направляет письмо в «Советский писатель» на имя директора Георгия Алексеевича Ярцева.

Прошу издательство рассмотреть в наивозможно скорейший срок и вынести решение по следующему моему предложению.

Не сочло ли бы издательство возможным собрать и выпустить наилучшие из поэтических моих переводов согласно следующему отбору.

Из особенно удавшихся мне авторов я исключил бы поэмы и крупные их произведения, напр<имер>, из Шевченки не включал бы «Марии» и оставил только лирику, из Петефи не поместил бы поэмы «Витязь Янош», а только мелкие стихотворения. Наконец, из целых разрядов и литератур взял бы только что-ниб<удь> одно, самое совершенное, напр<имер>, из грузинских поэтов <взял бы> только одного Бараташвили и т.д. и т.д.

Часть предлагаемого собрания составят переводы, содержащиеся в моей книге «Избранные переводы», выпущенной «Советским писателем» в 1940 г. за вычетом «Принца Гомбургского» Клейста и народных фарсов Ганса Сакса. Из книги «Грузинские поэты» (Сов<етский> пис<атель> 1946) войдет только лирика Бараташвили (без «Судьбы Грузии»).

В сборник войдут несколько переводов из Шелли, Словацкого и Шевченки, появлявшиеся только в периодич<еских> изданиях, и по случайности не вошедшие в другие мои собрания.

Основными авторами будут Шекспир (мелкие лирич<еские> стихи), Байрон, Китс, Шелли. Верлен, Словацкий, Шевченко, Ондра Лысогорский (может

быть, Тычина, под вопросом Иоганнес Бехер, Альберти и др. Чаренц, Навои, Рьльский) <...>³².

Ярцев мгновенно откликается письмом в Союз писателей с просьбой поддержать издание. Он пишет Симону 18 июня:

Издательством «Советский писатель» получено от Пастернака предложение об издании книги его поэтический перевода. Часть этих переводов уже выпускалось нашим издательством в книгах Б. Пастернака «Избранные переводы» (1940) и «Грузинские поэты» (1946). Прошу обсудить вопрос о целесообразности подобного издания. Г. Ярцев

Приложение: письмо Пастернака от 16.6.1948³³.

В конце сентября Пастернак пишет жене:

Позвони КЗ-64-71, соединишь с Тарасенковым и убеди добиться скорейшего заключения договора со мной на избранные переводы, а то у нас получится неминуемая дыра ко второй половине октября или первой ноября. Если как-ниб<удь> узнаешь о возможности подписания договора времени (когда подписать), дай знать в один из наездов Стасика³⁴.

Но договор еще не заключен, хотя еще летом на секретариате Союза писателей книга уже утверждена.

В то же время Тарасенков уговаривает Матусовского, поэта-фронтовика, автора всенародно любимых песен, стать редактором книги переводов Пастернака. Спустя годы Матусовский с раздражением вспоминал о своей ра-

боте в издательстве, он, очевидно, был очень не уверен в себе.

Это видно из записки, последней, которую отправил Пастернак Тарасенкову.

Толя, вот я сделал все, что советовал ты и Матусовский. Окончательные строчные исправления по его отметкам (очень немногочисленным) я делаю в процессе производства, в гранках или даже верстке, это пустяки, а я сейчас страшно занят.

Это записка на случай, если я тебя завтра не застаю. Если мне не удастся объясниться с М<ихаила> Л<ьвовича>, надо уяснить главное: я так понял, что он своими сомнениями валит возможность, предоставленную Союзом Пис<ателей>, и спокойно мимо этого проходит, в вооружении всей современной софистики, — а тогда этому, правда ведь, не было бы имени, не правда ли?

А если наоборот, то тогда виноват, виноват, но почему, чудак, он сразу же не вывел меня из заблуждения?

Всего вам лучшего обоим.

Б<орис>.

В книге 3335 стр<ок>. Старых просьб (и долгов, и т.д.) не повторяю³⁵.

А тем временем 20 октября Тарасенков отправляет наверх замечания к сборнику «Избранных переводов» Б. Пастернака.

В целом сборник приемлем.

Однако необходимо:

1. Расположить материал так, чтобы в отделе переводов братских поэтов СССР сначала шли класси-

ки, затем современники. То же самое надо сделать в отделе, составленном из переводов западных поэтов.

2. Снабдить все стихи авторскими датами их написания.

3. У Рафаэля Альберти восстановить второе стихотворение <...>.

4. Безусловно, снять стихи Верлена, не стоит давать это декадентские произведения.

5. Снять стихи Исаакяна, пессимистические, написанные до революции, дающие неверное представление об этом поэте, работающем сегодня.

6. Из стихов Леонидзе надо добавить «Тбилисские рассветы».

7. Снять стихотворение Надирадзе «Окраина»; оно слишком созерцательное.

8. Снять «Песню литовского легиона» Словацкого.

9. Снять стихотворение Чиковани «Работа», оно дает неверное представление о сущности творчества советского поэта.

10. Снять поэму Шевченко «Лирика»; она может быть истолкована сегодняшним читателем как вещь религиозная.

11. Снять два стихотворения О. Лысогорского – «Последнее сражение» и «Хранитель жизни». Эти вещи устарели»³⁶.

Судя по лицевому счету, где сохранились списки выплат по договорам «Советского писателя», Б.Л. Пастернак получил причитающуюся ему сумму 1 ноября 1948 года. Книга же стояла в плане издательства на 1949 год³⁷.

Матусовский спустя годы (в 1982-м) рассказывал Наталье Соколовой о том, как «проскочил» космополитические времена (но о Пастернаке не упоминал).

«Вообще, как поэта меня мало затрагивали. Но я имел неосторожность накануне космополитической истории согласиться на отчаянные уговоры Тарасенкова и стать заведующим отделом поэзии в издательстве «Совпис». Толя меня просто преследовал, без конца звонил Жене и просил на меня подействовать.

А когда начали преследовать евреев, Толя меня вызвал и прямо сказал: «Миша, вам лучше уйти». Я ушел.

За время моей работы я выпустил прелестно изданного «Рыжего Мотеле» со своим предисловием. Потом оказалось, это сионистское произведение! Тираж весь пошел под нож! Сохранилось только два-три экземпляра у любителей. Один экземпляр, разумеется, был в библиотеке гурмана Тарасенкова, он с удовольствием мне его показывал (обожал раритеты), нежно поглаживая корешок, хотя ничего не сделал, чтоб отстоять тираж.

С милым юмором рассказывал мне, как он, пренебрегая опасностью, утаил книгу, вынес из издательства. Двуличный был человек, эта двуличность в него въелась, стала его сутью.

Потом, на знаменитом собрании после статей Грибачева, меня поминали именно как зав~~едующего~~ поэт~~ическим~~ отд~~елом~~. Сам Грибачев сказал, что надо разобраться, что там навывускал Матусовский. Помню, меня встретил И.Г. Эренбург и сказал: «Что Миша, уже и за Вас взялись?»

И Сельвинского и Антокольского прорабатывали прежде всего за то, что они написали (в конце войны или во время) стихи о трагической судьбе еврейского народа.

Об этом не говорилось прямо, но это имелось в виду <...>.

Стихотворение Павла Григорьевича, помню, называлось тремя еврейскими словами, написанное русскими буквами. Это была первая строка еврейской похоронной молитвы или псалма»³⁸.

Тарасенков так поступал не только по отношению к Матусовскому, но и к лучшему другу Данину, которого уговорил быть редактором книги стихов Багрицкого. Он освобождался от евреев-редакторов, желая вывести из-под удара издания и себя, а затем уже потихоньку старался помочь собратям. Отстоять тираж в условиях разразившейся кампании было немислимо.

В сентябре 1948 года в журнале «Большевик» выйдет статья Тарасенкова «Советская литература на путях социалистического реализма», в которой он, видимо, пытался подстелить соломку под сборник переводов Пастернака. Он писал:

Декаденты трактовали сущность и задачи искусства в духе субъективного идеализма. <...> Английский эстет Оскар Уайльд объявлял искусство ложью. Более витиевато это высказал Борис Пастернак в своей книге «Охранная грамота». Он написал: «Искусство интересуется жизнью при прохождении сквозь нее луча силового... Направленное на действительность, смещаемое чувством, искусство есть запись этого чувства, искусство есть запись этого смещения». Таким образом, искажение действительности объявляется Пастернаком «одной из отличительных особенностей искусства»³⁹.

Данин, прочтя статью, с возмущением ответил своему другу:

Совершенно незаконно, противоестественно сопоставление Уайльда и Бор<иса> Пастернака. Но т.к. ты сам знаешь это лучше меня — молчу! Я понимаю, что ты не мог и не имел права обойти эту трудную проблему. Но в нескольких строках ты убил столько зайцев (эстетизм, внеисторичность, антиреализм, идеализм, «западничество», декадентство и т.д.), что Б<орис> Л<еонидович> превратился в пустое место! Но при этом ты все-таки совершенно ложно истолковал его мысль, которая была направлена подобно статье о Шекспире, в *защиту* реализма от посягательства натурализма и «возвышенной» романтики. Этому вся «Охр<анная> грамота» посвящена. Даже Хлебникова он в ней, именно поэтому отрицает!

Вот два существенных пункта. Белинский часто говорил, что нельзя «ложью доказывать истину». А ты так небрежен с «врагами» и с врагами (в кавычках и без кавычек!), что уже не дело. Черт с ними, с Маршаком и с Андрэ Жидом, но Пастернак — ведь он твоя же собственная искренняя страсть и вечная привязанность!!

Не могу не написать тебе всего этого: я думаю, что наша долгая и неизменная дружба основана на прямотушии. Какого же черта, я стал бы заниматься «осторожными», «тактичными» двусмыслицами! Не хочу, и думаю, что ты не рассердишься на меня за это⁴⁰.

Тарасенков и сам все понимал, но события становились все страшнее, и воронки от разрывов образовывались все ближе.

Гладков и Тарасенков

А тут еще 1 октября 1948 года по «делу книжников» был арестован драматург Гладков – автор пьесы «Давным-давно». Как и Тарасенков, он был страстным собирателем книжных раритетов, и они часто ими обменивались. После войны возникла возможность в Прибалтике приобретать редкие эмигрантские издания. Приехав в Ригу на премьеру своей пьесы, Гладков купил у букинистов огромное количество книжных раритетов. Такое собирательство было очень рискованно, и он чувствовал еще за несколько месяцев до ареста, что за ним идет слежка. А как раз накануне, как вспоминала Мария Иосифовна Белкина, он пригласил их с мужем посмотреть свою библиотеку, сам же уговорил Тарасенкова дать ему на время скопировать тетрадь с цветаевскими пометами. Тарасенков долго сопротивлялся, но затем все-таки принес тетрадь, которая была ему очень дорога. Квартира имела холостяцкий вид, Гладков варил кофе, сидели допоздна, читали стихи. Ушли далеко за полночь. И когда они открыли дверь на улицу – глаза ослепили фары машин. Тарасенков, как вспоминала Мария Иосифовна, крепко взял ее за руку, и они прошли, прижимаясь к стене дома мимо каких-то мужчин, которые внимательно их разглядывали. Они шли по тротуару, не оглядываясь, им казалось, что за ними идут... Тарасенков предположил, что они кого-то ждут. Но как оказалось, через день или два – арестовали Гладкова. Тетрадь со стихами Цветаевой и ее пометами, которую дал Тарасенков Гладкову, – исчезла⁴¹.

Теперь выяснялось, судя по допросам Гладкова, что готовилось большое дело «книжников», по которому должен был сесть и Тарасенков. Но потом дело спустили на

тормозах⁴². Спустя годы Гладков стал говорить, что его, мол, посадили, а Тарасенкова, о библиотеке которого все знали, почему-то нет. И снова пробрасывалась версия, что, мол, это неслучайно, что, наверное, тот был причастен к его аресту. Но сам факт передачи Гладкову накануне его ареста самого ценного, что было у Тарасенкова, а именно тщательно скрываемой цветаевской тетради (любая ее помета была для него бесценна), как раз говорил об обратном.

О Тарасенкове Гладков написал раздраженно и ревниво спустя годы во «Встречах с Пастернаком» — книге, основанной на дневниковых записях, хотя в ней многое написано уже ретроспективно, оттого очень многие факты смещаются.

«С начала 1947 года я часто встречаюсь с критиком Т<арасенковым>, — пишет Гладков. — Мы оба книжные собиратели, и у нас идет оживленный обмен раритетами. Т<арасенков> страстный поклонник Пастернака. У него в толстых папках собраны вырезки любых статей, где только упоминается его имя, что не мешает ему активно участвовать во всех критических налетах на него. Он это делал с грациозным бесстыдством, не обременяя себя ни колебаниями, ни раскаянием. Написав что-нибудь наставительное в адрес Пастернака, звонил ему через несколько дней и выпрашивал его новые стихотворения. Как это ни странно, Б<орис> Л<еонович> относился к нему снисходительно. Он приписывал Т<арасенкову> какую-то непонятную ему сложность и особого рода тонкость, чего не было и в помине. Впрочем, в широте вкусов Т<арасенкова> отказать было нельзя: он, бывший самым рьяным и ортодоксальным адептом “соцреализма” в поэзии, однажды несколько часов подряд читал мне с упоением Сологуба. Если бы Т<арасенкова> кто-нибудь назвал в

глаза лицемером, он искренне огорчился бы и обиделся. Мир для него естественно делился на черные и белые квадраты, как шахматная доска. Он твердо знал правила игры: один слон ходит только по белым квадратам, другой по черным, — и, не подвергая правила сомнениям, старается лучше и искуснее играть обоими слонами, что ему большей частью и удается, сохраняя при этом репутацию доброго малого. Но стихи, все и всякие, он любил искренне и был прирожденным эклектиком. Где-то в глубине души он был убежден — что бы он ни писал о ком-либо, хорошие стихи есть и останутся хорошими стихами, а неприятности, причиняемые поэтам статьями, преходящи и скоро забудутся. Так оно и случилось: он умер — и его все вспоминают вполне дружелюбно. <...>

Именно от Т<арасенкова> я получил впервые список нескольких стихотворений Пастернака, называвшихся: “Стихи из романа в прозе”. Это были: “Гамлет”, “На Страстной”, “Объяснение”, “Рождественская звезда” и что-то еще. Т<арасенков> говорил о них с восторженным придыханием: стихи он понимал. Мне сразу стало ясно, что это начало новой “манеры” Б<ориса> Л<еонидовича>, которую он искал в предыдущие годы; простой, но не обедненной; естественной, но по-новому образной. Евангельские мотивы не смущали Т<арасенкова>. Он принимал их, как принимал античную мифологию у Пушкина и Тютчева, т.е. как очевидную условность, расширяющую и обогащающую содержание стихов и вовсе не обязывающую к вере во всех этих бесчисленных богов. “Миф как миф, не хуже всякого другого”, — говорил Т<арасенков>, смакуя строки Пастернака. Но я уже и тогда догадывался, что дело здесь не в замене одной мифологии другой, а в чем-то большем»⁴³.

Фадеев и Тарасенков

В ноябре по издательству «Советский писатель» был произведен залп – вышло закрытое постановление от 15 ноября 1948 года, где публикация «Двенадцати стульев» и «Золотого тельца» Ильфа и Петрова была признана «грубой политической ошибкой», а выпущенная книга – «клеветой на советское общество». Но так как книга вышла с разрешения секретариата Советских писателей, то Фадеев в письме на имя Сталина и Маленкова обвинил во всем и объявил выговор главному виновнику – «редактору книги», а также начальнику – «редактору отдела советской литературы издательства А.К. Тарасенкову, допустившему выход в свет книги Ильфа и Петрова без ее предварительного прочтения».

М.И. Белкина вспоминала: «Случилось это, должно быть, в конце 1948-го или в начале 1949-го, книги к юбилею опаздывали. Я зашла в Союз писателей за Тарасенковым, он работал тогда главным редактором в издательстве “Советский писатель”. По моим подсчетам, собрание должно было закончиться, а оно еще не начиналось. Все нервничали в ожидании Фадеева. Фадеева задерживали на Старой площади в ЦК. И вдруг он появился, неожиданно ворвался в отворенную дверь и прямо к президиуму, рывком выхватывая книгу из портфеля и багровея, что было не к добру – он заливался краской, когда злился, от шеи до корней серебряных волос, и волосы, казалось, розовели – швырнул книгу на стол. Взлет обеих рук, и ладонями откидывает и без того откиннутые волосы назад. Кричит, не говорит, кричит, срываясь на тонких нотах, давая петуха.

– Да это же черт знает что такое! Подумать только, что мы издаем!

Пошел разнос. Разнос устраивать он мог и в гневе был силен. Издательство Совписа, секретариат Союза – как

коршун налетал, общипывая как куропаток по перышку, всех поименно, и в том числе и самого себя: мы проглядели, нет чутья, потеря бдительности, не случайно, где классовый подход, льем воду на мельницу врага, пародия на жизнь, искажена действительность, а где народ, рабочий класс?! И цетера, и цетера... Набор тех самых привитых Агитпропом, заученных стандартных фраз. Фадеев мог прорабатывать еще умней и злей, а тут выплескивал, должно быть, то, что было выплеснуто на него на Старой площади в Казенном доме.

Тираж книги пошел под нож. Тарасенкову вклеили выговор. Фадеев после заседания – в запой, «водить медведя», как говорил Твардовский.

Что произошло? И почему все это вдруг? Ведь списки утверждались заранее, и книга была всеми признана, и сколько было уже переизданий! Повел ли кто там – на самом наверху – случайно бровью, или вспомнили, что Ильф – еврей, а началась уже эпоха космополитизма, закручивались гайки. Не знаю, может быть, и знала, но не помню, да это и не столь уж важно почему, важно то, что так могло случиться! Знаю одно: Фадеев и авторов и книги: любил и, как мальчишка, до слез смеялся, цитируя наизусть куски на дне рождения у Маршака⁴⁴.

Как было видно уже по истории с космополитами, Тарасенков действовал по прямому указанию Фадеева. Сам он не мог сделать ни одного шага. Однако каждый раз, когда случалась накладка, Фадеев разносил подчиненных. Этот стиль поведения был свойственен всей партийной номенклатуре. Тарасенков, выскочив из объятий Вишневого, попал в еще более крепкие объятия – Фадеева.

Вот пример двойной игры, которую постоянно вел в то время Фадеев.

Он пишет Тарасенкову секретное письмо 20 апреля 1948 года.

Дорогой Толя!

Ходят слухи, что Ширшов снят с должности министра, и будто бы подвергнут еще *большой каре*. По болезни не могу этого проверить.

— Найди способ узнать, как обстоит дело, и, если слухи верны, придется изъять у Кирсанова стихотворение о *чукчах и льдине*.

Записку сию прошу уничтожить.

Твой А. Ф<адеев>.⁴⁵

Тарасенков записку не уничтожает. Оставляет для истории литературы. А Фадеев в этот же день отправляет еще одну — на имя Тарасенкова и Матусовского, уже абсолютно иезуитско-политпросветского содержания.

Товарищу Тарасенкову «Совпис»
Тов. Матусовскому 20.4.48.

В хорошем сб<орнике>. Кирсанова надо изъять стихи: <перечень стихотворений. — Н.Г.>. Стихи надо изъять как программно-формалистические, где словесная эквилибристика или затемняет, или выхолащивает содержание, превращая стихотворения почти в пародийные, а во многих случаях <...> извращая идеи *политически*⁴⁶.

Тарасенков все больше уходил от себя того, который пытался биться с Поликарповым и Вишневским за Пастернака, и вновь и вновь шел путем той раздвоенности, которой был научен в конце 30-х годов. Опыт, пришед-

ший во время войны — опыт искренности, желания снова говорить правду, — должен был быть спрятан как можно дальше. Непредсказуемые повороты партийной линии, напрямую связанные с угасанием психики Сталина, отражались на всем обществе, но более всего на тех, кто должен был эту линию проводить.

В дневнике еще совсем молодого Давида Самойлова запись от 13 ноября:

Тарасенков — маран. Однажды он весь вечер хвалил грузинские стихи Межирова. Заставил его записать их. Через несколько дней на секретариате СП выступил с речью, где доказывал, что необходимо обратить внимание на Межирова, идущего по пути декаданса.

После этого Межиров: «Вы изменили мнение о моих стихах, прочтя их на бумаге?» Тарасенков: «Нет, они мне так же нравятся». Межиров: «Так почему вы так выступили на секретариате?» Тарасенков: «Не твоего ума дело»⁴⁷.

Тарасенкову всерьез казалось, что ему открыта иезуитская логика времени, и если соблюдать ее правила, то можно и других спасти, и себя уберечь. Надо самому бежать впереди и ругать то, что ты вчера хвалил или поддерживал. Надо каяться и признавать свои ошибки и выявлять ошибки других, а потом тихонечко помогать, давать работу, принимать стихи, печатать сборники. Нужна дымовая завеса из крика и ругани.

Создателем этой системы был вовсе не Тарасенков, можно прямо сказать, что учителями и вдохновителями были Фадеев и Симонов. И как мы увидим, в 1949 году, они преуспели в этом еще больше. Как ни странно, и тогда, и после им прощались самые оскорбительные выпа-

ды, даже против собственных бывших друзей, потому что все вокруг знали — это входит в правила игры с властью, «так надо», чтобы там не съели всю интеллигенцию с потрохами. А вот искренние «борцы» Софронов, Сурков, Суров, Грибачев, Кожевников были презираемы именно за свой «чистый» порыв в желании уничтожить собратьев. Таков парадокс истории.

В самом конце 1948 года, 11 декабря, Тарасенков просит в письме к Фадееву о позволении продолжения работы над сборником Есенина.

Дорогой А<лександр> А<лександрович>! Посылаю Вам, как мы и договаривались, для прочтения членами секретариата «Избранное» Есенина в юбилейной серии. Еще при составлении сборника было удалено многое кабацкое и религиозное из творчества поэта. Из верстки сняли еще ряд вещей. И, однако, томик это требует еще и еще раз самого пристального внимания. Прошу по возможности скорее дать решение выправления издания⁴⁸.

Поразительно то, что отвечает ему Фадеев 27 февраля 1948 года:

Книгу Есенина придется из избранной серии *СНЯТЬ*.

Ты можешь просмотреть по тексту, пока <некоторое> количество стихов невозможно издать сегодня массовыми тиражами в избранной серии, — я все их отметил. Другие нуждаются в купюрах. В результате получается куцый Есенин, т.е. даже вовсе не Есенин, — издавать его таким было бы извращением истины об Есенине, а поэтически — просто безбожно.

Это свое мнение я доложу секретариату, и думаю, секретариат согласится. *Прошу захватить с собой на секретариат верстку с моими пометками*⁴⁹.

Смешалось все: и взаимное вполне культурное понимание того, что книга нужна, и политическая конъюнктура, и вместе с тем мысль — лучше вообще не издавать. Хотя бы тут была своя честность.

Нависшая тьма

Голодный послевоенный год. Денежная реформа и отмена карточек. И вот открылись магазины, наполненные товарами. На прилавках появились продукты, стали возникать кафе, закусовые. Однако цены таковы, что очередей не было.

Женщины мечтали о новой одежде. Все довоенные перелицованные и перешитые вещи были давно выношены. Правда, теперь в комиссионных появились трофейные ткани, одежда, которую подгоняли под себя. Образ моды возникал из трофейных же фильмов, с «проклятого Запада»: кино стало окном в сказочный мир. Звезды Дина Дурбин с аккуратно выложенными кудряшками, Марика Рекк со взбитыми локонами — все эти знаменитые кинодивы определяли вкусы советских женщин. Их яркие нарисованные губы отпечатались на послевоенных фотографиях, как и само время, которое невозможно спутать с каким-нибудь другим.

А наши собственные звезды кино в эти годы стали исчезать с экранов и из концертных залов; арестовали Татьяну Окуневскую, Зою Федорову, певицу Лидию Русланову и артистку и переводчицу Татьяну Лещенко. Большинству предъявлялись обвинения в связи с иностранцами.

На экраны вышла комедия Пырьева «Сказание о земле Сибирской», музыкальная комедия «Кэто и Котэ», в которой весь город поет: «Тише, тише, — передают жители друг другу на ухо, — чтоб никто не знал!»

Рассказывали, что известия о возобновившихся арестах облетали писательское сообщество с невероятной быстротой. Нельзя было представить, чтобы люди могли говорить об этом по телефону, но уже наутро после ночного ареста того или иного деятеля были известны все обстоятельства. Слухи оставались главным и единственным источником информации.

В 1948 году участились разговоры о будущей войне. Говорили даже, что голод в стране оттого, что все средства идут на создание атомной бомбы.

Вишневский пишет в дневнике 28 февраля:

Разговор с Леоновым о войне, о том, что сбросят или нет бомбу на СССР. Леонов говорил о совпадениях и др. Я эту религиозную математику игнорирую⁵⁰.

В этом же году начнутся первые стройки в Москве высотных зданий силами заключенных. Но город еще не оправился от войны. Один из современников вспоминал: «Послевоенная Москва встает в памяти городом грязноватым, ветхим, запутанным, но необычайно уютным. Поленовский “Московский дворик” был тогда еще очень точным и по виду, и по настроению портретом лица города. Сросшиеся невысокие домики в два-три этажа; ловушки проходных дворов с постоянно действующими в них заседаниями старушек и детскими игрищами; заросли каких-то специфических сорняков, которые будто именно для городских углов и возникли в растительном мире; там и сям тихие, загаженные руины; не асфальти-

рованные еще мостовые большинства проездов — зимой они покрывались слоистым прессованным снегом с желтыми пятнами лошадиных испражнений; торчащие в большинстве дворов ржавые остовы деревянных снеготаялок — к ним дворники свозили снег на деревянных салазках, редкие машины с не надоевшим еще запахом бензинового выхлопа и, куда чаще, телеги с неторопливыми лошадаками...<...>

Одним из неперемных признаков городского пейзажа было множество еще живых инвалидов — обломков войны, которым не содействовали тогда ни комитеты ветеранов, ни социальная защита. Инвалиды собирались кучками или сидели поодиночке на тротуарах, бродили по трамваям, выпрашивая милостыню, чтобы потом обрратить ее в счастье с помощью “красной или белой головки” (все водки были “московские” и различались по качеству способом запечатки: простой красный сургуч, белая мастика или новинка — жестяная облатка с хвостиком для вскрытия, получившая название “бескозырки” за хвостик, который сначала был, но всегда обламывался, а потом и просто исчез). Протезы, заменявшие утраченную конечность, были примитивны донельзя: вместо ампутированной руки самодельный металлический крюк, вделанный в жестяную чашку — в нее и вставлялся остаток руки, культя оттяпанной ноги закреплялась ремнями в деревянной колодке. Простейшим и наиболее широко распространенным подспорьем был костыль»⁵¹.

В мае 1948 года не без усилий со стороны СССР было создано государство Израиль. К удивлению арабского мира, на совете ООН советский представитель А.А. Громыко открыто поддержал создание еврейского государства.

Но вскоре Израиль стал принимать помощь враждебной СССР Америки. Это до глубины души разозлило

Сталина. Израиль мгновенно превратился во враждебное государство, а все евреи стали подозреваться в тайных симпатиях к нему. Борьбу с низкоклонством перед Западом, а также с борьбой с безродными космополитами вел, не жалея сил, А.А. Жданов. В августе 1948 года он внезапно умер от инфаркта. Смерть освободила его от того, от чего не уберегла его ленинградских любимцев — расстреляны будут Н.А. Вознесенский, А.А. Кузнецов и другие, те, кого Жданов привел за собой в Москву.

Разгром журнала «Знамя»

В июле 1948 года газета «Культура и жизнь» дала залп по журналу «Знамя». Статья о повести Н. Мельникова «Редакция» называлась «Гнилая повесть и неразборчивая редакция»⁵². Она рассказывала о жизни во фронтовой газете, о главном герое повести, рефлексирующем интеллигенте. Повесть была объявлена клеветнической. Одновременно говорилось, что в журнале печатается много слабых вещей, в том числе ругали повесть Казакевича «Двое в пути», Вишневского хвалили за драматургические достижения, при этом подчеркивали, что он давно не пишет ничего нового. Время его уходило.

Еще в марте 1948 года Вишневский заносит в дневник вырвавшиеся горячие строки:

О, эти непрерывные заседания, невозвратные потери времени, отрыв от природы, от книг, от всего женского, красивого. Желтый свет, табачный дым, надоевшие люди, холодный чай, телефонные звонки, равнодушные стенографистки! Бледность или апоплексия, краснота лиц. — Горбатов шепчет мне: «Я с ума схожу или уже сошел»⁵³.

Казалось, удушливая атмосфера, убивающая все живое вокруг себя, постепенно губила и Сталина, и убивала его клеветов. Происходящее многим казалось абсурдным, и трудно было разделять идеологию, видеть хотя бы какой-то смысл происходящего даже тем, кто искренне служил системе.

Вишневский действительно плохо понимал, что он мог сделать не так. Не будучи природным антисемитом, он не сразу угадал новую установку власти.

Борис Рунин, многолетний критик журнала «Знамя», родственник Мельникова, рассказывал годы спустя Наталье Соколовой: «Приходит очередной номер “Культуры и жизни”, а там рубрика “По материалам газеты”. Секретариат обсудил... признал... опубликование порочной повести Н. Мельникова (Мельмана) является грубой ошибкой. <...> “Но самое главное, самое удивительное было не в этом. Мельников (Мельман) – вот, что нас потрясло. Раскрытие псевдонима, в скобках после него настоящая еврейская фамилия... Такого не бывало...»

В Дубулгах находился Перец Маркиш. Говорит, что ему тоже неприятно раскрытие фамилии: «Попадет вашему родственнику, попадет Казакевичу, но дело ведь не в них. Хорошо продуманный удар, неслучайный! Это начало конца, но не вашего, не думайте. Вы – евреи, пишущие по-русски и о русской жизни, евреи только по крови... о вас особый, отдельный разговор. Нет, сейчас наш черед – тех, которые думают и пишут на идише. Черед настоящих евреев, чьи судьбы тесно связаны с судьбами еврейского народа <...> наш конец близок, наверняка <...> Короткий разговор нас с Нюней просто потряс...»⁵⁴.

Вишневский раскритикованный, но не снятый с поста главного редактора, исчез. Потом он будет ругать всех, даже машинисток.

На заседании в ЦК 4 ноября Вишневский клялся, что все исправит. «Низкопоклонство — надо поднять эту тему. Огонь по формализму... Я хочу работать. Я человек сегодняшнего дня».

Выступающие не верят покаянным речам главного редактора: «В журнале наметилась гнилая линия... Роются в Достоевщине... стихи Алигер и Головановского, грустные панихидные мотивы... хвалят Бялика...».

Один Горбатов старается выгородить Вишневского: «Обсудим. Реорганизуем. Вишневский постарается».

Но Панферов, Софронов, Сурков, Суслов и Маленков — неумолимы.

«Герои романов — люди с гнилыми душами»⁵⁵. Это о Казакевиче и Пановой.

И все-таки «Знамя» в послевоенные годы, при всей верноподданности Вишневского, при его заместителе Тарасенкове, был одним из лучших журналов; здесь были открыты и Виктор Некрасов с «Окопами Сталинграда», и Казакевич со «Звездой», и Панова со «Спутниками» и много другой свежей послевоенной прозы, уровень которой вернется только после смерти Сталина.

Однако Вишневский серьезно не пострадал, оставшись одним из руководителей аппарата Союза писателей. Уже через несколько месяцев он будет кричать на собрании про группу театральных критиков, среди которых были его товарищи (те, кого он печатал в журнале), что к ним тянутся нити иностранных разведок и что теперь для них пришел час расплаты.

Вишневский пытался перекричать свой страх.

«Знаменем» стал руководить Вадим Кожевников, журнал сделался скучным и серым. Известно, что Кожевников на все упреки отвечал: «За серость не бьют».

Отступление. Борис Рунин

Борис Рунин, критик и редактор, много печатавшийся в журналах, был женат на Анне Дмитриевне Мельман, сестре писателя Наума Мельникова (Мельмана).

Его книга «Мое окружение. Записки случайно уцелевшего», к сожалению затерянная в потоке воспоминаний, вышедших в 90-е годы, один из честнейших документов эпохи, где автор откровенно рассказывает историю своего страха длиною в пятьдесят лет. У Рунина были весомые основания, чтобы постоянно ждать ареста. Его родная сестра Генриэтта Рубинштейн была замужем за младшим сыном Троцкого Сергеем. Сергей Седов был человеком, далеким от политики, очень хороший инженер, который мечтал спокойно жить и работать на благо страны. Драматично то, что сестра Рунина, оставив первого мужа ради Сергея Седова, успела прожить с ним всего несколько лет. Однако их судьба была предрешена. Сначала ссылка, потом расстрел Седова, а затем и гибель в лагере его жены. Их ребенок (внучка Троцкого) рос в семье родителей Рунина, в конце концов они вместе с внучкой были сосланы в Сибирь и вернулись в подмосковный Александров только в 1953 году. Рунин вспоминал, что сознательно ни в одной анкете не писал ни имени сестры, ни имени зятя Сергея Седова. Хотя прекрасно понимал, что в любой его момент его поймут за руку. Там, где надо, знали всю его подноготную.

Друзья Рунина (они звали его Бобом, а его жену Нюней) всегда подшучивали над его трусоватостью. М.И. Белкина, Данин, Мацкин узнали о его тайне из автобиографической повести, которая вышла уже после его смерти, и поняли, что Рунин всю жизнь играл с органами в игру, подобную русской рулетке.

В самом названии книги «Мое окружение. Записки случайно уцелевшего» был ключ ко всей его жизни. Осенью 1941 года была организована из писателей-добровольцев «писательская рота», объединившая близоруких, больных и немолодых литераторов, часть которых погибла на войне, часть пропала без вести. Рунин же с двумя товарищами попал в котел под Ельней. Выходили они из окружения в течение целого месяца, шансы выжить были минимальны, каждый шаг в тылу немцев грозил гибелью. Но они вышли, и к 16 октября оказались в бегущей от немцев Москве.

Судьба Рунина впоследствии также была попыткой спастись, выжить под пристальным наблюдением органов. Он постоянно менял работу, переходя из газеты в газету и не задерживаясь ни в одном журнале, старался «не высовываться» и не только боялся сам, но и поразительно чувствовал страх в душах своих товарищей.

В «писательской роте» он встретил Александра Бека, автора знаменитого «Волоколамского шоссе», который производил странное впечатление человека, существующего под маской простодушного шута, этакого бравого солдата Швейка, однако Рунин проникся к нему абсолютным доверием, чувствуя, что при нем можно говорить обо всем. «А за этой напыленной на себя шутовской личиной кроется отчетливое понимание глубинной природы вещей, уродливых политических установлений, окружающей тотальной лжи. И, конечно же — страх. Постоянный, тщательно запрятанный, бесконечно чуткий страх. За свое нерусское — не датское, не то еще какое-то происхождение. За свое неистребимое и потому опасное чувство иронии. За свое тонкое и острое понимание механизма власти с ее беззаконием, с ее произволом. Да мало ли за что!.. Ведь Бека, надо думать,

не раз пытались завербовать в осведомители, пока он не заслонился от этой страшной напасти напускной наивностью, нелепостью своих чудачеств»⁵⁶.

Рунин подробно рассказывал в воспоминаниях, как оперативник из СМЕРШа не раз подступал к нему с требованиями доносить на товарищей. Так же обрабатывал он и его однополчан по фронтовой газете Волховского фронта. Подобную историю пережил критик Федор Левин (тот самый, что был редактором сборника Пастернака, а до этого работал в разогнанном журнале «Литературный критик»). Будучи военным журналистом в газете «В бой за Родину», редакция которой располагалась на окраине Беломорска, Левин имел неосторожность при трех литераторах (драматурге, поэте и прозаике) высказать мнение, что война будет иметь затяжной характер и что еще долго наша армия будет отступать. На следующий день его арестовали: ему грозил расстрел за пораженческие настроения. Какое-то время он ходил на общие работы, но вскоре в дело вмешался прикомандированный к газете писатель Геннадий Фиш, под личную партийную ответственность вызволивший товарища из беды. В конце войны Рунин пришел к начальнику разведки Карельского фронта за интервью, и когда тот, узнал, что он из Союза писателей, то брезгливо поморщился: «Ненадежный вы народ», — сказал начальник. А потом, смягчившись, рассказал Рунину, как друзья-писатели бросились наперегонки сдавать своего товарища в СМЕРШ и как того чудом спасли.

В 1949 году, когда и Федор Левин, и Борис Рунин подверглись нападкам уже за «космополитизм» (Рунина обвиняли «за связь» с главным космополитом Юзовским и Гурвичем), они случайно встретились на улице, разговорились и решили выпить как фронтовики. Им было что вспомнить, говорили о трибунале, исключении

из партии, чудесном вызволении, и в завершение Федор Левин сказал: «Но ведь из сердца они у меня партийный билет не отберут!»

Борис Рунин писал, что той патетической фразой Левин перечеркнул всю теплоту их встречи. Глубина поражения психики даже у честных и столько раз битых товарищей была огромной.

Рунин рассказывал в своей книге, как уже после смерти Сталина его вызывали в КГБ и пытались вербовать именно на основании того, что он «скрывал» от органов свою связь с родственником Троцкого. Любого рода «темные места» в биографии могли сделать человека осведомителем. Но уникальный опыт Рунина — в постоянном утекании от органов, умении просчитывать их игру заранее, в жуткой шахматной партии, которую он не по своей воле всю жизнь играл с властью.

Пастернак: возможный арест

Пастернак продолжал дорабатывать роман, читать главы на квартирах друзей, а тем, кому не мог прочесть, посылал экземпляры почтой. Так роман оказался в ссылке у Ариадны Эфрон, Анастасии Цветаевой в Казахстане, где она отбывала срок, у Валерия Авдеева в Чистополе; через Ахматову — был выслан экземпляр для ленинградцев — Сергею Спасскому и Ольге Фрейденберг. В письме к Ольге Берггольц Пастернак просил взять у Спасского экземпляр и непременно прочесть роман. Собиралось огромное количество отзывов, которые давали ему ощущение, пусть и узкой, но очень значимой читательской аудитории, позволяли что-то корректировать в романе. Пастернак торопился доделать текст окончательно, нужно было содержать семью, и он взялся за огромную работу — перевод гётевского «Фауста».

Вишневский, который внимательно следил за всем, что делает Пастернак (он все еще не оставлял желания написать о нем разгромную статью), записал рассказ Федина о романе.

Он написал том (1-ю часть) романа — о начале века, об интеллигенции. Без сегодняшнего восприятия и «как было» некий вид из комнаты. Проза четкая, местами боборыкинская. Несколько интересных фигур, — девушка Лара, — м<ожет> б<ыть> даже революционерка. Очень хороша часть: елка у Свентицких... Народа Пастернак не видит, не понимает... после советов ввел лишь машиниста, дворника, но это вставка...⁵⁷

Эта запись относится к осени 1948 года. В те месяцы все чаще слышатся со всех сторон голоса, что Пастернак арестован или его вот-вот арестуют. Об этом рассказывает переводчик Николай Любимов, приводя в своих воспоминаниях историю, как ему пришлось звонить Елене Сергеевне Булгаковой, у которой гостила Ахматова, тесно общавшаяся с Пастернаком, и проверять, на воле он или нет. В начале 1949-го Ахматова и Берггольц звонили в Москву, чтобы узнать, не арестован ли Пастернак⁵⁸.

Аркадий Ваксберг, учившийся в те годы на юриста и ходивший в поэтическую студию, рассказал в своих мемуарах поразительный эпизод. Как-то он решил вместе со своим приятелем — поэтом Германом Ганшиным — отправиться «запросто» к Пастернаку. Отсутствие приглашения их не смущало: «Вполне нормально... Поэты всегда ходили друг к другу в гости. Почитать свое, послушать чужое...».

В Лаврушинский переулок они пришли 21 декабря 1948 года. В подъезде обнаружилось, что лампочка на шестом этаже, где жил поэт, не горела. «Я позвонил, — пи-

шет Ваксберг. — Через какое-то время послышались шаги, и дверь распахнулась. То, что произошло сразу за этим, и сегодня заставляет меня ощутить холодок на спине. Открывший нам дверь мужчина, всматриваясь в темноту из ярко освещенного коридора, испустил звук, напоминающий стон раненого зверя.

— Кто?! — вскрикнул он, пятась в глубину коридора от двоих мужчин, без приглашения уже переступивших порог. И снова — в отчаянии, полусшепотом: — Кто?..

Моя фигурка, — продолжает Ваксберг, — вряд ли гляделась грозно, зато плечистый, массивный Герман в своей пыжиковой шапке, надвинутой на лоб, с поднятым воротником тяжелого пальто, вероятно, смахивал на лубянского конвоира. Хлопнувшая дверь лифта, вечер, темная лестница, два мужика (а за ними, возможно, и третий, и пятый...), без спроса вломившиеся в квартиру, — вот что услышал, увидел, почувствовал тогда Пастернак.

Все это я сразу не понял. Мы пребывали совершенно в разных стихиях: он — в ужасе от того, что происходит, я — в эйфории от встречи с ним.

Продолжая пятиться и приставив ладонь ко лбу, чтобы загородиться от мешавшего ему света лампы, Пастернак вдруг отпрянул в каком-то неуклюжем прыжке, и тогда Герман, раньше, чем я, освоивший ситуацию, наконец-то промолвил:

— Борис Леонидович, мы — поэты.

Пастернак замер на том месте, где застали его эти слова. Убрал ладонь со лба. Оглядел нас, уже вошедших в квартиру, с головы до ног. И засмеялся. Сначала заливисто, неупержимо — как ребенок. Потом — страшно... Это был не смех, а — истерика. Жуткая, страшная разрядка человека, вдруг вернувшегося с того света. Не дай Бог никому увидеть ее!..

Пастернак раздел, пригласил в комнату, первую направо от входной двери, где был его рабочий кабинет, согрел

чай, они долго говорили, а потом он подарил им свои книги с надписями.

В комнате, вернее в кабинете, стоял миниатюрный столик, на котором не было ничего, кроме Библии гигантских размеров в старинном кожаном переплете. Стену перед столом украшали крохотный образок и небольшой портрет Анны Ахматовой...»⁵⁹.

30 апреля 1949 г. снова запись в дневнике Вишневецкого о Пастернаке:

Встретил А. Барто... «— У меня радость я выпустила книгу “Мне 14 лет” о вступлении в комсомол, мальчик подводит итоги своей жизни (?) Мне позвонили из ЦК комсомола, одобрили. Только положила трубку — позвонил Б. Пастернак, тоже хвалил. Вы понимаете?! Пастернак, не пишет, в чем-то остановился и его — очевидно, затрагивает современная позиция, новизна, поиски. Я так поняла. Он пишет роман о старой интеллигенции. Ну, к чему! Как-то в прошлом году — звонок от Федорченко: “Она умирает, не хочет причастия, но хочет причаститься искусством”. — Будет у нее читать Пастернак (!). Приглашает!! — Иду — соборы вынутых из нафталина старух и стариков. Пастернак. Читал. Было странно, неловко. Я потом сказала Пастернаку: “Зачем вы читали при такой аудитории!” (А зачем Барто пошла слушать? — В.В.) — Зачем такое прошлое? Сейчас нужно о будущем»⁶⁰.

За несколько месяцев до встречи Вишневецкого с детской поэтессой похожий сюжет записывает в дневнике Лидия Корнеевна Чуковская:

«13 октября 1948. Я побывала у Барто, которая вытребовала меня к себе, чтобы я помогла ей разобраться в вариантах ее поэмы к тридцатилетию комсомола. Живет она в писательском доме, в Лаврушинском переулке, на той же лестнице, что и Пастернак.

Оказывается, Агния Львовна чуть не влюблена в Пастернака, “это мой идол”, читает наизусть его стихи, пересказывает свои разговоры с ним и пр.

— Но, Лидия Корнеевна, скажите мне, почему, объясните мне, почему он не напишет двух-трех стихотворений — ну, о комсомоле, например! — чтобы примириться? Ведь ему это совсем легко, ну просто ничего не стоит! И сразу его положение переменялось бы, сразу было бы исправлено все»⁶¹.

Вишневский нервничает: все вокруг обсуждают пастернаковский роман, и даже правоверная Барто не отстает и тащится на посиделки.

Через несколько дней они с Пастернаком оказались за одним столом у Федина.

7 мая 1949 года Вишневский записывает в дневнике:

Вчера вечером на ужине у Федина. Было мало народу... Сначала я как-то сидел тихо, молчал, острил, главным образом, Чагин; чудил пьяный Пастернак... Потом пошли тосты, я сказал о Федине... Да тост за меня произнес... Пастернак, признал, что в споре с ним, прав я. — Ели много рыбы, зелени, вина...⁶²

Вишневский ни словом не обмолвился, что был за спор. Но какие-то странные легенды по поводу того застолья остались: будто бы в 1952 году обмывали новую дачу Федина (старая сгорела), и Вишневский встал и провозгласил тост за будущее настоящего «советского» поэта Пастернака.

А Пастернак будто бы ему матерно ответил. Все это стало известно из дневников А. Гладкова, который в то время находился в лагере, а спустя годы записал со слов Паустовского. Здесь ни один факт не выдерживает критики. Во-первых, дача Федина горела 15 июля 1947 года, т.е. за пять лет до описываемого события, во-вторых, Вишневского в 1952-ом уже год как не было в живых, он умер в самом начале 1951 года⁶³.

6 октября 1949 года арестовали Ольгу Ивинскую. Случилось это после попыток расставаний и их новых сближений с Пастернаком. В доме Ивинской остались старые родители и маленькие дочь и сын. На годы Пастернак становится для семьи своей возлюбленной моральной и материальной опорой.

На допросах Ивинскую спрашивали не только об отношениях с Пастернаком и о его клевете на советский строй, но и о «сговоре Ахматовой». Требовали рассказать об их встречах, о чем они говорили. На Ахматову в это время готовилось свое дело в ленинградском МГБ. Связь Пастернака и Ахматовой отстраивали с первого дня постановления о журналах «Звезда» и «Ленинград». И так как он категорически отказался выступить с ее осуждением, а власть рассчитывала на это, поскольку его мнение имело вес на Западе, то его арест для Лубянки был делом времени.

Юбилей Льва Квитко

20 ноября 1948 года распускают Антифашистский комитет. А в ночь с 24 на 25 декабря были арестованы Вениамин Зускин и Ицик Фефер. Зускина арестовали во время процедуры лечебного сна прямо в больнице. Проснулся он на Лубянке в камере, завернутый в одеяло. Когда взяли

Фефера, Маркиш сказал: «Этот негодяй один в могилу не уйдет, всех за собой потащит»⁶⁴. Многие подозревали, что он был завербован МГБ, но никто не представлял, что на нем будет держаться все дело Антифашистского комитета.

Трагедия Антифашистского комитета подробно описана в целом ряде книг, и мы коснемся только нескольких поворотов этого мрачного сюжета.

Так случилось, что в «Золотой серии» Тарасенков готовил сборник стихов Льва Квитко, не имея никаких нареканий по его выпуску. Однако он чувствовал сильное беспокойство и снова и снова обращался к Фадееву. Можно ли печатать еврейского поэта? Фадеев, по воспоминаниям Марии Иосифовны, отвечал, чтобы тот спокойно печатал сборник — за Квитко он отвечает головой.

Борис Рунин вспоминал: «Неожиданно Лев Квитко попросил меня быть редактором и составителем его однотомника в “Советском писателе”, хотя мы были почти не знакомы. Не знаю, кто ему меня отрекомендовал. Я долго отказывался — идиша не знаю, а тут надо заказывать переводы и сверять с подлинниками, есть много людей, которые владеют языком и сделают это гораздо лучше меня.

Но он настоял на своем. Отказать ему было трудно, просто невозможно, такой он был очаровательный дядька. Потом вышла очень странная история с его фальшивым юбилеем. Вдруг звонит мне Лев Квитко. — Нельзя поторопить выход книги? Хотя бы часть тиража... Был у меня разговор с Фадеевым. Фадеев настаивает — отпраздновать наново и шумно мой пятидесятилетний юбилей, хотя я его уже отмечал в сорок пятом. Это как приказ. Фадеев очень торопит, нервный такой... Надо сделать как он хочет.

Ну, часть тиража мы действительно сумели выдать к назначенной дате — к этому не существовавшему, придуман-

ному Фадеевым юбилею. <...> Это было какая-то непонятная, загадочная провокация...»⁶⁵.

М.И. Белкина в записи Соколовой вспоминала: «Существует такая точка зрения, что Фадеев затеял этот юбилей и торжественный вечер, чтобы попробовать спасти талантливого человека от гибели (он понимал прелесть милого поэтического чудака Квитко, любил его). Не знаю, насколько это верно. Во всяком случае, стараниями Фадеева Квитко был представлен на Сталинскую премию (которую должен был получить весной 1949 года. Возможно, Фадеев рассчитывал, что Квитко успеет стать лауреатом и это послужит ему защитой. К юбилею вышла книга Квитко в “Золотой серии” “Советского писателя”. Толя в это время ушел из “Знамени” и работал в “Советском писателе”. Работать было трудно, опасно, авторов прорабатывали, исключали из партии, сажали, предвидеть, кого именно посадят, было невозможно, а потом о редакторе писали так: “Он, утратив всякую бдительность, дал зеленую улицу клеветническим произведениям врага народа”. Погореть можно было на любой книге. Союз очень торопил издательство с выпуском книги Квитко»⁶⁶.

Книга, вышедшая к его юбилею, была подарена и надписана Тарасенкову-младшему: «Отважному Мите и его маме» 20 октября 1948 года.

И опять свидетельство Бориса Рунина: «Накануне вечера Л. Квитко настойчиво просил о встрече, но мы его не дождались. Потом объяснил, что, когда вышел, увидел человека, следовавшего за ним по пятам. Решил не идти. <...> Он хотел рассказать мне о налете КГБ <НКВД> на еврейское издательство (только что сам об этом узнал) и посоветовал, как себя держать на вечере, что говорить, какие стихи читать. В издательстве, по его сведениям, сожгли все рукописи, гранки, верстку <...> помещение опечатали»⁶⁷.

Юбилей Квитко отмечался в дубовом зале. «Было шумно, было много народу, — рассказывала М.И. Белкина, — была какая-то странная напряженная обстановка. Все знали друг друга. Входя, бросались друг другу в объятия, словно радуясь, что еще раз удалось встретиться. Они приносили с собой те волнения, которые были за стенами, за расписными витражами окон под потолком, где было все так зыбко в это время...»⁶⁸.

Рунин вспоминал, что вел вечер не Катаев, как пишут некоторые мемуаристы. Председательствовал Кассиль. «Он вел себя героически (что с ним, прямо скажем, было не всегда), произнес речь самоубийцы. “Я горжусь, что в моих жилах течет та же кровь, что и в жилах юбиляра”».

Поступило множество приветственных телеграмм и писем, Кассиль их зачитывал и откладывал на маленький столик сбоку. В перерыве вся пачка исчезла, ее искали, но не нашли.

Вдова Квитко спустя годы рассказывала: «Возраст Квитко? Год рождения. О, это дело очень темное. Знаете, как говорили до революции. Местечковый еврей идет записывать детей, если их набралось не менее трех штук (из-за одного что же ходить?). Когда маленький Лейб родился, его записали, по еврейскому выражению, “на рябой фасоли”, то есть нигде, а вспомнили об этом лет через шесть-семь. <...> Бумаг, документов, я лично никогда не видела. <...>

Юбилейный вечер был затеей Фадеева. Хотя настроение было совсем не юбилейное (шли аресты). Но Квитко сказал, что сопротивляться Фадееву бесполезно. Сначала Фадеев говорил: “Пусть будет Ваше 60-летие, сделаем вид, что вы родились в 89 или 88 году. Не все ли равно” <...>

На вечере ко мне подошел И. Долгушин, еврейский критик.

– Как я счастлив, что хоть Лев Михайлович спасен! Теперь после такого триумфа, ясно, что его от нас отделиют, что он не пострадает».

Были противоречащие друг другу свидетельства о том, что на юбилей из тюрьмы привезли Фефера.

«Может быть, они хотели знать, кто к нему будет подходить, о чем будут разговоры? В перерыве он стоял один, никаких сопровождающих или присматривающих за ним не было, руки опущены вдоль тела, немного как бы скованный, стесненный. Но, в общем, ничего особенного, Фефер как Фефер: очки, обычный костюм, голая яйцевидная голова»⁶⁹.

Однако иную версию об извлечении Фефера из тюрьмы излагал Матусовский; судя по тому, что ее рассказывали и многие другие, она очень похожа на правду.

«Перед концом войны артист Соломон Михоэлс и поэт Ицък Фефер по командировке еврейского Антифашистского комитета совершили поездку в Соединенные Штаты Америки. Там и состоялась их встреча с Полем Робсоном, чей плотный напористый голос заставлял дрожать серые тарелки домашних репродукторов. Сыновья двух народов, на долю которых пришлось немало несправедливостей, унижений и бедствий, быстро и легко нашли общий язык. Они шумно хлопали друг друга по плечам, наполняли рюмки то виски, то московской водкой и даже пробовали нестройно, зато с чувством спеть “Полюшко-поле”. На прощание сфотографировались втроем, обнявшись так, будто были знакомы, по крайней мере, лет десять. Все видевшие эту фотографию не могли не обратить внимания на сходство Михоэлса и Робсона – у них были одинаковые, словно сплюснутые неловким ударом скульптора, чуть вогнутые лица. <...> В Москву с ответным визитом приехал из-за океана Поль Робсон. <...> И вдруг в один из свободных вечеров, оказавшись в номере отеля

“Москва”, заваленном подарками и одинаково пахнувшими на похоронах и театральных премьерах плетеными корзинами с цветами, американский гость вспомнил, что у него в Москве есть друзья, и изъявил желание встретиться с ними. На это сопровождавшие Робсона лица, смущенно переглядываясь, ответили, что, к глубокому прискорбию, они вынуждены огорчить его: Соломон Михоэлс стал жертвой уличного происшествия в Минске. Ничего не поделаешь, такое случается и в американских городах. Поль был сильно огорчен этим известием, ведь не так давно он встречался с Михоэлсом и ему нравился этот веселый добрый человек, сильный, как местечковый балагула, на спор сгибавший подковы. Тогда, сверкнув белками всегда скорбных негритянских глаз, певец назвал имя своего второго знакомого. Сообщить о том, что Ицък Фефер попал под машину, было невозможно. И настойчивому гостю сказали: Фефер? Ах, Фефер. Ну что ж, раз вам так хочется, вы завтра сможете с ним встретиться. <...> В ту же ночь следовательно явился на квартиру Феферов, переполошив всех домашних и вселив в них какие-то робкие надежды. Он сорвал печать, нашел в гардеробе самый лучший костюм и снова налепил на двери красную сургучную нашлепку, как опечатывают секретные донесения. Фефера подняли с нар, заставили побриться, надели на него старый костюм, от которого пахло чем-то забытым, домашним, праздничным. Правда, начальник не разрешил надевать поясной ремень. Такой вольности он не мог дозволить при самых чрезвычайных обстоятельствах, ведь пояс отбирают у человека в первые же минуты ареста. Так и отправился Фефер на свидание, как Чарли, поддерживая одной рукой сползающие, слишком широкие для его нового телосложения бостоновые штаны. Его наряжали, как актера к выходу, как покойника, прежде чем выставить на всеобщее обо-

зрение в траурном зале. Ему припудрили рубцы на лысине. Следователь сам, по своему вкусу подобрал для него галстук, конечно, черный, это выглядит всегда прилично.

Потом его усадили в громадный “ЗИС” между двумя людьми, лиц которых ему не удалось разглядеть, и повезли в гостиницу. Что думал Ицк Фефер, за несколько минут перенесшийся из тюремной камеры в пахнущий хорошими духами и ароматным “кепстеном”, сверкающий тяжелыми люстрами вестибюль столичной гостиницы с швейцаром в пышном мундире, об этом никто уже не узнает. Лифт бесшумно поднял его на восьмой этаж в двухкомнатный номер люкс, где заключенного встречал человек совсем из другой его жизни, прославленный Поль Робсон. Ицк Фефер провел в отеле не более получаса, он что-то бормотал, невнятно и невпопад отвечал на вопросы, пробовал улыбаться пересохшими, отвыкшими складываться в улыбку губами, быстро привставал по привычке, когда к нему обращались, и потом, сославшись на острую мигрень, а голова у него действительно раскалывалась, как-то боком, боком удалился из комнаты. Внизу Фефера ждал все тот же лимузин с двумя молчаливыми фигурами, меж которыми он был плотно зажат всю дорогу обратно. Об этой встрече Фефера с Робсоном Галкин узнал в тюремной больнице.

Робсон искренне посетовал, что годы берут свое и что Фефер сильно изменился с тех пор, как они шумели в Нью-Йорке. Впрочем, раздумывал он недолго, так как должен был спешить на концерт в Зеленый театр, где его ждала возбужденная многотысячная аудитория. Он вышел на подмостки, растерявшись и ослепнув от света прожекторов, направленных на него, а потом, совладав с волнением, запел песню, и в его устах особенно трогательно звучали строки: “С этим словом мы повсюду дома, нет для нас ни черных, ни цветных...”»⁷⁰.

Жена Квитко говорила: «Фефер был подлец из подлецов! Он с самой революции тайно завербовался в ЧК и обо всех сообщал. <...> В Харькове Фефер возглавил еврейский РАПП <...>. Фефер травил Квитко, находил в его стихах уклоны и ошибки.

В Гамбурге Квитко вступил в партию, но билет его остался там. Поддержал Квитко Тычина. Опекал Чуковский. Фадеев спас, когда тот записался в ополчение, — придумал для него важное поручение — наладить помощь эвакуированным писателям.

Квитко был арестован 22 января 1949 года, расстрелян 15 октября 1952-го...

При обыске забрали библиотеку, рукописи, все экземпляры книг Квитко. Судьба библиотеки неизвестна, а рукописи и издания Квитко были уничтожены»⁷¹.

С арестом Квитко напрямую связана история с Самуилом Галкиным.

Самуил Галкин

«В январе 1949 года Тарасенков жил в Малеевке, — рассказывала М.И. Белкина. — Сердце подвело. К туберкулезу еще прибавилась сердечная недостаточность. Он поехал в Малеевку, чтобы продышаться от угара постоянных звонков из ЦК, из парткома, от Фадеева, цензуры и от постоянных пересудов о текущих событиях.

В это время в Малеевке жил уже не один срок Галкин.

Он был болен. И он так же, как и Тарасенков, ждал моего приезда. Мы с ним были знакомы еще до войны. А в годы войны работали под одной крышей в особняке на Кропоткинской, где размещались четыре антифашистских комитета Совинформбюро под началом Лозовско-

го, который подчинялся непосредственно ЦК. Я работала в женском комитете. А Галкин вместе с Квитко в еврейском антифашистском.

В этот день я везла трудную “новость”. Ночью, 25 января, был арестован Лев Квитко.

Удивительно, что все аресты происходили тайно. Родственникам запрещалось сообщать кому-либо. Иначе грозила статья о распространении ложных слухов. Но, тем не менее, все тут же узнавали. И мне уже было известно, что эта трагедия произошла.

Тарасенков, встречая меня, просил ничего не говорить Галкину. Ночью у него был тяжелый сердечный приступ, вызвали неотложку. Каждый раз, когда я приезжала, Галкин искал встречи со мной и, дождавшись, когда вокруг никого не было, спрашивал: — Кого?

В этот день мы с ним не встретились. Он вообще не выходил на улицу, так как ему запретили врачи, уныло бродя по пустому коридору, мимо немых дверей, за которыми, спотыкаясь, стучали машинки. А вечером не присоединялся к степенным писателям, которые играли в преферанс. Преферанс в этот вечер как всегда был, и среди писателей находился Всеволод Иванов. Оказалось, что мы ехали с ним в одном поезде, но в разных вагонах. Он тоже приехал отдыхать в Малеевку и, зная, что здесь Тарасенков, привез необъятный том избранного, сделав надпись: “Достопочтенному спутнику по литературе, и вновь обретенному спутнику по снегам Малеевским Анатолию Кузьмичу Тарасенкову — от всего сердца подносит автор. 25.I.49. Малеевка”.

А с Галкиным мы все же встретились. Это было уже после полуночи, когда в коридорах был притушен свет. Мне нужно было пройти в душевую. Он стоял в пижаме, опершись на перила лестницы, глядя вниз на ступеньки.

А над ним низко свисал большой шар, на котором черной краской крупно написано “Тише”. Он ничего не спросил, только поднял на меня глаза, полные отчаяния и тоски.

И я прошептала: — Квитко.

Он заплакал и сказал: — Следующий буду я.

— Но почему Вы, Самуил?

— А почему Квитко?

Через несколько дней его арестовали.

Всю ночь в Малеевке и весь день валил снег и накрыл пушистой периной и крыши, и землю. Но мы все же гуляли с Всеволодом Вячеславовичем по неметеным дорожкам. И он рассказывал нам о своей жизни, о жизни своих одноземлян-сибиряков. А рассказчик он был отменный, и легко уводил нас от мрачных разговоров о сегодня, говорил о завтра, которое конечно же, неизменно, должно было наступить. Но удастся ли прожить это завтра как хотелось...»⁷².

В том же рассказе Матусовского, где был сюжет о Поле Робсоне, приведена поразительная история об уже арестованном Самуиле Галкине и Ицхаке Фефере.

«Я перескажу только то, что мне лично полупшепотом рассказал больной Самуил Галкин, красивый человек с ровно обрамляющими его тюремного цвета лицо прямыми черными волосами, тонкий лирик, умевший в самых обычных вещах, хотя бы в осколке стекла, увидеть нечто загадочное. Вернувшись из заключения и доживая последние дни в одном из приарбатских переулков, задыхаясь, останавливаясь после двух-трех шагов и прикладываясь к пузырьку с лекарством, он рассказал мне следующее.

На одном из очередных допросов раздраженный следователь сказал Галкину: “Вот вы все отнекиваетесь, волыните и отказываетесь от предъявленных вам обвинений, а знаете ли, что ваш самый близкий друг Фефер давно уже во всем признался и, более того, заявил, что вы вместе с ним состояли в одной преступной группировке? Так что запи-

раться, Галкин, совсем неразумно, — и, неожиданно перейдя с “вы” на “ты”, добавил: — Поставь лучше свою фамилию вот тут внизу бумажки и можешь идти отдыхать в камеру”. Но Самуил Галкин, несмотря на то, что был мягким, доверчивым и провалялся несколько месяцев с инфарктом на железной койке в тюремной больнице, и на этот раз отказался подписывать лист допроса. Тогда следователь, уже не стараясь сдерживать свое раздражение, крикнул: “Ты думаешь, что я беру тебя на пушку, расколоть хочу? Ну что ж, если требуется очная ставка, мы сейчас ее устроим”. Он нажал кнопку звонка, притаившегося где-то под крышкой стола, и бросил часовому: “Введите заключенного Фефера”. И в кабинет вошел Ицык Фефер.

“Гражданин Фефер, — спокойно спросил следователь, заранее уверенный в ответе, — вы подтверждаете показания, данные вами на прошлом допросе, что вы и бывший ваш друг Самуил Галкин были связаны с контрреволюционной организацией “Джойнт”?” И Фефер, опустив голову, глядя куда-то в пол, вернее даже, никуда не глядя, глухо ответил: “Да”. — “Не стесняйтесь, не стесняйтесь, говорите громче. Вы подтверждаете, что заключенный получал деньги от вышеназванной организации и сообщал через вас сведения секретного характера?” Фефер снова, не поднимая глаз, пробормотал еле слышное: “Да”. Как учитель, довольный ответами своего вымуштрованного ученика-пятерочника, следователь потер руки и заключил: “Ну вот, видишь, а ты не верил. А теперь сам лишил себя добровольного признания вины. Можете увести Фефера!”

Сознавая, что это, может быть, в последний раз в его жизни, Галкин решился взглянуть на своего друга. Он увидел такого несчастного и жалкого, такого растоптанного и уничтоженного человека, что даже не мог прези-

рать его, хотя и хорошо понимал, что одним своим словом “да” тот predetermined всю его дальнейшую судьбу. Истощенный и запуганный, с черными печатями у глаз и кровоподтеками на восковой лысине, он был уже совсем другим человеком, только отдаленно похожим на Фефера, только носившим его имя. И тут Галкин, заранее прощая его за все, что он сделал ему и сделает еще, снимая с него вину, подошел и поцеловал Фефера. Какими собачьими, виноватыми, только на миг оживившимися глазами поглядел на него его друг. Они были сейчас выше всего, выше несправедного суда, выше власти, готовой расправиться с ними в любую минуту, выше самой жизни, которой они нисколько, уже нисколько не дорожили. Конвоир не ждал такого оборота дела, он сперва опешил, а потом засуетился, испугался, что на глазах у начальства допустил оплошность, и стал подталкивать заключенного к двери.

За достоверность рассказа я ручаюсь, так как слышал его на Гоголевском бульваре, недалеко от метро “Кропоткинская” от одного из трех участников этой сцены, если не считать четвертым конвоира»⁷³.

Надо добавить, что это был уникальный процесс: почти все арестованные на суде отказались от своих показаний, выбитых под пытками. Все они показали, что их заставляли клеветать друг на друга. Это привело к тому, что даже Фефер был вынужден отказаться почти от всех своих показаний, на которых строился весь процесс Антифашистского комитета. Процесс стремительно разваливался, и только настойчивое требование Сталина привело всех к гибели. Всех расстреляли всего за несколько месяцев до его смерти. Еще немного, и они бы остались живы. Они мужественно вели себя — и старики, и больные, поэты, писатели, ученые, журналисты.

О Галкине говорили, что он был очень красив в молодости, его даже называли принц Гамлет. В лагере со слабым сердцем он непременно погиб бы, но его сделал фельдшером минский доктор Рубинчик, который тоже сидел.

Соколова рассказывала историю про Ахматову, которая любила Галкина как поэта.

«Когда они встретились после его освобождения из лагеря, она ему сказала: “Кто-то мне прочел замечательное лагерное стихотворение о подушке. Сколько талантов пропало в лагерях”. Галкин засмеялся. Это было его стихотворение (в лагере он писал только по-русски). О бархатной диванной подушке, которую удалось утащить из дома»⁷⁴.

<...> А та подушечка со мной
Скитается по белу свету,
Хоть дом покинул я родной,
Куда назад тропинки нету.
Ты видишь – русский волосок
И черный? Сохранились оба.
Я был в те дни не одинок,
Не знал, как убивает злоба.
Подушечка – все та же быть.
Такое снится мне. Такое...
Ты видишь: солнечная пыль –
Как символ мира и покоя!

Абезь, 1951

1949 год. Дело театральных критиков

Прошел год, как Вишневский оплакал Михоэлса, а в дневнике появилось уже нечто абсолютно противоположное тому трагическому настроению; теперь, комментируя волну арестов, он писал:

В Москве много разговоров об еврейском комитете. Там оказалось националистическое гнездо. Взят ряд театральных и литературных работников. Имя Михоэлса снято с еврейского театра. — Значит, и он участвовал! Да, вот она, борьба острейшая⁷⁵.

Ширмой трагедии с арестами членов антифашистского комитета стала кампания по разгрому деятельности театральных критиков (в основном с еврейскими фамилиями).

Но в основе была борьба, которая разворачивалась в кругах, близких к Сталину. Молодой партийный функционер из Агитпропа — Шепилов — быстро поднимался по служебной лестнице. Для того чтобы привлечь к себе внимание и потеснить Фадеева, раздражавшего своей самостоятельностью и не считавшегося с чиновниками из Агитпропа, Шепилов еще в 1946 году начал критику репертуарной политики театров.

Театр и театральная драматургия были вотчиной Фадеева, он и сам понимал, что здесь не все ладно. Сталин внимательно следил за театром как за наиболее сильным пропагандистским оружием. Однако выступления ведущих театральных критиков, подстегиваемых Шепиловым, против пошлости и серости советских пьес, вызвали демагогический отпор Софронова, Сурова и других драматургов, объявивших себя истинными борцами за социалистический реализм, и были поддержаны Фадеевым.

27 ноября 1948 года Шепилов созвал на совещание в Агитпропе лучших театральных критиков, которые и будут впоследствии заклеены как «безродные космополиты». В большинстве своем это были критики высокой театральной культуры, для которых засилье в театрах ужасающих пьес Сурова и Софронова было не-

выносимо. Агитпроп также попытался добраться и до Фадеева через подчиненное ему издательство «Советский писатель», и, если в течение 1947 и 1948 годов Фадеев отражал нападение, то к 26 января 1949 года он был вынужден снять директора издательства Г. Ярцева, согласно постановлению, вслед за этим были зарезано и более трех десятков книг. В этот маховик попал второй сборник Пастернака с переводами. Сталин как всегда играл на противоречиях своих подчиненных, судьба книг его мало волновала, а вот критики еврейского происхождения, которые, как ему донесли, будто бы обижают «патриота» Фадеева, и должны были быть сметены.

За основу редакционной статьи в «Правде», вышедшей 28 января 1949 года: «Об одной группе антипатриотических критиков», было взято письмо к Сталину журналистки «Известий» Анны Бегичевой, в котором она писала о засилье врагов в советском искусстве. Она зывала к защите от театральных инородцев-космополитов с их главарями: Юзовским, Борщаговским, Альтманом, Бояджиевым, Гурвичем, Варшавским, которые поднимают на щит пьесы собратьев-космополитов, а прекрасные произведения Софронова, Сурова и пр. предают остракизму.

Можно сказать, что текст в газете «Правда» был фактически списан с этого письма. Над текстом работали Давид Заславский и Александр Фадеев. Но идейным вдохновителем статьи был, несомненно, Сталин. Это подтверждает запись, сделанная главным редактором «Правды» Поспеловым накануне 27 января, когда они с Маленковым были на приеме у вождя. «Для разнообразия, — было записано в его блокноте, — дать три формулировки: в первом случае, где употребляется слово “космополитизм” — ура-космополитизм; во втором — оголтелый космополитизм; в третьем — безродный космополитизм»⁷⁶.

Первым названным в компании «безродных космополитов» был Юзовский, которого друзья ласково звали «Юзом», — один из лучших театральных критиков того времени. Его мнением дорожили Мейерхольд, Немирович-Данченко, Михоэлс, Таиров. В передовице «Правды» говорилось о Юзовском, что он в своих статьях: «цедит сквозь зубы», «выписывает убогие каракули», «гнусно хихикает» и т.п.

Борщаговский с горечью писал о преследованиях Юзовского: «В первые же месяцы травли он пережил потрясение. Среди ночи в дверь трехкомнатной квартиры в Лаврушинском переулке, где одну из комнат занимала одинокая сестра погибшего на фронте поэта, громко позвонили. Пришли сотрудники НКВД с понятиями. Сердце упало, не было сомнений — это за ним. А в одной из комнат сидел Миша, малолетний сын, на кого оставить его среди ночи?..

Арестовали сестру поэта. Но, зная, что жилплощадь, “освобождаемую” таким образом, отдают в распоряжение не Моссовета, а органов, Юзовский уже не смог вернуть себе и домашнего покоя. Появится сосед, сотрудник, скорее всего семейный, каково же будет ему тесниться в одной комнате в то время, как “пигмей Юзовский” роскошествует с маленьким сыном в двух комнатах среди дорогих редких книг, которые, увы, не довели его до ума! И как много есть способов для энергичного соседа-новосела, человека с инициативой, освободить для себя и две другие комнаты»⁷⁷.

Арестованной девушкой была сестра поэта Иосифа Уткина Августа, незаметная девушка, работавшая бухгалтером. Скорее всего, ее арестовали лишь для того, чтобы подселить в ее комнату работника МГБ, который стал следить за соседом.

Следующим «безродным космополитом» в передовице «Правды» был объявлен Абрам Гурвич. Его на-

звали поклепщиком, выбравшим иную форму маскировки, нежели Юзовский, «жало его критики» было направлено против русских патриотических произведений.

Фадеев дружил с Гурвичем, и поскольку он, как и почти все критики, были выброшены с работы и лишены средств к существованию, Фадеев искал способ помочь бывшему товарищу.

Не решаясь предпринять что-либо, он позвонил их общему другу Александру Мацкину:

«...после нескольких общих фраз спросил:

– Как живет Абраша?

– Плохо живет, – ответил Мацкин. – У него описали и вывезли мебель, оставили только книги, письменный стол и супружескую кровать.

– Как вывезли?

– По суду. Издательство подало в суд, и вывезли.

– Он, наверное, без денег?..

Мацкин промолчал. Станный вопрос, странная забота о “злоствующем ничтожестве”.

– Я хотел бы дать ему денег. Скажи Абраше.

– Позвони ему сам, это деликатное дело, – уклонился Мацкин. Они с войны перешли на “ты”, с Гурвичем Фадеев тоже давно был близок.

– Я тебя прошу: сделай это для меня.

Мацкин уступил и позвонил на Красную Пресню. Грубку взяла Ляля Левыкина, жена.

– Даже не передам Абраше, – оборвала она разговор. – А Александру Александровичу скажи, что, если появится, я его спущу с лестницы»⁷⁸.

Но самая драматическая история разыгралась вокруг обсуждения судьбы театрального критика Иоганна Альтмана, или «несгибаемого Иоганна», как его называли.

Отступление. Фадеев и Альтман

Мог ли представить Фадеев, выводя в памятном постановлении фамилии и имена своих товарищей, на какой страшный путь он себя обрекает. То, что казалось временной позиционной войной, которая забудется, когда рассеется пыль от взрывов, оказалось началом конца самого Фадеева.

В книге Борщаговского «Записки баловня судьбы» подробно описано, как был сломан и фактически погублен Иоганн Альтман, старый коммунист, театральный критик, достаточно прямолинейный, всегда следующий линии партии. Единственным его недостатком на тот момент было то, что он являлся театральным критиком и евреем. Эти два обстоятельства и определили в 1949 году его судьбу. Особый отблеск в его трагедии придавало то, что все вокруг знали, что он с незапамятных времен близкий друг Александра Фадеева.

Как друга в 1947 году Фадеев настойчиво просил Иоганна Альтмана стать завлитом театра Госет, руководимого Михоэлсом. Фадеев просил долго, а Альтман отказывался по простой причине — он не знал идиша и плохо представлял, как ему выполнять свои обязанности, не понимая языка, на котором играют актеры. Однако и Михоэлсу очень нужна была поддержка со стороны известного члена партии, время наступали хмурые.

«И тогда, — писал Борщаговский, — Михоэлс обратился за помощью к своему другу Саше Фадееву. Альтман упорно держался и против уговоров Фадеева, пока тот не прибегнул к средству, перед которым Иоганн бывал бессилён: «Пойди к ним на год! На один год! Надо помочь Михоэлсу, ему нужен советчик и комиссар: прими это, наконец, как партийное поручение!»

И Альтман согласился, испытывая неловкость перед нами, коллегами: завлит, не знающий языка!



М. Белкина с сыном Митей. Подпись ее рукой: *«У нашего тополя угол
Большого и Малого Конюшковского пер. Весна. 1946».*



**А. Софронов, А. Коваленков, Д. Данин, П. Антокольский,
Ан. Тарасенков. Июнь 1946 г. Фото Славинского**



Дом Союза советских писателей. 1947 г.



ВОКС. Читает Луи Арагон. За столом сидят: М. Алигер, Ан. Тарасенков, М. Белкина. На диване: жена художника Н. Купреянова и В. Катанян. Стоят: композитор В. Власов, Н. Асеев.



Группа писателей и их жены в Юрмале.
Второй слева Ан. Тарасенков, рядом М. Белкина. *Лето 1946 г.*



М. Белкина. 1945 г.



М. Пришвин.
Шарж Ан. Тарасенкова. 1945 г.



Л. Субоцкий.
Шарж Ан. Тарасенкова. 1945 г.



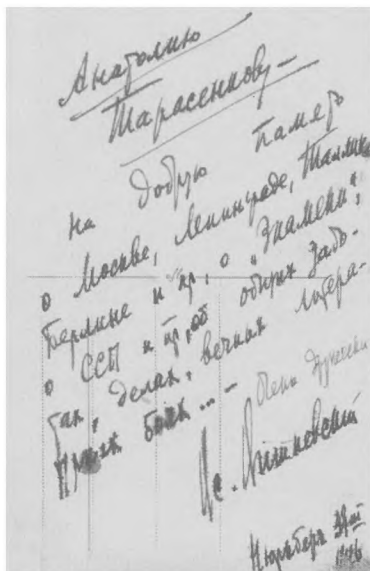
И. Нушинов.
Шарж Ан. Тарасенкова. 1949 г.



Ан. Тарасенков.
Шарж Б. Закса. 1946 г.



Вс. Вишневский.
Конец 1940-х гг.



Надпись на фотографии
Вс. Вишневского.



Вс. Вишневский.
Шарж Ан. Тарасенкова. 1945 г.



Выступление А. Ахматовой.
 Слева М. Дудин, справа Б. Пастернак. Весна 1946 г.

После, я по иголку телом нарисован
 тебе эту статью в октябре 1947 г. р.
 Я рад, что у тебе такой сил; с оруд
 и действительн, с тем и деревной кра; нам
 в моем ты бытство и иеи ривеед силе
 переуро. Мне с шотот сь дотвотн чур-
 лаво (дототр и мого е сии, ми бс в то-
 бот по бс рн). Я чсир шее и теле шее
 и дссу и о ссу сссии.
 БОРИС ПАСТЕРНАК
 16 окт. 1947

Автограф Б. Пастернака.
 16 октября 1944 г.



М. Алигер.
Конец 1940-х гг.



Э. Казакевич.
Конец 1940-х гг.



Д. Данин. В экспедиции.
Конец 1940-х гг.



В. Ермилов, К. Зелинский, В. Перцов.
Шарж И. Игина



В. Инбер.
Шарж И. Игина



О. Ивинская.
1946 г.



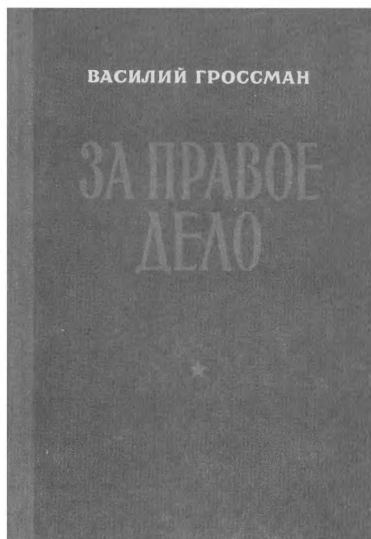
**Слева направо: С. Чиковани, Е. Долматовский, А. Яшин, С. Васильев,
В. Казин, П. Антокольский, В. Луговской, Ан. Тарасенков, А. Фадеев,
С. Михалков, А. Серафимович. 1946 г.**



**Т. Семушкин, Ан. Тарасенков, М. Бубеннов, В. Гроссман, С. Липкин.
Колонный зал Дома союзов 1949 г.**



Выступление А. Фадеева.
1950-е гг.



Обложка романа В. Гроссмана
«За правое дело». Воениздат. 1954 г.



Б. Пастернак.
Перedelкино. 1957 г.



Л. Агранович. Москва 1950-е гг.



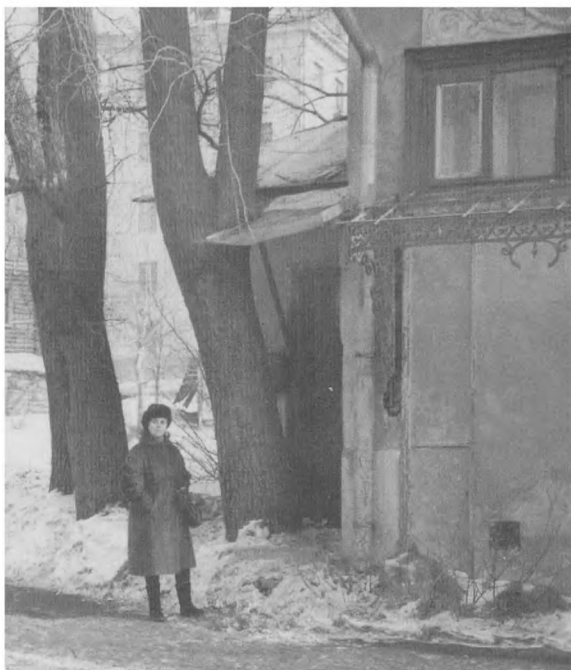
М. Алигер и Д. Данин. 1960-е гг.



Б. Рунин, В. Острогорская и А. Мельман.
Коктебель. 1956 г.



А. Эфрон.
Таруса. Начало 1960-х гг.



Дом к Конюшковском переулке.
Фото 1960-х гг.



Ан. Тарасенков и М. Белкина.
Москва. Лаврушинский пер. Декабрь 1955 г.

Но спустя год с небольшим, после убийства Михоэлса и ареста членов Еврейского антифашистского комитета, приход Альтмана в Госет окрашивался в зловещие тона: вот ведь как, не знает языка, а пошел служить, — значит, в этом была другая, тайная причина! Кто направил его к Михоэлсу? Кто приказал оформиться на службу в Госет?”

Когда Софронов кидался на Альтмана на собрании и задавал въедливые вопросы, Альтман был уверен, что сейчас встанет его старый друг Саша Фадеев и скажет, что это он настоял, чтобы тот пошел в Госет»⁷⁹.

Но Фадеев не встал и не сказал, почему Иоганн Альтман, не зная языка, оказался завлитом театра. Он самолично отправил бумагу в ЦК ВКП(б) с просьбой об исключении Альтмана из Союза писателей и из партии.

22 сентября 1949 года Фадеев сообщал:

Товарищу СТАЛИНУ И.В.
Товарищу МАЛЕНКОВУ Г.М.
Товарищу СУСЛОВУ М.А.
Товарищу ПОПОВУ Г.М.
Товарищу ШКИРЯТОВУ М.Ф.

В связи с разоблачением группок антипатриотической критики в Союзе Советских Писателей и Всероссийском Театральном обществе обращаю внимание ЦК ВКП(б) на двух представителей этой критики, нуждающихся в дополнительной политической проверке, поскольку многие данные позволяют предполагать, что это люди с двойным лицом.
<...>

Альтман И.Л. родился в гор. Оргееве (Бессарабия). Свой путь начал с левых эсеров в 1917–18 гг.

В ЦК (б) вступил с 1920 года. Принадлежал к антипартийной группе в литературе Литфронт. Свою литературную деятельность начал с большой работы о Лессинге, в которой проводил взгляд о приоритете Запада перед Россией во всех областях идеологии. Будучи перед войной редактором журнала «Театр», проводил *линию* на дискредитацию советской драматургии на современные темы, совместно с критиками Гурвичем, Юзовским и т.п., в частности, напечатал зашательскую статью Борщоговского против пьесы Корнейчука «В степях Украины». За извращение линии партии в вопросах театра и драматургии был снят с должности редактора журнала «Театр» постановлением ЦК ВКП(б).

В 1937 году в бытность И.Л. Альтмана заведующим отделом литературы и искусства в газете «Известия» <он> получил строгий выговор за сомнительную «опечатку» в газете «Известия» (в 1944 г. выговор был снят).

Секретариату Союза Советских Писателей не удалось выяснить характер конфликта, по которому в дни Великой Отечественной войны И. Альтман был отстранен от работы в политорганах и армейской печати и отпущен из армии до окончания войны.

В литературной критической и общественной деятельности послевоенных лет Альтман занимал двурушническую позицию, изображая себя в устных разговорах противником антипатриотической критики, нигде в печати на собраниях не выступая против них, извиваясь ужом между поддерживаемой им на деле антипатриотической линией и партийной постановке вопросов. Благодаря этой своей двурушнической линии Альтману удалось со-

здать в литературной среде представление о его якобы большей близости к партийной линии, чем у его друзей-космополитов, хотя на деле он проводил наиболее хитро замаскированную враждебную линию <...>⁸⁰.

Одно предательство неизбежно порождает другое, и так как Фадеев не был по своей сути человеком низким, такой поступок не обошелся для него даром.

Конечно же, в 30-е годы и сам Альтман изобличал отступников и клеймил врагов. Теперь пришло его время. Фадеев делал все, чтобы не появляться на тех чудовищных собраниях. Уезжал, пил, болел. За него с нескрываемым удовольствием выступал Софронов, которого Симонов потом в своей книге назовет «литературным палачом».

Софронов обвинил Альтмана в «семейственности» на фронте. Оказывается, в редакции армейской газеты *служила* — несла службу — жена Альтмана и, что того трагичнее, с редакцией в действующую армию попал добровольцем и сын Альтмана, юноша, которому едва исполнилось 16 лет. Пошел до срока и погиб смертью солдата — это ли не пример еврейской семейственности, растленных нравов лавочников?!

Цинизм переходил все пределы и касался даже памяти безвременно погибшего сына. Кроме того, для самого Альтмана партия значила так много, что исключение из нее было для него дополнительным ударом.

Борщаговский писал, что Софронов так яростно наступал на Альтмана еще и потому, что отец Софронова был кубанский казак, воевавший на стороне белых, а мать — немка, пережившая на Дону оккупацию.

Альтман находился на свободе до 5 марта 1953 года, он был арестован, единственный из театральных крити-

ков, в день смерти Сталина. Освободили его через несколько месяцев. Очень скоро он умер от разрыва аорты. Говорят, что перед смертью прохрипел: «Убили».

В дневниках Вишневого за 1947 год есть трогательная запись о разговоре с Альтманом, с которым он дружил (но это не мешает ему присоединиться к хору борцов с космополитами). Сначала Альтман рассказывал, что дома нет хлеба, невозможно прокормить семью. А потом вдруг идут такие слова:

Это все плата за бомбу. Еще в Библии сказано: отдай десятину... Хочется на природу... Я вспоминаю, Всеволод, свою жизнь. Вошла в комнату тетка и заплакала, сжав голову руками... Это была русско-японская война... Зеркала завесили черным крепом, на одежде сделали надрезы, а на голову посыпали немного пепла — остатки старинного ритуала... потом опять пели и плакали...

Вишневецкий подводит черту под тем разговором.

Я представил себе продолжение этой жизни — ее наивное «счастье» через 5 лет... Войну, которая грянет, неизбежную войну — Мы (с Альтманом) шагали по Крымскому мосту, надвигалась гроза. И вдруг подумалось о страшной грозе под Москвой 1935—36 года (он не помнит), кажется... Пол неба, черная туча, крылья гигантские и чудовищные молнии. Я был в поле, за городом. Ездили с Софьей Касьяновной к Довженко. Стояли у какой-то разбитой избы, молча смотрели, потрясенные этими жуткими играми природы⁸¹.

Почему-то даже из-под руки такого незамысловатого художника, как Вишневецкий, вдруг возникают картины

какой-то пророческой глубины?! Это происходит абсолютно независимо от его воли, как будто сквозь него Бог показывает страшные сполохи истории.

Февраль 1949-го. Собrania...

11 и 12 февраля газеты вышли с отчетами о собрании в Союзе советских писателей. Сначала цитировался доклад А. Софронова: «...группа оголтелых, злонамеренных космополитов, людей без рода и племени, торгашей и бесовестных дельцов...», «хулигански охаивали все новое, передовое, все лучшее, что появлялось в советской литературе» (Правда. 1949. 11 февр.), среди «врагов» появился бывший секретарь партийной организации СП Лев Субоцкий, который «охаля патриотическую “Повесть о настоящем человеке”» Б. Полевого, «антипатриот» А. Лейтес, «злопыхатель» А. Эрлих, Д. Данин, который «пытался «изничтожить» замечательную патриотичную поэму «Колхоз “Большевик”» Н. Грибачева, «безродный космополит» Б. Хольцман (Яковлев). Н. Грибачев призывал до конца разоблачить «космополитическое отребье», утверждая, что «Д. Данин унаследовал методы оголтелых космополитов, в свое время травивших Горького и Маяковского и возвеличивавших антинародную, безыдейную поэзию Б. Пастернака и А. Ахматовой».

Фадеев не присутствовал на партийных собраниях 9–10 февраля 1949 года, где шло обсуждение злополучной статьи. Писатели были возмущены, что Фадеев заварил кашу с космополитизмом, одобрил проработку – и уехал в Париж.

А 18 февраля открылось трехдневное московское собрание драматургов и театральных критиков. Соколова пишет: «Доклад Симонова. Обсуждение. Допрос Юзовского (не выступление, а допрос). В президиуме Софронов, Пер-

венцев, Сурков. Примкнувшие к ним Симонов, Михалков. <...> Главные фигуры для битвы, уже определились: Юзовский, Гурвич, Борщаговский»⁸².

Основной докладчик был А. Софронов. Его поддерживал А. Суров, в те годы лауреат Сталинских премий, обласканный в «верхах», вскоре изгнанный за дебоширство и пьянство из Союза писателей: «...это не просто космополиты, не просто антипатриоты, а это антисоветская, антипатриотическая деятельность, это контрреволюционная деятельность», — заявлял он, а к концу речи уже говорил о контрреволюционной подпольной организации, о диверсиях и диверсантах, которых надо «выкорчевывать».

Михалков бьет Юзовского за критику «Красного галстука». «Софронов (громогласно): Да кто вы такой, вообще, чтобы разбираться и оценивать? Вы не критик, вы (очень отчетливо) пиг-мей!» Юзовский был небольшого роста, огромная нависшая над ним фигура Софронова, этим криком запомнилась многим современникам»⁸³.

Леонид Данилович Агранович, бывший на этом же собрании, рассказывал, что, когда вошел в зал и увидел Юзовского, хотел с ним поздороваться, но тот бросился в сторону, как потом понял Агранович, считая себя «зачумленным», боялся кого-нибудь «заразить». В покаянной речи стал путано оговаривать себя, обвиняя себя в том, что, выступая с критическими разборами, посчитал себя сверхчеловеком. Вот на это и прозвучала реплика, но не Сафронова, а огромного двухметрового красавца Первенцева: «Какой он сверхчеловек? Это пиг-мей!!!»

Вишневский в дневнике пишет о Юзовском:

Желтый, худой, низкорослый, некрасивый. Читал он по тексту — неубедительные слова. Его начали

перебивать вопросами, он прижимал руки к груди, отвечая, вертелся, спорил. Тянулся к психологам, приводил цитаты. Драматурги кричали с мест: К. Финн, С. Михалков и др. Выступление было малоубедительное, малопривлекательное...

Юзовский ничего не сказал о группе, о ее духе, программе, делах... Лишь несколько слов о МХАТе, истории с «Зеленой улицей». Юзовский заверил директора МХАТа и резко критиковал, требуя задержки спектакля⁸⁴.

Симонов вызвал из Киева Борщаговского для работы в «Новом мире», можно сказать, что их отношения были по-настоящему дружеские. Симонов предупредил Борщаговского, что будет вынужден его заклеить. Борщаговский на собрание не пошел, хотя от него требовали, чтобы он присутствовал. Впоследствии он писал в своей книге, что Симонов, которого он все равно любил и продолжает любить, пытался цивилизовать разнузданную кампанию, где присутствовал не только идеологический, но и националистический погром. И все-таки в его докладе прозвучали слова, которые каждому из заклеенных могли стоить жизни. «Сколоченная организованная группа, объединенная преступной целью, и вредоносной деятельностью», — изобличал скрывающегося врага Симонов. И если в конце 30-х годов чудовищные эти слова, лившиеся с трибун, были искренни, что не оправдывает произносящих, то теперь и Симонов, и Фадеев абсолютно цинично говорили это, потому что *так было надо*. Симонов знал Борщаговского и до войны и во время войны и сам взял его на работу в журнал, а Фадеев знал близко и очень хорошо каждого из уничтожаемых.

Агранович, встречавшийся с Симоновым в Переделкине накануне выступления, спросил, как он может

участвовать в таком безобразном действе. На что тот ответил: «Лучше это сделаю я, нежели Софронов».

Наталья Соколова, очень внимательно отслеживала все, что говорили о Симонове, и здесь было много личного. Когда-то они учились в Литинституте, он был ее первым мужем. Она записывала разговоры в кулуарах.

«После доклада К. С<имонова>. Обмен репликами.

– Сотрудничает с палачами.

– Он иначе не может. Речь идет о его голове.

– Скорее о его месте в иерархии. О том, останется у него власть или нет. Один раз спустят по ступенькам – а потом сумеет ли подняться и стать прежним Симоновым?

– Писатель без власти – это его не устраивает.

– Блестящий доклад. Принес минимум вреда, не расширил – почти не расширил круг прорабатываемых.

– Как же, назвал три новых имени. Шкловский, Гельфанд, Мацкин. <...>»⁸⁵.

От Грибачева досталось Маргарите Алигер, которой приписали то, что она уходит со столбовых путей советской поэзии и «перепевает» Ахматову. На это тут же появился устный ответ:

ГРИБАЧЕВУ

Ох, не знает Коля меры,
Любит перехватывать.
Как унизил Алигер он –
Обозвал Ахматовой.

Наталья Соколова описывает свой разговор с Алигер после собрания.

«Возвращение с Маргаритой Алигер. Не жалуется, держится молодцом.

Смысл ее признаний таков: мое положение не такое уж плохое, поскольку 1) у меня действительно есть ошиб-

ки; 2) мне инкриминируется примерно то самое, что я сама себя могу инкриминировать; 3) но я сама себе могу предъявить больший счет, чем Грибачев.

У него критика бедная (взял цитату, нашел — декадентское уныние и похож на Ахматову), а я себя способна критиковать не по цитатам, не по строфам, в силах смотреть глубже, в корень»⁸⁶.

Алигер ругает себя за то, что описала Дом Друзей, дом Павла Антокольского. Конечно же, она боялась, что могла подставить под удар тех, кто был описан в поэме. Но почему-то о поэме тогда забыли. Позже М. Алигер напишет в воспоминаниях о том времени (правда, все куски о космополитах будут вычеркнуты редактором), что тогда ей-то казалось, что она совершала какие-то ошибки, а на самом деле людям, клеймившим ее, — нужно было, чтобы ее просто не существовало, не было на свете.

Закончил Софронов свое выступление такими словами: «Мы выкурим из всех щелей людей, мешающих развитию нашей литературы».

И выкуривание началось. А в ответ эпиграммы, анекдоты, шутки, единственное, что могло излечить от страха.

«Положение на литературном фронте. Сводка. Данин изранен. Рунин изрублен. Раскин затаскан»⁸⁷.

Софронов фактически взял в свои руки бразды правления ССП. В агентурном донесении «источника» о беседе с драматургом Н.Ф. Погодиным от 9 июля 1949 года:

«...Я скажу вам откровенно, — говорит Погодин, — что Софронов в ССП — полный хозяин. Даже во времена РАППа мы могли выступать с критическими замечаниями, а теперь за каждое критическое слово о пьесах Софронова и Кожевникова приходится расплачиваться...

Софронов и Кожевников сосредоточили в своих руках все руководство подбором репертуара для наших театров.

Начальник управления театров и Комитета по делам искусств В.Ф. Пименов почти через день бывает у Софронова на даче... Софронов находится вне критики... У всех создается впечатление, что Фадеев верит только Софронову. Симонов, после того как Софронов на собрании назвал его пособником космополитов, почти не вмешивается в эти дела. Фадеев же почти не бывает в Союзе... Ведь мы все знаем, что Фадеева надо беречь и ни в коем случае не приглашать его выпить... У нас, старых писателей, создается впечатление, что Софронов просто спаивает Фадеева...»⁸⁸.

В травле собратьев по перу приняли активное участие главный редактор «Литературной газеты» В. Ермилов, Л. Никулин. «Литературная газета» все два месяца проведения кампании создавала впечатление у читателя, что существует заговор космополитов. Создателями группы считались восемь человек критиков-антипатриотов и Альтман. В Ленинграде их будто бы поддерживали С.Д. Дрейден, Н.А. Коварский и Л.З. Трауберг.

За несколько месяцев в «Литературной газете» вышли статьи: 29 января — «Политическое лицо критика Юзовского», 5 февраля — в следующем номере — «Двурушник Борщаговский», 19 февраля — «Буржуазный националист Альтман», 26 февраля — «Враг советской культуры Гурвич», 5 марта — «Разоблаченный клеветник Малюгин», 12 марта — «Эстетствующий антипатриот Варшавский», 19 марта — «Политический хамелеон Холодов (Меерович).

Без кого на Руси жить хорошо...

Апогеем травли космополитов стало хождение в списках поэмы «Без кого на Руси жить хорошо», которая вышла из-под пера Сергея Васильева. Поэму он читал в Доме

литераторов. Данин вспоминал, что редактор «Крокодила» был человек умный и хитрый и послал этот «шедевр» в набор, чтобы продемонстрировать свою готовность публиковать, а затем отправил гранки в ЦК КПСС, испрашивая указания – печатать или нет? Не желая «наследить», оттуда ответили: на ваше усмотрение. И поэма света не увидела⁸⁹.

Григорий Свирский очень эмоционально описал создателя и его творение в своих мемуарах: «...появился мрачный, квадратнолицый, руки до колен, газетный поэт Сергей Васильев, только что из Союза писателей, где он утром читал свою новую поэму “Без кого на Руси жить хорошо”, за которую Пуришкевич его просто бы озолотил.

Какая, в самом деле, поэзия! И как тщательно выписан в этой откровенной поэме весь смысл, вся суть устроенной Сталиным резни.

Задержимся несколько на ней. Она заслуживает этого. Некрасовских крестьян, которые ищут на Руси правды, С. Васильев заменил... евреями-критиками. Тут есть своя черносотенная логика. Что крестьяне-правдоискатели, что евреи-критики – одним миром мазаны. Ищут поганцы! Роют.

Предоставим, однако, слово самому автору “поэтической энциклопедии 49-го года”, герои которого

Сошлись и заспорили:
Где лучше приспособиться,
Чтоб легче было пакостить,
Сподручней клеветать?..
Кому доверить первенство,
Чтоб мог он всем командовать,
Кому заглавным быть?
Один сказал – Юзовскому,
А может, Боршаговскому? – второй его подсек.

А может, Плотке-Данину? —
Сказали Хольцман с Блейманом...
Беркштейн за Финкельштейном,
Черняк за Гоффешефером,
Б. Кедров за Селектором,
М. Гельфанд за Б. Руниным
За Хольцманом Мунблит,
Такой бедлам устроили,
Так нагло распоясались,
Вольготно этак зажили... <...>
За гвалтом, за бесстыдную,
Позорной, вредоносною
Мышиною возней
Иуды-зубоскальники ... <...>

А вот и сам народ! Представлен в поэме. Весь. От мала до велика. Герои 49-го года, по которым критики-де, хотели нанести удары.

Один удар по Пырьеву,
Другой удар по Сурову...
Бомбежка по Софронову...
По Грибачеву очередь,
По Бубеннову залп!
По Казьмину, Захарову,
По Семушкину Тихону...

Казьмина и Захарова, руководителей Русского народного хора имени Пятницкого, привлекли, конечно, для пущей народности. Они к “дружинушке хороброй” не причастны. Затем лишь, чтоб бросали на нее отсвет народной культуры. Иначе-то как сойти за народ!.. Остальные — что ж? Остальные тут по праву. Спасибо Сергею Васильеву. Никто не забыт. Ничто не забыто. Осталось нам теперь вместе с газетным поэтом предаться восторгам по поводу того, что все литературные критики перебиты и можно рифмовать уж и так... Безбоязненно.

На столбовой дороженьке
Советской нашей критики
Вдруг сделалось светло.
Вдруг легче задышалось,
Вдруг радостней запелось,
Вдруг пуще захотелось
Работать во весь дух,
Работать по-хорошему,
По-русски, по-стахановски...
По-ленински, по-сталински
Без устали, с огнем...

Работал Сергей Васильев по-сталински. Это уж точно. Потому и старался. Без устали. С огнем»⁹⁰.

«Космополитствующий критик» Данин, названный Софроновым законченным эстетом и формалистом, вспоминал о своем брате по Литинституту Сергее Васильеве: «...он при всякой встрече, в клубном ли ресторане или клубном сортире, однообразно уговаривал меня статью о нем написать. Долговязый, преступнолицый – со вмятиной на переносице и алчно-красивыми глазами – он умел угрожающе нависать над собеседником. И пошучивая, вовсе не шутил:

– О ком ты только не писал, старик... А обо мне, мать твою так, еще ни слова! Подумай о душе, старик!

И мне оставалось отшучиваться в ответ: “Создай что-нибудь эдакое – тогда...”»⁹¹.

Мария Белкина вспоминала, что, когда Тарасенков умер, Васильев позвонил и сказал ей, что хочет прийти попрощаться с товарищем юности, но в такое время, когда никого не будет. Ему было стыдно смотреть в глаза своим однокашникам.

Ольга Фрейденберг с ужасом и сожалением писала про эти годы:

«По всем городам длиннотелой России прошли моровой язвой моральные и умственные погромы.

Люди духовных профессий потеряли веру в логику и надежду. Вся последняя кампания имела целью вызвать сотрясение мозга, рвоту и головокружение. Подвергают моральному линчеванию деятелей культуры, у которых еврейские фамилии.

Нужно было видеть обстановку погромов, прошедших на нашем факультете: группы студентов спуют, роются в трудах профессоров-евреев, подслушивают частные разговоры, шепчутся по углам. Их деловая спешка проходит на наших глазах.

Евреям уже не дают образования, их не принимают ни в университеты, ни в аспирантуру.

Университет разгромлен. Все главные профессора уволены. Убийство остатков интеллигенции идет беспрерывно. Учащаяся молодежь, учителя, врачи, профессора завалены непосильной бессмысленной работой. Всех заставляют учиться, сдавать политические экзамены, всех стариков, всех старух.

Ученых бьют всякими средствами. Снятие с работы, отставки карательно бросают ученых в небытие. Профессора, прошедшие в прошлом году через всенародные погромы, умирают один за другим. Их постигают кровоизлиянья и инфаркты. Эйхенбаум — полный инвалид. Пропп на днях упал на лекции. Его отвезли с факультета в больницу. Через несколько дней умер на занятиях Бубрих, затравленный “Литературной газетой”. Бубрих был мужественный человек, честный, скромный. Самое циничное — это тысячные венки и пышные похороны: советская власть умеет почитать своих ученых.

На кафедре полный развал. Меня просто травят, не давая в то же время уйти. Происходит черт знает что, но вполне безнаказанно»⁹².

Литературные злодеи
Суров. Софронов. Грибачев. Бубеннов и др.

Для любого дела, да еще государственной важности, нужны были исполнители. Они всегда обнаруживаются, пока есть ревность, злоба, зависть, страх. В 30-е годы зловещую работу по изничтожению собратьев по перу — делали рапповцы, впоследствии почти полностью уничтоженные, сосланные или же изгнанные из партии. Фадеев, принадлежавший к их группе, не мог не помнить об их бесславном конце, не мог не видеть, что все возвращается на те же круги. Но логика власти неумолима. И разве Молотов не помнил, что было с Каменевым, Зиновьевым и Бухариным, тем более теперь, когда по делу Антифашистского комитета была арестована его жена Полина Жемчужина. Прекрасно понимал, что может с ним произойти, но свернуть с пути уже не мог. Фадеев двигался туда же, и ему нужны были исполнители. В их число временно попал и Тарасенков, увлеченный железной поступью партийной воли, но быстро сошел с дистанции и по состоянию здоровья, и еще потому, что его друзьями были Данин, Алигер, Антокольский, Казакевич, да и мнение собственной жены было, как оказалось, не так просто не замечать. А статья товарищем Софронова, Сурова, Грибачева? Это было невозможно даже не по идейным, невыносимо — по эстетическим соображениям. Но некоторое время он пытался... об этом речь впереди.

Казакевич писал о Софронове и его компании в своих дневниках:

Их объединяет не организация, и не общая идеология, и не общая любовь, и не зависть, а нечто более сильное и глубокое — бездарность. К чему удивляться их круговой поруке, их спаянности, их

организованности, их настойчивости? Бездарность – великая цепь, великий тайный орден, франкмасонский знак, который они узнают друг на друге ментально и который их сближает как старообрядческое двуперстие – раскольников⁹³.

Не случайно они сошлись с одиозным драматургом Анатолием Суровым. Как уже говорилось, Суров был лауреатом Сталинских премий, а его пьесы «Далеко от Сталинграда», «Обида», «Бесноватый галантерейщик», «Зеленая улица», «Рассвет над Москвой» широко шли по стране.

Ирония истории состояла в том, что подлинными авторами этих поделок были те самые «космополиты», которых он нещадно бранил. «Он организовывал одно драматургическое “чудо” за другим, – писал Борщаговский, – наиболее полно освятивший этот поразительный феномен. Он был ценим, вошел в литературную элиту. К 1949 году он числился автором трех пьес; одна из них как будто снискала одобрение Сталина. Первый же свой шаг на сцену, задолго до января 1949 года, он сделал бесчестно.

А был комсомольским работником из глубинки, журналистом-организатором, грубоватым и прямым, не без выдумки, с превосходным знанием повадок и слабостей партийной и комсомольской бюрократии, функционером, отлично вписавшимся в мир полуправды, иерархически регламентированных ценностей. Плотная, крепкая, плечистая фигура; массивная, совсем не щегольская палка, на которую он опирался при нездоровых ногах; широкая физиономия под русой, небрежной шапкой волос – все это по первому впечатлению располагало к нему. Вот уж кто человек из народа, воистину свой парень...»⁹⁴.

Механизмы превращения «редакторов» в авторов пьес Сурова, подробно описан А. Борщаговским в книге «Записки баловня судьбы», и не хотелось бы повторяться,

можно лишь добавить, что хотя комиссия Союза писателей в середине 50-х годов и доказала несостоятельность Сурова как драматурга, за него вступились товарищи по «тайному ордену» – Аркадий Первенцев и Анатолий Софронов.

Его приятель-антисемит М. Бубеннов, автор «Белой березы», в 1951 году, когда спадет волна антикосмополитической брани, вдруг вернет всех к этой теме статьей в «Комсомольской правде» – «Нужны ли сейчас литературные псевдонимы». С Анатолием Суrowым они часто выпивали, гудели в клубе писателей, но однажды они подрались в писательском доме на Лаврушинском, 17. Может, эта история и забылась, и стерлась как старый анекдот, но остался знаменитый сонет Э. Казакевича. Он цитировался и комментировался многими литераторами, в том числе и Б. Сарновым, но я приведу версию, а главное рассказ о том событии, сохранившийся в архиве М.И. Белкиной.

СОНЕТ

Суrowый Суrow не любил евреев,
Он к ним враждою вечно пылал,
За что его не жаловал Фадеев
И А. Сурков его не одобрял.

Когда же Суrow, мрак души развеяв,
На них бросаться чуть поменьше стал,
М. Бубеннов, насилие содеяв,
Его старинной мебелью долбал.

Певец Березы в жопу драматурга
С великим гневом, словно в Эренбурга,
Столовое вонзает серебро.

Но, следуя теориям привычным,
Лишь как конфликт хорошего с отличным,
Расценивает это партбюро.

Внизу приписка. Автор «Сонета» Э. Казакевич. Записал А. Тарасенков».

Далее идет комментарий Марии Иосифовны.

«В основу “Сонета” лег подлинный эпизод, который произошел в нашем доме на Лаврушинском переулке, доме 17. Все мы жили в новом корпусе, и Бубеннов, и Казакевич (в одном подъезде), и мы в соседнем. К Бубеннову пришел в гости Суров. Оба напились и, что-то не поделив, полезли в драку. За неимением шпаг и кинжалов в ход были пущены вилки. Был такой шум и драка (окна были раскрыты, дело было летом, около Третьяковки всегда людно и всегда дежурят милиционеры), что вмешалась милиция, но дело замяли. Конечно, в Союзе об этом узнали, да и все в доме. Я через месяц меняла паспорт и начальник нашего отделения, узнав, что я из дома писателей, заперся со мной в кабинете и стал расспрашивать, как живут писателя? Как пускают в ход “столовое серебро”? Сонет Эмика был известен»⁹⁵.

Добавим, что Б. Сарнов, комментируя этот сонет в своих воспоминаниях, писал, будто бы в создании сонета принял участие и Твардовский, и ему принадлежит замечательная строка «столовое вонзает серебро».

Сурков, которого не любили за его пламенные речи, ниспровергающие Пастернака и других достойных писателей, люто ненавидел антисемитизм, а также Софронова, Бубеннова, Первенцева, Грибачева. Когда «власть переменится», то именно он станет наступать на Фадеева, не только как на сталинского любимца, но и как предводителя своих закадычных врагов.

Наталья Соколова вспоминала:

«Сурков любил говорить с сарказмом:

– Ну, кто у нас в секретариате Союза?

Симонов, дворянин, по матери княжеского рода, сын царского полковника, белоэмигранта. Софронов, сын расстрелянного казачьего офицера. Первенцев, сын попа. Такие настали времена. Что и говорить, я, сын рабочего и столяр по специальности, чувствую рядом с ними себя черной костью»⁹⁶.

Софронов как-то пожаловался на фронте своему приятелю-однополчанину, что там, где все выкладываются на 100 процентов, ему надо на все 200, так как погибший в Гражданскую отец был противником Советской власти, а мать — немка, прожила на Дону оккупацию. Вот он и старался.

Тарасенков: ложью доказывать истину

Ты должен понимать, что гораздо лучше, когда мы сами будем бить друг друга, чем если нас начнут бить оттуда сверху!

А. Фадеев — А. Тарасенкову

Мы оставили Тарасенкова в январе 1949 года в Малеевке, рядом с ожидающим гибели Самуилом Галкиным. Тогда же Тарасенков прогуливался по дорожкам с Вячеславом Ивановым; они беседовали о литературе и были полны симпатии друг к другу.

Накануне у Тарасенкова обнаружили двусторонний туберкулез; об этом пишет в своем дневнике от 2 января Вишневский:

А у моего Тарасенкова вдруг открылся двусторонний туберкулез (!) ленинградские последствия или? Поможем ему всячески в тубинстуте или санаторий⁹⁷.

После ухода Тарасенкова из «Знамени» и отказа писать о Пастернаке Вишневский уже почти два года не общается с прежним другом. И вдруг «мой Тарасенков».

Но спасет его не Вишневский, а Фадеев, он привезет ему в мае из Америки спасительный стрептомицин.

А пока Тарасенков, будучи тяжело больным, ходит на собрания, где жестоко прорабатывают его друзья. «В СП было страшноватое собрание, на котором Толя сделал страшноватый доклад, — пишет Наталья Соколова. — Словом, все как положено. Чем ближе к нему человек, тем яростнее Толя его изничтожает. Особенно, говорит, насчет грязного эстета Данина. Даня работал в отделе поэзии и опубликовал порочную поэму Багрицкого “Февраль” <...>.

Жаль М. Белкину, ей теперь стыдно показаться на людях. На Тарасенкова она не имеет ни малейшего влияния <...>. Т<оля> умудрился вымазаться в грязи даже, тогда, когда нож не приставлен к горлу»⁹⁸.

Это все зеркальные ситуации: Фадеев и Иоганн Альтман, Симонов и Борщаговский, а вот еще Тарасенков и Данин.

Даниил Данин был редактором-составителем тома Багрицкого. Спустя годы он с горечью вспоминал о тех временах.

«Мои заботы редактора-составителя были неизмеримо проще Толиных, — писал Данин. — Мертвый Эдуард Багрицкий пребывал в совершенно благополучных классиках нашей поэзии, да еще романтиках. (А чиновное начальство почему-то обожает романтиков. Уж не молодеет ли оно от “красивого и звучного” утомленной душой.) Живой Борис Пастернак пребывал в совершенно неблагополучных антиклассиках нашей поэзии, да еще формалистах. (А чиновное начальство почему-то не выносит формалистов. Уж не чуёт ли, что формализмом обзывают

“не сразу удобопонятное”, что для начальства оскорбительно?) Словом, с моим Багрицким все шло на зеленый свет, а с Толиным Пастернаком — то на желтый, то на красный...

Все же подписаны к печати были оба “Избранных”. Пастернак даже раньше Багрицкого. Но том Багрицкого вышел в свет, а пастернаковский — не вышел. <...> А еще годом позже — в 1949-м — все кончилось гадко и с томом Багрицкого, хотя он и успел украсить довольно жалкую “Золотую серию”. К тому времени наша культура победителей фашизма дозрела под руководством Отца народов до открытого юдофобства. И обнаружилось, что поэма Багрицкого “Февраль” — сочинение сиониста! Еще бы — там были строки:

Как я, рожденный от иудея,
Обрезанный на седьмые сутки,
Стал птицеловом, — я сам не знаю!

“А-а, птицеловом ты стал, космополит-иуда! Ловцом наших отечественных беззащитных пташек?!” — такие тексты, на этой странице утешительно ослабленные, услышали в ту пору начальнические кабинеты, редакционные коридоры, писательский ресторан. И хотя Анатолий Тарасенков страдальчески, всем сердцем и разумом, ненавидел антисемитизм, равно как и любой национализм, именно из-за истории с Багрицким произошла между нами ссора, выглядевшая навсегда непоправимой»⁹⁹.

М.И. Белкина вспоминала о том прискорбном событии:

«...Я поссорилась с Тарасенковым из-за Данина. В какой-то статье я наткнулась на фразу, что не случайно, мол, товарищ Данин, составляя и редактируя книгу Багрицкого, включил в нее поэму Февраль. “Но ты же знал, что он включил, он с тобою советовался!” — “И Фадеев знал!” —

“Но как же ты можешь? Это же твой друг?” — “Вот именно потому, что он мой друг, и все это знают, я должен его критиковать! Критикуют меня, я критикую его!.. И потом он попал в эпицентр — ему будет худо, его не будут печатать, и ему будет не черта жрать, а если я сейчас выступлю с критикой его, я потом смогу давать ему работу, а защитить его я все равно не в силах! Ты ничего не понимаешь, не суйся. Мне тошно и без тебя!..”

А он любил Данина, ценил его талант...

Нет, право же, порой мне кажется, что для того, чтобы объяснить нас тех времен нам же самим... нужен Достоевский!

Я спросила недавно Данина, давал ли Тарасенков ему работу? Давал»¹⁰⁰.

Они были знакомы с 1930 года, тогда Данину было шестнадцать, а Тарасенкову двадцать один и он уговорил юношу (тогда тот был не Данин, а Плотке) написать первую рецензию. Это была рецензия на стихи Жарова. Данин потом ушел в науку, учился на физическом факультете в МГУ. В 1937 году посадили его старшего брата, а чуть позже отца. Ему надо было кормить мать, и тогда он пришел к Тарасенкову в «Знамя» и все рассказал ему, а Тарасенков, пройдя все проработки 1937 года, стал давать ему работу литконсультанта.

А летом 1938-го, как вспоминала Мария Иосифовна, вызвал и сказал: «Вот что, сейчас в “Правде” печатаются главы Краткого курса истории партии. Напиши. Убьешь сразу двух зайцев, твое имя появится в печати, да еще статьи на такую тему! А главное, ты получишь сразу тысячу рублей! “Но я не писал публицистических статей!” — “Напишешь, я в тебе верю”. И Данин написал. Статья появилась в одиннадцатом номере журнала “Знамя”. Но он не хотел подписываться своей фамилией Плотке: во-первых, это была не литература, во-вторых, ему не хотелось, чтобы

на факультете знали, что он пишет, а в-третьих, он не любил товарища Сталина, и многое ему тогда уже было не по душе в этом “Кратком курсе”. Он занимался философией и понимал, сколь вульгарно все написано в “знаменитой” четвертой главе... “Придумай псевдоним” – сказал Тарасенков. – “Ну, пусть будет Танин”. Он в это время был влюблен в Таню Л. “Не пойдет, Таниных до черта. Ты будешь Данин. Д. Данин!»

Дошло бы тогда до Вишневого, который так блюл ч и с т о т у рядов “знаменцев”, что столь ответственная статья, на столь ответственную тему поручена Тарасенковым сыну репрессированного!.. А вот в 1949-м... “не случайно, мол, товарищ Данин...”».

У меня, говорила Мария Иосифовна, было тогда такое чувство, что навечно рухнули все дружбы, порвалась связь времен...

Почему же Тарасенков ходил на те собрания, когда у него в руках были все козыри – он же был тяжело болен?

А 16 марта 1949 года он идет уже на партийное собрание, где исключают Льва Субоцкого, бывшего главой партийной организации Союза писателей. Теперь-то ее возглавлял Анатолий Софронов. Субоцкому удалось выйти на свободу после ареста в 1937 году, в 1939-м его дело за недоказанностью вины было прекращено. О нем вспоминали, что он ходил всегда в военном френче, был прямолинеен, но честен. Очень любил Фадеева. Говорили, что он пытался покончить собой, стрелял в висок, но чудом остался жив¹⁰¹. 16 февраля 1949 года в «Литературной газете» о Субоцком была напечатана разоблачительная статья Зиновия Паперного, где Субоцкого снова и снова обвиняли в страшных «космополитических» злодеяниях. Однако в результате Паперный пострадал сам. Его уличили в том, что под видом разоблачения космополитов Па-

перный пытался скрыться от праведного суда. Автор статьи впал в тяжкую депрессию и все мрачные времена пересидел в психиатрической больнице.

Мария Иосифовна вспоминала, что столкнулась с Субоцким несколько лет спустя, после того злополучного собрания, и ей даже показалось, что тот посмотрел на нее с неким злорадством. Тарасенков уже был снят из «Нового мира», и с сердцем у него было все хуже. Встреча произошла за несколько месяцев до кончины Тарасенкова, все уже знали, что он приговорен. Она, правда, думала, что ей могло просто показаться, ведь ее мучило чувство вины перед каждым, кого задела те выступления.

Тогда она решила спросить уже больного Тарасенкова про снятие Субоцкого. Это был последний и очень трудный разговор. Последний, потому что Тарасенков был уже настолько болен, что любые выяснения отношений подводили его все ближе к развязке. Мария Иосифовна это хорошо понимала и старалась себя держать в руках. Она только мимоходом спросила, зачем ему надо было идти на собрание, снимать Субоцкого, если он мог всегда сослаться на болезнь. Он устало ответил: «Это было поручение парткома, я не мог отказаться... И потом ведь, между прочим, все было дело случая и я так легко мог оказаться на его месте, а он был на моем, и он поступил бы точно так же!..»¹⁰².

Судя по дневникам Вишневого, били на том партийном собрании жестоко, и не только Субоцкого. Сначала было дело А. Крона (кстати, близкого друга Вишневого), после самокритики его оставили в рядах партии, только вкатили выговор. Затем исключили из партии Бровмана, который работал в Литинституте и был очень любим студентами. «Л. Субоцкий — читал, написанную речь, — пишет Вишневский. — Все отрицает упрямо, вопреки фактам... упрямится, хотя был

центром критической “группы” Левин, Данин, Резник, Трегуб и т.д.»¹⁰³.

Тарасенкова вполне могут сделать членом какой-нибудь «группы»; ведь бьют его ближайших друзей.

А на расширенном заседании секции поэтов 20 марта (статья в «Литературке» с отчетом 23 марта), уже после всевозможных совещаний и собраний по разоблачению космополитов, Тарасенкову было дано слово для того, чтобы он признал свои ошибки. И вот как заговоренный, спустя 12 лет он признал, что поддерживал Пастернака, примиренчески относился к декадентским произведениям Антокольского, к ущербным стихам Алигер.

Софронов, как сказано в газете, с удовлетворением принял его покаяние, хотя и отметил, что нельзя считать оконченной борьбу с космополитами, а также и с Тарасенковым, который нанес немало вреда развитию нашей поэзии, подытоживал Софронов.

Тарасенков ходил совершенно больной с собрания на собрание, чтобы исполнить поручение парткома, отмыться от обвинений в групповщине, остановиться он никак не мог. В итоге все закончилось больницей.

Белкина вспоминала: «У Тарасенкова нашли открытый процесс в легких. И единственное, что его могло спасти, это стрептомицин, который у нас еще не делали, его выписывали из Америки и только для Санупра Кремля. Ни я, ни Тарасенков к Фадееву не обращались. И было неожиданно, когда он позвонил и сказал: “Я только что прилетел из Америки и привез для Толи стрептомицин. Вы не могли бы в течение часа зайти ко мне. Я буду у себя на Горького, а потом уеду в Переделкино. Хочу урвать еще несколько дней. Никому не говорите, что я в Москве”»¹⁰⁴.

Потом ей сказали, что он привез это лекарство кому-то другому, кто его просил, а тому это оказалось уже не нужным, и он отдал Тарасенкову. Уколы помогли.

Оттого что Тарасенков начал много болеть после войны, Мария Иосифовна не могла точно вспомнить, в каком именно году начался туберкулез и когда Фадеев привез лекарство из Америки.

Теперь дневники Вишневого дают абсолютно достоверную картину того времени: речь идет или о последних числах 1948-го или же о начале 1949 года. Кроме того, 25 марта 1949 года Вишневский пишет: «Наши прилетели в США. Первое интервью Фадеева...»¹⁰⁵. Именно спустя месяц, когда Фадеев вернулся в Москву, 6 мая и появится редкое американское лекарство.

Фадеев буквально спасет Тарасенкова от смертельной болезни. Точно так же, как когда-то на войне его вырвал из пылающего Таллинна Вишневский.

Второе отречение от Пастернака

Тарасенков подошел к своей главной точке на распутье: можно было не падать, а тихо и незаметно пройти мимо; пересидеть где-нибудь, чтобы не делать самого плохого; не писать о Пастернаке дурных статей, за которые потом будет нестерпимо стыдно. Мелкие уколы, которые он допускал до этого, нужны были для дела, пришлось спасти один сборник, другой. Ведь ушел же он в 1947 году из «Знамени» из-за Пастернака, сносил критику в газетах, на собраниях. Теперь уже не оставалось ничего. Все пастернаковское, что он делал, зарезали. И зачем теперь, когда все кончено, возвращаться к старому? Покаялся на собрании, все сказал, и хватит. Но 1949 год был уже по-настоящему ужасен. Снова аресты, и страх, пережитый в 30-х, вернулся, как генетическая память. И страшно было и за библиотеку, и за семью — за все.

Но почему вдруг возник такой страх? Какова его природа? Ведь прошло всего 3—4 года после войны, на кото-

рой бывшие фронтовики вели себя совсем иначе. Сколько раз они могли погибнуть. Тот же Тарасенков неоднократно оказывался между жизнью и смертью: тонул в холодной Балтике под ураганным огнем немецких самолетов, погибал от дистрофии в блокадном Ленинграде, работал во фронтовой газете на Ладого, — но никогда не попытался спрятаться, выбрать для себя что-то более легкое. Почему в мирной жизни они так изменились? Почему там выносили всё, а здесь были готовы отречься от друзей, от самого дорогого? Природа советского страха особенная. На войне, на людях — «смерть красна», она достойна и почетна. В миру же оказаться вне общества, быть исторгнутым, объявленным врагом, предателем — нестерпимее смерти. Это чувство, до глубины советское, уничтожившее личную мораль, личную ответственность.

Данин в своей книге «Бремя стыда» упрямо повторял, что был свидетелем тарасенковских взлетов и падений, знал их наперечет: «...статьи, предисловия, заметки, выступления с защитой Пастернака. И все его выпады против Пастернака, начиная с очень ранней “Охранной грамоты идеализма” (наивно-философской статьи — ему было двадцать два) и, кончая чуть ли не последними его “Заметками критика” (постыдно-политиканскими — ему было сорок). И все его муки хитроумной демагогии во спасение (во спасение!) Пастернака от патологической ненависти Алексея Суркова и расчетливого бешенства Всеволода Вишневского»¹⁰⁶. И все-таки есть неумолимая логика жизни; было уже столько сказано мелкого про декадентство, про формализм и что-то еще нелепое, что сказать самые последние слова уже почти ничего не стоит.

Открывая неделю за неделей «Правду», «Культуру и жизнь», «Литературную газету» только в феврале 1949 года, нельзя было не содрогнуться: «До конца разоблачить критиков-космополитов», «Серьезные ошибки издательства

“Советский писатель”» (здесь было все и про «формалистическую» книгу Тынянова, и критика книги Ильфа и Петрова, и многое другое), «Эстетствующий клеветники», статья А. Сухова, «Любовь к родине, ненависть к космополитам», «Против антипатриотической критики» и т.д.

Конечно же, когда отчитывали Тарасенкова, или в статье А. Макарова «Тихой сапой» («Литературная газета» от 19 февраля 1949 года), направленной против Федора Левина как редактора «Советского писателя», превозносившего стихи формалиста Пастернака, мишенью был сам поэт. И молодой Михаил Луконин в мартовском номере «Звезды» писал, что Пастернака выбрали наши враги, чтобы противопоставлять истинным советским поэтам.

Все эти нападки, наскоки и, наконец, арест возлюбленной Пастернака Ольги Ивинской в конце 1949 года были теми петлями, которые накручивали писательские и эмгэбэшные власти вокруг поэта. Однако, по всей видимости, они не могли действовать без высшего соизволения, отмашки на арест Пастернака Сталин им никак не давал.

Именно под впечатлением сгущающейся вокруг себя тьмы Пастернак отправляет летом письмо Фадееву, где как бы подводит итог развязанной против себя кампании и попыткам издания, а затем и уничтожения своих сборников.

20 июля 1949, Переделкино

Дорогой Саша!

«Искусство» выпустило мои шекспировские переводы в очень хорошем издании (но очень небольшим тиражом). Ты способствовал их выпуску. Спасибо тебе. Подобные факты вводят в заблуждение доброжелателей. Многие думают, что я разбогател. Но это издание, так же как и появившийся зимой в

Гослитиздате «Кор<оль> Генрих IV», затянулось на четыре года. Деньги по этим работам давным-давно проедены. Мало того. Часть изданий, предположенных и оплаченных в свое время в качестве первых, вследствие запоздания стали вторыми и мне по ним приходится возвращать долги и платить неустойки. Так, «Новому миру» я должен 7000, «Советскому писателю» — 3500, 3000 — в Детгиз. Больше 5000 из этих денег я уже вернул. <...>

Нерадостно, конечно, что на жизнь мне приходится выколачивать всё новыми текущими работами. Теперь мне важно именно их получить и во всей спешности. Вот и всё.

Ты знаешь, я было написал тебе много чего другого, потому что ничего нет легче для меня, чем говорить с тобою (почти только с тобою) искренне, с любовью и уважением, но с годами занятие такое всё нелепее и бесцельнее.

Вместо этого, скажу тебе только вот что. За пределами России людей, выучившихся по-русски, стало за последнее время во сто раз больше, чем было в начале века, и в международном значении русский язык, оттеснив немецкий и французский, разделил первое место с английским. Это сделала, конечно, наша революция самым общим своим смыслом, самым первоначальным; это сделала недавняя победа русского оружия; но это сделала русская литература и необязательно улица Горького и площадь Маяковского, а в первую голову дурачок Достоевский. И в какой-то доле, где-то между Блоком и Есениным, и тобою, и еще кем-нибудь, этому способствовал, как это мне самому ни кажется непредставимым, потрясающим и незаслуженно-невероятным, — и я.

Вот источник патриотических моих ощущений, более простых и прирожденных, чем патриотическое половодье чувств на улице Воровского в дни проработок. А страх быть слопанным никогда не заменял мне логики и не управлял моими мозгами. Народу слопано так неисчислимо много, что готовность быть слопанным, как допущение, никогда меня не оставляет.

Глупо, между прочим, что молодому лауреату Лухтохину поручают измерять мое «величие» своими собственными размерами. Это нечестно потому, что из нас двоих признанно велик только он, лауреат, а я, как известно, никогда не притязал на такие объемы. Какое неуместное ехидство! Или я еще недостаточно глух и, по собственному желанию, неведом и незаметен?

А потом, не мог ли бы резать в «Советском писателе» у меня книжку за книжкой кто-нибудь другой, а не Тарасенков, главный интерес которого в том и состоит, что он тайно коллекционирует то, что явно отрицает?

А ведь это всё капля в море.

Твой Б. Пастернак

P.S. Я знаю, что со времени ахматовской проработки наши отношения (я говорю о действительно бывших, во всяком случае, о моих собственных чувствах, ни на что большее я не навязываюсь) по сознательной моей вине испортились. Ты должен простить меня, я не мог себя вести иначе, — мне всё это было глубоко противно. За всё это я и заплатил свалившимися на меня неприятностями и резким ухудшением своего положения. Пусть всё это так и останется. Но теперь мне было бы дорого, чтобы

лично у тебя в сердце не было высокомерного презрительного зла против меня. И чтобы меня простила Ангелина Осиповна, потому что неприязнь эта явилась и в ней.

А между тем я мог бы продолжать любоваться издали Вами обоими, как людьми и артистами, как это бывало прежде, без каких-либо лишних хлопот и осложнений для себя и Вас»¹⁰⁷.

Михаил Лутохин, о котором говорит Пастернак, не кто иной, как поэт Луконин, «отметившийся» в журнале «Звезда» по поводу Пастернака.

Горькие слова Пастернака о Тарасенкове, «главный интерес которого в том и состоит, что он тайно коллекционирует то, что явно отрицает», — явная реакция на покаянные речи Тарасенкова о том, что он «протаскивал» Пастернака. Однако обращение к Фадееву с просьбой, что «не могли бы резать в “Советском писателе” ...книжку за книжкой кто-нибудь другой», а не Тарасенков, выглядят двусмысленно, если помнить о письмах Фадеева в ЦК, о сборнике Пастернака, об окриках, выступлениях, которые он делал все эти годы. Трудно представить, что Пастернак не понимал, кто на самом деле управляет Тарасенковым, кто отдает указания «резать» книги. В этом письме Пастернак явно досадует на Фадеева, а Тарасенков оказывается неким собирательным образом вечно раздвоенной души (тайная любовь — явленное поношение), Пастернак через него говорил Фадееву, что устал от общего двуличия, которым постоянно окружен. Ведь и Фадеев всегда демонстрировал личную приязнь к Пастернаку, к его стихам, чему существует масса свидетельств, однако по тайному советскому уговору — на людях клеймил и обличал. Однако через два дня поэт уже пишет редактору Гослитиздата Рябининой, которая уговаривает его переводить стихи Тычины:

Александра Петровна!

Вот почему злит и досадно делать такую бездельницу для Т<ычины>: Однажды из Тычины / Я перевел терцины, и очень милые о Коцюбинском, а потом Иуда Тарасенков режет мне целую книгу переводов, подобных названному, в том числе и Тычину¹⁰⁸.

Можно понять негодование Пастернака, но здесь в его представлениях о могуществе Тарасенкова наблюдался явный пережест. Затеять сборник Тарасенков еще мог, но закрыть, «зарезать» — для этого существовали совсем другие люди. Пастернаку претила лживость Тарасенкова. Но она его окружала повсеместно.

Поминаемый Пастернаком Лутохин (Луконин) в своем выступлении на поэтической секции Союза писателей, говоря о проблемах советской поэзии по итогам 1948 года, один из ударов наносит по Тарасенкову: «Конечно, критическая деятельность Анатолия Тарасенкова за последний период ограждает его от лагеря эстетов и космополитов, и ничего общего с ним не имеет. Но Тарасенков сегодня должен понять, а мы сегодня должны это сказать ему со всей прямоотой, что многое на его кривом и шатком пути переплеталось с самым явным эстетством, многое в его критическом творчестве и многое в практической редакторской деятельности играло на руку врагам боевой советской поэзии. <...> Тарасенкову надо еще и еще подумать о своей деятельности. Не может существовать в нашей среде критик с двойным мнением, с двойным счетом. Надо, чтобы Тарасенков высказался о своих ошибках, высказался бы о деятельности критиков-космополитов и эстетов, помог бы нам яснее разглядеть врагов нашей поэзии и сам проявил непримиримое свое отношение к ним»¹⁰⁹.

Фадеев попросил Тарасенкова не останавливаться на достигнутом мартовском покаянии 1949 года, закрепить его статьей в журнале. Да и Софронов высказывал эту мысль на собрании. Партия попросила, и Тарасенков пошел выполнять указания. Стрептомицин Тарасенкову помог. И смерть его произойдет не от туберкулеза, а от истерзанного, разорванного надвое, сердца.

В 1950 году, в феврале, лежа в санатории, Тарасенков получит письмо от «опекающего» его Софронова, речь будет идти об уходе из издательства «Советский писатель»: «Твое желание уйти, пересмотрев старые свои заблуждения, войти на правильную дорогу мне лично очень понятно, может быть особенно сейчас. Важно ведь не только декларировать, а делать»¹¹⁰. Тарасенков делал, отдав себя полностью в руки старших товарищей, товарищей по партии.

Советская власть выработала ритуалы, не снившиеся даже самым отсталым народам: от покаянных самоистязаний на партийных собраниях до уничтожения самых близких людей. Здесь было важно именно, чтобы не только чужой бил чужого, а близкий близкого: сын – отца, отец – сына, брат – сестру, товарищ – товарища. Особенно ценилось принесение в жертву друзей, учителей, наставников. Не могло быть ничего выше сталинского божества, которое освобождало всех от всякой морали.

Итак, Тарасенков писал в статье «Заметки критика», вышедшей в номере 10 журнала «Знамя» за 1949 год:

Долгое время среди части наших поэтов и критиков пользовался «славой» такой законченный представитель декадентства, как Борис Пастернак. Автор этих строк тоже несет долю вины за либеральное отношение к творчеству Пастернака, в частности, за неверную оценку книги «Земной простор»,

данной на страницах журнала «Знамя» в 1945 году. Философия искусства Пастернака – это философия убежденного врага осмысленной, идейно направленной поэзии.

«Книга, – писал Пастернак, – как глухарь на току. Она никого не слышит, оглушенная собой, себя заслушавшаяся... Поэзия подыскивает мелодию среди шума словаря и, подобрав ее, как подбирают мотив, передается затем импровизации на эту тему (альманах “Современник”. № 1 за 1922 г.). Пастернак возвеличивает представителей гнилого буржуазного искусства. Он писал не так давно о французском декаденте Верлене: “В своих стихах он умел подражать колоколам, уловил и закрепил запахи преобладающей формы своей родины, с успехом передразнивал птиц и перебрал в своем творчестве все переливы тишины внутренней и внешней (газета “Литература и искусство” от 1 апреля 1944 года)».

Характеризуя таким образом творчество одного из видных представителей западноевропейского декадентства, сам Пастернак занимает позицию, очень близкую к тому, как он трактует Верлена. Идеал поэта – дрозды:

По их распахнутым покоем
Загадки в гласности снуют.
У них часы с дремучим боем,
Им ветви четверти поют.
Таков притон дроздов тенистый.
Они в неубранном бору
Живут, как жить должны артисты.
Я тоже с них пример беру.

(«Земной простор», стр. 20–21. 1945)

Трудно понять, что означают «загадки в гласности» и каким образом они «снуют» по покоем.

Это обычная пастернаковская заумь. Но зато из этих стихов нетрудно понять, что поэт намеренно отъединяет себя от мира человеческой борьбы, утверждая какое-то свое, особое право на «артистизм», на дроздовью песню — без слов и смысла. Это зашифрованная теория «искусства для искусства».

Когда Пастернак обратился к великим темам Отечественной войны, он — написал несколько слабых, вялых стихотворений. Но и здесь проявилось в полной мере его художественное мировоззрение декадента. В стихотворении «Ожившая фреска», описывая сталинградское сражение, он говорит о земле, которая «воет как молебен», дым взрывов напоминает ему кафельницу, а воин Советской Армии — Георгия Победоносца.

И мальчик облакался в латы, За мать в воображеньи ратуя, И налетал на супостата С такой же свастикой хвостатую.

В другом стихотворении — «Преследование» — Пастернак говорит о «молитвенном неистовстве», якобы присущем советским воинам. В третьем стихотворении — «Зарево», — говорил о Москве. Пастернак называет ее «первопрестольной». Победу над врагом он ассоциирует со сказочной дымкой, «подобной завиткам на стенах в боярской золоченой горнице и на Василии Блаженном». Система религиозно-мистических образов, посредством которых Пастернак попытался представить борьбу советских людей против фашизма, глубоко чужда нашей современности. Пастернак изображает ее искаженно, уродливо.

Позиция Пастернака — последовательная позиция идеалиста и формалиста, идущего вразрез с путями советского искусства. Не удивительно, что Пастерна-

ка поддерживают враги советского народа. Английский профессор С.М. Боур, например, говоря о поэзии Пастернака, просто захлебывается от восторга. «Замечательная восприимчивость», «великий талант передачи ощущений», «динамическое восприятие жизни», «могучий поэт русского мира» — такими выражениями переполнена статья почетного профессора в «Британском союзнике» № 5 за 1946 г.

Творчество Пастернака — наиболее яркое проявление гнилой декадентщины. Сам он, видимо, чувствуя свой разрыв с народом, перестал публиковать новые стихи»¹¹¹.

Даже трудно представить, скольким друзьям и знакомым и совсем далеким людям Тарасенков читал с упоеанием стихи Пастернака, которые теперь называл «заумью». Говорят, что он часами, самозабвенно мог открывать чудеса пастернаковской поэтики, ее смыслы.

Однако Фадеев сказал Тарасенкову, приезжая к нему в Конюшки (они работали над какой-то важной статьей): *«Ты должен понимать, что гораздо лучше, когда мы сами будем бить друг друга, чем если нас начнут бить оттуда сверху!»* Мария Белкина не помнила, что это была за статья, могла быть и та — о Пастернаке.

А при чем же тут Фадеев? Разве Тарасенков сам не несет ответственности за свои поступки? Ведь смог же Борщаговский, несмотря на то, что был тесно связан с Симоновым, а затем им же был бит, уйти в творчество, начать работу над большим романом «Русский флаг». Не каяться, вести себя достойно. Борщаговский мог, а Тарасенков нет. Тарасенков не был большим критиком, он умел талантливо любить чужие стихи, загораться ими, был прекрасным редактором журнала, гениальным собирателем поэзии, коллекционером. Собираательство

давало ощущение счастья и свободы лишь тогда, когда он один на один, как скупой рыцарь, оставался со своими сокровищами. Но сокровища можно было отнять, отобрать в любой момент. А талант можно забрать только с жизнью человека. Тарасенков давно уже не дорожил жизнью, но он невероятно дорожил сокровищем, своей коллекцией. Обладая даром, талантом, человек мог быть свободен в самой несвободной ситуации. Талант выводит человека из беды, из положения зависимости.

Для Фадеева Тарасенков оказался очередной щепкой, которые в избытке летели из стороны в сторону, хотя он и относился к нему с симпатией, но мог и пожертвовать в любой момент. И Фадеев выбросит Тарасенкова, когда в нем пропадет необходимость.

Со второго отречения от Пастернака для Тарасенкова начинается обратный отсчет его последних лет жизни. Хотя ему будет суждено пройти еще одно испытание прежде, чем покинуть этот мир.

Луговской и космополиты

Кампания борьбы с космополитами сошла на нет уже в апреле, после того, как наверху было решено остановить шквал антисемитских публикаций. Вишневский в дневниковых записях от 30 марта 1949 года пишет:

<...> В ЦК тов. Суслов вчера провел совещание редакторов и актива о борьбе с космополитами, тов. Ильичев докладывал. Попало «Литгазете», «Сов<етскому> Искусству» – за перегибы, за манеру «двойных фамилий», за крикливость, сведение счетов и пр. Борьба уже приняла нездоровый характер, есть погромные, антисемитские настроения. (Напр<имер>. В «Красном флоте» капитан 1 ран-

га Пашенко предложил «евреев всех выслать как татар»)»¹¹².

Начались неуправляемая реакция погромных настроений, которая напугала власть, однако никто и представить не сможет, что всего через два года пламя антисемитских настроений с подачи лично Сталина вспыхнет с новой силой.

Но хотя наверху было решено сворачивать космополитическую кампанию, маховик уже был запущен, огромное количество людей лишались работы, куска хлеба и даже жилья.

Поэт Владимир Луговской в те темные годы преподавал в Литинституте, где проводил семинарские занятия для поэтов. В институте началась кампания проработки преподавателей еврейского происхождения. Среди них оказался ближайший друг Луговского Павел Антокольский. Луговской стал являться в институт в сильном подпитии. Его решили уволить с формулировкой: «За нарушение трудовой дисциплины». Однако жена Луговского Елена Леонидовна отправились к Софронову с объяснениями. Суть их состояла в том, что он пьет, потому что поэт. Пьянство было меньшим грехом, чем кровь космополита, и Луговской был прощен. Однако спустя некоторое время вышел приказ об увольнении из института Антокольского, Светлова, Паустовского, тогда уже Луговской перестал стесняться и пришел в институт пьяным. Теперь же его уволили вместе с космополитами.

Если Суров пользовался трудом безродных космополитов, то Луговской пытался им помочь. Мира Агранович, жена режиссера Леонида Аграновича, вспоминала:

«Осенью 1949 года по Лёне ударила “Культура и жизнь”, сразу Лёня из перспективно многоопытного драматурга стал никем, все театры порвали с ним отношения. <...>

Я сколько себя помню, писала стихи. В эвакуации в Ташкенте познакомилась с Луговским, ему нравились мои стихи, он дал мне рекомендацию в Литературный институт. В семинаре я была у Сельвинского. Стала печататься, подписывалась – Мирова (моя девичья фамилия Раппопорт уж очень банальна). У меня хорошо получались переводы, я их делала старательно <...>

В конце 1949 года Луговской, который мне очень благоволил, зашел из Госиздата к нам домой (мы жили на Басманной) и сказал, что я теперь не смогу печататься, переводов давать не будут. Мирова (Раппопорт) никому не нужна. А он получает заказов больше, чем может сделать, ему очень хочется меня выручить, он будет брать на свое имя, или делать буду я, а он мне станет отдавать половину гонорара. Вот на эти деньги мы фактически и жили – я, Лёня и двое мальчишек. Не знаю, как бы выкрутилась наша семья без этого нежелательного подарка судьбы. Сначала Луговской немного редактировал мои переводы, а потом, когда я втянулась, почти не делал никакой правки. Когда переводные стихи (сделанные мной, подписанные Луговским) переиздавали где-то второй, третий раз, Луговской, по правде сказать, мог иной раз мне это не сказать, зажать мою половину гонорара <...> Но эти маленькие потери не казались мне такими уж важными.

Перевод чешского поэта Чеха он даже не прочитал, был тогда в запое, перевод без него ушел в печать. А потом в “Литературной газете” я прочитала, что блестящий переводчик Луговской со свойственным ему темпераментом... Я не выдержала и заплакала.

В 1952 году, наконец, у Лёни пошла пьеса. И он тут сказал: “Больше ни одной строчки не под твоей фамилией, слышишь? Это отвратительно!”

Так или иначе Луговской нам помог прожить эти жуткие годы. Он нас спас, и я ему очень благодарна»¹¹³.

Часть III

1950–1953

ПЕРВЫЙ «НОВЫЙ МИР» ТВАРДОВСКОГО. ДЕЛО ГРОССМАНА

Возвращение блудного Тарасенкова

Отречение от Пастернака спровоцировало у Тарасенкова новый приступ болезни, фадеевский стрептомицин, хотя и помог, но полностью туберкулез не излечил. Началось осложнение на фоне воспаления легких, длившееся почти месяц, и 20 января Тарасенкова отправили долечиваться в санаторий в Голицыно. Оттуда он и написал Вишневскому примирительное письмо в Барвиху, где тот лечился от тяжелой гипертонии.

Тарасенков возвращался туда, откуда пришел. С Вишневским они пережили похожие потрясения: оба были серьезно больны, оба лишились прежней работы. Вишневского вышвырнули из «Знамени», а Тарасенков уже не работал в издательстве. Тарасенков пишет:

1 февраля 1950 года. Был зол на тебя. Прошло и это. Главное в этой перемене: 1) очень большой пересмотр и произошедший в себе; 2) твоя пьеса!

Я ее читал с месяц назад (лежал больной дома – тяжелый плеврит на базе туберкулеза).

Несколько слов о себе. С 25 декабря по 20 января я провалялся дома. Прямо из дома отвезен в кремлевский тубсанаторий (спасибо Фадееву и Софронову). Условия лечения и быта, здесь идеальны <...>. Это как в Барвихе, но для тбс.. (Асеев...) <...>. Ведь май-июнь я тоже провел в санатории. Рад был бы я, если бы ты прочел мои статьи <...>¹.

В этих статьях Тарасенков пытается обвинить Грина, Паустовского, Олешу, Багрицкого в буржуазном эстетстве. Но главный удар Тарасенков направляет на Сельвинского, ругая его поэмы начиная с конструктивистского периода до осужденной «Челюскианы» и припомнив ему стихотворение времени войны «Кого баюкала Россия», где поэт говорит о своих поэтических учителях «от Пушкина до Пастернака». Тарасенков возмущенно восклицает, как это Сельвинский мог поставить эти два имени рядом? Подводя итог, Тарасенков говорит о том, что Сельвинский не может выйти из полосы художественных и идейных провалов.

Статья производила крайне неприятное впечатление, современники мгновенно уловили, что это дымовая завеса, которая должна была прикрыть Тарасенкова от его собственных «ошибок». Бить Сельвинского вместо Пастернака Тарасенкову было проще, хотя это было так же бесчестно, потому что еще несколько лет назад он писал о его поэзии абсолютно в другом тоне и выдвигал поэта на Сталинскую премию.

1949 год был ознаменован 70-летием Сталина. Вишневский ко дню рождения вождя написал пьесу «Неза-

бываемый 1919» – о Гражданской войне и ее главном действующем лице – Сталине. В ответном письме от 2 февраля Вишневский делился с другом своими поражениями и победами:

Как только освободился от «Знамени» (декабря 1948 г.), продумал тему, решил писать про Сталина, без согласований, в нарушение своего государственного договора. Много думал, собирал мысли, записи... Потом поехал на Балтику, был в Таллинне, среди моряков в Ленинграде, Ораниенбауме и пр. Влез в архивы, достал подлинники 1919 г. и пр. и пр. Словом, проделал исследовательскую работу. Вошел в запах событий. <...> Пьесу я послал т. Сталину. Подождал разрешения... Волновался. 6 декабря был звонок из ЦК: «Печатать без поправок» (!)... Так она и напечатана в «Новом мире»...²

На встрече с кинематографистами Сталин подробно пересказал пьесу Вишневского и дал «совет» режиссерам ставить ее в театрах и снимать в кино. Заключает Вишневский письмо словами: «Я всем ответил». То есть показал всем своим врагам, что его так просто не потопишь. Вождь отметил Вишневского Сталинской премией 7 марта 1950 года.

Вечером 2-го февраля Вишневский рассказывает Тарасенкову (он ездит из санатория на писательский пленум), что на разгромную статью Тарасенкова в «Знамени» с ответом выступил Сельвинский:

Блестяще говорил. Аудитория услышала твою характеристику Маяковского: «Попутчик, неприязненный, непонявший пролетарской идеологии,

анархист — бунтарь с ячеством» и пр. («Мал<ая> Сов<етская> Энциклопедия»). Затем — при гуле зала — услышали твою характеристику русского символизма и декаданса вплоть до одобрения широкого космополитизма Вяч. Иванова и пр. и пр. (1940 г.). Затем услышали твои характеристики пьес Сельвинского «Лив<онская> война»), где ты говоришь о его шекспировской манере, и о силе образов поэта (1945 г.), и пр. и пр. Речь была разящая, вся на фактах... Зачем тебе понадобилось копаться в ранних вещах Сельвинского, выдергивать цитаты, приписывать мнения отриц<ательных> персонажей отд<ельных> поэм самому поэту (о медведе)? Вот и получил полный ответ. Зал гудел и грохотал... После всего подошел ко мне Кожевников. Лицо у него было вытянуто более обычного: «Вс<е-волод> В<итальевич>, я знаю Ваши отношения с Ан<атолием> Т<арасенковы>м... Скажите ему, чтобы продумал 2-ую статью, может не торопиться. Лучше всего пусть подумает о самокритике, Пастернаке и пр.»... — Сие и излагаю незамедлительно, действительно не принимай позу ортодокса 1950-го года, ее сразу срубят твои же цитаты 20, 30, 40 годов... Сельвинский это сделал на аудитории в 1000 чел<овек> с эффектом. Продумай формулу самокритики: анализ своих ошибок, установление причин, корней, продуманное исправление для пользы класса, масс...³

Итак, Тарасенков попался сам в ту яму, которую копал другому. Правда, на этот раз без особых последствий. Но важно было, что и его противник овладел тем же приемом, что и он: доставать компромат из прошлых статей, использовать конъюнктуру из прежнего време-

ни и представлять человека лжецом и лицемером. А так как колебания курса партии были такого размаха, то надергать уничтожающих цитат можно было из кого угодно, хоть из самого Сталина. И все это прекрасно знали. И презирали за этот прием и каждого, кто им пользовался.

А Вишневский, хотя и тосковал по Тарасенкову и писал, что часто думал о нем, но главное имя не мог не произнести, такой он был принципиальный человек:

Пастернака вспомнить надо, — строго указывал он товарищу, — он зол и мрачен, влияет на Асеева, — как я слышал, — «де литературы нет, нужно заниматься переводами классики»... Субъект чуждый, отрешенный от общества, «демонстрант» (не читает газет) и пр. Как из чего ты начнешь разговор — дело твое, но разговор за тобой... По существу, до глубин. Я хотел в 1948 году выступить, прочел всего Пастернака, кипел бешенством, но черновики так и остались лежать... Не моя область. А браться за поэтику значило вползать в дебри...

...И через несколько дней — 9 февраля снова:

Ты достаточно упрямовал: не выступил о Пастернаке в 1946, 47 гг., несмотря на открытые разговоры Президиума, партгруппы, предложения Фадеева, мои и пр. Я полагаю, что для ясности в этом затяжном вопросе (чуть ли не 20-летняя задержка) ты должен раз навсегда *выступить*. Повод найти можно всегда (переводы и т.п.) Большое выступление решительно снимет старые воззрения лит<ературной> общественности по поводу

твоих былых ошибок, заблуждений и пр. (Сельвинский ведь рассказал Пленуму личный рассказ Пастернака о твоём перед ним покаянии по поводу твоего покаяния в «Знамени» (1937). Надо обрубить все эти «хвосты». Ты все еще колеблешься, «думаешь» и пр. Нужна хирургическая операция... Вот и все⁴.

Язык выдает сумасшествие эпохи. Вишневский пишет фантастическую фразу, которая обнажает всех участников истории: «Личный рассказ Пастернака о твоём перед ним покаянии по поводу твоего покаяния». На дворе 1950 год, а в ход идут рассказы о том, что было 13 лет назад в столь памятном для всех 1937-м. Вишневский продолжает:

Лицо Пастернака ты разглядел. Да это упрямый, недобрый, потаенно враждебный тип... В эвакуации он вспоминал о неких рекомендательных письмах немецких писателей... Могли бы пригодиться на случай прихода гитлеровцев. Вот сукин сын! (Диалог сообщен мне членом партии участником беседы с П<астерна>ком...).

Тут придется прерваться, чтобы отметить, что это третье упоминание бредовой идеи Вишневского, дважды уже тем же Тарасенковым во встречных письмах опровергнутое. Но по этим письмам видно, что человек слышит и постулирует, что он хочет, до истины ему нет никакого дела.

Важно, что ты понял свою *неправоту*, в которой ты путался долгий период. Понять перелом мешали твои ошибки, например от «Сталинград-

ской битвы», отказы написать против Пастернака, защита Гроссмана, с его подозрит<ельной> пьесой, и пр. Позиция была «агрессивно-упрямая»... На этой почве и произошел разрыв. Как ты помнишь, Фадеев тебе сказал на закрытом обсуждении твоих дел: «Толя, ты ходишь в последышах Пастернака...» (Апрельский разговор 1947 г. в секретариате).

Очень хорошо, что ты преодолел все эти заблуждения, ошибки и болезненные увлечения (тот же Пастернак, Цветаева и К-о)... Очень хорошо, что ты преодолел ошибочные оценки символизма хвалу Вяч. Иванову, Сологубу и К-о... Откуда это брызнуло у тебя в 1940 году?.. Дико... О Блоке, надеюсь, ты тоже пораздумал... Понял суть его смертного кризиса 1918–20 гг., черный мрак, ненависть к реальной революции, делам народа. Вспышка зимы 1917–18 быстро у Блока прошла, оставила «Двенадцать» (со всеми искривлениями проблемы России и революции)...⁵.

Если представить, что Тарасенков серьезно отнесся к проповедям Вишневского, то ему непременно нужно было бы пойти и уничтожить всю свою нежно любимую библиотеку поэзии, так как она состояла в большей части из тех, кого Вишневский именовал «и К-о». Но поскольку Тарасенков делать этого не собирался и в глубине души держал отдельно своих любимых поэтов, и отдельно Вишневского, то он привычно отмахивается от него:

Итак, статью о Пастернаке – большую, развернутую напишу. Если это нужно общественности. Хочу окончательно посоветоваться с Фа-

деевым, Сурковым и Софроновым, когда вернусь в Москву.

Вчера позвонил Маше Фадеев. Он сказал, что моя статья в «Знамени» о Сельвинском – правильная, что он будет меня поддерживать, ибо видит, что после решения ЦК я встал на какой путь. (Статья о Маяковском и его влиянии на современную поэзию находится у него на окончательном редактировании)⁶.

Кожевников требует от Тарасенкова покаяния (за Пастернака), тогда он будет его печатать, но тут его останавливает «добрый ангел» Фадеев. Он звонит Марии Иосифовне и передает для Тарасенкова. М.И. Белкина в письме от 12 февраля 1950 года напишет мужу в санаторий:

Передайте, чтобы он спокойно лечился и отдыхал. Это все несерьезно. Мы, во всяком случае, всегда поддерживали и поддержим тех, кто встает на правильный путь. Тарасенков после постановления о журнале «Звезда» пересмотрел свои позиции и работает правильно, и статья в «Знамени» правильная. Ну, конечно же, мы его поддержим. Человек может заблуждаться, но он же исправил свои ошибки. К чему теперь вытаскивать старое!

Фадеев в разговоре использует привычную формулу: после постановления о журнале «Звезда» Тарасенков пересмотрел свои позиции. Конечно же все было иначе, однако стоит ли обращать на это внимание, ведь это обычные фигуры партийной речи, смысл и значение которых объяснять никому не надо.

Пастернак: Маргарита в темнице

Жизнь в полной буквальности повторила последнюю сцену Фауста «Маргарита в темнице».

Из письма Пастернака Нине Табидзе 15 октября 1950 г.

Вишневскому донесли абсолютно точно, Пастернак говорил, что литературы нет и нужно заниматься переводами классики. Ему действительно было позволено переводить. Только что он перевел «Макбета» Шекспира, затем «Фауста» Гёте. И если перевод первой части трагедии ему доставлял удовольствие, то вторая представлялась нагромождением многословных сцен, он даже называл ее в письмах «вампукой». Но перевод «Фауста» давал возможность кормить детей Ивинской, посылать деньги Ариадне Эфрон в Туруханский край.

Как настоящий художник, он не мог не видеть тех мрачных рифм, которые соединяли текст Гёте и его собственную жизнь. Он постоянно возвращается к рассказу о переводах своих письмах. В январе 1950 года Пастернак писал Е.Д. Орловской:

Я оттого так быстро и легко перевел первую часть Фауста, что в это время у меня в жизни все делалось, как в Фаусте; я переводил его «кровью сердца» и очень болел за эту новую кровь, как бы в числе всего прочего, повторившегося с нею по Фаусту, не повторилась с ней последняя сцена, как бы не попала она меж таких же стен. Осенью это случилось. Вот мое огорчение, вот горе мое⁷.

После ареста Ивинской Пастернак, как уже говорилось, стал фактическим опекуном ее детей. С осени 1950 года Ольгу Всеволодовну посылают в мордовский лагерь.

Пастернак с горечью пишет Нине Табидзе, вдове своего близкого погибшего друга, что его возлюбленная последовала туда же, куда и Тициан, и что он ревнует ее к неволе, как некогда ревновал женщин к прошлому или болезни. Конечно же он не мог не понимать, что Ивинская попала в тюрьму за связь с ним.

Его вызвали на Лубянку, чтобы вернуть ему письма и книги, отобранные у Ивинской при аресте, но до Пастернака дошли ложные сведения, что у Ивинской родился в тюрьме ребенок (на самом деле был выкидыш). Пастернак же был уверен, что ему должны отдать ребенка. Он даже провел предварительный разговор с Зинаидой Николаевной, что вызвало скандал, но он был неумолим. После того как вместо ребенка ему вынесли автографы и письма, он стал просить, чтобы арестовали его, а Ивинскую выпустили. Но ей дали пять лет общих лагерей, «за близость к лицам, подозреваемым в шпионаже», что было по тем временам достаточно мягким приговором. Пастернак проходил по делу Ивинской как шпион, но санкции на его арест не было.

Спустя годы он описал историю ареста Ивинской в письме Ренате Швейцер.

Ее посадили из-за меня как самого близкого мне человека, по мнению секретных органов, чтобы на мучительных допросах под угрозой добиться от нее достаточных показаний для моего судебного преследования. Ее геройству и выдержке я обязан своей жизни и тому, что меня в те годы не трогали...⁸

В это же время в Москву приезжает Ахматова, у которой месяцем позже, 6 ноября 1949 года (странное совпадение!), арестовали сына — Льва Гумилева. Обоих арестованных — одного в Ленинграде, а другую в Москве — спрашивали не об их собственных прегрешениях, а об их близких; Ивинскую о Пастернаке и Ахматовой, Гумилева подробности об антисоветских разговорах его матери.

Считается, что, отдавая приказы об арестах близких, Сталин тем самым показывал жертвам, что держит их «на крючке», вынуждая их таким образом к покорности. Но такие суждения не отражают всей правды. Скорее всего, у Сталина были какие-то до конца неведомые планы относительно оставшихся на воле Пастернака, Ахматовой, Зощенко, Эренбурга и других видных деятелей того времени. Органы же действовали на опережение. Машина работала. Собиралась информация, ткалась паутина, в которую попадались люди из ближнего и дальнего круга, подкладывались в папки сигналы, такие, какими могли быть сигналы Вишневого.

Готовилось дело Пастернака и многостраничное дело Ахматовой. Проблема была в одном: никак не поступала отмашка из Кремля. 14 июня 1950 года на имя Сталина была отправлена докладная записка от Абакумова «о необходимости ареста поэтессы Ахматовой». Но Сталин чего-то ждал.

В январе 1950 года, по воспоминаниям Е.Б. Пастернака, Ахматова приехала в Москву.

«Она оставила Пастернаку машинопись нескольких стихотворений, которые ей советовал написать Фадеев, считая, что их публикация поможет в хлопотах о сыне. Пополненные новыми, эти стихи печатались в трех номерах популярного журнала “Огонек”»⁹. Стихи эти стали для нее вечным позором. Все годы после по-

становления она не вымолвила ни одного покаянного слова. Исключение из Союза писателей, лишение карточек, полуголодное существование — она молчала. Тогда ей нанесли сокрушительный удар: сына арестовали в третий раз. Арестовали из-за нее, это было ясно, как было ясно и в те предыдущие два ареста. Она написала стихи о любимом вожде, власть сделала с ней то, чего от нее давно ждали. Цикл этих стихов назывался «Слава миру». «И благодарного народа / Вождь слышит голос: / «Мы пришли / Сказать — где Сталин, там свобода, / Мир и величие земли».

Однако несмотря на прямую мольбу, выраженную в этих строках, Сталин Льва Гумилева не выпустил. Три недели Ахматова провела в Москве, возя передачи сыну. Она шлет письма в самые разные инстанции. В ответ — молчание. Это был знак, который прочитывался как возмездие.

Пастернак обрадовался, что стихи Ахматовой появились в печати. В письме Нине Табидзе он написал об этом так восторженно, видимо, до конца не понимая, истинных мотивов, которые вызвали их к жизни.

Вы, наверное, уже видели в «Огоньке» стихи Ахматовой или слышали об их напечатаньи, — писал он 6 апреля 1950 года — Помните, я показывал Вам давно часть их, причем не лучшую. Те, которых я не знал и которыми она дополнила, виденные, — самые лучшие. Я страшно, как и все, рад этой литературной сенсации и этому случаю в ее жизни, и только неприятно, что по аналогии все стали выжидающе оглядываться в мою сторону.

Но то, что произнесла она, я сказал уже двадцать лет тому назад, и один из первых, когда голоса звучали реже и в более единственном числе.

Таких вещей не повторяют по несколько раз, они что-либо значат, или ничего не значат, и в последнем случае никакое повторение не может поправить дело¹⁰.

Драма Ахматовой, которая заклеивала в сборнике 1958 года эти постыдные стихи, состояла в том, что она знала про себя, что эти строки отравили ее, но была вынуждена принести себя в жертву. Пастернак, судя по письму к Нине Табидзе, не мог и предположить, что Ахматова писала неискренне. Он часто мерил по себе поступки других людей и предполагал, что ее стихи подобны тем, которые он написал о Сталине 1 января 1936 года «Мне по душе строптивый норв», где в первой части говорилось о художнике (т.е. о самом себе), а во второй о некоем человеке-поступке, живущем за кремлевской стеной. Пастернак свое взаимодействие со Сталиным определил в стихотворении как двухголосую фугу, которая соединяет два крайних начала. Пафос того стихотворения, написанного по просьбе Бухарина и напечатанного в «Известиях», был связан с надеждами 1936 года на потепление общего климата в стране и общую гуманизацию режима. Однако процессы, последовавшие в конце 1936 года, а затем и 1937-го, опрокинули эти надежды. Теперь ожидать чего-либо подобного было бы наивным.

Но Пастернак был импульсивен и чувствителен, умел обольщаться и соблазняться действиями власти, в отличие от Ахматовой, видящей объемно механизм сталинского режима, еще с начала 20-х годов, знавшей цену большевистской власти, никогда не обольщавшейся и не верящей ей.

В том же письме Пастернак вдруг неожиданно говорит о том, что его многие считают мучеником, а он абсолютно счастлив, так как трудится и т.п., но доказывать

обратное он не может, тогда решат, что он скрывает истину, а он гордый, он не хочет всем и каждому говорить, что не мученик. Безусловно, многие, видя, как проходит его жизнь над переводами, как давно он не появляется на публике, как шатко его положение, не случайно постоянно вокруг него постоянно носятся слухи о предполагаемом аресте, не могли не видеть в нем мученика, страдальца. Но для Пастернака такая роль, как, впрочем, и вообще ЛЮБАЯ РОЛЬ, была неприятна и неприемлема. Он желал всегда быть самим собой, иметь право на ошибку.

Но через год он признается в одном из писем, что его нет в литературе, но он старается не думать об этом. Он должен дописать роман, должен помогать семье Ольги, Ариадне Эфрон, кормить свою семью.

События 1950 года

В огромных письмах к Тарасенкову, которые Вишневский иногда писал как утром, так и вечером, он очень точно освещает картины внешней политики, в которой он настоящий дока. Его письма передают сгущающуюся атмосферу холодной войны, на фоне которой развивается печальная жизнь советских людей, находящихся по другую сторону «железного занавеса».

Итак, 4 февраля 1950 года Вишневский пишет:

Враги упрямо ведут курс на конфликт. США и Европа израсходовали в последние 5 лет в 10 раз больше, чем Гитлер израсходовал в 1933–39 гг. на войну. Ты это знаешь? – Накоплены огромные запасы вооружения, прокладываются автострады, строятся порты, аэродромы и пр. Развертывается европейская коалиционная армия Монтгомери. Но: мы имеем две лучших в мире армии: Советскую и

Народную армию Китая. Солдаты этих армий не знают соперников в поле. Это не американские шалопаи с «Виллисов» и мастера с жевательной резинкой, презервативами и пр.

Накопление **ВОЕННОЙ ОПАСНОСТИ** развивается неудержимо... Необходима боеготовность. Кричать по-локафовски «ура, на войну!» нет ни малой необходимости. Труд народа не надо тревожить. Но меры предупредительные необходимы и многое сделано. Техника наша идет вперед неудержимо... Нас не захватят врасплох, как 22-го июня. (Тут и радары и пр. и пр.) Но я полагаю, что на войну США и пр. сразу не рискнут, Маленков ясно обещал им — наведаться в Америку... (Речь б.ХІ.49). Поняли. Подумают и о тылах в Европе¹¹.

И в тот же вечер 4 февраля впечатления с кулуаров пленума Союза писателей.

Фадеев тянет воз. Усталый, провернет все дела по Сталинскому комитету и в Барвиху на лечение. У него со здоровьем все хуже... Симонов покрыт красными пятнами от нервной экземы... Тоже явно переутомлен. Китай, потом Пленум, книга о Китае, журнал и пр. и пр. Это сверхнагрузка... Леонов на время Пленума смылся в поездку, приехал как раз 3-го... Он мрачен, болеет внутренней мукой неработы... что чувствуется сразу. Горбатов получил 4 месяцев отпуска и в Кисловодске полещется в водах, дышит и пишет... Ему необходимо во всех отношениях выступить с новой книгой. — Тихонов в Польше. Панферов на месте, переживает Пленум... Корнейчук в Париже на комитете мира...

Все заняты, так или иначе...

Лежнев раскопал новые ценные материалы о Шолохове. Лелеет новое издание книги. Читал ли ты ее? Критиковали ее сильно. Он хочет выправить... <...>

А. Платонов догорает. Мы дали ему 10 тысяч на переезд на юг. Поможет ли это?.. Талантливый, но мрачный автор...

Шмыгнул сегодня мимо Юзовский. Я не повернул и головы. Вот тип, выпускавший кровь из меня годами! Эстет, «шляхтич». Как он писал о «низколобых, мрачных матросах, ненавидящих культуру»... (его, Юзовского, формалистическую культуру). Ну, он получал своего рода и от меня... Гурвич в письме на 37 страницах кается. В центре письма специальное покаяние о «Мы, русский народ»... Он вредительно испохабил эту вещь в канун войны...¹².

Мрачная атмосфера жизни на фоне постоянной внешней и внутренней угрозы прочитывается даже в строках вечно бодрящегося Вишневского. А слова о прошмыгнувшем Юзовском и подлом Гурвиче, который вечно критиковал высокий дар драматурга-моряка, а теперь кается на 37 страницах – непережитый до конца кошмар разоблачения космополитов. Мария Иосифовна тоже была вынуждена ходить на очередной пленум Союза писателей, составляя в письмах к Тарасенкову подробные отчеты обо всех событиях. И ей пришлось встретиться в коридоре с тем же Гурвичем и Яковлевым, в свое время ошельмованными Тарасенковым. Они сделали вид, что ее не узнают. Белкина говорила, что каждый раз шла в Дом писателей с тайным страхом, кто еще отвернется, брезгливо посмотрит на нее, а вдруг и плюнет в ее сторону.

Она никогда бы не пошла на этот позор, но Тарасенков был слаб и болен, а ей стало его жалко. Она не могла скрыть от него, хотя пишет об этом вскользь, что встретила Данина, которого уже год как нет в Москве; он был вынужден после событий 1949 года уехать в геологическую партию, изгнанный отовсюду. Мария Иосифовна радостно отмечает, что он поздоровался с ней за руку. А ведь Тарасенков выступал на собраниях и поносил его.

Пленум проходил как обычно; тягостно, скучно, произносились зауспокойные речи, «текла вода». Правда, Мария Иосифовна посылала больному Тарасенкову едкие заметки о разных персонажах, которые записывала во время собраний, чтобы хоть как-нибудь скрасить свое пребывание на них.

В центре пленума оказалась уже некоторое время длящаяся интрига с Ермиловым и возглавляемой им «Литературной газетой». Как главный редактор газеты он доживал последние дни. Свою черную работу по пропагандистскому обеспечению «холодной войны» он выполнил, теперь от него старались избавиться.

Его снятие с должности главного редактора, по сути, и привело Твардовского, а затем и Тарасенкова в «Новый мир».

Смена декораций

Вишневский оказался в самом центре интриги с Ермиловым. Вечером 10 февраля он описывал Тарасенкову хронику событий:

Вчера ночью от 12 до 2 часов мы узкой группой совещались насчет «Литературной» газеты». Положение стало нетерпимо. В ЦК мы сообщили свое

мнение, сообщили о нарушениях парт<ийной> дисциплины со стороны Ермилова, о неявке его на секретариат, его заявлении: «мне нечего говорить с вами» и пр. Ермилов далее отказался печатать заключительное слово генсека на Пленуме (!)... Дальше идти некуда...<...>

Утром собрались снова на квартире Фадеева. Снова продумали... А.Н. Кузнецов?.. Поликарпов?.. Федосеев?.. Отпадали. Остановились на Шепилове и Сатюкове. К 2 ч. дня отправили Сашу в ЦК... Он был принят перед секретариатом ЦК. Ему сказали, что вчера т. Сталин сказал: «На эту газету нужен человек с именем. Газета интеллигенции и международная. Полагаю: Симонов...» Началось заседание секретариата ЦК. Оно шло 2 часа¹³.

И вот, как вспоминал Симонов, Фадеев предложил ему возглавить «Литературную газету», если Твардовский согласится взять от него «Новый мир». Симонов писал, что Фадеев очень благоволил к Твардовскому и страстно хотел втянуть его в какое-нибудь большое общественное дело.

Твардовский, в свою очередь не имевший никакого опыта в издании журнала, решил просить Тарасенкова стать у него заместителем, но так как тот был в санатории, то Твардовский сам отправился «сватать» его в журнал.

Посредником переговоров была М.И. Белкина, которая оставила об этом рассказ, сопровождаемый письмами.

«12 февраля. Я у Твардовских. Они живут на улице Горького (ныне Тверской), в угловом доме, что выходит прямо на площадь Пушкина. Напротив Елисеевского магазина. Москвичи никогда не говорили “Гастроном № 1”, всегда — Елисеевский...

Мы сидим за столом. Над головами низко свисает большой, круглый абажур, освещающая голую столешницу. Скатерть сдернута, так удобнее разбирать старые вырезки из газет и журналов. Я принесла Александру Трифоновичу альбом, который Тарасенков сам сшил и переплел в яркий ситец. Но лучше приведу письмо, которое написала, придя домой, в туберкулезный санаторий Тарасенкову.

“Альбом, который ты ему сделал, весь перелистал, перешуupal, чуть не на зуб пробовал. — “Уж очень он ее роскошно сделал! На каждое стихотворение по странице. Жаль даже наклеивать. Ну, и стишки ж я когда-то писал, скажу я Вам...”

Мария Илларионовна принесла папки с вырезками. Стали искать стихи в папках. Сердились друг на друга. То он налетал на нее, то она на него. Он стихи откладывает, какие тебе послать, а она проверяет. Потом собрала все в кучу и стала считать, как денежные купюры. Сорок штук насчитала.

— “Я за эти стихи по рублю за штуку получал. Те, что погениальнее, по полтора шли, а я тогда уже на литературный заработок жил. Так в месяц рублей пятнадцать, двадцать зарабатывал. А Исаковскому по пятнадцать копеек за строку платили, уже как поэту. Он уже в Москве где-то стишки свои печатал.” — “А можно было жить на эти деньги?” — “Тогда стипендию студенты получали двадцать семь рублей. Тридцать рублей — это персональная”. — “Стихи эти, наверное, Вам собрала Мария Илларионовна?” — “Ну да, много она насобираала! Это я сам, гордился. Только и думать тогда не мог, что из этого получится. Вырезки-то вырезал, а вот чисел никогда не ставил”.

Каждый раз, когда ставили синим карандашом год напечатания, рука его долго болтается в воздухе и не решается ставить дату. — “Ну, что ты все путаешь, — кри-

чит на него Мария Илларионовна, — ставишь, сам не знаешь что, а потом люди из-за тебя губы вязать будут. Почему этот год ставишь?»

Я хотела было рассказать им, как при нас с тобой Лиля с Васей Катаняном поссорились из-за Маяковского. Вася писал книгу из жизни Маяковского, упомянув эпизод, происшедший в 1924 году, а Лиля запротестовала, сказав, что это было в 1925 году. Они заспорили. Он говорит: “Я книгу по документам пишу, у меня документ есть”. А Лиля свое, она во всех подробностях этот случай помнит и доказать может, что было это в 1925 году. Он побежал в свою комнату, какую-то папку схватил. А Лиля в сердцах: “Кто, в конце концов, с Маяковским жил, Вы или я? Кому лучше знать?!”

Да вовремя остановилась я, не больно жалует Александр Трифонович Владимира Владимировича, а Марии Илларионовне Лиля и вовсе противопоказана.

“Расскажите какие-нибудь новости, — прошу я. — Толя просил”. — “Ну какие же я новости знаю?” — “Говорят, Панферов пускает слухи, что Ермилова сняли”. — “Ну да! За что?” — “За то, что тот его критиковал”. — “Как Ермилова сняли? — и стал хохотать, хлопая себя по коленке. — Хорош член редколлегии газеты. Может, и я уже не член редколлегии? Может, и я уже не я? Может, и меня сняли?” Звонил в литгазету. Все телефоны молчат. — “Может, их там всех арестовали?” Наконец, дозвонился до какого-то секретаря. — “Где начальство? Я? Я не начальство! Начальство тот, кто в кабинете сидит”. — Звонил Макарову. Его не было дома. Я высказала о нем свое мнение. Он засмеялся и сказал про Макарова: — “Человек из чернилницы”. А ведь точно! Наконец, дозвонился Баулину. Из разговора я поняла, что писалось какое-то письмо Грибачеву, или это было письмо самого Грибачева. Что-то там его имя всё время поминалось.

– “Я бы, – говорил Твардовский, – подписался под еще более резкой статьей о Панферове. Да и в этой статье, хоть и правильной, весь Ермилов сказался”.

Говорили по телефону долго. Но понять было трудно. Мне Твардовский сказал, что еще пять месяцев тому назад на секретариате Ермилову было предложено подать в отставку. Но он заявил, что он постарается справиться с газетой. Ходят слухи, что он теперь подал в отставку.

– “Только как у нас подают в отставку, я не знаю”, – сказал Твардовский. Баулин сказал Твардовскому, что есть кандидатура Бубеннова. – “А за ним Панферов, – сказал Твардовский. – Предлагали Симонову, но тот еле отбрыкался. А кандидатов-то нет!”

В среду Митьку принимают в пионеры. Меня пригласили присутствовать на этом торжестве. Боюсь, разревусь, когда этот “шибзик” будет давать клятву верности России. Это его первая присяга. Надо ему сделать подарок.

Это я писала 12 февраля. А не прошло и недели, как мне позвонил Александр Трифонович:

– До вас, небось, уже слухи дошли?!

– Дойти-то дошли! Да не верится как-то, что так быстро все решиться могло.

– А чего тут! Собрались втроем – Фадеев, Симонов, я и решили, кому куда идти! Не отдавать же газету Бубеннову с компанией. Газета хорошей должна быть. Костя уперся – не пойдет, если я журнал не возьму. Вот я и взял!

– Все так просто? Без благословения свыше?

– Ну, это само собой разумеется!.. А Тарасенкова, Анатолия Кузьмича, ко мне замом, не без Вашего, естественно, согласия. Мы такой с ним журнал отхватим! Лучше послевоенного “Знамени” будет! Вот увидите!

– А помните, как до войны еще Вы любили с Толей разговор заводить, что если бы у Вас свой журнал был!

И всерьез обсуждали: что бы печатали, да кого бы печатали, а кого и на порог не пустили бы! И какие разделы, какие рубрики в журнале были бы! Про часы забывали, а потом на цыпочках, держа башмаки в руках, по проходной комнате балансировали, где старики мои уже спали. И, между прочим, не один раз к этой теме возвращались: вот если бы вам журнал дали, да волю!

— Журнал-то дали... — вздохнул Александр Трифонович.

— Ну, так поехали вместе в Голицыно Тарасенкова в “Новый мир” нанимать.

В назначенное время под окнами гудок машины. Мы жили тогда в “доме под тополем”, как про нас говорили. В старом деревянном особняке, в затерявшемся московском переулочке. Из холодных сеней дверь открывалась прямо на крылечко, где, бережно обхваченный ступеньками, рос огромный, вековой тополь.

Прислонившись спиной к стволу тополя, чуть припорошенный снегом, снег валил с утра, стоит Твардовский. Русскостью лица своего очень в этот момент схожий с шалыпинским портретом Кустодиева! Хвастается своей шубой боярской на меху, распахнутой, явно в коммисионке, по случаю, купленной. Шапка круглая, мехом отороченная, на затылок сдвинутая. Только мощи шалыпинской нет!.. Хоть и стал уже в весе прибавлять.

Как-то в клубе, при нас с Тарасенковым, Пришвин сказал ему: — “Матереть, батюшка, начинаете, матереть!”

Оно и верно, как никак, вот уже сорок стукнет.

— Тройка подана! — говорит. — Ямщик за рулем, мотор греет. Одевайтесь потеплее, боюсь на обратном пути заметет нас...

Но тут опять лучше приведу письмо, хоть и длинное, полвека тому назад написанное, но как никак документ!

Да и детали тех лет уже не припомнишь...

Москва. 18 февраля 1950 года

Милый пес!

Хотела лечь, но потом решила записать.

Разговор с Твардовским. Завела дневник, но не умею его вести. Ну как это говорить в пространство? Надо к живому человеку обращаться. А — то ерунда получается.

В три явился Твардовский. Явно, где-то успел пропустить. Шуба на нем справная, на меху, отвороты меховые, шапка мехом оторочена, с бархатным дном. Дразню — так шикарен, что мне неловко в моей собачьей шубейке рядом с ним. Хвастает. Полу выворачивает. “Шуба-то на собольих лапках, — говорит. — Была с бобром, да бобер моль сожрала летом. Двадцать тысяч отвалил до реформы!”

Сели в машину. Разговор не идет. Видно, мало пропустил, свою норму не добрал. Я уткнула нос в статью Симонова. Читаю. Вдруг Твардовский оживился: — “Шалманчик бы какой по дороге, а? Потирает руки, мурлычет что-то себе под нос. — А то и без шалмана можно. Просто бы “белую головку ухватить. Пирожки из дома я взял. Мария Илларионовна испекла”. Шофер кивает головой: не прочь! Только вот, как наша спутница? Твардовский за меня отвечает: — “Да, она с нами выпьет! Она баба свойская! Своя, не выдаст!”

У Белорусского вокзала в ресторане ухватили “белую головку”. — “Теперь посуду раздобыть надо”, — говорит Твардовский. Глядим по сторонам: парикмахерская, ателье, мастерская, ткани. Посудно-хозяйственного заведения нет. Уже в Кунцеве обнаружили какое-то сельпо. Шофер бежит,

возвращается. — “Только кружки с петухами есть по семь пятьдесят”. — “Валяй с петухами!” Шофер притащил. — “Вот Мария Илларионовна обрадуется, в хозяйстве пригодится”, — говорит он. — “Ну да! — ворчит Твардовский, — объяснять еще придется, откуда взяли, зачем”. — “На дороге, скажем, нашли”, — смеется шофер. Пьют за правительственной трассой у верстового столба. Буль, Буль, Буль... Пол-литра пополам. Закусили. Шофер: “У меня сало есть, только не интеллигентно нарезано”. — “А с корочкой?” — спрашивает Твардовский. — “С корочкой”. — “Тогда пойдет”.

Едем дальше. Теперь уже та норма, при которой Твардовский легок на разговор. — “Я к вам от Фадеева. У него три рюмочки пропустил”. — “Что так мало?” — “Ну, не пьет мужик, страдает. Что же дразнить буду?” — “Что ему совсем запрети-ли?” — “Нельзя, запойный. Старее старик, кряхтит. На четыре месяца в отпуск едет. Говорит, был на приеме Мао-Цзэдуна, вокруг стола, как кот ходил, а выпить нельзя. Фадеев, между прочим, это я вам не как жене говорю, хвалил очень Толину статью. Говорит, с продолжением в “Литгазете” печатать будем. Я, говорит, там только кое-что подправил. Совсем малость. У него в кабинете шкаф с рукописями стоит. Верите ли, полок сорок. Все “Последний из Удэге” и “Молодая гвардия”. Все от руки переписано. Я полистал, таким его аккуратным почерком, с поправками. Все так тщательно отделано. — “Ну, ведь я труженик все-таки”, — сказал он. Явно хотел, чтобы его похвалили.

Разговор перескакивает на Сталинские премии.

— “Если бы я был в Москве, Яшину первой премии не видать. На вторую бы свел. Это Фадеев: —

“плакал”, – говорит. Ну, вот надо же, нашел над чем плакать. Это из-за него. Я сейчас был в Сталинском комитете. Сережка Михалков говорит, руки потирая: – “А мы уже все тут распределили, старик: я тебе, а ты мне”. Это еще ничего. А вот по театру, если бы вы знали, что там. Пришлось мне речь держать. Насилу убедил, чтобы Комарову дали, дальневосточнику. Его вся Сибирь знает. Такая территория, пять европейских государств. Сережка говорит: – “Лучше живым дать для поощрения”. А я ему: “Помирать все будем”. Я бы не хотел, чтобы меня на другой день после смерти забыли. В комитете ведь никто и не читает. Что, думаете, Яшина читали? Ерунда. Фадеев убедил. Но Комаров все-таки получит третью премию. Книжку переиздадут. У него жена, трое детей. Хоть по-смертно, да на книжке будет стоять: “Лауреат Сталинской премии”. Вообще-то премия хреновая. Мы тут даже сомневались, давать Блантеру или нет. Вроде бы как и не удобно. Посоветовались с Исаковским, тот говорит: “Дураки! Он счастлив будет. Мечтает. Когда объявляют или пишут, не говорят, какой степени премия – лауреат и все. А то, что раз будет напечатано “третья”, забудут”. Мы этого Блантера разыграть хотели, когда в Смоленск ездили. У него огромный бобровый воротник. И уж не шуба для него, а он для шубы. Приходим в обком, а он боится повесить шубу на вешалку. – “У вас, – спрашивает, – кто-нибудь караулит?” Мы решили ночью спороть у него воротник и вернуть ему только в Москве. – “Ну и что, спорили?” – Со мной Мария Илларионовна была. Она шуток не позволяет. Ненавижу это, когда вещь больше тебя.

Вот был у Симонова на квартире. У него двери, панели под дуб, под ясень разделаны. В кабинете дверь обита пробкой, чтобы, значит, Валя не слышала, как он диктует. А жена Исаковского, между прочим, за стеной все слышит. Я очень Симонова уважаю, не как поэта, конечно, поэт он никакой, а за его трудоспособность, организованность, организаторский талант, но жить бы я, как он, не мог. Все в его квартире для удобства, но все больше его. Понимаете?

Разговор переходит на “Новый мир”. — “Вы довольны, что будете вести журнал?” — спрашиваю. — “Три года тому назад мне этого больше хотелось, но как-то не получилось. Теперь, правда, уже меньше хочется. Но я подумал: в секретариате черт знает что говорится! Я очень настроен против всего этого, а меня когда-нибудь спросят: — “Ну, а ты-то сам что сделал? Что предпринял? Чем делу помог?” Твардовский говорит, что твоя кандидатура всеми очень хорошо принимается. Москва гудит: Твардовский завалит журнал, не сумеет справиться — Тарасенков вытянет, он дока по этой части. Сказал, что Маленков назвал симоновский “Новый мир” “штабной журнал”. Страшал меня: — “Теперь мы с Толей так жить будем: день у меня обедать — день у вас. И на даче в одном месте”. Говорю: — “Сорвалось у Гусевой, не сдает дачу”. — “Ничего, другую найдем. Что в городе не договорим — на даче. Машина в полном вашем распоряжении будет”. О Кривицком сказал: — “Вот мы пьем. От нас больше пользы тем, с кем мы пьем. А он умеет пить с нужным человеком, чтобы ему польза была. Это, конечно, для журнала ценно, но очень много делячества у них в журнале”.

Интересный был еще разговор о Маяковском. Твардовский говорит это в связи с тем, что Фадеев похвалил твою статью: — “Я бы так начал статью о Маяковском: — “У нас многие любят не Маяковского, но... и так далее. А что вы думаете: не пользуется он популярностью в народе. Что по нему будут в школе русский язык изучать? Да не будут! Пушкина читать будут...”

Не любит он Владимир Владимировича. И я не люблю. И как меня только Лиля терпит...

На обратном пути мело. В двух шагах ничего не видно. Да еще темь. Да еще после оттепели асфальт льдом покрыт. А мои спутники оба дошли. Под елочками у тебя в санатории еще приняли. Твардовский на заднем сидении дремлет, а водитель так рвет машину, то в один кювет, то в другой. Вот-вот набок. Одной рукой правит, другой меня за коленки хватает. Объясняет — студент — у Суркова шоферит. В вечернем учится. — “Только, чур, Суркову ни гу-гу”. — Какое там гу-гу! Не довезет: и машину к черту, и нас с Александром Трифоновичем! Смеется, ерничает, черт. Ну, хоть реви! Дала по руке. Так вывернул машину — чуть не перевернулись. — “Недотрога”. — Твардовский проснулся. — “Мы что, стоим?” — “Стоим”. — “Вот и хорошо, вовремя. Кто первый пойдет гулять? Ноги поразмять. Даму вперед пропустим?” — “Даме не надо”. — “Была бы честь предложена”.

Пропадали черт знает сколько. Я им и гудела, и фарами мигала. Свалятся где-нибудь или машина на них наскочит. Правда, машины ни одной. Кого в такую погоду понесет, да еще по старому шоссе. Явились наконец. Твардовский вдруг вспомнил,

что я училась водить машину. Требуется, чтобы я садилась за руль. Сколько я ему ни объясняю, что права есть, а машины нет, не умею я водить машину, да еще в такую погоду... Но что сделаешь с ними, посадили за руль. Руки-ноги от страха отнимаются. Ничего не видно: дворники не помогают. Ползу на ощупь. Твардовский посапывает. Студент на плечо положил мне голову, храпит. Заглох мотор, стоим. Ну, должен он когда-нибудь протрезветь, этот студент! Проснулся, выматерился. Я же во всем виновата оказалась. Повел машину, как ни в чем не бывало.

Поднял Твардовского на лифте, сдал Марии Илларионовне. Я не поднималась, ибо в сердцах Мария Илларионовна могла налететь и на меня. Вот так мы и ездили нанимать тебя в “Новый мир”.

Маша

Р.С. Звонил сегодня, девятнадцатого, Фадеев. Позвонил половина десятого. Митька сказал, что я сплю. — “А кто ее спрашивает?” — “Фадеев”. — “Я сейчас разбужу ее”. — “Не надо. Это не к спеху. Я позвоню позже”. — Звонил в одиннадцать. — “Я прочел Толину статью. Она стала еще лучше. Передал вчера Симонову. Он перепечатает и со своими поправками пошлет вам. Разобьют, наверное, на две газеты”. — Я говорю, что в среду собираюсь ехать к тебе, позвоню Симонову, быть может, он успеет. — “Очень хорошо, этим вы его подстегнете. У него сейчас много дел”. — “Будете к юбилею печатать?” — “Нет, в ближайших номерах. Как здоровье Толи?” — “Лучше”. — “Ну, и слава богу”. — “Мы вчера у него

были с Твардовским”. — Думала, что Фадеев скажет что-нибудь по поводу “Нового мира”. — “Ну, и отлично. Передайте ему привет”»¹⁴.

«Новый мир»

В тот же день, когда Симонов стал главным редактором «Литературной газеты», то есть 7 марта, Тарасенкова назначили заместителем главного редактора в «Новый мир». Он радостно сообщал Вишневскому, что с Твардовским ему очень интересно работать, но это вряд ли обрадовало Вишневского; он недолюбливал Твардовского, да и ревновал старого товарища к новой работе. И еще одно напоминание в том письме: «В марте мне исполнится 41 год, — писал Тарасенков. — Уф! Цифра порядочная»¹⁵.

Редакция первого «Нового мира» располагалась рядом с «Известиями». Это был особняк XIX века, когда-то в нем жила графиня Бобринская, бытовала легенда, что на балах у нее танцевал Пушкин. Особняк был переделан, но лестница и огромное зеркало во всю стену, окованное медными стержнями, остались с прежних времен. В редакции были приемная, с круглым столом, диваном, креслом сбоку, столом секретарши, дверями в отдел прозы, поэзии, науки и публицистики. Кресла были старомодные, в белых чехлах. Распахнутая дверь вела в огромную комнату с двумя окнами, где стоял стол Твардовского и Тарасенкова и длинный стол для заседаний. В 1963 году «Новый мир» переехал в Малый Путинковский переулок, у всех появились кабинеты, где было более двух десятков комнат на трех этажах и 17 телефонов. А в старом доме — только 2 телефона.

А. Кондратович, в будущем член редколлегии, очень близкий к Твардовскому человек, — оставил воспоминания о редакции первого «Нового мира» Твардовского:

«Я завернул за угол и, миновав крошечную пристройку кафе, открыл первую же дверь на улице Чехова, дверь, распахивающую вид на роскошную лестницу. Именно вид, потому что лестница была широка — от одной высокой стены до другой, с перепадом для короткого отдыха или для того, чтобы поправить прическу, оглядеться еще раз наверху, на площадке: там во всю ширину и высоту огромное зеркало. Возле него-то, конечно, останавливались дамы и их чада, и зоркие молодые люди, и лениво взглядывали на себя сановники, прежде чем войти в балльную залу. Говорят, что в этом особняке графини Бобринской танцевал Пушкин. Пушкинисты отрицают это. Пусть легенда, но красивая. И зато вовсе не легенда, что в это зеркало наверняка могли взглянуть на себя, прежде чем войти, Чехов и Васнецов, Репин и Даргомыжский. В конце прошлого века здесь располагалось общество любителей художеств, потом редакция “Будильника”»¹⁶.

Редколлегия «Нового мира» 1950 года была навязана Твардовскому «сверху»; здесь оказались вместе не единомышленники, а противники главного редактора. Первым из них был Михаил Бубеннов, который сыграл зловещую роль в истории с романом Гроссмана.

Валентин Катаев старался ни во что ни вмешиваться, сильно напуганный разносной статьей того же Бубеннова о его романе «За власть Советов», напечатанной в газете «Правда». В ней говорилось, что роман плохо написан, растянут, а главное, что в нем не раскрыта тема одесского подполья, что является огромной политической ошибкой.

Федин на первых порах помогал Твардовскому, но затем перестал, объясняя общей занятостью, Шолохов был фигурой номинальной, его в журнале вообще никогда не видели. Реально работа лежала на плечах Тарасенкова и Сергея Смирнова, редактора из Воениздата.

Тарасенкову была необходима команда единомышленников, с которыми он мог бы работать в журнале. Нужны были близкие по духу авторы, талантливые, умные критики, владеющие пером. Он кинулся к Данину, хотя чувствовал перед ним огромную вину.

Но Данин решил, что к Тарасенкову он никогда в журнал не пойдет. Тот это прекрасно понимал и потому придумал пригласить его через секретаря Твардовского. Данин только что вернулся из «добровольно-изгнанческой» экспедиции на Ангару. «Он тогда позвал меня в “Новый мир”, — вспоминал Данин, — где стал работать по приглашению Твардовского его заместителем. Позвал как бы от имени Александра Трифоновича через его секретаршу, сознавая, что без такого обмана я не пришел бы. Он плакал в огромном кабинете главного редактора. Наглухо заперев две двери, дабы просить прощения у исключенного космополита без свидетелей! Иначе покаянная акция могла бы дорого ему обойтись: заигрывание с врагом... двурушничество... политическая бесхребетность (словарь-то у нас был гибкий). И никто не должен был знать, кроме Твардовского, ни о нашем объяснении, ни о бесфамильной “негритянской работе”, предложенной мне для отдела критики (“Трибуна читателя”). А слезы были не скупые-мужские, но настоящие — бегущие по щекам. Невозможно забыть их!.. Конечно, мы помирились»¹⁷.

Тарасенков плакал не оттого, что ему нужно было уломать Данина на работу в журнале, хотя, изначально, он, скорее всего, так и думал, но, посмотрев старому другу в глаза, он испытал не сравнимые ни с чем мучения совести. Наверное, кому-нибудь покажется смешным и даже жалким рыдающий Тарасенков, скажут, что заслужил он этой муки, однако много ли людей способны были испытывать угрызения совести, а не ук-

репляться в ощущении, что все так делали и я ничем не хуже других.

Твардовский и Тарасенков мечтали восстановить атмосферу послевоенного «Знамени», поэтому главным романом, который они посчитали необходимым печатать, стал роман Гроссмана «Сталинград». Большой эпический роман о войне был прекрасным началом для нового журнала; в романе они видели продолжение лучших образцов военной прозы, среди которой были повести Некрасова, Казакевича, Пановой.

Однако только что отшумели собрания против «космополитов», были арестованы, а затем расстреляны почти все члены Антифашистского комитета. В 1945 году Гроссман вместе с Эренбургом начали составлять «Черную книгу», историю истребления евреев на оккупированных территориях. После всех трагических событий конца 40-х годов книга эта так и не вышла. Но непосредственно на судьбе Гроссмана все это не сказывалось, это были дальние сполохи, Твардовский и Тарасенков их не заметили или сделали вид, что не заметили.

22 февраля 1950 года, всего через несколько дней после того, как Твардовского назначили главным редактором, началась работа над рукописью романа. Правда, почти сразу было выражено пожелание о переименовании романа «Сталинград». Задолго до выхода книги у писателей возникло к Гроссману ревнивое чувство, как он позволил себе написать историческое полотно с таким названием. Роман переименовали. Новое название «За правое дело» отсылало читателя к речи Молотова, произнесенной 22 июня 1941 года: «...наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами». Твардовский с Гроссманом не раз встречались на фронте, переписывались и с огромным уважением относились друг к другу. Рукопись послали Фадееву. Тот сначала очень насторожен-

но отнесся к перспективе печатания Гроссмана, но, прочтя роман, очень горячо поддержал его и фактически стал одним из его редакторов. Горячие участие в судьбе рукописи стало для Фадеева глотком чистого воздуха после темных лет борьбы с «космополитами» совместно с Софроновым, Грибачевым и Суровым. Работа над рукописью компенсировала собственную беспомощность, когда он переписывал по требованию Сталина «Молодую гвардию». Перед ним была хорошая и честная книга, написанная в традиции любимого им Льва Толстого.

Кроме того, для Фадеева было важно показать себе и своему окружению, что в нем ни на гран нет антисемитизма, который так искренно исповедовали его товарищи Софронов, Грибачев и Бубеннов.

Но удивительнее всего, что ни Твардовский, ни Фадеев, ни многожды раз битый Тарасенков не предчувствовали всю безнадежность перспективы романа Гроссмана и бросились протаскивать его через рогатки цензуры, и как ни странно... вначале у них это получилось.

Начало дела Гроссмана

Конечно же, роман «За правое дело» был вполне советским, в то же время сознательно ориентированным на «Войну и мир». Желание осмыслить прошедшую войну в традиции знаменитой эпопеи было абсолютно естественно и понятно. Новая война была намного глобальнее той, что случилась в 1812 году, и понять ее смысл, причины и последствия было необходимо как в Европе, так и в Советском Союзе. Однако честный вполне советский человек, каким был Гроссман, только нащупывал ту нить, которая связывала тоталитарные режимы Германии и Советского Союза. Гроссман робко прибли-

жался к истокам тоталитаризма, еще и не подозревая, куда его заведут размышления о природе двух режимов. В начале книги приводилась цитата из статьи Гроссмана 1945 года, где он прямо говорил о своей личной ответственности и необходимости перед погибшими товарищами написать книгу о войне, которую он видел глаза в глаза. Можно сказать, что этот внутренний посыл у Гроссмана не ослабевал ни на минуту. Отсылка же к «Войне и миру» была замечена первыми же читателями и вызвала как восторженную, так и раздраженную реакцию.

В письме от 31 марта 1950 года Тарасенков, сообщая Вишневному о решении напечатать в журнале книгу Гроссмана, радостно писал: «Роман огромного таланта». Но принять его в первоизданном виде они не могли и после обид, гневных писем вместе с Твардовским ездили к Гроссману, стараясь все уладить. После долгих переговоров — договорились. Хотя в марте Гроссман с раздражением писал Твардовскому:

Ваши предложения свелись к тому, чтобы превратить многоплановый роман, посвященный нашей армии и обществу в пору войны, в линейную повесть, состоящую из отдельных батальных сцен, и полностью, механически отсечь от романа, неотделимую от военных глав его, сущность. Вы предложили изъять из романа не только сотни отдельных страниц, не только десятки глав, но и целые части. <...> Естественно, что моя ответственность перед советским читателем, мое достоинство не позволяют мне принять, эти предложения¹⁸.

На фоне похвал, признания его таланта было нечто, что пришлось одолевать годы.

Гроссман завел дневник, в котором стал описывать историю продвижения романа по инстанциям, назвав его «Дневник прохождения рукописи». Из него и встает мучительная история борьбы за роман.

Итак, 6 апреля поступил отзыв из Генштаба; поскольку в романе был показан Жуков (в битве под Сталинградом), то требовалось согласование с ЦК. Генштаб осторожно указывал на то, что Жуков давно не появляется ни в фильмах, ни в других произведениях. Военное начальство не знало, как к фигуре маршала отнесется главный читатель, и боялось брать на себя ответственность за фигуру маршала.

19 апреля роман был сдан в набор, хотя и случилось это после горячего обсуждения на редколлегии. 28 апреля была получена верстка, а 29 апреля: «По доносу Бубеннова, — пишет Гроссман, — печатание приостановлено. Экстренное заседание Секретариата»¹⁹.

«Бубеннов был, — вспоминала А. Берзер, — в те дни как бы наследником мертвого бога на полумертвой земле и не спустился со своего Олимпа на это заседание. Все газеты были переполнены цитатами из него, им клялись, на него ссылались, на него равнялись. К этому стоит добавить, что и все последующие годы он проживет вполне благополучно — в большом почете. За всю мою жизнь до меня ни разу не долетела ни одна критическая, резкая и справедливая фраза о его “Белой березе”, “Орлиной степи”, “Стремнине” и других длинных и фальшивых сочинениях. Он будет издавать однотомники, двухтомники, собрания сочинений, а в ноябре 1979 года в связи с его семидесятилетием писатель Иван Падерин напишет: “Его книги — художественная летопись истории борьбы и побед нашего народа”; у Михаила Семеновича много друзей, почитателей его таланта, но он никогда и ничем не подчеркивает, прямо скажем, своего знаменитого положения в литературе...»²⁰.

Итак, из-за Бубеннова было предложено отложить печатание романа на два месяца. Роман предлагалось вновь отредактировать полностью и отдать на согласование в ЦК.

Гроссман редактирует снова. 31 мая он пишет в дневнике, что полностью закончен следующий этап редактирования Твардовским и Тарасенковым. Роман сдан в набор и выслан в ЦК. 1 июня Твардовский сообщает Гроссману о разговоре Суркова с Суловым, «как мне кажется непредубежденным, – отношением ЦК после шума, поднятого Бубенновым». 4 июля верстка ушла в ЦК²¹. Судьба романа пока развивается благополучно.

В это же время на даче на Николиной горе у Тарасенкова после двух сердечных приступов развивается инфаркт. В больницу он не едет, а лечится там же у доктора Российского.

Но роман вновь застревает в ЦК, несмотря на последнюю редакторскую правку. И вот, наконец, Гроссман не выдерживает и 6 декабря 1950 года лично обращается к Сталину.

В течение шести лет я работал над романом «Сталинград». Работу эту я считаю главной работой моей жизни. <...> Пять месяцев тому назад роман в сверстанном виде был послан редакцией в ЦК для получения разрешения на публикацию глав, в которых описано руководство партии и правительства. Ответ до сих пор не получен, и в редакции мне сообщили, что в связи с отсутствием ответа на вопрос о судьбе романа публикация его откладывается на неопределенное время. <...> Горячо прошу Вас помочь мне разрешить вопрос о судьбе книги, которую я считаю, главным делом своей жизни²².

Дальнейшие происшествия

Как только Тарасенков был назначен на работу в журнал, он решил попросить у Фадеева квартиру в новом пристроенном корпусе в писательском доме на Лаврушинском.

21 февраля 1950 года Тарасенков писал Фадееву:

Я собрал за 20 лет огромную библиотеку русской поэзии. Такой второй, пожалуй, нет в мире. Говорю не хвастаясь. А жилье старое, сыроватое, тесное, комнаты проходные. Ни разместить книги, ни работать невозможно.

<...> Предложение Твардовского идти работать с ним в «Новый мир» мне очень по душе. Работа в издательстве административная, нетворческая. Буду очень рад, если меня освободят от издательства²³.

Спустя полгода, 21 сентября 1950 года, Тарасенков вместе с семьей получили квартиру в Лаврушинском. Они оставили дом в Конюшках, где у них было две комнаты и куда приходили Цветаева и Пастернак, и стали соседями по подъезду с Борисом Леонидовичем. Но уже в декабре Тарасенков вновь — в больнице, а Мария Иосифовна пишет ему, что звонил Фадеев, и какой хороший у него был голос, и как хвалил очередную статью о Маяковском и языке. Но главное, выяснял, как квартира, и был рад, что все довольны. Она заканчивала письмо словами, что от Фадеева даже по телефону исходит редкое обаяние. Квартиру Тарасенков заработал «хорошим поведением». Наконец, все его книжная коллекция могла стоять на полках, а не прятаться в подвале. Это было почти полное счастье.

В последних письмах к Вишневскому Тарасенков общался, что уже переехал на Лаврушинский и что масса времени ушла у него на упаковку книг и строительство новых шкафов.

А Вишневский был уже при смерти. После войны он постоянно лежал то в больницах, то в санаториях. После поездки на Балтику, куда он отправился вместе с режиссером Чиаурели, чтобы показать ему место боев для съемок будущего фильма по своей пьесе, у него случился инсульт, и он лишился речи. Сначала он вернулся к жизни, а спустя несколько месяцев инсульт повторился, и зимой 1950 года он перестал говорить и писать.

Он прожил еще несколько месяцев, и не диагностированная врачами пневмония привела его к скорому концу. Несмотря на хороший медицинский уход в лучшей Кремлевской больнице, спасти его не удалось. Вишневский умер в феврале 1951 года. Его жена спустя год отнесла его смерть к проискам врачей-вредителей.

3 января 1951 года Гроссман, Твардовский и Тарасенков едут к Фадееву в Переделкино. Фадеев всех успокаивает и говорит, что роман получил высокую оценку в ЦК и надо сделать только всего несколько доделок. Но 20 апреля Фадеев попадает в больницу, а затем в санаторий Барвиха, и публикация романа снова останавливается.

11 июля 1951 г. истерзанный Гроссман пишет Фадееву:

<...> Видно, не справился я со все нарастающим, мучительным, двухлетним напряжением ожидания, которым увенчалось мое семилетнее рабочее напряжение — здоровье мое в последнее время совсем раскисло <...>. Но после семи лет работы, двух лет редактирования, переделок, дописывания и

ожидания, мне кажется, я вправе обратиться к товарищам, рассматривающим вопрос о судьбе «Сталинграда», сказать:

«Нет больше моих сил, прошу любого ответ, лишь бы он был окончателен»²⁴.

За месяц до этого, 16 июля, Тарасенков писал Твардовскому с Николиной горы, что его навестил Гроссман.

Извелся он до безумия. Но Фадеев обещал ему, что доведет дело до конца, даже находясь в своем годичном отпуску.

Он также рассказывает, что Фадеев звонил ему по поводу помощи с путевками в санаторий.

Очень хвалил книгу Гурвича, — продолжает, — и рекомендовал ее печатать в «Новом мире» (кажется, ты тоже в курсе этого разговора Фадеева). Я тоже положительно отношусь к работе Гурвича, но боюсь засилья бывших космополитов у нас в «Новом мире». Надо бы очередную статью Мотылевой при помощи Фадеева переправить тихо-тихо в «Знамя» или «Октябрь». Я об этом Фадееву намекнул²⁵.

Как видим, Фадеев не оставил попыток спустя два года помочь своему старому другу Гурвичу, который, обруганный космополитом и изгнанный из всех редакций, жил очень тяжело. В начале кампании жена Гурвича после попыток Фадеева привезти товарищу денег обещала лично спустить его с лестницы. Но Фадеев все-таки пытается. А неоднократно битый Тарасенков, как в воду

глядел, он напечатает Гурвича, за что и ответит, как это бывало не раз.

В ноябре 1951 года редколлегия «Нового мира» выпускает по своему поводу самобичующее постановление.

«Обсудив редакционную статью газеты “Правда” от 28 октября 1951 года “Против рецидивов антипатриотических взглядов в литературной критике”, редколлегия журнала “Новый мир” полностью признает справедливость той критики, которой “Правда” подвергла статью А. Гурвича “Сила положительного примера”. Опубликование статьи А. Гурвича в “Новом мире” редколлегия считает своей серьезной идейной ошибкой, свидетельствующей о том, что в журнале еще не изжито либеральное отношение к попыткам протащить в литературную критику идейно чуждые, порочные взгляды. Работники журнала “Новый мир” не сумели разглядеть антипатриотический смысл статьи А. Гурвича, его порочную оценку истории русской классической и советской литературы и проповедь чуждых марксизму-ленинизму эстетических воззрений.

Опубликование статьи А. Гурвича на страницах журнала “Новый мир” оказалось возможным вследствие притупления бдительности редколлегии. Статья А. Гурвича появилась на страницах журнала без предварительного широкого обсуждения ее с активом писателей и критиков, что свидетельствует о недооценке редакцией общественных форм работы над рукописью. Исходя из вышесказанного, редколлегия считает необходимым: опубликовать в ближайших номерах журнала ряд статей, которые дали бы читателю правильную партийную ориентировку в основных вопросах литературной критики и социалистической эстетики, подчеркивая величие русского классического наследства и неразрывную преемственность советской литературы по отношению к классике.

Редколлегия считает необходимым шире привлекать актив авторов для коллективного обсуждения отдельных новых произведений до их опубликования в журнале.

Редколлегия считает совершенно ненормальным такое положение, когда ряд ее членов (М.С. Бубеннов, К.А. Федин и М.А. Шолохов) фактически самоустралился от участия в работе журнала, тем самым сведя на нет значение редколлегии как органа коллективного руководства журналом.

Редколлегия журнала «Новый мир» просит секретариат ССП принять меры к устранению этого ненормального положения»²⁶.

Редколлегия «Нового мира» просит Фадеева и его товарищей, чтобы они помогли исправить ошибки.

Жизнь в «Новом мире»

И снова в согласованиях по роману Гроссмана проходит год. Опять встречи, звонки и редактура, редактура. Казалось, из романа уже выжали все, что только можно. Наконец, 23 мая 1952 года роман снова сдан в набор — в четвертый раз.

2 июля в седьмом номере «Нового мира» вышла первая часть романа! Это все казалось почти невероятным. Но он вышел! Появилось несколько благожелательных, восхищенных рецензий.

Виктор Некрасов отозвался на роман письмом:

Вы написали хорошую, умную, честную (а как этого теперь не хватает!) талантливую книгу. Неужели после вашей книги не поймут, что нельзя так писать, как мы теперь пишем? Неужели этого не поймут?

Ю. Герман:

...Ваша книга произвела на меня огромное и неизгладимое впечатление. Это — первая книга о войне, первая настоящая, да и не только о войне, а о многом другом — самом главном на земле²⁷.

Но, видимо, не случайно Бубеннов не подписал верстки романа и сообщил Тарасенкову, что собирается уйти из журнала. На самом деле он ждет своего часа.

25 июня 1952 года Василий Гроссман радостно пишет Фадееву:

Дорогой Александр Александрович, спасибо Вам за поздравления. Я думаю, что ни написать сейчас, ни рассказать при встрече не смогу Вам, что я пережил в эти дни. Вы знаете — увидев июльскую книжку журнала, я после стольких лет печатания и перепечатывания был душевно потрясен сильнее и глубже, чем в тот миг, когда я увидел первый свой рассказ в «Лит<ературной> газете»²⁸.

12 августа 1952 года расстреливают членов Антифашистского комитета. Среди них Перец Маркиш, Лев Квитко, Вениамин Зускин и многие другие. Об этом нигде не сообщается. Но это неведомое событие исподволь формирует будущие трагедии.

На волне удачи Тарасенков пытается напечатать в своем критическом отделе что-нибудь особенно смелое. Молодой критик Владимир Огнев вспоминал, как они решили посягнуть на святое — сложившиеся правила советской критики, которая начисто была лишена самостоятельности.

«Еще до наделавшей шума статьи “Ясности!” о Маяковском, которую Ан. Тарасенков просунул только в отсутствие А. Твардовского (он был в отпуске) и за публикацию которой долго журил Тарасенкова Александр Трифонович, в 1952 году тот же Тарасенков пытался поставить в номер еще одну мою статью “У нас нет критики” (в планах статья именовалась “Если говорить начистоту...”). В архиве сохранилась рукопись, вся испещренная пометками члена редколлегии М. Бубеннова: “Здесь все против указаний партии!”, “От имени кого говорит автор? Клевета!”, “Это троцкистские штучки!”, “Могут ли эти “факты” иллюстрировать Ваши “Положения”, носящие антипартийный характер?”, “Какая возмутительная манера письма!”, “Автор всерьез говорит такие антисоветские вещи?”, “Врет автор!”, “Клевета! Антисоветская клевета!”, “Подло!” и т.д. Ну, прямо пометки Сталина на полях работы Каутского!

Вот некоторые цитаты, вызвавшие такой гнев Бубеннова.

«У нас критика все — и табель о рангах, и форум красноречия, и кормушка. Только не страстное слово правды, только не спор об истине, только не волнение мысли».

«Критика существует как-то до стыдного незаконно. К ней отношение, как к галстуку в жаркую погоду. С ним хлопотно, он мешает, но без него будто и неприлично».

«...Плохо умеем спорить. А без этого нет критики. В творческой практике нашей укрепилось странное ведомственное подведение итогов: “заключительная статья редакции”, “итоговая статья дискуссии”, после которых иначекомыслящие вынуждены прикусить языки. Но разве в искусстве спор об истине решается большинством голосов?» (реплика на полях: “А разве нет?”).

«Многие ошибки критики имеют корни в литературе, состоянии которой можно сравнить с состоянием

атмосферы. Только очень наивные люди стали бы петь на барометр, который лишь честно (если он исправен) регистрирует показания погоды.

Критика – лишь барометр». <...>

«Многоуважаемый Ан. Кузьмич! – писал М. Бубеннов. – Категорически возражаю против напечатания этой обывательской, клеветнической, полутроцкистской статьи. С прив<етом> Мих. Бубеннов, 1 окт<ября> 1952 г.»²⁹.

Конечно «полутроцкистская» статья не была напечатана. А Бубеннов терпеливо ждет своего часа, несмотря на всеобщее оживление и радость по поводу победы Гроссмана.

13 октября роман «За правое дело» выдвинут секцией прозы СП ССР на Сталинскую премию. Появляются восторженные рецензии в журнале «Молодой коммунист», «Огонек», «Вечерний Ленинград». Критики всерьез пишут о том, что Гроссман написал советскую «Войну и мир».

Пастернаку было чрезвычайно интересно сравнить своего «Доктора Живаго» с тем, что сделал Гроссман. Но роман «За правое дело» его разочаровал и он подробно написал об этом Ариадне Эфрон в ее туруханскую ссылку 19 октября 1952 года:

...тут много шуму наделал напечатанный в четырех номерах «Нового мира» (с седьмого по десятый) роман В. Гроссмана «За правое дело». Все советовали прочитать. Я воспользовался вынужденным досугом и стал читать.

Мне очень понравилось начало, описание первой ночи войны на границе, множество определе-

ний, умных и глубоких, множество зарисовок, живых и поэтических, строки о Яснополянском доме, все о письме матери (Штрума) и его чтении сыном, вся часть об эвакуации детдома и воздушном налете немцев на Сталинград, все о национал-социалистах в Берлине. Но серых, неряшливо написанных страниц, держащихся на риторической приподнятости и нравственном штампе, становилось все больше, в третьей части я автору уже не верил, в четвертой был чем-то восстановлен против него. Я не выношу этой ложной глубины и расхожего, возвышенного образа мыслей по всякому поводу: «Любовь матери... была также нужна, как этот кусок солдатского хлеба». Я не верю мелькающим на каждом шагу всеобщностям (таким что ли: он посмотрел на закат и вспомнил то-то, и то-то, и сырость осени, и детство в деревне, и пр., и пр., и целая вселенная). Это хорошо, и бывает иногда и тогда надо правильно передать в эту редкость. <...> На 600 страниц текста страниц 60 истинных и живых. Как могло это случиться у человека с умом и талантом? Это тоже, как зубы, меня расстроило.

Когда в начале он несколькими страницами захватил меня, я был готов склониться перед ним и отдать ему все, он должен был поправить меня и уничтожить. Но этого не случилось. Не изменил моей природы, не освободил моих «клеток» от придурки, и этот пример, и этот разговор по-взрослому, в требующем направлении, такой яркий и талантливый, но и такой противоречиво плоский и неполный! <...> Но, может быть, я завидую, пристрастен и ошибаюсь? Проверь, пожалуйста. Достань, если есть у вас в клубе, эти четыре книжки и про-

чти. Там есть много прекрасного, многие места потрясут тебя. Искренно напиши мне, что ты думаешь³⁰.

Пастернак. 1951–1952 годы

Через два дня после этого письма 21 октября 1952 года у Пастернака случился инфаркт. Он даже написал в одном из писем, что удар случился с ним под влиянием романа Гроссмана. Однако думается, что за последние несколько лет в нем накопилось столько боли, что инфаркт стал отложенным итогом всех его страданий. Его отвезли в Боткинскую больницу, места в палате не оказалось, его положили в коридоре.

...Когда это случилось, — писал он спустя месяцы Нине Табидзе, — и меня отвезли, и я пять вечерних часов пролежал сначала в приемном покое, а потом ночь в коридоре обыкновенной громадной и переполненной городской больницы, то в промежутках между потерей сознания и приступами тошноты и рвоты, меня охватывало такое спокойствие и блаженство!

Я думал, что в случае моей смерти не произойдет ничего не своевременного, непоправимого.
<...>

А рядом все шло таким знакомым ходом, так выпукло группировались вещи, так резко ложились тени! Длинный верстовой коридор с телами спящих, погруженный во мрак и тишину, кончался окном в сад с чернильной мутью дождливой ночи и отблеском городского зарева, зарева Москвы, за верхушками деревьев. И этот коридор, и зе-

ленный жар лампового абажура на столе у дежурной сестры у окна, и тишина, и тени нянек, и соседство смерти за окном и спиной — все это по сосредоточенности своей было таким бездонным, таким сверхчеловеческим стихотворением!

В минуту, которая казалась мне последнею в жизни, больше, чем когда-либо до нее, хотелось говорить с Богом, славословить видимое, ловить и запечатлеть его. «Господи, — шептал я, — благодарю тебя за то, что ты кладешь краски так густо и сделал жизнь и смерть такими, что твой язык — величественность и музыка, что ты сделал меня художником, что творчество — твоя школа, что всю жизнь ты готовил меня к этой ночи.

И я ликовал и плакал от счастья³¹.

Для поэта жизнь — такой же творческий акт, как все его труды над стихами и прозой. Эти строки о больнице не рисовка, не попытка выглядеть бесстрашным перед лицом смерти, Пастернак абсолютно так же вел себя, когда в первые месяцы войны под бомбами собирал зажигалки на крыше своего дома в Лаврушинском переулке, так же как в эвакуации в Чистополе, стоя в ледяной камской воде, грузил бревна и принимал всю тяжесть и убогость жизни как высшее счастье, которое выпало на его долю. Он чувствовал ритм своей жизни, ее спады и подъемы, высоты и падения — и жаждал еще на земле понять свое высшее предназначение. Удивительно, что он был награжден еще семью с половиной годами, чтобы пройти свою Голгофу с «Доктором Живаго» и оставить мир, завершив все, что ему должно было доделать на земле.

И в этой инфарктной драме Пастернак и Ахматова снова шли рука об руку; только она пережила свою тяжкую болезнь годом раньше, в 1951 году.

В больнице, едва придя в себя, он, пугаясь, что случится неизбежное, просил свою близкую приятельницу и переписчицу его текстов Марию Баранович, передать детям Ольги Ивинской тысячу рублей. Ирина Емельянова помнила, как пришли из больницы деньги, которые были так нужны.

12 января 1953 года Пастернак написал Ариадне Эфрон, которая тоже не смогла бы без него выжить в далекой ссылке:

Аля, Алечка! ты и твои слова все время были со мной. Я — дома, скоро с Зиной поеду в санаторий. Все время чувствую сердце, теряюсь, до каких границ распространять осторожность, всякое ли сжатие, укол и прочее принимать за предупредительный сигнал, но тогда можно с ума сойти. Двухмесячной лежкой належал себе снова затрудненную подвижность шеи (отложение солей). Но все это пустяки!

О, как по-маминому, по-нашему было все в больнице первые ночи, пока было опасно, на пороге смерти! Как огромно и торжественно было около Бога! Как я ликовал, как благодарил его, как молился. Господи, шептал я, — сейчас это только слова благодарности, если же ты унесешь меня, весь я с головы до ног, со всей моею жизнью стану благодарственным тебе приношением, и смешаюсь с другими такими дарами тебе и растворюсь в вековечном отзвуке твоего дела.

Милый друг, без конца целую тебя³².

**Дело врачей-вредителей.
Январь – февраль 1953 года**

13 января 1953 года ТАСС сообщил о раскрытии заговора «кремлевских врачей».

«Некоторое время тому назад органами Государственной безопасности, — писала газета “Правда”, — была раскрыта террористическая группа врачей, ставивших своей целью, путем вредительского лечения, сократить жизнь активным деятелям Советского Союза.

В числе участников этой террористической группы оказались: профессор Вовси М.С., врач-терапевт; профессор Виноградов В.Н., врач-терапевт; профессор Коган М.Б., врач-терапевт; профессор Коган Б.Б., врач-терапевт; профессор Егоров П.И., врач-терапевт; профессор Фельдман А.И., врач-отоларинголог; профессор Этингер Я.Г., врач-терапевт; профессор Гринштейн А.М., врач-невропатолог; Майоров Г.И., врач-терапевт.

Документальными данными, исследованиями, заключениями медицинских экспертов и признаниями арестованных установлено, что преступники, являясь скрытыми врагами народа, осуществляли вредительское лечение больных и подрывали их здоровье.

Следствием установлено, что участники террористической группы, используя свое положение врачей и злоупотребляя доверием больных, преднамеренно злодейски подрывали здоровье последних, умышленно игнорировали данные объективного обследования больных, ставили им неправильные диагнозы, не соответствовавшие действительному характеру их заболеваний, а затем неправильным лечением губили их.

Преступники признались, что они, воспользовавшись болезнью товарища А.А. Жданова, неправильно диагно-

стировали его заболевание, скрыв имевшийся у него инфаркт миокарда, назначили противопоказанный этому тяжелому заболеванию режим и тем самым умертвили товарища А.А. Жданова. Следствием установлено, что преступники также сократили жизнь товарища А.С. Щербакова, неправильно применяли при его лечении сильнодействующие лекарственные средства, установили пагубный для него режим и довели его таким путем до смерти.<...>

Установлено, что все эти врачи-убийцы, ставшие извергами человеческого рода, растоптавшие священное знамя науки и осквернившие честь деятелей науки, — состояли в наемных агентах у иностранной разведки.

Большинство участников террористической группы (Вовси М.С., Коган Б.Б., Фельдман А.И., Гринштейн А.М., Этингер Я.Г. и др.) были связаны с международной еврейской буржуазно-националистической организацией “Джойнт”, созданной американской разведкой якобы для оказания материальной помощи евреям в других странах. На самом же деле эта организация проводит под руководством американской разведки широкую шпионскую, террористическую и иную подрывную деятельность в ряде стран, в том числе и в Советском Союзе. Арестованный Вовси заявил следствию, что он получил директиву “об истреблении руководящих кадров СССР” из США от организации “Джойнт” через врача в Москве Шимелиовича и известного еврейского буржуазного националиста Михоэлса.

Другие участники террористической группы (Виноградов В.Н., Коган М.Б., Егоров П.И.) оказались давнишними агентами английской разведки.

Следствие будет закончено в ближайшее время».

Трудно представить, с каким ужасом читали нормальные люди этот текст. Кроме того, большинство совет-

ской элиты, и в том числе и писатели, знали этих «извергов человеческого рода» многие годы, лечились у них сами и лечили свои семьи и детей. Ощущение безумия, нового витка антисемитизма не могло не вызвать общий шок. Несколько месяцев, предшествующих смерти Сталина, даже люди нормальные и крепкие отличались особенно неадекватным поведением.

Дело врачей – это не только история сталинского антисемитизма, это последняя петля огромной паутины, в которой, наконец, запутался и погиб сам вождь всех народов. Старость, зависимость от медиков делали его вечную подозрительность и вовсе гипертрофированной. Но главное, Сталин, сам неоднократно использовавший врачей в своих целях, а именно в устранении его предполагаемых противников, теперь не мог не думать, что с ним сделают то же самое.

Любая паранойя имеет вполне реальные основания. По сути, это бумеранг, возвращающий подлые поступки к их создателю. Если человек обманывает, лжет, подкупает людей в своих целях, то рано или поздно ему будет казаться, что так делают и остальные. На этом порой основана психология тайных служб и людей, работавших в органах безопасности, которым порой невозможно представить, что люди делают что-либо без задней мысли и тайного умысла. Так или иначе, но Сталин дошел до столь опасной черты, за которой начиналось настоящее безумие.

Спустя месяц, 13 февраля 1953 года, в «Правде» была опубликована статья Бубеннова «О романе Гроссмана “За правое дело”». Начав с того, что в романе есть яркие сцены, отдельные главы интересно написаны, Бубеннов почти сразу же переходит к тому, что образы советских людей автором романа принижены, они серы и обык-

новенны, не отражена руководящая и организующая роль партии, а также в Сталинградской битве не показан рабочий класс. Что же касается философии романа, то она вызывает самую большую ярость, рассуждения о корнях нацизма, фашизма, причинах войны названы критиком «пустой болтовней».

Заканчивается статья в «Правде» не только приговором роману Гроссмана, но, в первую очередь, всем тем, кто посмел его высоко поставить: «...в оценке романа В. Гроссмана “За правое дело” проявились идейная слепота, беспринципность и связанность некоторых литераторов приятельскими отношениями. Не трудно видеть, какой ущерб наносит все это развитию советской литературы».

Видно, как копилась ненависть не только к Гроссману, но и ко всем, кто ему помогал. Но надо было выбрать время, которое позволило бы нанести смертельный удар.

«Статья Бубеннова — палаческая, — писал Семен Липкин, — мы, к нашему несчастью привыкли к палаческим статьям о литературе и искусстве, но тут в палаческом ремесле намечалась, какая-то новация, и читатели это поняли»³³.

Дальше посыпались гневные рецензии. Собрания, на которых критики, называвшие ранее роман Гроссмана «советским “Войной и миром”», говорили, что эта книга «плевок в лицо русского народа»³⁴.

Весь период с 13 февраля по 3 марта 1953 года, когда было особенно страшно, Гроссман прятался на подмосковной даче Семена Липкина, стараясь никуда не выезжать и не выходить.

А тем временем Фадеев начал «принимать меры». Сначала он вызвал Гроссмана к себе домой и стал уго-

варивать его покаяться, публично отречься от романа. Гроссман категорически отказался.

И вот тут-то Фадееву понадобилось кого-нибудь принести в жертву. Выбор пал на Тарасенкова. Он, который последние годы во всем следовал линии Фадеева и старался не высовываться, стал заложником «дела Гроссмана».

М.И. Белкина писала в отрывочных воспоминаниях: «Громили и Гроссмана, и Гурвича, и отдел критики, которым руководил Тарасенков, и журнал в целом. Василий Семенович держался независимо и стойко, он ничего не признавал, нигде не появлялся и этим еще пуще бесил тех, кто размахивал нагайкой. Тарасенков, конечно, бегал бы на все собрания и проработки и каялся бы и признавал “ошибки”, но у него было предынфарктное состояние, он лежал.

В разгар событий позвонил Фадеев, поздно, должно быть из дому, уже после очередного собрания. Я слушала по отводной трубке.

— Тебе придется подать заявление об уходе из журнала по болезни... Ты ведь и правда болен! Тебе так будет лучше... — и, злясь, должно быть, и на себя и на то, что Тарасенков стал что-то возражать, уже на высоких нотах кричал: — Не подавать же мне в отставку или снимать Твардовского?! А этой банде антисемитов надо бросить кость! Вот ты и будешь это костью! Пускай подавятся смоленским мужиком!.. Сам понимаешь, тут без оргвыводов никак нельзя!..»³⁵

Роман редактировал сам Фадеев, и все его требования учитывались Твардовским и Тарасенковым, но это не имело значения.

Тарасенков конечно же написал заявление об уходе. По иронии судьбы, заявление было подано 22 марта 1953 года, когда весь кошмар, связанный с «убийцами в белых халатах» остался позади.

Из-за плохого состояния здоровья я не могу сейчас принимать участия в ряде важных партийных заседаний в ССП. Считаю нужным обратиться к товарищам со следующим письмом.

За последнее время подвергся серьезной партийной критике роман В. Гроссмана «За правое дело», напечатанный в «Новом мире». Считаю своим партийным долгом заявить, что я согласен с этой критикой. Идейные пороки романа В. Гроссмана заключаются в первую очередь в его ложной философии, выраженной через образы Штрума и Чепыжина, в отсутствии показа великой идейной организующей роли партии, в мотивах обреченности, с точки зрения которой изображены воины Сталинграда. Некоторые из этих идейных пороков произведения я, как другие товарищи, отмечали на заседаниях редколлегии «Нового мира» еще задолго до появления романа в печати, настаивали на их исправлении. Но мы не сумели понять тогда порочность романа Гроссмана в целом, мы удовлетворились теми сокращениями и поправками, которые внес автор, хотя, по сути дела, эти поправки не меняли идейную суть произведения. Редколлегия «Нового мира» допустила серьезную ошибку, опубликовав роман В. Гроссмана. Как заместитель главного редактора журнала я разделяю с моими сотоварищами по редколлегии вину за эту ошибку³⁶.

Мария Иосифовна вспоминала: «Мне тогда надо было заплатить партвзносы за Тарасенкова, и я пришла в партком. Там я застала Софронова и Чаковского, членов парткома, они всегда были со мной любезны как с дамой, а тут глядели как сквозь стеклянную дверь, и я сразу догада-

лась — Тарасенкову готовится серьезное взыскание! Я прошла в кабинет к секретарю парткома, им был Владыкин, про него говорили, что он добрый человек. И я ему сказала, что — у Тарасенкова были уже два инфаркта, врачи говорят, что третий он не переживет. Что у него сейчас очень плохое состояние. А я повешусь и напишу, что убийца он, секретарь парткома, и весь партком вместе взятый, и что-то еще в этом роде говорила.

Владыкин почему-то шепотом стал уговаривать меня не волноваться, я, наверное, очень громко говорила. Он налил мне воду из графина и дал слово — никакого взыскания Тарасенкову не будет, все ограничится тем, что он будет снят из журнала “по собственному желанию”»³⁷.

24 марта заседание на президиуме Союза писателей выступил Фадеев, он рассказал о непоправимой ошибке, которую они допустили, выпустив роман в печать. И далее, все то же, что у Бубеннова: роль рабочего класса, колхозного крестьянства, плохо показана трудовая интеллигенция, так как она слишком буднична (!), печать будничности лежит на всей семье и романе. Реакционная философия круговорота «добра» и «зла» в истории и человеке, которая противоречит нашей марксистско-ленинской философии.

Уроком тех лет будет то, что Фадееву трижды за короткий срок придется менять позицию по роману Гроссмана. Это будет настоящим публичным позором, так как все эти перепады произойдут в течение всего трех лет.

Потом выступал Твардовский. Он тоже каялся, жаловался, что не разглядел в постоянно редактируемой рукописи того окончательного варианта, который оказался так плох. Опять же разговор про псевдофилософию, и далее признание ошибок, ошибок, ошибок.

25 марта снова обсуждение романа, теперь уже в редакции «Нового мира», и так до бесчувствия.

Как писала А. Берзер, Твардовский после тех унижительных собраний никогда больше не отречется ни от одной напечатанной им в журнале страницы. Но это будет годы спустя, а пока он должен был пройти через горькое унижение и внутренний позор, который выведет его к глубокому осознанию своей ответственности перед авторами.

28 марта Фадеев опубликовал в газете свой доклад, сделанный на президиуме Союза писателей, полный уничтожающей критики. На Фадеева мало кто обижался, все знали, что он выступает как некая функция, другой вопрос, как это сказывалось на его собственной жизни.

А Тарасенков? Он снова оказался пешкой в огромной игре, и давно с этим смирился. Пешку очередной раз съели. Каждый такой случай неминуемо приближал его к концу. Вряд ли он обижался на Фадеева. Ведь он и сам делал то же самое. Это входило в правила игры. А вот утрата дружбы с Твардовским, другом юности, была для Тарасенкова мучительна. И для Твардовского тоже.

М.И. Белкина вспоминала, как дважды он приходил к ним на Лаврушинский после изгнания Тарасенкова из журнала и дважды не заставал его дома — он лежал то в одном, то другом санатории. Они сидели с Марией Иосифовной за столом, Твардовский пил, что-то рассказывал о себе, а она понимала, что тот чувствует вину, но не может ей сказать об этом. Однажды ему стало плохо с сердцем, она вызвала «скорую», и пока та не приехала, сидела и держала его за руку; он очень просил ее об этом. Приехала «скорая», сделали укол, и он еще немного полежал и ушел. С живым Тарасенковым он так больше не увиделся.

Смерть Сталина

Страсти по роману Гроссмана кипели в тот момент, когда Сталин умирал, а затем еще спустя две недели после его смерти.

В ночь на 1 марта 1953 года у Сталина случился второй инсульт, уже более сильный, чем первый, после чего он впал в кому. Ирония истории была в том, что лучшие из врачей, которые могли ему помочь, сидели на Лубянке. ТАСС сообщил, что 5 марта в 21 часов 50 минут Сталин умер. Газета «Правда», начиная с 7 марта выходила в траурной раме, демонстрируя изо дня в день на своих страницах Сталина в гробу.

«Я помню, как я редела, когда умер Сталин! — вспоминала Мария Белкина. — И еще как редела! Мне не его было жаль. Мне казалось — все рушится... А мои теперешние товарищи, прошедшие — и н у ю школу — тогда пили, празднуя, что они в ы ж и л и и пережили его! Я редела в Доме кино на Воровского, там был траурный митинг писателей.

Дом литераторов еще не был построен, а дубовый зал бывшей масонской ложи не мог всех вместить. Я стояла где-то в ряду десятом, а прямо напротив меня на сцене среди других членов секретариата стоял Твардовский, и слезы текли по его щекам, и он их не вытирал...»³⁸

И лежат они рядом
В тиши величавой гробницы
У Кремлевской стены,
Посреди неумолчной столицы.

Неподвижны навек
Их не знавшие устали руки...
Снова вместе они,
Да они и не знали разлуки —

написал Твардовский в стихотворении с характерным названием «У великой могилы», включенном в поэтический сборник «Сталин в сердце», выпущенный как отклик на смерть вождя. Опять язык беспощадно выдает себя. Само название «Великая могила» и две лежащие вместе мумии — абсурд, который в слове, в стихотворных строках становится еще объемнее. Руки, венки, потоки слез — основной мотив всех поэтических посвящений того времени, и у Пастернака в письмах мы находим те же самые мотивы.

Правда, у Пастернака не было ни одной поэтической строки на смерть вождя, но он все-таки ответил иначе, по-своему, загадочным письмом на статью Фадеева «Гуманизм Сталина», вышедшую в «Правде» 12 марта 1953 года.

Известие о смерти Сталина Пастернак получил в санатории «Болшево», где долечивался после инфаркта. 7 марта 1953 года он написал Г.И. Гудзь:

Нынешнее трагическое событие застало меня тоже вне Москвы, в зимнем лесу, и состояние здоровья не позволит мне в дни прощания приехать в город. Вчера утром вдали за березами пронесли свернутые знамена с черною каймою, я понял, что случилось. Тихо кругом. Все слова наполнились до краев значением, истиной. И тихо в лесу³⁹.

Сразу надо сказать, что Пастернак фиксирует в нескольких письмах той поры ощущение окончания эпохи, разрыва во времени. Он признается Фадееву, что ему необходимо кому-то излить чувства, переполняющие его в связи с этим огромным событием:

Как поразительна была сломившая все границы очевидность этого величия и его необозри-

мость! Это тело в гробу с такими исполненными мысли и впервые отдыхающими руками вдруг покинуло рамки отдельного явления и заняло место какого-то как бы олицетворенного начала, широчайшей общности, рядом с могуществом смерти и музыки, могуществом подытожившего себя века и могуществом пришедшего к гробу народа. Каждый плакал теми безотчетными и несознаваемыми слезами, которые текут и текут, а ты их не утираешь, отвлеченный в сторону обогнавшим тебя потоком общего горя, которое задело и тебя, проволоклось по тебе и увлажнило тебе лицо и пропитало собою твою душу. А этот второй город, город в городе, город погребальных венков, поднявшийся на площади! Словно это пришло нести караул целое расчительное царство, в полном сборе явившееся на похороны⁴⁰.

Прервем цитату.

Отдыхающие руки, царство, город венков, бессознательные, текущие без конца слезы — знак этих дней. Пастернак в 1936 году написал стихотворение, посвященное Сталину «Мне по душе строптивый нор», на которое он оглядывался, когда писал об ахматовском цикле «Слава миру»; там были такие слова:

А в те же дни на расстояньи
За древней каменной стеной
Живет не человек — деянье:
Поступок ростом в шар земной.
Судьба дала ему уделом
Предшествующего пробел.
Он — то, что снилось самым смелым,
Но до него никто не смел.

Здесь явная переключка стихотворения с отрывком из письма. Пастернак в письме повторяет весь сюжет стихотворения. Там — «человек — деяние» и здесь: «тело... вдруг покинуло рамки отдельного явления и заняло место какого-то как бы олицетворенного начала, широчайшей общности, рядом с могуществом смерти и музыки».

Как это ни покажется странным, Пастернак абсолютно безоценочен в отношении к Сталину, он рассматривает его скорее как метафизическое явление. Советский вождь подобен стихии: наводнению, землетрясению, смерчу, то есть явлению природы и явлению истории, не имеющему понятия о добре и зле. Стихия бесстрастна, ее невозможно оценивать с точки зрения нравственности. Сталин в тот момент для Пастернака — олицетворение огромной гулкой массы людей, которая им живет и им разговаривает. «Гигант дохристианской эры» именно так определял Пастернак Сталина, говоря с А. Гладковым в эвакуации в Чистополе.

Подобно языческому дохристианскому хаосу разворачиваются картины столкновения прежней России с густой большевистской массой, победно заливающей пространство старой империи; и эта варварская стихия порождает новых вождей, что находит отражение в историко-философском романе «Доктор Живаго».

Продолжим цитату ...

Какое счастье и гордость, что из всех стран мира именно наша земля, где мы родились и которую уже и раньше любили за ее порыв и тягу к такому будущему, стала родиной чистой жизни, всемирно признанным местом осушенных слез и смытых обид!⁴¹

Этот абзац не о Сталине, он о народе и его утопических, сладостных чаяниях; о Советском Союзе, который в сознании миллионов стал «местом осушенных слез и смытых обид». Здесь Пастернак абсолютный поэт, потому что он, как и его великий литературный предок Дон-Кихот, говорит о страстной любви и жажде Идеала.

Все мы юношами вспыхивали, — продолжает Пастернак, — при виде безнаказанно торжествовавшей низости, втапывания в грязь человека человеком, поругания женской чести. Однако как быстро проходила эта горячка.

Но каких безмерных последствий достигают, когда, не изменив ни разу в жизни огню этого негодования, проходят до конца мимо всех видов мелкой жалости по отдельным поводам к общей цели устранения всего извращения в целом и установления порядка, в котором это зло было бы немислимо, невозникаемо, неповторимо!⁴²

Это вновь как в стихах:

Он — то, что снилось самым смелым,
Но до него никто не смел.

Здесь проходит тонкая смычка поэта Пастернака и большевика-ленинца Бухарина. Ведь Пастернак искренно верил в то, что их революционные порывы выросли именно из жажды рыцарства и справедливости. В черновиках романа «Доктор Живаго» есть слова, посвященные таким революционерам: «Как он любил всегда этих людей, убеждения и дела, фанатиков революции и религии! И как никогда, никогда не задавался целью уподобиться им и последовать за ними»⁴³.

Вот в чем дело. Он и его любимый герой Живаго, не имеющий сил изменить ход вещей, наблюдающий за движением стихии, стремится к недостижимому Идеалу (потому Живаго и уважает Стрельникова, за подобное стремление к Идеалу), и хотя стихия сминает Живаго, но она бессильна уничтожить его дух. Пастернак и Живаго в противоположность великому хаосу способны в одиночку выходить на подмостки истории; для них остается абсолютной — личная свобода, ответственность, совесть, раскаяние.

Но верил ли Пастернак, когда писал эти строки Фадееву, в то, что «зло невозникаемо, немыслимо, неповторимо, когда проходишь к общей цели, не замечая всех видов мелкой жалости?» Да, в момент общей экзальтации, переживаемой всей страной, он, безусловно попал в ее огромное энергетическое поле. Вместе со всеми был оглушен общим горем. И как поэт был увлечен дописыванием последних черт Великой Утопии, Великого Проекта, который, как он, безусловно, понимал, заканчивался вместе со смертью Сталина.

Даже в тот высокий момент Пастернаку все равно никуда было не деться от конкретного зла, которое шлейфом тянулось за титанической фигурой Сталина. Наверное, поэтому Пастернак и посылает это письмо именно Фадееву, а не кому-то из близких и друзей; с ним он может говорить о Сталине отвлеченно и в то же время доброжелательно, зная отношение Фадеева к вождю. Несмотря на глубокие рассуждения этого письма, нельзя не отметить, что Пастернак поддался, был подхвачен общей волной горя, но увидел все абсолютно по-своему.

В то же время нельзя отрицать, что между Пастернаком и Сталиным существовали невидимые узы, о чем уже много написано. Письма и личные просьбы Пастернака доходили до Сталина и иногда имели ответ. Возможно,

Пастернак, как и многие из его окружения, не предполагал, что Сталин лично ответственен за террор; все-таки информация об этом стала доступной только после XX съезда, в понимании многих людей этого поколения, террор осуществляла безличная охранительная машина, сметающая все на своем ходу. А Сталин всякий раз умел убедить общество, что эта машина выходит из-под контроля, но он могучим движением останавливает ее на полном ходу.

И все-таки спустя только год в письме к Ольге Фрейденберг Пастернак напишет:

Не страдай за меня, пожалуйста, не думай, что я терплю несправедливость, что я недооценен. Удивительно, как уцелел я за те страшные годы. Уму непостижимо, что я себе позволял!! Судьба моя сложилась именно так, как я сам ее сложил. Я многое предвидел, а главное, я многого не в силах был принять, — я многое предвидел, но запасся терпением не на такой долгий срок, как нужно. И, как я писал тебе, время мое еще далеко⁴⁴.

Про страшные годы Пастернак говорил и в конце 30-х, и в 40-х годах. Но они совмещались для него с величием эпохи. Согласно признанию, сделанному в стихотворении «Художник», между поэтом и кремлевским затворником, как в двухголосой фуге, хотя они находились на противоположных осях существования, имелась перекличка. Но это вовсе не застраховывало Художника от гибели, от грубой очеловеченной стихии.

В хрущевские годы, когда Пастернак в одиночку столкнется с огромной машиной власти, которая не желала простить ему Нобелевскую премию за «Доктора Живаго», в его адрес пойдут гневные письма не только от ра-

бочих и крестьян, но и от писателей. Одно из них от Галины Николаевой (автора советского романа «Жатва») резко обнажит разрыв в сознании Пастернака и той среды, которая так и останется жить с мыслями, изуродованными сталинским режимом.

Сохранились два письма Николаевой Пастернаку. В первом 10 ноября 1958 года, на 12 страницах, она писала, что любила его стихи и не понимает, как он может «принять премию из рук врага»:

Слезы соленые лить над вами? Пулю загнать в затылок предателю? Я женщина, много видевшая горя, не злая и не жестокая, но такое предательство... Рука не дрогнула бы... Вам пишет не писательница... Вам пишет женщина, у которой муж был расстрелян в 37 году и отец сослан тогда же... и у которой одна цель в жизни — служить всей душой, всеми силами делу коммунизма и своему народу. Это не слова. Это в сердце...

На это письмо Борис Пастернак ответил 1 ноября 1958 года:

Благодарю Вас за искренность. Меня переделали годы Сталинских ужасов, о которых я догадывался до их разоблачения.

Все же я на Вашем месте несколько сбавил бы тону. Помните Верещагина и сцену справедливого народного гнева в «Войне и мире». Сколько бы Вы ни приписывали самостоятельности Вашим словам и голосу, они сливаются и тонут в этом справедливом Негодовании.

Хочу успокоить Вашу протестующую правоту и честность. Вы моложе меня и доживете до време-

ни, когда на все происшедшее посмотрят по-другому.

От премии я отказался раньше содержащихся в Вашем письме советов и пророчеств. Я Вам пишу, чтобы Вам не казалось, что я уклонился от ответа.

*Б. П<астернак>*⁴⁵.

Галина Николаева немногим пережила Пастернака, она умерла в 1963 году.

Путь Фадеева

В истории с романом Гроссмана, которая еще будет иметь удивительное продолжение, писатель не выглядит трагической фигурой: он выстоял и победил. Главная драма, которая разворачивалась на фоне публикации и запрета романа, — была драма Александра Фадеева. Мария Иосифовна вспоминала: «Как-то из Переделкина Вершигора вез в Москву Фадеева, Тарасенкова, меня, и в разговоре Фадеев сказал:

— Вы что хотите, чтобы вами управляли Первенцев, Бубеннов, Грибачев? Ах, нет, ну так терпите меня! Каков уж есть!..

Он давно уже существовал в логике борьбы за власть. Творчество отступило»⁴⁶.

Когда в ЦК он проводил разносное обсуждение романа, после того как сам столько раз его редактировал, боролся за него, после того как выдвигал его на Сталинскую премию, он уже перешел через последнюю черту. В этом смысле Тарасенков был лишь хорошим учеником, но то, что его вновь отбросило, туда же, откуда он пытался подняться, не могло не наводить на размышления. А. Берзер определила выступление Фадеева на этом обсуждении: «тягостный, мучительный процесс

отказа... от самого себя». Но когда он писал про неистового Иоганна Альмана, близкого друга, разве не отказывался от себя? А когда набрасывался на «космополитов»?

14 ноября 1953 года Эммануил Казакевич писал в дневнике о Фадееве:

В течение последнего месяца я три раза — и не менее чем по 3 часа — встречался с А.А. Фадеевым. Что же такое Фадеев?.. Мы современники его, не раз задавали себе этот вопрос. И вот я имел возможность изучить его в эти небольшие сроки. И оказалось — пусть это не покажется ужасным, — что он, в общем-то, ничто. Он весь изолгался, и если некогда он был чем-то, то теперь он давно перестал быть этим, и на меня произвело тягчайшее впечатление то странное обстоятельство, что этот человек уже — ничто. Между тем он мог бы чем-то крупным быть, но он страшным образом ошибся в том, что такое главное. Он не понял, что не надо стараться быть как все; нет, надо стараться, чтобы все были как ты. И ошибившись в этом главном, он перестал быть чем-то⁴⁷.

Страх Фадеева в первые дни после смерти Сталина был мотивирован. Фадеев, многие годы враждовавший с Берией, понимал, что теперь пришло его время, и он теперь полностью окажется в его власти. Хотя трудно представить, что Берия, если бы ему было нужно, не арестовал бы Фадеева, несмотря на все его покаянные речи. Но рефлекс был сильнее.

Позже Фадеев признается Эренбургу: «Я попросту испугался, я думал, что начинается самое страшное».

«Я проявил слабость», — скажет он на Втором съезде союза писателей в 1954 году. А Корнею Чуковскому совсем ужасно: «Какой я подлец!»⁴⁸

Евгения Таратута, детская писательница, несколько раз арестовывавшаяся и подвергавшаяся чудовищным допросам следователями Лубянки, приятельница Тарасенкова и Белкиной (они посылали ей в лагерь вещи и деньги), вспоминала, как в 1955 году пришла к Фадееву, с которым в 30-е годы работала и была в очень добрых отношениях:

«В начале лета 1955 года секретарь Фадеева позвонила нам, передав приглашение Александра Александровича прийти к нему, но я была в больнице. Девятого августа 1955 года я, наконец, пришла к Фадееву в дом на улице Горького. Он был один дома. Сам открыл дверь. Все лицо его было серым, покрыто морщинами, горькими складками.

— Рассказывайте, теперь вы же можете говорить...

Мы сидели в его рабочем кабинете, в креслах, у стола. Александр Александрович слушал меня сначала молча, потом стал всхлипывать. Сквозь слезы говорил, что ничего не мог для меня сделать. Заявления моего не получал, даже не знал о нем. Говорил бессвязно, перебивая сам себя:

— Я ему верил! Верил... Думал — так нужно... Верил Сталину... Что я наделал! Вот и роман задумал. “Черная металлургия”. Ведь всё в нем оказалось ложью. Всё — неправда. Всё — наоборот. Кто я думал — вредители, на самом-то деле были честными, а те, кто их разоблачал, — на самом деле были врагами... Всё — наоборот! Всё — рухнуло... Это полный крах...

Фадеев застонал, как от невыносимой зубной боли, потом стал рыдать. Через несколько минут снова стал говорить:

– Что я наделал! Что я сделал с Василием Гроссманом!.. И ведь уже не нужно было... Ведь это замечательный писатель. Настоящий талант! Мудрый, чуткий человек! Что я наделал...

Он долго говорил о Василии Гроссмане. Говорил о своей статье, опубликованной в апреле 1953 года, в которой он резко нападал на первый том романа Василия Гроссмана “За правое дело”, подвергавшийся тогда резким нападкам со всех сторон. Александр Александрович ничего не знал о моей давней, с детских лет, дружбе с Василием Гроссманом. Ему нужно было, необходимо было покаяться. Очевидно, я была подходящей слушательницей.

Несколько лет спустя в сборнике статей Фадеева “За тридцать лет” я нашла публикацию письма его в Воениздат по поводу нового издания романа “За правое дело”, в котором он выражал свое сожаление из-за допущенных им “неоправданно резких оценок, вызванных приводящими и устаревшими обстоятельствами литературной дискуссии того времени”...

А тогда он только повторял в слезах:

– Что я наделал! Но я не мог. Я ему верил. Нет – я мог. Не мог! – Александр Александрович наклонился и стал целовать мне руки, бессвязно прося прощения.

Руки мои стали мокрыми.

Волосы у него были уже совсем седые.

Он долго не мог прийти в себя...»⁴⁹

Весна 1953 года, несмотря на все переживания, была счастливой. В начале апреля начался пересмотр дела врачей.

13 апреля 1953 года К. Чуковский пишет в дневнике: «Дивные апрельские события! Указ об амнистии, пересмотр дела врачей-отравителей, окрасили мои дни радостью»⁵⁰.

Итак, колесо истории повернулось, такого еще не было, чтобы людей, арестованных всего лишь месяц назад, извинившись, восстановив в должностях, вежливо отпустили бы домой. Это был знак, который сулил надежды.

Часть IV
1954—1956
УСИЛЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЯ

Гроссман. Окончание

История романа Гроссмана продолжала развиваться по законам приключенческого жанра.

Как уже отмечалось, после того, как роману в газете «Правда» Михаил Бубеннов устроил разнос, Гроссман затаился на даче Липкина в Ильинском и старался никуда не выезжать. Однако случился один мрачный эпизод: Гроссмана пригласил в «Правду» профессор Исаак Израилевич Минц, сказав, что тот должен обязательно прийти, так как речь будет идти о судьбе еврейского народа. По дороге, как вспоминал Липкин, Гроссман зашел в «Новый мир» к Твардовскому, решив напомнить ему об его отречении от романа, который он ранее очень хвалил. На это Твардовский резко ответил: «Ты что, хочешь, чтобы я партийный билет на стол положил?» Гроссман сказал: «Хочу!» Твардовский разозлился и сказал, что знает, куда тот идет, и что там, мол, ему все объяснят. Собственно не само выступление Твардовского вызвало ссору между ними, а именно это столкновение в «Новом мире».

Тем временем в «Правде» собрались известные писатели, ученые, артисты еврейского происхождения, им предложили подписать пришедшее сверху некое письмо, в котором говорилось, что, несмотря на то, что часть евреев оказались врачами-убийцами, все-таки весь еврейский народ ни в чем не виноват. Гроссману казалось, что таким образом можно спасти остальной еврейский народ. И он подписал письмо. Потом в романе «Жизнь и судьба» он описал терзания своего главного героя Виктора Павловича Штрума:

«Боже мой, как было ужасно письмо, которое товарищи просили его подписать, каких ужасных вещей касалось оно.

Да не мог он поверить в то, что профессор Плетнев и доктор Левин убийцы великого писателя. Его мать, приезжая в Москву, бывала на приеме у Левина, Людмила Николаевна лечилась у него, он умный, тонкий, мягкий человек.

Каким чудовищем надо быть, чтобы так страшно оклеветать двух врачей!

Средневековой тьмой дышали эти обвинения. Врачи-убийцы!.. Кому нужна эта кровавая клевета? Процессы ведьм, костры инквизиции, казни еретиков, дым, смрад, кипящая смола. Как связать все это с Левиным, со строительством социализма, с великой войной против фашизма?..

Он читал медленно. Буквы вдавливались в мозг, но не впитывались им, словно песок в яблоко.

Он прочел: “Беря под защиту вырожденков и извергов рода человеческого, Плетнева и Левина, запятнавших высокое звание врачей, вы льете воду на мельницу членоконенавистнической идеологии фашизма...”.

Ковченко сказал:

– Мне говорили, что Иосиф Виссарионович знает об этом письме и одобряет инициативу наших ученых...

Тоска, отвращение, предчувствие своей покорности охватили его. Он ощущал ласковое дыхание великого государства, и у него не было силы броситься в ледяную тьму... Не было, не было сегодня в нем силы. Не страх сковывал его, совсем другое, томящее, покорное чувство...

Попробуй отбрось всесильную руку, которая гладит тебя по голове, похлопывает по плечу...

Отказаться подписать письмо? Значит, сочувствовать убийцам Горького! Нет, невозможно. Сомневаться в подлинности их признаний? Значит, заставили! А заставить честного и доброго интеллигентного человека признать себя наемным убийцей и тем заслужить смертную казнь и позорную память можно лишь пытками. Но ведь безумно высказать хоть малую тень такого подозрения.

Но тошно, тошно подписывать это подлое письмо. В голове возникали слова и ответы на них... “Товарищи, я болен, у меня спазм коронарных сосудов”. “Чепуха: бегство в болезнь, у вас отличный цвет лица...”

“Товарищи, скажу вам совершенно откровенно, мне некоторые формулировки кажутся не совсем удачными...”

“Пожалуйста, пожалуйста, Виктор Павлович, давайте ваши предложения, мы с удовольствием изменим кажущиеся вам неудачными формулировки...”¹.

Однако письму хода не дали. И хотя Сталин умер, и письмо с подписями осталось в архиве «Правды», пережитый кошмар тех дней навсегда остался в душе Гроссмана.

Весной Гроссману пришло письмо из Воениздата, который только что очень хотел издать этот великий роман, выплатил автору аванс, а теперь счел, что книга про-

вальная, и стал требовать деньги назад. «Ввиду того, — писали Гроссману из издательства, — что Ваше произведение “За правое дело” признано идейно порочным в своей основе и не может быть издано, прошу полученные Вами деньги вернуть в кассу Издательства не позднее 1 апреля с.г. Начальник управления генерал-майор *КОПЫЛОВ*»².

Как ни удивительно, но судья отклонил иск издательства, сославшись на авторское право: раз, счел справедливый судья, издательство уже одобрило рукопись, то оно не могло требовать возврата аванса.

А тем временем все стало медленно меняться. 19 июня тот же Воениздат вдруг снова предложил Гроссману опубликовать роман. 26 сентября пишет Гроссман в дневнике:

Звонок Фадеева. «Острота критики была вызвана обстоятельствами. Роман надо издать.

5 января 1954 года рукопись была сдана в набор. 30 марта Фадеев прислал в издательство официальный отзыв. (В нем Фадеев сожалел о том, что им были ранее допущены «перегибы» в оценке романа, «вызванные привходящими и устаревшими обстоятельствами», и формулировал важный итоговый вывод: «Сейчас мы имеем исправленный и дополненный вариант первой книги романа, позволяющий говорить о ней как о незаурядном явлении советской литературы»³).

Фадеев старался выпустить роман ко Второму съезду писателей, поэтому 26 октября, за два месяца до съезда, роман поступил в продажу. А на съезде писателей Фадеев сказал:

Я проявил слабость, оценив роман Василия Гроссмана как идейно порочный, но я исправил

ошибку, доведя вместе с Воениздатом книгу до выхода в свет после исправления автором своих ошибок⁴.

Казалось, что эта история имеет прекрасный финал. Гроссман сразу же сел за продолжение романа. В нем уже не было и следа советских оболещений; он был предельно правдив: война, советский лагерь, уничтожение евреев в газовых печах — все это писалось без всякой оглядки на цензуру.

Но та нелепая ссора с Твардовским роковым образом сказалась и на судьбе романа, и на судьбе самого Гроссмана. Роман «Жизнь и судьба» в 60-е годы он отдал не Твардовскому в уже иной «Новый мир», а отнес в «Знамя» Кожевникову, откуда рукопись попала в КГБ и была арестована, а автор, убитый очередной катастрофой с книгой, тяжело заболел и безвременно ушел из жизни. Конечно же и Твардовский вряд ли мог напечатать такой жесткий роман, но он никогда бы не отдал его в органы.

Перед той катастрофой Гроссман и Твардовский помирились. Вот как об этом написал Липкин:

«Поздней осенью Гроссман с Ольгой Михайловной поехали в Коктебель. Там в это время отдыхали Твардовский и Мария Илларионовна. Жены, в прошлом соседки по Чистополю, помирили мужей. Твардовский сказал: “Дай мне роман почитать. Просто почитать”. И Гроссман, вернувшись в Москву, отвез роман, видимо, с некой тайной надеждой, в редакцию “Нового мира”. После ареста романа к Гроссману чуть ли не в полночь приехал Твардовский, трезвый. Он сказал, что роман гениальный. Потом, выпив, плакал: “Нельзя у нас писать правду, нет свободы”. Говорил: “Напрасно ты отдал бездарному Кожевникову. Ему до рубля девяти с половиной гривен не

хватает. Я бы тоже не напечатал, разве что батальные сцены. Но не сделал бы такой подлости, ты меня знаешь”. По его словам, рукопись романа была передана “куда надо” Кожевниковым.

Смеясь, Гроссман мне рассказывал: “Как всегда, водки не хватило. Твардовский злился, мучился. Вдруг он мне заявил: “Все вы, интеллигентики, думаете только о себе, о тридцать седьмом годе, а до того, что Сталин натворил во время коллективизации, погубил миллионы мужиков, — до этого тебе дела нет”. И тут он стал мне пересказывать мои же слова из “Жизни и судьбы”. “Саша, одумайся, об этом я же написал в романе”. Глаза у него стали сначала растерянными, потом какими-то бессмысленными, он низко опустил голову, сбоку с его губ потекла струйка⁵.

В феврале 1961 года роман был арестован.

Осень 1955 года глазами Белкиной

А что же Тарасенков? Судьба распорядилась так, что в последние годы жизни он вдруг стал заниматься тем, что ему было по-настоящему дорого.

Как только подули другие ветры, Тарасенков тут же отмежевался от всего, что говорил и писал о Гроссмане. В статье в «Дружбе народов» написал о «поэзии народного подвига», о том что «образы романа полны светом глубокой человечности». Как будто и не было сказано о романе всего два года назад уничтожающих слов.

А Мария Иосифовна тем временем стала ездить по свету, писала очерки о Севере, Камчатке, Средней Азии. Тарасенков лечился, лежал то в больницах, то в санаториях, выписывался домой и снова попадал в больницу. О Пастернаке дома больше не заговаривали. Всем было слишком больно. И вот однажды им домой позвонила

дочь Марины Цветаевой, которая только что вернулась из Туруханского края. Позвонила, чтобы поговорить о том, как сделать первый сборник Цветаевой.

Дальше приведем рассказ Марии Иосифовны из книги «Скрещенье судеб», из третьей части, посвященной Але, Ариадне Эфрон.

«...Пришла Аля к нам между 4 и 13 сентября 1955 года. Конечно, приход ее предвлял телефонный звонок, конечно, мы ее ждали. И, конечно, в памяти воскресала Марина Ивановна, виденная, живая! Стихи ее никогда не умирали. Они всегда жили в нашем доме. И всегда Тарасенков читал их, переписывал и делился ими с друзьями. <...>

Об Але мы ничего не знали, даже фотографии ее никогда не видели. Я отворила ей дверь и провела в кабинет.

Она совсем не была похожа на Марину Ивановну, она была гораздо выше ее, крупнее, у нее была горделивая осанка, голову она держала чуть откинутой назад, вольно подобранные волосы, когда-то, видно, пепельные, теперь наполовину седые, спадая волной на одну бровь, были схвачены на затылке мягким пучком. Брови, красивые, четко очерченные, разбегались к вискам, как два тонких приподнятых крыла. И глаза... “венетическим ее глазам”! Глаза были блекло-голубые, прозрачные, видно, выцветшие прежде времени от слишком долгого созерцания северного неба, но в них была какая-то удивительная игра граней, как в венецианском хрустале, и они были такие огромные, что, казалось, еще, чего доброго, могли выпасть и со звоном разбиться.

Никаких следов косметики, даже пудры, никаких украшений, колец. Она потом мне призналась, что, переступая в те годы порог нового дома, заводя новые знакомства, очень нервничала и смущалась, ибо понимала, что

она “не выглядит”! А надо было “выглядеть”, а для этого следовало быть хорошо одетой, это ведь всегда придает уверенность, а одеться было не во что. Но она ошибалась, она очень даже “выглядела” в своем сером трикотажном платье, в розовых разводах, видно, оставшемся еще от Парижа в сундуке у тетки или купленном уже потом в комиссионном. Платье хорошо облегало ее высокую, стройную фигуру, и держалась Аля так спокойно, с таким достоинством, что невозможно было заподозрить ее душевное смятение и одолевавшую ее робость, отвычку так вот просто приходиться в чужой дом.

Еще когда мы стояли посреди кабинета, обмениваясь словами приветствия, Аля, прямо глядя в глаза Тарасенкову, сказала:

— Я пришла к вам от Эренбурга, он сказал, что он вас не уважает за ваши статьи, но уверен в том, что вы искренне любите поэзию, и потом, лучше вас никто не знает Цветаеву, и никто, кроме вас, не может мне помочь! Я хочу издать мамину книгу...

Сказала мягко, но твердо, дав понять, что она тоже не уважает Тарасенкова за его статьи, но пришла просить его помощи...

Тарасенкову пришлось проглотить эту пилюлю, впрочем, приходилось ему это делать не раз, и, к его чести, надо сказать, что он никогда не обижался на правду, ибо и сам хорошо сознавал, что у него были статьи, за которые он уважения не заслуживал. Мне было больно за него, ибо я знала, как мало оставалось ему жить, но говорят: что посеешь, то и пожнешь...

Аля мне понравилась с первой встречи: было какое-то удивительное достоинство в ее манере держаться, была женская мягкость и в то же время чувствовалась твердость характера, о который, наверное, можно было разбиться,

как о скалу. И если первый интерес к ней был как к дочери Цветаевой, то потом уже — к ней самой! Она была личностью яркой, талантливой, увы, не успевшей полностью раскрыться. <...>

Мы с Алей сразу стали называть друг друга по имени, но я бесповоротно признала ее за старшую — на все те 16 лет! Мне очень хотелось, чтобы ей было уютно у нас, и мне казалось, что я преуспела в этом. Она писала потом: “Ваш дом был первым моим теплом после всех тех холодов, моим первым приобретением после всех тех потерь, и это никогда не забудется...”

Аля стала у нас часто бывать. Книга стихов Марины Ивановны была составлена быстро и в ноябре уже находилась в издательстве. Срок наследования кончился в августе 1956 года, и Але надо было успеть заключить договор до истечения этого срока. Когда книга была сдана, Аля просто приходила к нам посидеть, была она накануне своего отъезда в Красноярск, где собиралась встречать Новый год с Адой Шкодиной. Тарасенков, конечно же, сделал выписки из своей “дезидераты”, надеясь, что в Красноярске отыщутся недостающие ему книги стихов, изданные в Сибири, и Аля поручила Аде разыскать эти книги. А вернувшись из Красноярска, Аля была у нас на Рождество и одна, и с Казакевичем»⁶.

А вот взгляд на те события со стороны Ариадны, которые она с мелкими неточностями в датах, оставила в воспоминаниях о Казакевиче.

Ариадна Эфрон о Тарасенкове

Мария Иосифовна настаивала на том, что сначала Ариадна пришла к ним в дом одна, без Казакевича. Белкина записала все сразу же после ее ухода и поэтому ей можно доверять.

«...Казакевич познакомил меня с Тарасенковым, — писала Ариадна, — у которого были почти все цветаевские издания, а Тарасенкова — с замыслом нового сборника. К замыслу Анатолий Кузьмич отнесся с воодушевлением, ко мне — с благожелательным и тактичным любопытством.

Вначале я было отшатнулась от этого знакомства: слишком памятливы и нестерпимы были некоторые тарасенковские статьи, в частности, о Пастернаке.

— Все равно, — сказал Казакевич, едва я открыла рот. — Поймите, то было время не только доносов “по велению сердца”, но и ложных показаний из-под палки. Его ложные показания на литературу были вынужденными. Кстати, литература выдерживала и не такие удары. В итоге она — жива, а он безнадежно болен.

— Не может быть! Такой богатырь.

— У него уже был миллион инфарктов, и он ждет — каждый день и каждую минуту — последнего. Что до цветаевской книги, то тут Тарасенков полезнейший человек; с его мнением считаются, и никто так не знает фарватер, как он. К тому же каждый грешник имеет право на свою луковку...

В том, что Казакевич выбрал в “соратники” Тарасенкова, была и еще одна причина, отнюдь не утилитарного свойства: столь непримиримый к двуличию и двуязычию эпохи, Эммануил Генрихович глубоко жалел этого одаренного и внутренне расслоенного человека, медленно погибавшего от ее излучения, подобно жертвам Хиросимы. Не доведенная до конца работа над новым сборником Марины Цветаевой была последней радостью Тарасенкова»⁷.

Вот тут, когда наша история движется к завершению, хотелось бы на минуту задержаться. Ариадна Эфрон угадала основную интригу жизни незнакомых ей людей. Перед ней оказались умирающий Тарасенков, Казакевич,

сумевший поддержать друга счастливейшим делом, Мария Иосифовна, молча проглатывающая любые выпады в сторону мужа и в то же время отдающая себе отчет, что дни его сочтены. Сборник Марины Цветаевой, да и она сама, закрутит их всех вихрем и внесет что-то свое в уже устоявшуюся жизнь, а у Марии Иосифовны полностью изменит судьбу. Только будет это, когда все нынешние герои уйдут из жизни, и ей придется собирать по крупицам книгу о Цветаевой, которую так и не написал каждый из них!

Разумеется, Тарасенков, если бы успел, то непременно написал о Цветаевой, шел он к этому всю жизнь. Абсолютно неожиданным был тот факт, что Казакевич написал «Московскую повесть», посвященную трагедии семьи Цветаевой — Эфрон, но она так и осталась лежать в семейном архиве. Ариадна успела рассказать только о своем детстве рядом с матерью, дальше не смогла. Не успела? Мария Иосифовна написала «Скращенье судеб», книгу в которой раскрывалась не только жизнь самой Цветаевой, но и Ариадны, и Георгия, и Тарасенкова, и ее самой. Книгу, где через Цветаеву она рассказала правду о своем времени.

Продолжим цитату из воспоминаний Ариадны Эфрон: «Казакевич и Тарасенков “зондировали почву”, “заручались поддержками”, “укрепляли позиции” — один лично, другой, из-за болезни, по телефону. Но атаковать Котова, тогдашнего директора Гослитиздата, ездили вдвоем. Говорят, то был приличный человек и неплохой директор. После соответствующих размышлений и согласований он принял мужественное по тем — да и по этим — временам решение и включил сборник в план выпуска 1957 года.

И вот мы с Казакевичем у Тарасенкова, под сенью его изумительного собрания русской поэзии XX века, занимавшей все — с пола до потолка — полки его библиоте-

ки. Руками ценителя и скряги Тарасенков достает — одну за другой — цветаевские книги: машинописные и типографские оттиски, переплетенные им в яркие ситцы, рассказывает, каким трудом, хитростью или чудом доставались они ему»⁸.

В те дни, 26 октября 1955 года, Аля отправила раздраженное письмо Пастернаку. В воспоминаниях, которые она писала спустя десятилетие (Кзакевича и Тарасенкова уже не было в живых), острота переживаний ушла:

Заканчиваю подготовку предполагаемого маминго сборника, — рассказывала она Пастернаку, — это очень трудно, и ты знаешь, почему. С неожиданной горячностью предлагает свою помощь Тарасенков и просто по-хорошему — Кзакевич, а больше никому и дела нет. Тарасенков, тот, видно, думает, что если выйдет, так, мол, его заслуга, а нет, так он в стороне и ничего плохого не делал. Со мною же он мил потому, что знает о том, что у меня есть много маминго, недостающего в его знаменитой «коллекции». Есть у него даже перепечатанные на машинке какие-то маминго к тебе письма, купленные, конечно, у Крученных. Подлецы они все, и покупающие и продающие. У меня в маминго рукописях лежит большая пачка твоих к маме писем, и никогда, скажем, Лиле или Зине, у к<отор>ых все хранилось все эти годы, и в голову не пришло прочесть хоть одно из них. И я никогда в жизни к ним не притронусь, ни к тем, остальным, от других людей, которые она берегла. И после моей смерти еще 50 лет никто их не прочтет. Тебе бы я, конечно, их отдала, но ты же все же растеряешь и выбрасываешь и вообще ужасный растяпа, ты только подумай, что она, мерт-

вая, сберегла твои письма, а ты, живой, ее писем не уберег и отдал каким-то милым людям. Лучше бы ты их сжег своей рукой! Боже мой – мама вечная моя рана, я за нее обижена и оскорблена на всех и всеми и навсегда. Ты-то на меня не сердись, ты ведь всё понимаешь. Целую тебя и люблю.

Твоя Аля⁹.

Спустя годы о похожем эпизоде Ариадна написала гораздо мягче: «Когда среди них я опознала свою “Царь-Деву”, в 1941 году, выкраденную из маминого архива и проданную в Лавку писателей, откуда ее извлек Тарасенков, – на его лице отразилось такое страдание, что я молча поставила синенький томик с тисненными своими инициалами обратно на полку, где она и стоит по сей день. А лицо у Тарасенкова было очень русское, почти лубочное, голубоглазое и губошлепистое. Близость смерти делала его значительным.

Мы собрались, чтобы поговорить о составе будущей книги. Казакевич сидел у стола, круг света из-под зеленого абажура падал на его руки. Он взял лист бумаги и, прикусив папиросу, морщась от ее дымка, вывел синим, безупречно отточенным тарасенковским карандашом:

МАРИНА ЦВЕТАЕВА стихотворения, поэмы, драмы.

Этот листок у меня и сейчас хранится.

Работать над первой посмертной книгой матери оказалось трудно и больно. Все сиротство написанного ею, но ей больше не принадлежавшего, представляло мне во весь рост в каждом стихотворении, которое мы с Тарасенковым “взвешивали” и “обсуждали”. Любое, ею созданное, произведение теперь принадлежало всем и ни-

кому, оказывалось во власти любых вкусов, пристрастий, отрицаний, конъюнктур, толкований. Каждый (в том числе и мы с Тарасенковым), действуя от имени и во имя пока еще мифического “широкого читателя”, был вправе нарушить и игнорировать волю автора, его замысел, менять местами краеугольное и второстепенное, клеить ярлыки, за уши притягивать, освещать, приглушать, обходить. Ибо именно в этом, как очень скоро для меня, неискушенной, выяснилось, и заключалась одна из основных задач составителей “в лето Господне” 1955. <...>

Во всех подробностях составления сборника Казакевич не участвовал. Он иногда заходил — забегал — к Тарасенкову, причем вспоминаю теперь, что визиты эти почти всегда неприметно совпадали с ухудшением состояния здоровья Анатолия Кузьмича, которого он умел рассеивать, смешить, отвлекать от мыслей о неизбежном, с мальчишеской, казавшейся непреднамеренной непосредственностью.

Красивая, похожая на императрицу Евгению в современном воплощении, Маша, жена Тарасенкова, поила нас чаем; разговор за столом тек весело и дружелюбно. Мужчины подтрунивали друг над другом, как подростки; Маша от них не отставала; посмотреть со стороны — все казались счастливыми, а счастье — прочным. Потом переходили в тарасенковский кабинет. — Ну, как работа над книгой? — спрашивал, серьезнея, Казакевич. Мы рассказывали, спрашивали его мнения о том или ином стихотворении, которое Анатолий Кузьмич обычно читал вслух, а Казакевич непременно перечитывал про себя. Он, правда, куда осмотрительнее, чем я, тоже настаивал на включении возможно большего количества поздних стихов; советовал даже несколько перегрузить эту часть сборника, «чтобы редактору и на-

чальству было что-то выкидывать — не то начнут резать по живому»¹⁰.

Смерть Тарасенкова

Ариадна Эфрон в начале 1956 года вернулась в Москву из Красноярска, где со своей близкой подругой Адой Федерольф встречала Новый год. Сразу после приезда, в январе, зашла к Тарасенкову. Ему оставалось жить чуть больше месяца, но работа над сборником не прекращалась: посылались письма в вышестоящие организации, разрабатывались планы обхода цензуры.

«Анатолия Кузьмича, — писала Ариадна Эфрон, вспоминая свой январский приход на Лаврушинский, — я нашла в постели; в углу комнаты еще стояла прелестная, свежая, с сильными пружинистыми ветками елочка, густо увешанная игрушками.

Тарасенков был весел, оживлен: напротив него, в кресле, сидел Казакевич и развлекал больного — рассказывал смешно о несмешном.

— Докладывайте, как съездили, — потребовал Казакевич, — все, все — и какие попутчики были, и о чем говорили... Нет ничего лучше долгих суток пути — и непременно в общем вагоне, и чтобы все перезнакомились, и друг другу душу выкладывали, и чтобы козла забивали, и бабки бы сновали взад-вперед с ночными горшками, когда все чай пьют, и чтобы плакали и визжали липкие от конфет дети... Хорошо выскакивать на морозных полустанках, где поезд стоит две минуты, — хватать у баб горячую картошку, соленые огурцы, семечки, — хорошо ехать, опережая новости и свежие газеты, спать до одури, петь “Рябину”...

— “Молчали желтые и синие; в зеленых плакали и пели...” — проговорил Тарасенков, — съездить бы вот так до

Владивостока и обратно. — И грустно добавил: — Тогда и помирать можно...

Выслушав мой отчет о поездке, он объявил меня талантом, которому грех романов не писать; Казакевич же заметил, что «талант» мой, думается ему, не в том, что я рассказываю, а в том, о чем умалчиваю, и что коли уж писать, то короткие повести, не требующие счастливых концов. <...>

Да, все мы знали, что Тарасенков тяжело болен, обречен; но знали об этом давно, с этой мыслью как бы свыклись, и внезапная весть о его внезапной смерти ошеломила.

Только что, утром того же дня, я получила от него полушутливое-полупечальное письмецо из Узкого; оно было еще живое, в нем говорилось о сегодняшнем и завтрашнем, оно ждало ответа, и достоверность этого, бегло и буднично заполненного листка, который я вертела в руках, обнадеживала, казалась опровержением нематериальности слухов.

Позвонить Маше? Спросить? Но — как спрашивать о таком? Я позвонила Казакевичу. “Эммануил Генрихович, правда ли...” — “О Тарасенкове? Увы, правда. Похороны тогда-то там-то. Маша с сыном поехали его навесить, ни о чем не подозревая, и уже не застали его в живых. Администраторы санатория позволили себе предъявить им претензии — как это они, очевидно в сговоре с врачами, — направили в Узкое столь безнадёжного больного. Ну не п-подлецы ли?

Пауза, и:

— Ах, Ариадна Сергеевна, если бы вы знали, как *он не хотел умирать*”»¹¹.

Из Узкого он написал Марии Иосифовне нежную записку, которая оказалась последней; была по ошибке датирована 15 февраля (может, он случайно пытался пере-

скочить через день своего ухода?), умер он 14 февраля в 5 часов вечера. На столе лежала верстка будущей книги Бунина, открытая на странице, где был напечатано стихотворение.

ПЕТУХ НА ЦЕРКОВНОМ КРЕСТЕ

Плывет, течет, бежит ладьей,
И как высоко над землей!
Назад идет весь небосвод,
А он вперед – и все поет.

Поет о том, что мы живем,
Что мы умрем, что день за днем
Идут года, текут века –
Вот как река, как облака.

Поет о том, что все обман,
Что лишь на миг судьбою дан
И отчий дом, и милый друг,
И круг детей, и внуков круг,

Что вечен только мертвых сон,
Да божий храм, да крест, да он!

Амбуаз, 1922

Мария Иосифовна, ни о чем не догадываясь, пришла навестить его вместе с сыном Митей, врачи при виде ее страшно засуетились. Они почему-то думали, что она будет кричать и рвать на себе волосы, ее долго не пускали в палату, не объясняя, что случилось. Наконец, она просто сказала им, что она не проронит ни единого звука, ее отвели к нему. Из Москвы ехали его друзья, им уже было все известно.

В тот выюжный зимний день открылся XX съезд партии...

Сердце устало лгать...

Герой знаменитого романа Пастернака — доктор. Доктор Живаго. В конце романа он ставит диагноз самому себе, своим современникам, а главное — времени, в котором они все живут.

«— В наше время очень участились микроскопические формы сердечных кровоизлияний, — говорит Живаго своим друзьям. — Они не все смертельны. В некоторых случаях люди выживают. Это болезнь новейшего времени. Я думаю, ее причины нравственного порядка. От огромного большинства из нас требуют постоянного, в систему возведенного криводушия. Нельзя без последствий для здоровья изо дня в день проявлять себя противно тому, что чувствуешь; распинаться перед тем, чего не любишь, радоваться тому, что приносит тебе несчастье. Наша нервная система не пустой звук, не выдумка. Она — состоящее из волокон физическое тело. Наша душа занимает место в пространстве и помещается в нас, как зубы во рту. Ее нельзя без конца насиловать безнаказанно»¹².

То, что сталинская эпоха истерзала души людей, как говорил тот же Пастернак, «замучила живьем», понимали многие, но он с беспощадной точностью объяснил, почему оставались рубцы и отметины, как на сердце, так и в душе.

Тарасенков наверняка это тоже чувствовал, но отгонял от себя страшные мысли. Зато Мария Иосифовна всегда жила с горькой памятью о падениях своего мужа и напрямую связывала его сердечные болезни с необходимостью постоянно лгать. Она вспоминала, как продолжала сталкиваться и после смерти Тарасенкова с разными сторонами его жизни: с дурными и хорошими.

Насилие над собой, ложь и лицемерие так же опасны для жизни, как чума и холера. И если нравственные болезни охватывают народ, пусть и незаметно, то с неизбежностью происходит его вымирание. У нескольких поколений людей вдруг вместо инстинкта жизни начинает развиваться инстинкт смерти. В Советской стране в душах людей был взломан некий код, отвечающий за жизнеспособность народа, в который, несомненно, входила и нравственность.

«После похорон Аля пришла ко мне, — писала Мария Иосифовна. — С другими я могла говорить на любую тему, словно бы ничего не произошло, не допуская соблазнований, а с ней почему-то не получалось. Я не знала, о чем говорить. Знала она. Она опустила в то кожаное кресло, которое переехало с нами с Конюшков, в котором сидела когда-то там, на Конюшках, Марина Ивановна, и, отсутствуя в своем присутствии, находясь где-то в недостижимых для нас далях, ворошила щипцами угли в камине... Аля поставила на широкий подлокотник пепельницу — ту самую, ковш, закурила и, усевшись поглубже, стала говорить. Говорила она тихо, не торопясь, словно бы сама с собой, сама для себя, вспоминая. Было в этом рассказе многое из того, о чем я уже написала и о чем напишет она сама — о Бальмонте, о Белом, о Москве двадцатых годов, о том, как в Париже, достигнув совершеннолетия, она могла по французским законам принять любое подданство, и она приняла советское, ни минуты не колеблясь и стремясь только в Москву.

Говорила о том, как пришла она прощаться к Бунину там, в Париже, перед отъездом и как он ей сказал:

“Дура, куда ты едешь, тебя сгноят в Сибири!.. — а потом, помолчав, добавил: — Если бы мне было столько

лет, сколько тебе, если было бы лет двадцать пять, я бы тоже поехал! Пускай Сибирь, пускай сгноят! Зато Россия!..”

Говорила о первых двух годах своей жизни в Москве, о работе в Жургазовском особняке — в том, что против Нарышкинского скверика, — говорила о Муле, о своей любви к нему. Сетуя, вспоминала, что он, такой умница, мог поверить Шуретте, будто без него она не сможет жить и покончит с собой, а та и башмаков не успела износить, как вышла замуж. А она, Аля, все еще любит его и не может забыть. Если был бы сын...

И я стала понимать, что рассказ этот о своей жизни, о гибели отца, матери, брата, Мули, о крушении всех надежд, всех чаяний, о том, что не осталось у нее *ничего, никого*, — она ведет для *меня*. И что я не имею права даже на слезы, ибо ведь были у меня *мой муж, мой сын, мой дом!* И теперь были и сын, и дом, и мать... Ну, а “о том, что все обман, что лишь на миг судьбою дан и отчий дом, и милый друг, и круг детей и внуков круг...” — так к этому пора было начинать привыкать.

И разговор был долгим, долгим, и, казалось, нам обеим не хотелось, чтобы он кончался. И Аля не раз выносила пепельницу и выбрасывала окурки. И была она удивительно хороша в тот вечер — такая женственная, грустная, с такой душевной открытостью. Никогда я уже больше ее такой не видала...

Потом она сказала мне, что Борис Леонидович, узнав о смерти Тарасенкова, промолвил:

— Сердце устало лгать...

Потом я провожала ее по темным улицам.

Потом она приходила ко мне еще и еще. Потом я уезжала в долгую командировку на Дальний Восток, из которой мне не хотелось возвращаться, хотя я и очень любила сына. Аля на прощанье сунула мне маленький

сверточек и велела развернуть его в самолете. Реактивные самолеты до Владивостока тогда еще не летали, и путь был долог, тридцать пять часов полета с пересадками. В сверточке оказалась шоколадка и на обертке — записанный Алей шуточный стишок.

Потом были письма. Потом были встречи. Потом была ее Аэропортовская квартира (в Тарусу при ее жизни я так и не собралась, и она смеялась, что мне легче добраться до Камчатки или до Норильска!). Потом были длинные телефонные разговоры. Мы обе уставали, старели, и хотя между нами было всего лишь пять остановок на метро, но преодолевать их не всегда представлялось возможным, а главное не всегда хватало сил, и мы часами говорили, она — находясь в своей квартире на Аэропортовской, я — в своей, в Лаврушинском. Словом, потом были двадцать лет *отношений*...

Ну а книга Цветаевой, над составлением которой тогда, осенью 1955 года, работала Аля вместе с Тарасенковым и Казакевичем? Что стало с книгой?

Ее постигла та же судьба, что и прижизненную книгу Марины Ивановны, сданную ею в 1941 году в то же издательство. Книга не вышла!

Еще в 1956 году, 11 февраля, Аля успела написать Тарасенкову в санаторий Узкое:

Я дозвонилась до Сучкова. Он мне сказал все то же, что вам уже известно, то есть, что сборник включен в план, а план на утверждении в Главиздате, что инстанция эта невредная, но «вы же сами знаете, что бывают всякие неожиданности», и так далее. Прослышав про неожиданности, я живу тихо-тихо... и жду себе конца месяца, а там как Господь...

После смерти Тарасенкова письма о книге Марины Ивановны шли уже ко мне.

23 февраля 1956 года:

...Мамина книжка, говорят, движется, недели через две будет окончательно решено, как и что, то есть будет утвержден план издательства, и тогда все прояснится. Меня это очень волнует, так хочется, чтобы все с книжкой было хорошо...»¹³

Самоубийство Фадеева

Мария Иосифовна говорила, что последнее, что она слышала от Фадеева, были слова после смерти Тарасенкова: «Продукт эпохи!.. Да, мы были с Толей были продукты эпохи». Значит, и он, несмотря на разность масштабов, понимал, что путались они с Тарасенковым в одном и том же.

«Когда он умер, позвонил Фадеев, из Барвихи, кажется. Было плохо слышно. В трубке трещало. Фадеев говорил, что он потрясен смертью Тарасенкова. Он знал, что тот болен, но не думал, что так все быстро обернется. Он вспоминал Тарасенкова мальчишкой, когда они оба были еще в МАППе, когда позже создавали Союз писателей... Говорил много добрых слов. И его суховатый, чуть захлебывающийся голос то бился в самое ухо, то уходил и совсем терялся»¹⁴.

Все вспоминают, что последние недели перед гибелью Фадеев очень много говорил о том, как нелепо прошла жизнь, о том, сколько писателей погублено. Все хотели жить дальше, строили планы, писали, старались заглядывать в будущее, у Фадеева будущего не было.

На него так давило прошлое, что оно выдавило из него способность жить.

Большая советская литература открывается самоубийством Маяковского, а заканчивается самоубийством Фадеева. Когда-то Фадеев хоронил Маяковского (я обнаружила фотографию в доме Лидии Либединской; там они вместе с Юрием Либединским несут гроб поэта), он наверняка думал о том, что заставило его пустить в себя пулю.

В предсмертном письме Фадеев обвиняет во всем «самоуверенно-невежественное руководство партии», сказать о себе, что тоже виновен, — не мог, невозможно было исповедоваться, обнажаться перед новыми партийными начальниками.

Не вижу возможности дальше жить, т.к. искусство, которому я отдал жизнь свою, загублено самоуверенно-невежественным руководством партии, и теперь уже не может быть поправлено. Лучшие кадры литературы — в числе, которое даже не снилось царским сатрапам, физически истреблены или погибли, благодаря преступному попустительству власть имущих; лучшие люди литературы умерли в преждевременном возрасте; все остальное, мало-мальски способное создавать истинные ценности, умерло, не достигнув 40–50 лет. <...>

Жизнь моя, как писателя, теряет всякий смысл, и я с превеликой радостью, как избавление от этого гнусного существования, где на тебя обрушивается подлость, ложь и клевета, ухожу из этой жизни.

Последняя надежда была хоть сказать это людям, которые правят государством, но в течение 3-х лет,

несмотря на мои просьбы, меня даже не могут принять.

Прошу похоронить меня рядом с матерью моей.

Ал. Фадеев. 13 мая 1956 г.¹⁵

Он обвинял и клеймил новую-старую партийную номенклатуру, как когда-то на собраниях клеймил врагов и отступников от партии, теперь он вымещал на ней свою вечную необходимость наступать себе на горло. В этом смысле в письме не оказалось ничего неожиданного и нового, никаких фактов, на которые он открыл бы глаза изумленной общественности. Письмо, о котором ходило столько легенд, высказывалось столько предположений о том, что оно в себе таит, оказалось письмом наверх, к начальникам. Свою боль и обиду он выкрикнул им, и они услышали и оскорбились.

С писателями он много говорил накануне своей гибели, но последние слова были — к Партии, к Власти. Как к женщине, которая любила, а потом бросила. И это для Фадеева стало нестерпимо. В этом смысле они уравнились с Маяковским. Как и у Маяковского у Фадеева разбилась своя «любовная лодка».

Корнелий Зелинский, биограф Фадеева и безжалостный наблюдатель, описал жуткую картину застрелившегося Фадеева:

«Мне рассказывал К. Федин, который вместе с Вс. Ивановым первым вошел в комнату, после самоубийства, что А. Фадеев лежал на кровати сбоку, полусидя, был в одних трусиках. Лицо его было искажено невыразимой мукой. Правая рука, в которой он держал револьвер, была откинута направо на постель. Пуля была пущена в верхнюю аорту сердца с анатомической точностью. Она прошла на вылет, и вся кровь главным образом стекала по его спине

на кровать, смочив весь матрац. Рядом на столике, возле широкой кровати, Фадеев поставил портрет Сталина. Не знаю, что он этим хотел сказать — с него ли спросите, или — мы оба в ответе, — но это первое, что бросилось в глаза Федину. На столе, тщательно заклеенное, лежало письмо, адресованное в ЦК КПСС.

— Я первый приехал на происшествие, — рассказывал мне потом начальник Одинцовской милиции, — и хотел взять письмо, но полковник из Комитета госбезопасности резким жестом взял его из моих рук. «Это не для вас», — добавил он.

Фадеев застрелился днем, перед обедом. Перед этим он спускался вниз в халате, беседовал с рабочими, которые готовили землю под клубнику, говорил, что где надо вскопать. В соседней комнате находилась Е. Книпович, но она сказала, что ничего не слышала. Находящиеся в саду люди слышали сильный удар, как будто бы упал стул или кресло. Когда настало время обеда, послали за отцом его младшего сына Мишу. Он первый увидел отца мертвого, с простреленной грудью, и со страшным криком скатился вниз, а потом побежал на дачу к Вс. Иванову, где и находился все время»¹⁶.

Одним из мудрых и точных было заключение о смерти Фадеева, которое в своих дневниках сделал Корней Чуковский:

«13 мая 1956 года. <...> Мне очень жаль милого Александра Александровича — в нем — под всеми наслоениями — чувствовался русский самородок, большой человек, но боже, что это были за наслоения! Вся брехня Сталинской эпохи, все ее идиотские зверства, весь ее страшный бюрократизм, вся ее растленность и казенность находили в нем свое послушное орудие. Он — по существу добрый, человечный, любящий литературу “до слез умиле-

ния”, должен был вести весь литературный корабль самым гибельным и позорным путем — и пытался совместить человечность с гепеушничеством. Отсюда зигзаги его поведения, отсюда его замученная СОВЕСТЬ в последние годы. Он был не создан для неудачничества, он так привык к роли вождя, решителя писательских судеб — что положение отставного литературного маршала для него было лютым мучением. Он не имел *ни одного друга* — кто сказал бы ему, что его “Металлургия” никуда не годится, что такие статьи, какие писал он в последнее время — трусливенькие, мутные, притязающие на руководящее значение, только роняют его в глазах читателей, что перекраивать “Молодую гвардию” в угоду начальству постыдно, — он совестливый, талантливый, чуткий — барахтался в жидкой зловонной грязи, заливая свою Совесть вином»¹⁷.

Так и ушли они с этого света. Один ушел не по своей воле, а другой по своей. Советский критик Тарасенков, которых было множество в литературном хозяйстве, и его наставник и начальник, Генеральный секретарь Союза писателей легендарный Александр Фадеев. Ученик и учитель.

Подведение итогов

Мария Иосифовна хотела разобраться в той мучительной любви к Борису Пастернаку, которая всю жизнь преследовала Тарасенкова, то там, то здесь оборачиваясь изменой. Она понимала, что любовь эта была стержнем его жизни.

«Я собрала все статьи, все его выступления о Борисе Леонидовиче, все “за” и “против”, собственно говоря, статей “против” и не было, это в общих, так называемых, обзорных статьях Тарасенков, бия себя в грудь, и каюсь, пи-

сал то, что от него требовалось и что так хотел бы, чтобы не было им написано... Я разложила все в хронологическом порядке и попросила писателей, входивших в комиссию по литературному наследию Тарасенкова, познакомиться с этой папкой.

Вот что написал по этому поводу 22 июня 1956 года Константин Симонов:

Дорогая Маша, дочитал в Сухуми все Толины статьи о Пастернаке. Печатать их, по-моему, никак нельзя, по статьям можно понять то, что было на самом деле – то, что Толя любил поэзию Пастернака нежной и даже преувеличенной любовью, которую я во многом не могу разделить. Тем тяжелее читать: вынужденные отречения от Пастернака. Они вынуждены в прямом смысле этого слова и свидетельствуют о тех уродствах, которые были в литературной политике, и очень об ломке человеческой души.

Эти статьи бы напечатать только вместе со статьей о них, о том, как и почему человек был вынужден отказаться от того, что ему было дорого...¹⁸

Многие статьи я сама впервые прочитала, и печатать их не собиралась, да и незачем и не для чего, я только хотела проверить свои впечатления от всего просмотренного подряд. То, что думали по этому поводу товарищи – я знала, меня интересовало мнение Симонова, ибо он ведь тоже был “продукт эпохи”...»

Когда Тарасенков умер, к Марии Иосифовне вдруг стали стекаться разные истории про него.

Из тюрьмы вернулся прозаик Марк Чарный. Посадили его в конце сороковых годов за статью о Ленине, которую ему заказал в журнале «Октябрь» Федор Пан-

феров. Так как Чарный был еврей, а времена были космополитические, то его обвинили в том, что он приподнял одного вождя и недооценил живого Сталина. В те годы Тарасенков писал и выступал со статьями против космополитов. Марка Чарного арестовали, при обыске забрали все рукописи.

«В шестидесятые годы, — вспоминала Белкина, — я встретила его в Ялте, и он сказал мне: “Я живу за счет Тарасенкова, — сказал он мне тогда, — если бы не Толя, я бы сейчас бедствовал. Когда меня арестовали, у меня при обыске забрали все рукописи.

В издательстве Советский писатель должна была идти моя книга. Жена пришла к Тарасенкову и попросила дать ей рукопись, чтобы она могла ее сохранить. И он дал. И вот теперь, когда я вышел на свободу, у меня была готова книга, а ее издали. Грустно, я уже не успел его поблагодарить!.. “А за что было его благодарить, как он мог не дать вашей жене вашу рукопись?!” — “Глупая вы! Он не имел права дать — я был объявлен врагом народа. Он это отлично знал. Мы были в одной парторганизации. И как главный редактор он отвечал за подобные рукописи и обязан был сдать все в спецотдел, а там бы ее уничтожили!”»¹⁹

А Фрида Вигдорова как-то мрачно пошутила: «Ты — знаешь, что я стала писательницей из-за Тарасенкова?!» «Каким образом?» — «Когда он выругал Раскина (это был ее муж) за пародию на Панову, его книгу рассыпали, и мне пришлось всерьез уверовать, что я писатель, надо было кормить семью!»

В 1948 году, вскоре после выхода романа Веры Пановой «Кружилиха», поэт-сатирик Александр Раскин написал на этот роман пародию с выразительным названием «Спешилиха». Тарасенков, который двигал Панову, помогал ей, разозлился, боясь, что Панову переста-

нут печатать (свежи в памяти были дикие нападки Поликарпова) и написал статью под названием «Пошлое зубоскальство», почин был поддержан и в других статьях, и книгу Раскина рассыпали. В течение пяти лет Раскина нигде не печатали, а Фриду Вигдорову уволили из «Комсомольской правды», и семья с двумя детьми осталась без средств к существованию.

Общие литературные знакомые просили Панову заступиться за Раскина, но оскорбленная писательница и не желала даже слышать о нем.

«Раскин делал вид, что мы с ним не знакомы, хотя мы вместе учились...», — говорила Мария Иосифовна.

А с Фридой Вигдоровой они подружились²⁰.

В 1966 году вышла книга, которой Мария Иосифовна отдала десять лет жизни: «А. Тарасенков. Русские поэты XX века. Библиография». В ней была перепечатана вся тарасенковская картотека, описанная и выверенная. На эту работу Мария Иосифовна потратила большую часть своих заработков. Она говорила мне, что Тарасенков не зря выбрал ее когда-то в жены, он чувствовал, что она непременно доведет его дело до конца.

В том же году Мария Белкина в «Новом мире» написала очерк под названием «Главная книга» со вступительной статьей Твардовского.

Библиография в России и в Советском Союзе, изуродованная цензурными ограничениями, была делом неблагодарным и крайне неразвитым.

В своем очерке Мария Иосифовна написала, как принесла рукопись библиографического указателя в издательство и главный редактор сказал ей с сочувствием:

«— Но ведь Анатолий Кузьмич умер накануне Двадцатого съезда... Он не дожил...

— Да.

— Но ведь библиография теперь неполная... Вы ведь понимаете, что в ней многих имен не будет хватать. Он ведь не мог знать, что будут реабилитированы, например, такие пролетарские поэты, как Кириллов, Герасимов, а Николай Зарудин и другие?

— Да. Но они включены в библиографию. Вернее, он их никогда не исключал. Книги их стояли на полках.

— То есть, как стояли?! Зачем он хранил подобную литературу?!

— Он говорил, библиография — это наука. Он, видно, просто делал свое дело.

— И дома знали?

— Нет. Как-то не отдавали себе отчета...

Узнали, когда позвонили из Гослитиздата и сказали, что собираются издавать книги старых пролетарских поэтов, участников революции — Герасимова, например, члена РСДРП с 1905 года. А текстов нет! Многие стихи не сохранились даже у родственников. Быть может, в библиотеке Тарасенкова?.. Библиотека помещалась уже на Лаврушинском, в отдельной комнате, специально отведенной под нее, где все стены были от пола до потолка застроены шкафами. И все нужные книги были обнаружены. Они стояли по алфавиту, под стеклом, в ярких ситцевых переплетах.

Тарасенков переплетал сам. Он буквально одевал свои книги. “— Как ты могла купить себе на платье в обрез? — кричал он на жену. — Ну хотя бы на один переплет. Ты скоро сносишь эту кофту? Только, пожалуйста, не выгорай ее...”

Как-то ему подарили новую цыганскую юбку из синего французского ситца в цветах. По тем временам это было поистине царским подарком.

— Ну что ты смотришь так на юбку! Это бессовестно с твоей стороны. У меня Гумилев раздетый.

И тут же всю раскрыл докторскими ножницами. <...>
А в Союзе писателей однажды с трибуны:

– Этот эстет Тарасенков с любовью переплетает – кого бы вы думали? – Ахматову, Мандельштама...

И когда тот с трибуны проходит мимо, чтобы сесть на свое место, Тарасенков ему:

– Тебя я, между прочим, тоже переплетаю...».

Но самое трудное было спасти коллекцию во время войны. 26 июня 1941 года, уходя на фронт, Тарасенков сказал жене:

«– Библиотеку, конечно, вряд ли удастся сохранить... Но, если можешь, сохрани картотеку... Восстановить ее уже будет невозможно. Не хватит времени и сил...

В июле, когда начались бомбежки, картотеку всю ссыпали в наволочку, завязали – и к окну на подоконник. Все носильные вещи, все ценное увязали в узлы, и узлы у окон, как в деревне, когда в конце улицы пожар. Как и во всех домах на Конюшках. Конюшки деревянные – горючие...

“Не мучь себя библиотекой! Мне все равно. Клянусь тебе, все равно!.. Лишь бы уцелели вы...” – письмо Тарасенкова с фронта. Но если Тарасенкову в те первые месяцы войны было все равно, то тут, в Москве, как раз наоборот – спасти! Во что бы то ни стало спасти!..

Очень страшно горела Книжная палата, одно из красивейших зданий Москвы начала девятнадцатого века. Ночью. Уже сорвана крыша. Горят готовые рухнуть стропила. Пламя мечется, кидается на деревья, стелется по земле... Но стеклянная галерея еще не горит, только, охваченная вся огненным светом изнутри откуда-то, явлена взору в целостности своей, в мельчайшей подробности... Стеллажи – книга к книге, и каждый корешок виден отдельно. Лесенка у стеллажа, и каждая ступенька – отчетливо в глаза. Ящики с картотекой... Все на месте, не тронуту огнем, нигде ни одного языка пламени, все в сохранности своей, недвижимости, как отпечатано... Огонь

не вовне еще, но внутри уже. Внутри стен, стеллажей, внутри книг... И все лишено уже вещественности своей, земной плоти — одна оболочка. Никто уже, ничто уже не может спасти... Счет идет на секунды. Еще секунда, еще... Взрыв огня! И все рухнуло в пламени, распалось... И вдруг вопль: “Книги!..” Из огня, из туги набитых стеллажей в ночное небо выстреливают книги... Не горящие — огневые! И там, под самыми звездами, раскрываются... И ветер шевелит огневыми страницами, и на страницах видны даже черные прочерки строк... Мгновение... горстка искр осыпалась вниз... А в небо еще книги, еще... И потом фейерверком огневые листки — картотека!.. <...>

За пол-литра в домоуправлении — управдом уходил на фронт — добыли три листа кровельного железа. В подполе в землю зарыли оцинкованное корыто и таз и самые ценные, по своему разумению, конечно, книги опустили в них и сверху накрыли листами железа. Картотеку в наволочке увезли с собой в эвакуацию в Ташкент, 13 октября»²¹.

Шли годы. Марии Иосифовне было суждено прожить долгую жизнь; от Тарасенкова ее отделяли уже не десятилетия, а полвека. Была написана книга о Цветаевой, о ее семье, пришла всемирная слава, книга была переведена на разные языки. Недоброжелатели говорили, что в книге о Цветаевой она выгораживает своего недостойного мужа...

Много всего говорили. Уже ушли из жизни все ее современники, все, кто помнили Тарасенкова. Однажды она сказала мне: «Когда же он меня оставит в покое, и я перестану вести с ним нескончаемые беседы? Я хотела написать его историю и освободиться, но не смогла...».

И дело было вовсе не в огромной любви, которая соединила этих людей; Мария Иосифовна говорила с легкой насмешкой о своем браке, нет, скорее всего, их связала и при жизни, а особенно после смерти, — *его боль-*

ная совесть и ее пронзительная жалость к нему. И мне показалось, что это чувство сильнее Вечной любви.

Эпилог

В 1958 году Пастернака исключали из Союза писателей за «Доктора Живаго» и за Нобелевскую премию. Пастернаку пришлось поставить подпись под письмом к Хрущеву, с просьбой, чтобы его не высылали из Советского Союза, и отказом от Нобелевской премии, затем было письмо в «Правду», которое должно было выглядеть как покаянное, но видно было, что оно написано под жестким давлением. Ни в 1937-м, ни в 1949 году, а теперь, по сути в вегетарианские времена, он вынужден был писать то, что раньше не делал ни при каких обстоятельствах, но теперь из его близких сделали заложников. Его пытались низвести до всех тех, кто каялся, кто бил себя в грудь и клялся измениться. Эту школу прошли за сталинские времена почти все советские писатели, кроме Пастернака. Даже Ахматова сделала то, что от нее хотели. И вот дождались: Сурков и Софронов, Суслов и Поликарпов, — ведь не могли они забыть, как всего десять лет назад требовали, чтобы он покаялся, или, как говорили тогда, «разоружился перед партией».

Поэтому и проработки Пастернака, которыми занималась не только писательская общественность, как было раньше, но и вся страна носила самый разнообразный характер. Разумеется, были ретроспекции в прошлое. И вот тогда Алексей Сурков, давний недруг и недоброжелатель Пастернака, вспомнил, что у него был у него такой апологет — критик Тарасенков.

Казалось бы, можно было бы радоваться, что Тарасенкова вспомнили не как хулителя, не автора лживой, покаянной статьи, а именно как апологета. Но Мария

Иосифовна увидела в этом мрачный знак: «Я подумала, что Тарасенков все же умер вовремя — ему пришлось бы и в третий раз отказываться от Пастернака! Ведь приезжала же специально из Ленинграда Панова, умный, честный, много выстрадавший человек, знающий и любящий поэзию. Приезжала, чтобы выступить против Пастернака, а ведь могла бы и не приезжать, сказала бы больной. Что было взять с нее, с беспартийной. Ведь выступал же Борис Слуцкий против Пастернака и понес потом этот тяжкий крест. А Сергей Антонов, который писал тогда такие честные рассказы. А другие... А ведь были уже иные времена, уже не сажали, уже царствовал Никита! Так что же это — и н е р ц и я страха?! Ведь им-то всем было и не обязательно выступать! А вот Тарасенкову — ему пришлось бы обязательно, это было, так сказать, - “его тема”! Его не спасли бы инфаркты, ему пришлось бы выступить в порядке партдисциплины!»²²

Не желала она своему мужу нового позора, а хотела, чтоб настал покой в его смятенной душе.

Я тогда поняла смысл слов «упокоиться с миром». Не могли и не знали советские писатели покоя ни при жизни, ни после смерти. Да что писатели! Все советские люди его не знали. И, наверное, поэтому так беспокойна и наша жизнь.

Что же осталось в итоге? Сострадание Марии Иосифовны к своему мужу. Любовь к Пастернаку всего их поколения — Данина, Белкиной, Тарасенкова, Казакевича. Поэтическая библиотека.

Любовь, жалость, труд...

Будем же и мы милосердны к тем, кому выпало жить в те страшные поры.

ПРИЛОЖЕНИЕ

ИСТОРИЯ БОРЬБЫ С Д.А. ПОЛИКАРПОВЫМ (сентябрь 1944 – апрель 1946)

записал А.К. Тарасенков
7 апреля 1946 г.
Москва

В конце августа 1944 года я вместе с Вишневым в составе новой редколлегии журнала «Знамя» приступил к работе. С первых дней Поликарпов сделал ряд шагов, стремясь установить свою диктатуру над журналом.

Осенью 1944 года в «Знамени» был устроен вечер нескольких офицеров-фронтовиков с их рассказами о впечатлениях, о летних операциях Красной Армии. Выступал полковник генштаба Болтин. Он много говорил о внешней щеголеватости румын, о недостаточном внимании к внешнему виду бойцов Красной Армии. Это очень не понравилось присутствовавшему на собрании Поликарпову. Он написал записку Вишневному: «Что это за мелкобуржуазная болтовня?», – швырнул ее в президиум и вышел демонстративно вон.

Через несколько дней он встретил меня в ССП. Начался крик:

– Вы что это за сборища устраиваете в «Знамени»? Черт знает, кого выпускаете без контроля! – мат стоял непереносимый. Я начал отвечать резко, в тон Поликарпову.

Он горячился все более.

— Прошу со мной в таком тоне не говорить! — сказала я и вышел из его кабинета.

К этому же времени относятся первые запреты Поликарпова.

Из готовой верстки № 9—10 он вынул рассказы Успенского за то, что в них рассказывалось о «микроматематике» ленинградской осады. Поликарпов усмотрел в этом влияние антимарксистских теорий Тэна. Скандалы по отдельным вопросам участились...

Одновременно Поликарпов все время делал ходы ко мне, пытаясь превратить меня в своего доверенного агента внутри «Знамени». Он предложил мне почаще беседовать с ним, воздействовать в нужном направлении на Вишневецкого и т.д. Я от этих попыток Поликарпова резко отмежевался, обо всем поставил в известность Вишневецкого. «Агентом Поликарпова в “Знамени” быть не собираюсь, буду вести старую самостоятельную линию журнала», — таково было внутреннее решение.

Первая крупная стычка с Поликарповым произошла по поводу дневников Веры Инбер. Мы приняли к печати эту вещь. Устроили вечер в клубе писателей, выступали и я, и Вишневецкий.

После этого Поликарпов вызвал меня к себе.

— Повлияйте на Вишневецкого, чтобы не печатать этот дневник. Он мне не нравится.

Я сказал Поликарпову:

— Дневник принят мной и Вишневецким и всей редколлегией к печати. Менять свою точку зрения не могу и не буду.

— Тогда я напишу вам письмо в редколлегию.

Письмо такое действительно вскоре пришло. Трудно было с Тихоновым. Он боялся печатать дневник. Вел себя на редколлегии половинчато, трусливо. В конце концов,

все же редколлегия подтвердила решение свое печатать вещь Инбер.

Тогда Поликарпов вызвал к себе Инбер и посоветовал снять вещь из печати. Инбер не согласилась. — «Вы имеете политические возражения против моей вещи?» — «Нет».

— В чем же дело?

— Она очень личностна, слишком много о себе, о писательском труде...

Инбер ответила:

— Почему если инженер пишет книгу, подробно рассказывает о производстве стали, а поэту нельзя писать о том, как рождается его произведение?

Поликарпов промолчал.

Затем он обжаловал поведение «Знамени» в управление пропаганды и агитации ЦК партии. Еголин, Орлова, Иовчук встали на нашу точку зрения, дневник был разрешен к печати. На этом Поликарпов не успокоился. Он попытался организовать против Инбер статьи в «Литературной газете». Из этого ничего не вышло, критики один за другим отказались писать.

В дальнейшем Поликарпов принял все меры, чтобы дневники Инбер не вышли отдельной книгой: тонко был организован провал книги на редсовете «Советского Писателя». Я там не был. Дрался за Инбер Вишневский.

Фыркал Поликарпов на «Молодую гвардию» Фадеева, говорил, что это не ахти какое произведение, но на этот раз на открытую борьбу не решился. Презрение и насмешки вызывали у Поликарпова Алигер, Инбер. Об Инбер он не выражался в разговорах наедине иначе как «Вера Ёбнер»...

Попытался устроить разгром поэмы Алигер «Твоя победа». Возмущение вызвала у него глава о евреях. Было

устроено осенью или летом 1945 года совещание на квартире Тихонова. Присутствовали Тихонов, Алигер, Поликарпов, Симонов, Маршак, я, еще кто-то. Подвергли критике главу. Алигер потом ее переделала. Но здесь Поликарпов вел себя сравнительно мягко.

В ходе встреч, разговоров Поликарпов всегда шел на встречу во всех материальных вопросах для «Знамени», обещал щедрое снабжение и деньги мне лично, но в вопросах литературы все время проявлял стремление утвердить свои личные вкусы, отличавшиеся крайним произволом и «странностью». О Берггольц он мне говорил: «Ну, это эстонская еврейка». Об Алигер: «Ну эта расхристанная, из молодых да ранняя...». Хвастался тем, что, будучи главой радиокомитета, не пропустил в эфир поэму Антокольского «Сын». Очень помню глупое и резкое выступление Поликарпова против Бека на дискуссии по поводу образа офицера в советской литературе. Поликарпов обвинил Бека в эсеровской трактовке взаимоотношений героя и толпы. Затем, вопреки решению правления ССП весной 1945 года, вычеркнул Бека из списка произведений, представленных Союзом на Сталинскую премию.

Несколько раз вел со мной странные разговоры о том, что в «Знамени» печатается слишком много авторов с нерусскими фамилиями... «Не думайте только, что я антисемит», — предупреждал тут же Поликарпов.

Зимой 1945 года, после того как «Знамя» напечатало очерки Славина, Гуса и Агапова о Германии, Поликарпов устроил проработку этих вещей на президиуме ССП. Заранее им было организовано глупое, вульгарное выступление холуя Астахова, Кожевникова и др. Славина, однако, писатели не дали в обиду. Агапову немного влетело, Гуса раздолбали. Явно, все это было нужно Поликарпову для ущемления «Знамени».

Но особенно резкими отношения мои и «Знамени» с Поликарповым приняли после того, как он прочел принятую нами к печати вещь В. Пановой «Спутники». Снова письмо в редколлегию с требованием не печатать вещь. Испуганный Ярцев из издательства звонит мне:

— Есть ли у тебя чем заменить Панову? Вещь горит.

Я ответил, что «Знамя» вещь все равно напечатает. Затем я послал Еголину большое письмо с жалобой на Поликарпова. Приложил вещь Пановой и письмо Поликарпова.

Вещь Пановой в ЦК прочли Еголин, Иовчук, Городецкий, Афанасьева и др. т.п. Единогласно сказали: печатать. Я спросил, как быть с письмом Поликарпова. Мне посоветовали: соберите редколлегию, подтвердите свое мнение, зовите и Поликарпова. Только уверены ли вы в том, что редколлегия будет тверда.

— Уверен, — сказал я.

Тут началась подготовка к заседанию. Отдельно, подробно я говорил с Тихоновым, Толченовым, Тимофеевым. Убедил их быть твердыми. Вишневецкого и Симонова нет в Москве. Положение трудное, в начале января номер 1 уже подписан к печати. Панова там идет. Созываю редколлегию. Пришел Поликарпов. Оглашаю его письмо. Начинается спор. Поликарпов ведет себя грубо, по-хамски орет. Говорит о «горьком опыте полемики» со мной. Когда Поликарпов услышал из уст Тихонова тоже защиту Пановой, схватил шапку и заорал: «Сюда я больше не езду». Я усадил его за плечи на место: «Сидите, слушайте».

Редколлегия подтвердила свое старое решение. Вещь печатаем с незначительными поправками, в сущности тактическими «уступками» Поликарпову, не имеющими «стратегического» значения.

Вскоре после выхода № 1 из печати, — ночные звонки ко мне от Федосеева, Еголина, Иовчука, Поскребышева. Меня нет дома. Телефон буквально обрывают. Я пришел, звоню обратно. Вопросы: «Кто такая Панова? Что раньше писала? Где живет? — и т.д. «Понятно...».

Весь ход истории с Пановой сообщаю в Нюрнберг Вишневному. Он присылает телеграмму, полностью одобряет мою линию.

Поликарпов продолжает свирепствовать. На обсуждении пьесы Симонова «Под каштанами Праги» (осень <19>45 года) он выступает и требует, чтобы в пьесе почему-то была показана революция с точки зрения того, какие материальные блага она дала народу. Иронический ответ Симонова.

В начале весны <19>46 года на президиуме читает свою поэму Твардовский («Дом у дороги»). Поликарпов выступает с надуманной критикой. Ему, видите ли, кажется, что в поэме слишком много горя, не хватает запаха победы, нет описания Бранденбургских ворот... Прimitивные, плакатные требования! Я вступаю в резкую полемику с Поликарповым. Мои выступления встречают писатели сочувственно. Твардовский отвечает Поликарпову, повторяя мои доводы. Победа, ее ощущение разлиты в самом духе, стиле вещи, ее не обязательно описывать, ее надо ощущать нутром. Тихонов робко поддерживает меня. Поликарпов здесь проваливается.

18 марта <19>46 года — заседание президиума ССП. Идет выдвижение на Сталинские премии. Обсуждается «Великий государь» Соловьева. Я выступаю, отвожу вещь, как художественно слабую, противопоставляю вещи Соловьева «Ливонскую войну» Сельвинского, говорю о ее выдающихся качествах. Поликарпов прерывает меня на каждом слове. Кричит. Не дает говорить. Твардовский возмущен. Я говорю:

– Прошу вас, Дмитрий Алексеевич, вести собрание более демократично и дать высказать свою точку зрения.

Снова визг Поликарпова.

Возмущенный Твардовский произносит слова в порядке ведения собрания, желая остепенить Поликарпова. Тот цыкает на Твардовского, слова ему не дает. Твардовский встает и молча демонстративно покидает собрание.

Далее идет обсуждение других вещей. Я выставляю на премию О. Берггольц, книгу «Твой путь». Проходит без прений (позднее Поликарпов все-таки провалил на закрытом голосовании эту вещь). Выставляю «Избр<анные> стихи» Пастернака (Гослитиздат, 1945). Поддерживают меня Асеев, Кирсанов, Антокольский. Против Сурков. Поликарпов резко снимает вопрос с обсуждения под тем предлогом, что в книге нет стихов с датой позднее «1944 г.» Я возражаю: «Мы только что выдвинули книгу Исакияна. Там последняя под стихами — «1942». Ничего не помогает. Обсуждение сорвано.

Ночью я возвращаюсь домой. Возмущен страшно всем стилем поведения Поликарпова. Звоню тут же Еголину. Рассказываю ему весь ход заседания. Еголин разделяет мое возмущение хамским поведением Поликарпова — «Что делать, А<лександр> М<ихайлович?» — «Напишите от имени группы писателей письмо в ЦК». — «Я в армии отучен от коллективов. Если буду писать, то сам, лично». — «Что ж, советую написать, только нигде и никогда не ссылайтесь на меня, иначе вы меня страшно подведете. Я вам советовать не имею права». Тут же ночью я сажусь за машинку и пишу письмо тов. Маленкову. Вот его текст.

*Москва, 19 марта 1946 г.
Секретарю ЦК ВКП (б) тов. Маленкову.*

Многоуважаемый товарищ Маленков!

Мне в качестве заместителя редактора журнала «Знамя» пришлось проработать свыше полутора лет в очень близком общении с ответственным секретарем Правления Союза Советских Писателей тов. Поликарповым. За эти полтора года у меня непрерывно крепло убеждение в том, что тов. Поликарпов неверно, не по-большевистски руководит Союзом писателей. За последнее время это чувство настолько обострилось, что я считаю своим партийным долгом написать Вам это письмо.

Во всей жизни Союза Писателей тов. Поликарпов ведет себя так, как будто он — полновластный диктатор. Председатель Союза — всем известный писатель Н.С. Тихонов — держится в стороне, он явно боится Поликарпова, считая его, очевидно, каким-то особенно доверенным комиссаром. Возражать Поликарпову Тихонов, беспартийный человек, боится. А Поликарпов, забыв все установки партии о том, что к писателям надо подходить чутко, бережно, — все более усваивает тон командования, окрика, приказа. Служащие из аппарата Союза Писателей боятся слово пикнуть, ходя на цыпочках. Да что служащие, — известные всей стране писатели почти никогда не решаются сказать слово против Поликарпова, — все равно заранее известно, что они будут публично высечены...

Несколько раз Поликарпов в грубой форме пытался декретировать свои вкусы редакции журнала «Знамя», где я работаю. Он запрещал нам печатать Ленинградские дневники Веры Инбер. Толь-

ко мое письмо в ЦК спасло талантливую рукопись. Товарищи Еголин, Иовчук прочли эту вещь и дали разрешение ее печатать. Вторично Поликарпов попробовал запретить нам печатать талантливую патриотическую повесть молодой писательницы Веры Пановой «Спутники». Он прислал в «Знамя» такое письмо:

«Членам редколлегии журнала “Знамя”. Я ознакомился с рукописью В. Пановой “Спутники” (“Санитарный поезд”), принятой вами для опубликования кажется, в первом номере журнала в 1946 году. Считаю это произведение ошибочным, извращающим действительную картину быта и семейной жизни советских людей. В романе Пановой преобладают мелкие люди, запутавшиеся в семейно-бытовых неурядицах. По существу, говоря — это несчастные люди, у которых война — выбила почву из-под ног. Намеченная автором галерея персонажей — представляет собой убогих в душевном отношении людей. Публикация произведения в таком виде была бы грубой ошибкой. Я категорически возражаю против опубликования романа В. Пановой и настаиваю на проведении специального заседания редколлегии с участием автора и моим заявлением об этом произведении.

С уважением Д. Поликарпов. 24 XII 1945 г.»

В разговоре со мной Поликарпов заявил: «Дойду до секретарей ЦК, но не дам вам печатать эту вещь».

Редколлегия журнала «Знамя» собралась, в присутствии Поликарпова подтвердила решение пе-

чатать вещь В. Пановой. Снова при помощи т. Иовчука и Еголина мы все-таки опубликовали эту талантливую, патриотическую книгу, очень положительно встреченную писательской общественностью.

Но мы в «Знамени» пробуем бороться с Поликарповым. К сожалению, большинство писателей предпочитают махнуть рукой и в драку с Поликарповым не ввязываться, хотя и очень резко выражаются о нем в «кулуарах» В «Литературной газете» Поликарпов установил режим террора. Все, что не совпадает с его вкусом, беспощадно режется, снимается, запрещается. Заместитель редактора «Литературной газеты» тов. Ковальчик много раз говорила мне и другим товарищам, что она возмущена поведением Поликарпова, но ничего сделать не может.

Особенно возмутительно ведет себя Поликарпов на партбюро Союза Советских писателей, на партсобраниях, наконец, на заседаниях правления Союза Советских Писателей. Везде – его слово, его тон непререкаем! Личный вкус, личные оценки произведений становятся законом. Вот вчера Поликарпов проводит заседание правления с активом. Обсуждается выдвижение произведений на Сталинские премии. Поликарпов заранее подготовил список. Если ораторы говорят не то, что угодно ему, он начинает кричать, прерывать их грубейшими репликами, лишать слова. Возмущенный Твардовский, на которого Поликарпов позволил себе прикрикнуть как на мальчишку, покидает собрание. Прения Поликарпов прерывает тогда, когда ему это угодно кричит, цукает на писателей, известных всей стране, как жандарм.

Нет, право, такой обстановки не было даже при пресловутом Авербахе!..

Асеев, Антокольский, Кирсанов и я выставили кандидатом на Сталинскую премию «Избранные стихи» Пастернака, вышедшие в Гослитиздате в 1945 году. Поликарпов буквально сорвал обсуждение этого предложения, заявив, что в сборник включены стихи прежних лет и что поэтому обсуждение незаконно, дескать. Он просто прекратил собрание, заявив, что этот вопрос обсуждению не подлежит.

Асеев, Кирсанов (беспартийные поэты) после этого говорят:

«Ну, зачем мы выступали? Все равно, наверно, Поликарпов все заранее согласовал наверху... Это только вывеска демократии... Нечего было обсуждать».

Такими методами Поликарпов внушает и партийным и беспартийным писателям только отвращение к работе в Союзе Писателей, в редакциях. Союз Советских Писателей буквально терроризирован его самодурством. Все это, по-моему, приносит прямой политический вред и противоречит политике партии в области литературы.

Я знаю, что очень похоже на то, что я вам пишу, товарищ Маленков, думают многие литераторы. Я мог бы назвать критиков Субоцкого, Бровмана, Ковальчик, поэтов Алигер, Асеева, Твардовского, Кирсанова. Но большинство боится поднять голос против политики Поликарпова. Но, по-моему, лучше прямо сказать то, что наболело на душе: Поликарпов вреден нашей литературе, он глушит все новое, свежее, под флагом ортодоксии он глушит молодые дарования, не дает развиваться принципиальной литературной критике, насаждает под-

халимаж, угодничество в литературной среде. По моему, пора убрать Поликарпова из литературы и поручить руководство Союзом писателей группе известных народу партийных и беспартийных писателей, которые вполне могут обойтись без устращающей поликарповской нагайки.

Простите, что я отнимаю у вас время этим письмом, но я считаю своим долгом написать вам правду и только правду.

*Заместитель редактора журнала «Знамя»,
член Союза Советских писателей
(Ан. Тарасенков).*

Этот документ был написан сразу, сгоряча. Утром курьер «Знамени» А.Я. Тихонова отнесла его в ЦК.

Вскоре состоялось партсобрание ССП. Стоял доклад Чаковского о критике. Доклад был слаб, он никого не удовлетворил. Я выступил в прениях и произнес большую речь. Говорил о сталинском принципе направлений в литературе, говорил, что созданся в критике застой, рутин. Сильно критиковал Поликарпова. Повторил то, что написал в письме к Маленкову. Закончил так:

— Мы говорим взволнованно. Мы кровно заинтересованы в литературе. Мы обречены ей пожизненно. Есть товарищи, которые сегодня занимаются рыбной промышленностью, завтра пойдут руководить лесосплавом. Им все равно. А нам, кадровым литераторам, не все равно, и потому я говорю столь взволнованно, горячо. С войны вернулась группа критиков — Вильям-Вильмонт, Корабельников, Ф. Левин, И. Альтман, М. Чарный. Им есть, что сказать народу. Но они почему-то молчат. Все дело сейчас в том положении, в которое поставлена критика, хотя и она сама не свободна от недостатков.

Первые выступавшие после меня обошли молчанием мою речь. Осторожный Бровман, который мне предварительно обещал полную поддержку, говорил очень вяло, имен не называл. Астахов упрекал меня в том, что я не коснулся объективных пороков критики, и потому мое выступление однобоко. Собрание шло вяло, робко. Председатель Ермилов, видимо, из осторожности заявил, что жаль, нет, не можем выслушать противную сторону. Но список ораторов был велик. Собрание перенесли на следующие дни. Оно было назначено на 1 апреля. Поликарпов уже 30 марта, видимо ознакомившись со стенограммой собрания, позвонил в «Знамя», позвал секретаря журнала. Подошла Ф.А. Левина.

— У вас в редакции хранятся старые документы? — спросил Поликарпов.

— Да, хранятся.

— Подберите мне тогда мои письма в редколлегию о Инбер и Пановой и ответ Вишневого.

Это было сделано. Копии писем сняты, тотчас посланы Поликарпову.

Ясно, — он готовился отвечать на партсобрании.

Мирская (из «Литературной» газеты) передала мне:

— Поликарпов разгромит вас. Он сказал: «Этот мальчишка Тарасенков собирается вести самостоятельную литературную политику! Мы ему покажем!»

— Против вас собираются резко выступить, — сказала мне Мирская, — Сурков и Кожевников...

Буря готовилась.

Однако вдруг 1 апреля в 4 часа дня мне позвонил Владыкин из ЦК.

— Ваше письмо обсуждается 3-го апреля в 2 часа дня на оргбюро Вы приглашаетесь. Приглашается также Вишневский. Передайте ему.

– Вишневский в Нюрнберге, – ответил я.

– Нет, он уже вылетел. Скоро будет здесь. Если успеете, – скажите, передайте ему.

– Кто еще вызывается?

– Не знаю... о вашем вызове никому ни слова...

Когда в 7 часов вечера я пришел на партсобрание, Поликарпова снова не было. Видимо, он тоже узнал о предстоящем заседании оргбюро и выступить до него не решился.

Продолжались прения.

Чарный заявил, что действительно острые статьи трудно проходят в нашей прессе, и косвенно поддержал мою критику застоя в литературе. Инбер подробно рассказала собранию о всех муках со своей книгой и вообще поддержала меня. Субоцкий говорил о Поликарпове гораздо мягче меня, но, в общем, чувствовалось, что он хоть и побаивается, но стоит на моей стороне.

Ермилов обрушился на мою формулу: «Литературой управляет не Поликарпов, а народ» и усмотрел в ней отрицание партийного руководства литературой. Сурков в кулуарах собрания сказал мне: «Эх, не было времени, а то я тебя бы разделал. Не подготовился я. Но твердо знаю, – наши с тобой разногласия по поводу Пастернака – за гранью партийности». Гнусно выступила Шагинян. Она заявила, что несовместимо с принадлежностью к партии мое, Антокольского и Суркова выступление против выдвижения романа Панферова «Борьба за мир» на Сталинскую премию. Критику нашу Шагинян огулом обвинила в дезориентировке писателей, в меньшевистских тенденциях, в эстетстве... В интонациях: 37-го года выступил Воложегин... Он нашел в моем выступлении «дурно пахнущие нотки» и кричал: «Кто дал право Тарасенкову критиковать Поликарпова, который поставлен в ССП партией и правительством?»

Собрание снова не закончилось, было перенесено на 8 апреля.

Итак, завтра на оргбюро. Успеет ли подоспеть Вишневский? Прихожу домой. 12 ночи. Звонит С.К. Вишневецкая. «Всеволод только что прилетел...» Я лечу к нему. Ночь. Он в халате, с дороги, уставший.

Я рассказываю ему весь ход борьбы. Передаю ему весь ход борьбы. Раздумье. Потом полное согласие. Да, уверен в нем. Завтра идем вместе в ЦК.

И вот это утро 3-го апреля, день, который я навсегда запомню.

В 2 часа являюсь... Список приглашенных в главном подъезде ЦК. Прохожу без пропуска, по партбилету. Через плечо часового заглядываю в список приглашенных. Вижу фамилии Поспелова, Ильичева, Гуторова, Поликарпова, Твардовского, Тихонова, Вишневецкого....

В приемной Маленкова встречаю Гуторова, Сучкова (он вызван как бывший секретарь парторганизации ССП), Владыкина и всех остальных вызванных. Поликарпов ко мне:

— Что вы там написали в письме? То, что говорили на партсобрании? Или еще что?

— Нет, я написал шире...— и отхожу в сторону.

Поликарпов заметно волнуется.

Я тоже — очень. Тихонов вьется вокруг Поликарпова.

Вишневский сидит с Твардовским, рассказывает ему свои впечатления о Нюрнберге. Я пытаюсь хоть что-нибудь предварительно выведать у Сучкова, Владыкина. Безнадежно. Они отмалчиваются. Так проходит более полутора часов. Трудно, очень трудно ждать.

Наконец нас зовут на заседание оргбюро. Входим. Просторная светлая комната на 5 этаже. Большой стол под зеленым сукном. В крайнем его конце — Маленков,

за столом — члены оргбюро (кроме Сталина и Жданова). Во втором ряду вижу Пospelова, Мишакову, Иовчука.

Мы все приглашенные садимся на диван у другой стены.

Маленков открывает заседание. На повестке дня вопрос о журнале «Знамя». Маленков говорит:

— К нам поступило письмо заместителя редактора журнала «Знамя» тов. Тарасенкова. Я думаю, попросим тов. Александрова доложить нам его, изложив не полностью, а в важнейших моментах. Все читать не надо.

Александров встает, спокойно, точно, очень подробно, почти наизусть передает содержание, и даже стиль моего письма, опуская лишь место о Тихонове.

Слово получает Поликарпов.

Он пытается отбиться. Он отрицает зажим, администрирование. Он нападает. Следуют цитаты из моей статьи «Среди стихов» («Знамя» № 2—3.1946), где я говорю о хороших традициях в литературе Одессы. «Что это за традиции Адалис и Олеси? Куда нас зовет Тарасенков?» Следуют цитаты из моей статьи о Пастернаке («Знамя» № 4. 1945 г.), там, где я сравниваю Пастернака с Левитаном и Серовым». Да, тут у нас с Тарасенковым разногласия действительные...». Поликарпов, однако, очень робеет. Держится нервно, как нахулиганивший школьник. Успеха не имеет.

Получаю слово я. Говорю спокойно. Волнение уже где-то позади.

— Я хочу выступить шире, чем рассказал об этом в письме на имя тов. Маленкова. Речь идет не только о положении в «Знамени», а о положении в литературе. Подробно рассказываю всю историю с Инбер, с Пановой. Рассказываю, как по приказу Поликарпова был «вынут» из дискуссии Леонов (на дискуссии об образе советского офице-

ра), как после того, как голосовал за президиум, из списка представленных на Сталинские премии на 1945 год выпал А. Бек («Волоколамское шоссе»), рассказываю подробно весь ход заседания президиума 18 марта, рассказываю, как мне хвастался Поликарпов, что не пустил в эфир поэму «Сын» Антокольского, как зарезал статью о Г. Николаевой (даю военную и литературную характеристику Г. Николаевой). Говорю о сталинском принципе направлений в литературе. Поликарпов, противопоставляет этому свой лозунг: «“Литературная газета” не направленческая, а правленческая» и говорю о дискуссии, как норме лит<ературной> жизни. Говорю о том, как после положительных статей «Правды» о Леонове («Падение Великошумска») и «Большевика» о Сергееве-Ценском («Брусилловский прорыв») мы поместили статьи против этих произведений и считаю, что были правы. В литературу пришли писатели с огромным опытом после войны. Панова непохожа на Твардовского, Алигер на Инбер, Николаева на Суркова. Но все это советские писатели и незачем, чтобы между ними и народом было препятствие в виде Поликарпова. В руководство литературой должны придти свежие, молодые литературные силы.

Слово получает Вишневский. Он начинает с рассказа о том, что такое «Знамя» (накануне мы с ним проштудировали комплект «Знамени» за 15 лет), каковы его военные и литературные традиции.

— Кто спорит с Поликарповым? Я хочу рассказать о Тарасенкове. Это балтийский офицер. Когда он взорвался в море, он ощупал партбилет, пистолет, прыгнул в воду, плавал в море несколько часов. Его подобрал другой наш корабль. Мокрый, он явился в политуправление флота: «Готов к новым заданиям». Я хочу напомнить Поликарпову, как мы пришли с войны и устроили первый ве-

чер офицеров-литераторов в «Знамени». Выступает полковник генштаба Болтин.

Поликарпов шлет мне записку: «Что это за мелкобуржуазная болтовня?!» и демонстративно покидает собрание. Я положил эту записку в карман, не помню, цела она или нет. Или другой случай. Стоит как-то группа офицеров-писателей, разговаривает. Проходит Поликарпов и бросает насмешливо:

— «Аристократы!..» Что это? Шутка? я попросил так с нами не шутить. Вера Инбер провела всю блокаду Ленинграда. Старая беспартийная женщина встретила в конце августа <19>41 года на ст<анции> Мга с некоторыми ленинградскими писателями. Спросила: — «Вы куда?» — они машут рукой на Восток. — «А вы куда?» — «Я в Ленинград». Инбер вела себя в Ленинграде превосходно. Она вступила в эти годы в партию. Почему же ее книга, признанная дважды редколлегией «Знамени» вполне пригодной к печати, встречает такое противодействие со стороны Поликарпова? Почему Инбер буквально зарубили на редсовете издательства «Советский писатель»? А Панова? Это чистый, молодой талант. Мы обрадовались, когда она принесла к нам свою рукопись. Тов. Поликарпов и здесь ставит палки в колеса. Почему у нас в ССП так? Почему писателей никто после войны не встретил, не поговорил, не спросил, — что у вас на душе, на сердце? В этом духе Вишневский строит всю речь. Он обращается к Пospelову: — «Я правдист, но я захотел выступить против повести Леонова, напечатанной в “Правде”. — Разве это не право литератора?» Вишневский отстаивает право на спор, на дискуссию по литературным вопросам.

Твардовский очень робеет, говорит мало, несвязно. Во всяком случае, подтверждает недопустимость грубейшего поведения Поликарпова на президиуме. Говорит о большом таланте Пановой. Говорит о том, что всячес-

кое развитие инициативы журнально-издательского дела только принесет пользу литературе.

Иовчук говорит:

– Тов. Поликарпов протестовал против печатания вещи Пановой. Между тем, это произведение, в котором прекрасно показаны героические будни санитарного поезда, дан образ прекрасного большевика комиссара Данилова, замечательного представителя старой интеллигенции доктора Белова, комсомолки Лены Огородниковой. Прекрасная вещь написана чистым хорошим языком. Очень сильно показана в ней работа хирурга, показано, как собственными силами персонал поезда восстанавливает свой разбомбленный состав. Показана перековка людей в процессе войны. Даны различные типы больных, раненых. Все это психологически правдиво, реалистично. Действовать окриком, как Поликарпов – это значит не пускать в литературу новых талантливых людей. Положительную оценку дает Иовчук (вслед за Александровым) и дневникам В. Инбер.

Слово берет Тихонов. Он говорит, что первейшее качество в литературе – страстность. Мы на редколлегии «Знамени» все читаем всё, вплоть до мелкой рецензии, спорим, обсуждаем. В этот спор включился и Поликарпов, и это его право. Сначала я был против дневников Инбер. Там были – вещи, оскорбительные для ленинградцев. Мы ей советовали ряд кусков выкинуть. Она это сделала. После этого у нее не было ничего против печатанья вещи. Правда, в Ленинграде ею не довольны.

(Маленков с места:

– Товарищ Тихонов, трудно так вот просто выразить мнение всего Ленинграда...)

Тихонов, запнувшись, продолжает:

– У меня нет препятствий против печатания дневника Инбер отдельной книгой. Панова очень хороший ав-

тор. Она поработала над рукописью, и ее надо было, конечно, печатать. Мы ее напечатали. Ну тут Поликарпов действительно страшно обрушился... Но вспомним Щедрина. Когда ему не нравилась рукопись, он швырял ее автору и кричал: «Вон из редакции». (Смех.) Вот какие были редактора. Правда, ныне время другое. Поликарпов грубоват, резок, я ему это говорил. Леонов выпал из дискуссии потому, что у него не было образа офицера в повести... Бек же был выдвинут, но не прошел на комитете, он не кончил свою талантливую повесть. Он поссорился с героем, с Мамашулы, тот очень своеволен... Поликарпов грубоват, но честный человек... В ССП трудно работать. Столько республик. Все делегаты едут, у всех свои дела, просьбы...

Слово берет Маленков. Все настораживаются... Поликарпов, с черными губами, шепчет мне: «Зачем вы употребили клевету?..» — «Какую клевету?» — «Я не был против печатанья статьи о Г. Николаевой в «Лит<ературной> газете». Я недоуменно пожимаю плечами:

— «Такую информацию мне дали товарищи из «Лит<ературной> газеты».

Маленков говорит:

— По-моему, правда на стороне товарищей из «Знамени». Мы их поддержим. Преступник Поликарпов или не преступник? Вот что важно, — в результате его ошибочных действий мы могли бы потерять хорошего писателя Панову. А мы узнали ее через журнал «Знамя». Грубая ошибка Поликарпова. Сейчас все признают, что и Инбер, и Панова написали талантливые, хорошие книги. Но мало того, что т. Поликарпов ошибается, он свою неправильную по существу точку зрения отстаивает неправильными методами. Вы товарищ Поликарпов не выражали мнения Центрального комитета партии. Зачем использовать свой авторитет и запре-

щать издавать Инбер отдельной книгой? — Ошиблись вы и с Пановой.

(Поликарпов с места, чуть слышно:

— Это моя личная ошибка...)

Маленков:

— А нам от этого не легче. Из-за этой вашей ошибки мы могли потерять хорошего писателя. Вы говорите, что у вас не было конфликтов с другими журналами. А может быть, не было потому, что они не подавали своего голоса. Товарищи из «Знамени» смело вскрыли недостатки в работе Союза писателей, и мы встаем на их поддержку. Неправильный у вас подход к делу, тов. Поликарпов. Тов. Поликарпов неправ по существу. Сомневаюсь, чтобы он мог дальше осуществлять руководящую роль в Союзе Писателей. Вряд ли его правильно там оставлять. В Союзе Писателей должны быть работники другого рода.

К вам, тов. Тихонов. Надо из этого дела извлечь уроки. Мало соблаговолить разрешить печатать книгу, надо вытаскивать новые силы. Критика тов. Поликарпова это критика положения дел в Союзе писателей. Надо внести, тов. Тихонов, улучшения в работу. Надо поддерживать новые силы. В литературе могут быть различные точки зрения на произведения. Поэт может менее любовно относиться к достижениям прозы, а прозаик к поэзии. Истина выясняется в споре, правда всегда торжествует. Тихонов способный, чуткий человек. Его снимать мы не будем. Но надо внести улучшения в работу. Вы вовремя не сумели поправить тов. Поликарпова. Он должен был не запрещать, а сказать, что думает. Его можно было бы поправить. Но если опубликовать в печати два ваших письма, тов. Поликарпов, и объяснить, в чем дело, то вы, как литературный критик, пропали. Могло ли правление Союза Писателей вовремя заметить ошибки тов. Поликарпова, вовремя их поправить? Могло, и

должно было. Разве не доходит до правления, что т. Поликарпов действует непривычными методами? Я высказываюсь за то, чтобы освободить его от работы в Союзе Писателей. И учесть это Союзу Писателей в его дальнейшей деятельности, линию журнала «Знамя» надо одобрить и сказать, произведения Инбер и Пановой — хорошие вещи...

(Кто-то с места:

— А не будет это оценкой этих вещей со сторон ЦК? Желательно ли это?)

Маленков:

— А что ж этого бояться? Других предложений нет? (*Общий ропот одобрения.*) Решение принимаем, значит. Потом подыщем формулировку.

Вишневский, Тихонов, я встаем, жмем руку тов. Маленкову. Я спрашиваю тов. Маленкова:

— Можно ли обо всем происшедшем рассказать на партсобрании в Союзе Писателей?

Маленков отвечает:

— Будут даны дополнительные указания.

Выходим в приемную. Я устал от нервного напряжения, как после тяжелой физической работы. Поликарпов быстро уходит один. Мы все, не сговариваясь, пережидаем его уход еще несколько минут. Тихонов растерян. Он говорит:

— Как же все это вышло? Мне жаль Поликарпова. Он был честный человек, хороший...

Твардовский отвечает:

— По-человечески жаль, а для литературы нет. Надо любить литературу, а у него этого не было. Конечно, он был влюблен в наш блистательный XIX век, но советскую литературу он не любил.

Мы расходимся.

Вс. Вишневский мне: — Ну, пес, запомним бой на Старой площади.

На следующие дни новости распространяются довольно быстро по Москве...

5 апреля мне звонит домой Иовчук:

— Товарищ Тарасенков. Я должен вас информировать о решении ЦК. Отменяется теперь контроль ЦК над версткой. Можете ее не посылать больше. Решайте сами. Наши редколлегии теперь политически окрепли. Конечно, это не значит, что снимается партийное руководство литературой. Будем хвалить вас, если напечатаете хорошие вещи, будем ругать за плохие, давать критику в печать... Но формы партийного контроля теперь будут иные... Это дает вам большую свободу, но и налагает гораздо большую ответственность. Вы сделали большое партийное дело, — помогли убрать негодное руководство. Но имейте в виду, вокруг вас могут пытаться группироваться люди, которые вообще против партийного руководства литературой. Не идите на поводу у таких людей. Ставлю вас также в известность, что я дал указание издательству «Советский Писатель» издать книги Инбер и Пановой.

Через три минуты звонок от Ярцева — просьба быть ответственным редактором книги Инбер.

В воскресенье 7 апреля подвал о Пановой в «Правде».

Фадеев звонит Инбер и по секрету сообщает ей, что ему рекомендовали из ЦК провести Сталинскую премию Инбер за «Пулковский меридиан» и дневники.

Москва литературная полна слухов о происшедшем.

Масса поздравлений, звонков, одобрений, рукопожатий.

Ан. Тарасенков 7.IV.46.

**ПРИМЕЧАНИЯ В. ПАНОВОЙ К ЗАПИСИ
Ан. ТАРАСЕНКОВА
О БОРЬБЕ С ПОЛИКАРПОВЫМ**

Дорогой Марии Иосифовне на добрую память.

Для меня не было секретом, что Д.А. Поликарпов активно противодействует напечатанию «Спутников» в «Знамени». Зимой 1945–1946 года «Знамя» вызвало меня в Москву. Мне сказали, что нужно кое-что исправить в рукописи, чтобы она могла быть напечатана. Мы сели с Тусей Разумовской на ее диван и, хотя рукопись была уже принята редколлегией и отредактирована, стали опять что-то вычеркивать и переделывать. Вспоминаю, что переделки эти принципиально несколько не изменяли смысла и тона повести, касались они главным образом отношения Данилова к его жене и, может быть, именно в силу своей ничтожности и необоснованности очень меня нервировали.

Едва мы с Разумовской кончили эту весьма противную работу, как меня вызвали в Союз писателей к Поликарпову. Жила я у дяди Ильи в Борисоглебском переулке, из Союза туда позвонили по телефону. Поликарпов встретил меня очень начальственно, восседая за столом в кабинете Тихонова. Заговорил не грубо, без хамства, убеждал меня, что советские люди не такие, как в моей повести, советские мужья не бросают своих

жен и не изменяют им, советские люди глубже переживают любовь, чем я изобразила, и прочие глупости, но все это говорилось миролюбиво, даже как бы отечески. В заключение повел меня в другой конец 2-го этажа, в комнату, где был накрыт (очень парадно) стол и накормил прекрасным завтраком — чудный бифштекс и какое-то очень вкусное вино. Я поняла, что в этой комнате особо харчуются писательское руководство.

За столом П<оликарпов> продолжал все тот же разговор. Главное он добивался двух вещей:

1) чтобы я написала, как нежно и чутко Данилов всегда относился жене и 2) чтобы муж Лены ее не покидал. Я отказалась категорически, понимая, что этим будет разорвана живая ткань вещи, т.е. именно то, что нравилось всем читавшим ее. Я сказала Поликарпову, что писатель сам распоряжается судьбами и поступками своих героев. Он ответил, что я неправа и когда-нибудь это пойму. На это я просто не ответила, и мы разошлись недовольные друг другом.

Было это, если память мне не изменяет, в декабре 1945 года, а в январе, к моей великой радости, вышел № 1 «Знамени» за 1946 год, там была напечатана первая половина моей повести, и сейчас же начались звонки письма от самых разных людей с изъявлениями удовольствия и поздравлениями.

В том числе пришло большое письмо от Тарасенкова о том, что моя повесть хорошо встречена в Москве, и там была фраза: «Говорят, что Вашу повесть прочел и одобрил человек, чье имя Вам должно быть дороже всего. Слово “имя” было вычеркнуто и заменено словом “мнение”». Тогда я еще поняла, что этим мне открывается широкая дорога в литературе, но, конечно же, было лестно.

Однако настал февраль, и шел день за днем, а № 2 «Знамени» с окончанием «Спутников» не выходил. Я стала

беспокоиться и день ото дня беспокоилась все больше, понимая силу П<оликарпова> и боясь его козней. Я уже к тому времени изверилась в свою удачу, боялась опять внезапного удара судьбы. Прошел февраль, прошел и март – «Знамени» с окончанием «Спутников» все не было. Я решила ехать в Москву и принять судьбу лицом к лицу.

3 апреля 1946 года я была с утра в редакции «Знамени». С порога объявила, что приехала оттого, что хочу знать судьбу № 2-го, и сразу услышала радостные голоса женщин, работавших в редакции – Ф.А. Левиной и Ц. Дмитриевой: «Вышел, вышел! Вот, получайте!» – и в руках моих очутился долгожданный № 2. Я немедленно разыскала в нем окончание «Спутников» и успокоилась. Но это было далеко не всё. Вышел Тарасенков, повел меня в свой кабинет и сказал:

– Я должен Вам задать несколько вопросов.

И рассказал, что ему звонил Поскребышев («А он, учтите, никогда не звонит по своей инициативе»), и спрашивал обо мне – кто я и что. Я отвечала Анатолию Кузьмичу, ничего не утаивая. Потом он задал мне свои вопросы. Последний был такой:

– Как поздно можно к Вам звонить по телефону?

В редакции был телефон моего дяди Ильи Ивановича, у которого я обычно останавливалась. Я отвечала, что звонить можно когда угодно. А<натолий> К<узьмич> сказал:

– Я Вам позвоню вечером – может быть, очень поздно, но непременно позвоню, чтобы сказать, кто из нас двоих останется на работе: я или Поликарпов.

Конечно, он ни словом не заикнулся о том, что в этот день решается его тяжба с П<оликарповым>. Но я сама поняла, что предстоит нечто весьма значительное, и от всей души взмолилась мысленно, чтобы на работе остался Тарасенков. –

Вечером я не легла спать в обычное время, а ходила по передней и коридору, где висел телефонный аппарат. Долго я ходила. Наконец, уже около двух часов ночи раздался трезвон. Я схватила трубку, сказала: «Слушаю» и сейчас же услышала веселый голос А<натолия> К<узьмича>:

– Вера Федоровна? Ну, у меня для Вас два сообщения: первое: я остаюсь на работе. Второе: не могу гарантировать Вам это на сто процентов, но на 99 гарантирую Сталинскую премию!

Это уже превосходило все мои фантазии и мечты: этакая путевка в жизнь мне, отовсюду выгнанной и лишённой всего, в том числе куска хлеба для моих детей! В голове у меня поднялся такой сумбур, что я даже и не нашла достаточно весомых слов, чтобы как следует поблагодарить добрейшего А<натолия> К<узьмича> за его внимание и защиту. Впрочем, этот умный человек и без слов понимал меру моей благодарности.

И начались дни моего триумфа.

Не помню, 4 или 5 апреля был звонок из областной комиссии Союза, чтобы я сейчас же туда пришла. Я, конечно, побежала бегом, и А.Д. Карцев сказал, что сейчас я с ним и с А.А. Караваевой поеду в редакцию «Правды». Подали прекрасную машину, мы втроем сели и поехали. Я была в «Правде», в ее бюро жалоб, еще в 1936 году, прося, чтобы мне разрешили работать где-нибудь. Конечно, из этой просьбы ничего не проистекло, мне только в очередной раз дали почувствовать, что я, жена репрессированного, пария, и не скрою, что теперь я входила в вестибюль «Правды» с некоторым злорадным удовлетворением: считали меня недостойной быть даже больничной сиделкой, так вот же вам!

Редактором «Правды» был тогда Поспелов. Он принял нас в своем кабинете очень радушно. Я сидела про-

тив него за его столом, а А.А. Караваева и А.Д. Карцев — рядом на диване, а в сторонке был накрыт стол с великолепными по тому времени яствами — икрой, семгой и т.д., нас собирались угощать.

Но сначала пришли еще два человека: Ю.Б. Лукин, которого я уже знала по областной комиссии Союза, и второй, незнакомый, впоследствии оказавшийся В. Кожевниковым. Они повели меня в другую комнату и тоже стали задавать вопросы. Между прочим, кто-то из них спросил:

— А почему Вы не написали об оккупации?

Я сказала, что, откровенно говоря, я не сделала этого, потому что читала книгу В. Василевской «Радуга», и так как не видела во время оккупации решительно ничего, что написано в этой книге, то и не сочла возможным писать об оккупации. Лукин и Кожевников переглянулись и улыбнулись, и я поняла, что эта улыбка относилась не ко мне, а к тому, что наворочено в «Радуге». Я еще сказала:

— Ничего того, что там написано, не было и не могло быть, так как немцы считали Украину своей и заигрывали с украинцами.

И мы пошли пить чай в кабинет Поспелова.

И вот наблюдение, в точности которого я уверена: не только я в тот день была именинница и радовалась происходившему. Радостные лица были и у Караваевой с Карцевым, и у Лукина с Кожевниковым, и у Поспелова. Видно, эта маленькая победа литературы им всем была приятна.

Дома в Борисоглебском переулке уж нечего и говорить, как были довольны дядя Илья и его жена Наталья Федоровна.

Но я уже долгонько у них жила, и, застеснявшись их обременять, переехала в те дни в рекомендованную мне

Союзом комнату в Плотниковом переулке. И, едва переехала, почти сразу расхворалась. Узнав по телефону о моем нездоровье, А.Я. Бруштейн велела мне зайти, и ее муж, проф. Бруштейн, дал мне таблетки, которые меня вылечили. И вот настало 7 апреля – день, когда А<натолій> К<узъмич>сделал свою запись.

В тот день я поздно проснулась у себя в Плотниковом переулке и, проснувшись, услышала стук в дверь.

– Входите! – сказала я, и вошел В.С. Озернов, товарищ Д<авида> Я<ковлевича> по службе в тылу, впоследствии – муж моей Натальи.

– Вы что, – спросил он, – только что проснулись? Вставайте скорей, идите на улицу, там вывешена «Правда» с большущей статьей о вас и ваших «Спутниках».

Я живо оделась, и мы с В<ладимиром> С<еменовичем> пошли разыскивать щит с «Правдой», и я на улице прочла эту статью, превозносившую меня до небес.

А затем я повела Володю в клуб Союза писателей в ресторанчик, еще тот старый, под библиотекой. Там я угощала Володю хорошим завтраком. За соседним столиком завтракали какие-то незнакомые мужчины, и мы слышали такой разговор:

– Да кто такая эта Панова?

– Кто ее знает, откуда-то с периферии, из района.

– Вы подумайте, из-за бог знает кого снимать такого человека, как Дмитрий Алексеевич.

– Ну, не она же его сняла, – вмешался еще чей-то голос. Я поняла, что моя история нынче обсуждается всюду. А вернувшись в Плотников пер<еулок>, получила телеграмму из Ленинграда, от Д<авида> Я<ковлевича>. Смысл ее был таков: «Я знал, что это к тебе придет, но не думал, что так скоро». Ну, и конечно, поздравления.

Так я вошла в литературу. Взлетела счастливая чаша весов. С тех пор много было и горя, но что делать!

В жизни не бывает одно только хорошее. Во всяком случае, с тех пор я хоть материально ни от кого не зависела и хоть отчасти могла компенсировать моих детей и маму за пережитые лишения.

Еще были попытки как-то меня прижать в процессе издания «Спутников» отдельной книгой, но и эти попытки были отбиты, — незримая защита окружала мою повесть. И «Спутники» выдержали множество изданий, прежде чем вошли в то мое Собрание сочинений в 5 томах, подписка на которое сегодня производится в Ленинграде.

*11 октября 1969. В. Панова.
Комарово*

ПРИМЕЧАНИЯ

От автора

¹ *Рунин Б.* Мое окружение. Записки случайно уцелевшего. М., 1995. С. 173.

Часть I. 1944–1947. Страсти вокруг Пастернака

¹ Цит. по: *Липкин С.* Жизнь и судьба Василия Гроссмана. *Берзер А.* Прощание. М., 1990. С. 124.

² *Эйзенштейн С.* Мемуары: В 2 т. М., 1997. Т. 2. С. 442.

³ Наум Клейман, специалист по творчеству Эйзенштейна, говорил, что «Первая сцена, которая возникла в воображении Эйзенштейна, – сцена покаяния Ивана перед фреской “Страшно-го суда” в Успенском соборе. Причем, в первом варианте текста синодика (это известный исторический факт, когда Иван, убив очередную порцию своих мнимых врагов, давал деньги на то, чтобы помянули их души), так вот Эйзенштейн в список этого бесконечного синодика убиенных вписал имена своих друзей, погибших в репрессиях 1937–1939-го года. Вот такая, например, запись: Всеволод Большое Гнездо – это не тот древнерусский князь, который жил за несколько веков до Ивана Грозного, а это Всеволод Мейерхольд со своими многочисленными учениками, которые стали жертвами сталинских репрессий. Или Максим Литвин – явный намек на Максима Литвинова, или Сергей Третьяк – Сергей Третьяков, также ставший жертвой 37-го года».

⁴ *Эйзенштейн С.* Мемуары. Т. 2. С. 443.

⁵ В ноябре 1943 года И. Сельвинский за стихотворение «Кого баюкала Россия», признанное политически вредным, был привезен с фронта в Москву и доставлен непосредственно в Кремль. Страх, который он испытал тогда, был намного сильнее того, что он ощущал на фронте. Но кошмарнее всего была фраза Сталина (Сельвинский спустя годы рассказывал об этом В. Огневу), которую он произнес товарищам из Политбюро: «Берегите Сельвинского, его очень любил Троцкий!»

В донесении агентов читаем: «Поэт Сельвинский И.Л. в связи с обсуждением в Секретариате ЦК ВКП(б) его стихотворения “Кого баюкала Россия” заявил: “Я не ожидал, что меня вызовут в Москву для проработки. Стихотворение “Кого баюкала Россия” для меня проходящее. Я ожидал, что, наконец, меня похвалят за то, что я все же неплохо воюю. За два года получил два ордена и представлен к третьему. Меня вызывали в ЦК, ругали не очень, сказали, что я молодой коммунист, ничего, исправлюсь. Я думаю, что теперь меня перестанут прорабатывать, не сразу, конечно, а через некоторое время...”

Мне очень не везет уже 15 лет, со времени “Пушторга”. Бьют и бьют. На особый успех я не надеюсь. Видно, такова уж моя писательская биография.

Обобщая свои мысли о положении в советской литературе, Сельвинский говорит: “Боюсь, что мы — наша сегодняшняя литература, как и средневековая — лишь навоз, удобрение для той литературы, которая будет уже при коммунизме.

...Сейчас можно творить лишь по строгому заказу и ничего другого делать нельзя...

На особое улучшение (в смысле свободы творчества) после войны для себя я не надеюсь, так как тех видел людей, которые направляют искусство, и мне ясно, что они могут и захотят направлять только искусстве сугубой простоты”». Власть и художественная интеллигенция. Документы ЦК РКП(б) — ВКП(б) — ВЧК — ОГПУ — НКВД о культурной политике. 1917—1953 // Сост. А. Артузов и О. Наумов. М., 1999. С. 522, 526.

⁶ *Тарасенков А.* Новые стихи Бориса Пастернака // Знамя. № 4. 1945. С. 136.

⁷ Копия — архив автора. Документ полностью приведен в приложении к наст. изд. Комментарий Веры Пановой к рассказу Тарасенкова о Поликарпове см. также в приложении.

⁸ Копия — архив автора.

⁹ Чуковский К. Дневник. 1930–1969. М., 1997. С. 170.

¹⁰ Копия — архив автора. В РГАСПИ (Ф. 17. Оп. 125. Ед. хр. 366) сохранились любопытные документы, связанные с попытками советских представителей вернуть Бунина на родину, которые временно осуществляли во Франции за ним контроль.

«20 ноября 1945. Председателю правления ВОКСа тов. Кеменову.

<...> По сообщению посольства, Бунин “полевел”, тоскует по родине, мечтает о том, что наступит час, когда его пригласят в СССР. Брюзжать и злопыхательствовать перестал, производит впечатление человека уставшего, но еще с острым умом».

Зам. Первого отдела НКВД П.Г. Скосырев

23 декабря 1945

Еголину А.М.

«По сообщению нашего посла в Париже тов. Богомолова, писатель Бунин стал стар и по своему характеру неустойчив, много и постоянно пьет. Временами он выражает желание ехать в СССР, временами несет всякий антисоветский вздор. Работники посольства держатся с ним осторожно. Сообщаю для вашего сведения. Член правления ВОКС. Л. Кислов».

¹¹ Капица П. В море погасли огни. Блокадные дневники. Л., 1974. militera.lib.ru/db/kapitsa_pi/.

¹² Панова В. Мое и только мое. СПб., 2005. С. 283.

¹³ В РГАЛИ (Ф. 3270. Оп. 1. Ед. хр. 11–17) находится рукопись документального повествования «Антикосмополитизм» Натальи Соколовой (Аты Типот), ценность которой состоит в том, что она основана на дневниковых записях автора, которые она продолжала делать, опрашивая участников событий и в последующие годы.

Правда, там попадаются и крайне недобросовестные литературные слухи и сплетни.

В частности, о том, что Сталинскую премию Маргарита Алигер получила, «затащив» Фадеева в постель. Эта сплетня, рожденная в умах завистников (ее очень любил повторять Сергей Васильев — сокурсник, прославившийся антисемитской поэмой «Кому на Руси...»). То, что это было взаимное, хотя и очень недолгое чувство, доказывают письма Фадеева к Алигер (см.: *Громова Н.А. Эвакуация идет... М., 2008*). Слово в слово эти сплетни повторяет в своих крайне двусмысленных воспоминаниях о Фадееве К. Зелинский:

«— Под утро в воскресенье, 13 июня, Фадеев немного забылся сном на раскладушке, которую ему вынесли в сад. Под крышу он по-прежнему не хотел идти. Утром после завтрака к Б<убенно-ву> приехали два поэта. А. Фадеев пил меньше всех. Он по-прежнему сидел на узенькой маленькой скамеечке за зеленым столом, босой, небритый. Он был полон радушия к людям, от него веяло теплом и дружелюбием. Каждому он хотел сказать что-нибудь приятное. Он хотел, чтобы забыли о том, кто он. Он говорил Васильеву, хватаясь руками за голову:

— Сережа, как я перед тобой виноват! Боже мой, как я перед тобой виноват! Я же люблю твои стихи, — при этом Фадеев читал некоторые стихи поэта наизусть. — Я еще во время войны должен был провести тебя на Сталинскую премию.

— Что же делать, Саша. Ведь я во время войны не мог от тебя забеременеть.

— Ах, вот как ты бьешь. Ну что ж, бей. Я это заслужил. Ты это про А. говоришь, я знаю. Было это у Павлика на квартире. Было в гостинице “Москва”. Была такая полоса, когда я не выходил из “штопора”, хотя, как сказано у Пушкина, “но строк печальных не смываю”». *Зелинский К.* В июне 1954 года // *Минувшее. М., 1991. Т. 5. С. 92–93.*

Сергей Васильев еще до войны был невероятно раздражен тем, что его молодой сокурснице Маргарите Алигер вручили в 1939 году орден «Знак Почета» в группе вместе с другими советскими писателями.

¹⁴ РГАЛИ. Ф. 3270. Оп. 1. Ед. хр. 11.

¹⁵ РГАЛИ. Ф. 3270. Оп. 1. Ед. хр. 11. Данин в пересказе Натальи Соколовой, вспоминал, что никак не мог переубедить Эренбурга, что никогда не был защитником «Твоей поэмы»: «— Са-

мое интересное, что Эренбург поверил Грибачеву, как выяснилось впоследствии. Плохо разбирался в нашей внутренней жизни, конца 40-х годов, верил тому, писалось в прессе.

— Но Вы все-таки защищали “Твою победу” Алигер. О вашей защите говорится в многочисленных статьях.

Я спорил с пеной у рта, приводил факты...».

¹⁶ РГАЛИ. Ф. 2587. Оп. 1. Ед. хр. 289.

¹⁷ Цит. по: *Черных В.* Летопись жизни и творчества Анны Ахматовой. Часть III. М., 2003. С. 110–111.

¹⁸ Там же.

¹⁹ Автографы советских поэтов в собрании А.К. Тарасенкова // Каталог. М., 1981. С. 56.

²⁰ Там же. С. 56.

²¹ Там же.

²² Там же. С. 55.

²³ *Тарасенков Ан.* Новые стихи Бориса Пастернака // Знамя. 1945. С. 139.

²⁴ *Пастернак Б.* Второе рождение. Пастернак З. Письма к З.Н. Пастернак. М., 1993. С. 324.

²⁵ *Луговская М.* Научи оправданиям. Биографический роман. Неопубликованная рукопись.

²⁶ *Пастернак Б.* ПСС. М., 2005. Т. 11. С. 501–502.

²⁷ *Шилов Л.* Голоса, зазвучавшие вновь. М., 2004. С. 235–236.

²⁸ *Крючков П.* Звучащая литература. МЕСЯЦ Cd-обозрение Павла Крючкова // Новый мир. 2004. № 5.

²⁹ *Бершадская Л.* Простое свидетельство // Русская мысль. 1971. № 2859. 9 сент. В дневнике переводчицы и певицы Татьяны Лещенко-Сухомлиной, знакомой с Яхонтовым по филармонии, о самоубийстве говорилось так: «Вчера днем Яхонтов выбросился из окна (или в пролет лестницы?) – в смерть. Я помню, как он читал “Горе от ума”. Мне всегда было скучно смотреть эту пьесу. Но впервые она прозвучала для меня интересной, умной, глубоко русской в ЧТЕНИИ ЯХОНТОВА. Он не был “чтец” – он был Яхонтов – своеобразный, замечательный жанр, неповторимый, конечно. Когда Яхонтов в цилиндре садился в кресло, набрасывая на ноги плед, и ехал, ехал в карете по миру искать, “где оскорбленному есть чувству уголок”, – кругом стояла ночь,

шел снег, и одинокий, печальный человек ехал в карете, и, покачиваясь, карета увозила его куда-то по русским просторам... А Яхонтов просто сидел на сцене в кресле. Голос у него тоже был особенный — звучный, задушевный, на другие голоса непохожий. И благородство, с каким он двигался по сцене. Я помню, как мы шли от этой бедной наркоманки Людмилы Омельченко и говорили, как старые друзья, о любви, об Образцове, он о себе рассказывал. В тот раз мне с ним было легко и интересно. А иной раз от него шло что-то тяжелое, непонятное... Он странный был и не совсем «в себе». Образцов намного крепче, нормальнее, но и меньше масштабом в смысле АРТИСТИЧНОСТИ. Бедная осиротевшая Лиля Ефимовна Попова — жена Яхонтова. Она была его режиссером, как она осиротела, бедная... Такому артисту обязаны были дать полную волю делать и читать все, что и КАК он сам того хотел» (*Лещенко-Сухомлина Т. Долгое будущее. М., 1991. С. 242*).

³⁰ *Лещенко-Сухомлина Т. Долгое будущее. С. 225.*

³¹ *Пастернак Б. ПСС. Письма. Т. 9. С. 430.*

³² *Писатели Балтики рассказывают... М., 1981. С. 101.*

³³ *Там же. С. 87.*

³⁴ *Там же. С. 95.*

³⁵ *Там же. С. 95–96.*

³⁶ *Там же. С. 53.*

³⁷ *Там же. С. 57–58.*

³⁸ *Стрижак О. Секреты Балтийского подплыва. [www: submarine.id.ru](http://www.submarine.id.ru).*

³⁹ *Панова В. Мое и только мое... С. 304–305.*

⁴⁰ *Там же. С. 305–306.* Далее Панова писала: «Подружи-лась и я и вынесла из этой дружбы бесценный дар — Анатолий Кузьмич открыл мне Марину Цветаеву. Я и раньше немного знала ее стихи, но плохо понимала их, а он научил понимать. <...> Гостей своих он угощал тем, что снимал с полки книжку и читал стихи. То это был Бунин, то Пастернак, для меня же чаще всего снималась с полки Цветаева, ибо, как всякий подлинный миссионер, Тарасенков находил радость прежде всего в обращении неверующих, и я слышу его живой голос, читающий мне “Письменный стол” и “Полотеров”. Не довольствуясь чтением, он брал бумагу и перо и тут же, на краешке чай-

ного стола, переписывал для меня то, что мне особенно нравилось.

И это еще не все: однажды, вскрыв его письмо (мы переписывались довольно регулярно), я нашла там два прозаических произведения Цветаевой: “Мать и музыка” и “Хлыстовки”, поразившие меня не менее, чем ее стихи, главным образом тем, что после этой прозы уже невозможно писать по-старому, надо что-то искать, чего-то добиваться нового, если не хочешь очутиться вообще вне литературы, — особенно же пленило меня в этой прозе слияние слова с музыкой и краской — нечто еще не бывалое в русской прозе. Черное и белое в “Матери и музыке”, бледно-зеленое свечение незрелых яблок в “Хлыстовках” — это живопись, и ею великая русская поэтесса Цветаева владела так же, как словом.

А однажды почтальон принес бандероль, и в ней была пьеса Цветаевой “Казанова”. Так постепенно и терпеливо вводил меня А.К. Тарасенков в мир Цветаевой, в мир, которым упивался сам».

⁴¹ Копия — архив автора.

⁴² Некрасов В. В жизни и в письмах. М., 1971. С. 174—175.

⁴³ РГАЛИ. Ф. 1038. Оп. 1. Ед. хр. 2135.

⁴⁴ Виленкин В. В сто первом зеркале. М., 1990. С. 21.

⁴⁵ Эренбург И. Собр. соч. М., 1967. Т. 9. С. 490.

⁴⁶ Горнунг Л. Воспоминания об Анне Ахматовой. М., 1991. С. 209—210.

⁴⁷ Белкина М. Скрещенье судеб. М., 2008. С. 389—392.

⁴⁸ Копия — архив автора.

⁴⁹ Копия — архив автора.

⁵⁰ Копия — архив автора, а также РГАЛИ. Ф. 2587. Оп. 3. Ед. хр. 21.

⁵¹ Копия — архив автора, а также РГАЛИ. Ф. 1038. Оп. 1. Ед. хр. 3123.

⁵² РГАЛИ. Ф. 1038. Оп. 1. Ед. хр. 2135.

⁵³ Там же.

⁵⁴ Костырченко Г.В. Тайная политика Сталина. М., 2003. С. 286—287.

⁵⁵ Капица П. Это было так // Нева. 1988. № 5. С. 140.

⁵⁶ РГАЛИ. Ф. 2219. Оп. 2. Ед. хр. 70. Любопытно, что Маргарита Алигер, которая была в это время в Прибалтике, нашла

Тарасенкову эмигрантские издания с публикациями Цветаевой. Ее взгляд на поэтессу, которую она сможет понять только спустя 20 лет и даже будет в комиссии по ее наследию, очень характерен. Вот что она пишет Тарасенкову:

«16 июля 1946 года. Теперь о другом: мне тут попался журнал “Современные записки” <...> за 24 и за 25 гг. Издавался он в Париже эмигрантами более или менее теми же, которые собираются в некотором времени осчастливить нас своим возвращением на родину. Черт знает, что за журналец, скажу я тебе, но не в этом дело. Там есть проза, вернее, дневниковые записи Цветаевой “Вольный проезд” — о том, как она в голод ездила в Тамбовскую губернию за пшеном и мукой — и “Мои службы”, — о том, как она пыталась служить в Советских учреждениях. Толя, это так отвратительно, так мелко, ничтожно и гадко, что мне не жаль ее: человек с таким мировоззрением и такой душой не смел жить в наше время в нашей стране. В одном из номеров есть ее стихотворение — “Еврей” — есть ли оно у тебя?

Если нет, напиши, перепишу и вышлю. Как обидно, что душевные качества и талант могут существовать независимо друг от друга <...>.

Теперь о цветаевских, громко выражаясь, статьях. Мне обидно и досадно, что ты к этому относишься всерьез. Это не имеет никакого отношения ни к литературе, ни к публицистике, ни к какому-либо другому жанру. Это досужая, ничтожная, безыдейная, антисоветская трепотня обывателя, вернее обывательницы, самого невысокого духовного уровня. Но я понимаю, что тебе все это писать бессмысленно. (Владелец журналов исчез, я попрошу его продать журналы)».

Однако Тарасенков умолял ее прислать ему все найденное (РГАЛИ. Ф. 2587. Оп. 1. Ед. хр. 275).

⁵⁷ РГАЛИ. Ф. 1038. Оп. 1. Ед. хр. 2135.

⁵⁸ Там же.

⁵⁹ Соколова Н. Два года в Чистополе. 1941–1943. М., 2006. С. 190.

⁶⁰ Лещенко-Сухомлина Т. Долгое будущее. С. 276.

⁶¹ РГАЛИ. Ф. 1038. Оп. 1. Ед. хр. 2135.

⁶² Луговская М. Научи оправданиям. Неопубликованная рукопись.

ПРИМЕЧАНИЯ

⁶³ Чуковский К. Дневник. 1930–1969. С. 174–175.

⁶⁴ Цит. по: Бабиченко Д. «Литературный фронт». История политической цензуры 1932–1946 гг. М., 1994. Т. 2. С. 236.

⁶⁵ РГАЛИ. Ф. 1038. Оп. 1. Ед. хр. 2135.

⁶⁶ Чуковский К. Дневник. 1930–1969. С. 175.

⁶⁷ РГАЛИ. Ф. 1038. Оп. 1. Ед. хр. 2135.

⁶⁸ Самойлов Д. Поденные записи. М., 2003. Т. 1. С. 232.

⁶⁹ РГАЛИ. Ф. 1038. Оп. 1. Ед. хр. 2135; Там же Вишневский писал: «Был Сельвинский <...> Был Таиров – ему нужна помощь. <...> Звонил Тарасенкову, он выкручивается из своих ахматовских, эстетских склонностей... Пишет статью по моему заданию. Словом, – широкая полоса обсуждений, споров, и т.д. – с некоторыми неизбежными перегибами. Фадеев: “Нельзя быть добрыми”. Я и Горбатов: “Не только в этом дело: нельзя допустить несправедливостей”. – Стараюсь глубже вникать в ситуацию...».

⁷⁰ Там же.

⁷¹ Там же.

⁷² Чуковский К. Дневник. 1930–1969. С. 175–176.

⁷³ РГАЛИ. Ф. 3270. Оп. 1. Ед. хр. 13.

⁷⁴ РГАЛИ. Ф. 1038. Оп. 1. Ед. хр. 2136.

⁷⁵ Копия архив автора. РГАЛИ. Ф. 2587. Оп. 3. Ед. хр. 21.

⁷⁶ Копия – архив автора. РГАЛИ. Ф. 1038. Оп. 1. Ед. хр. 3123.

⁷⁷ Копия – архив автора. РГАЛИ. Ф. 2587. Оп. 3. Ед. хр. 21.

⁷⁸ РГАЛИ. Ф. 1038. Оп. 1. Ед. хр. 2137.

⁷⁹ Пастернак Б. ПСС. Т. 9. С. 496.

⁸⁰ Там же.

⁸¹ Чуковская Л. Сочинения: В 2 т. М., 2001. Т. 2. С. 397.

⁸² Копия – архив автора.

⁸³ Там же.

⁸⁴ РГАЛИ. Ф. 1038. Оп. 1. Ед. хр. 2138.

⁸⁵ Мария Иосифовна Белкина говорила, что не интересовалась происхождением Тарасенкова; тогда спрашивать «из каких» было не принято. Бытовало убеждение, что лишние знания о прошлом могут поставить близкого человека в неудобное положение.

После смерти мужа, разбирая его семейные фотографии, она поняла, что рассказы Тарасенкова про то, что отец происходил

из смоленских мужиков, были, мягко говоря, надуманы. С детской фотографии на нее смотрел мальчик в дорогом матросском костюмчике, в мягких ботиночках, на фоне бархатных портьер и уходящей вдаль анфилады комнат. Согласно расследованиям Марии Иосифовны, его мать Агния Николаевна была приемной внучкой Саратовского губернатора Гаврилова. Однако эти факты пока подтверждения не нашли.

⁸⁶ Ю. Щеглов в своих комментариях к «Золотому теленку» (М., 1995) пишет: «Скоробогачи... в шубках, подбитых узорным мехом “лира”». Подобная шуба упоминается также в «Пушторге» И. Сельвинского: «Я в шубе на точно подобранных лирах... / Увижу лирический беспорядок» с примечанием от редакции: «“Лира” — название зверя» (Госиздат, 1929).

⁸⁷ Копия — архив автора.

⁸⁸ «3 сентября 1966. Просмотрел записи Тарасенковым разговоров с Пастернаком. Они доведены до 40-го года и беглы, а кроме того, Тарасенков всячески стремится показать, как он, Тарасенков, был все время прав и как Б.Л. политически заблуждался. И, несмотря на все старания Тарасенкова, — Б.Л. выглядит прекрасно, а он, Тарасенков — отвратительно. Критерии-то изменились. М.б., Тарасенков делал эти записи, подобно многим странным местам в дневнике Афиногенова, для “алиби”, т.е. на случай ареста Б.Л., или как шпаргалку для себя, если придется обличать Б.Л. Но все же записи есть интересные. Это страниц 30 на машинке или больше — листа полтора-два. Лева их дал Закс, получивший от Белкиной, жены Тарасенкова. <...> Среди записанного Тарасенковым есть поразительное высказывание о Вс. Иванове — дружески-резкое — сравнение с поводом медведя, и странное (впрочем, характерное) высказывание о “трагизме” как необходимом элементе жизни и, в связи с этим, об аресте Мейерхольда. И о Цветаевой также, и о том, как ее приезд был окружен тайной, и почему ее пустили: “и веревочка пригодится...” И об Асееве горько и пронизательно. Среди записанного Тарасенковым есть психологически загадочное: зачем, например, он заносит о выступлении Усиевич на каком-то партийном писательском собрании, где она обвиняла Тарасенкова в том, что он бегаёт к Ставскому с “доносами” на Пастернака и о том, как Пастернак перестал подавать Тарасенкову руку в

ПРИМЕЧАНИЯ

37-м году. Это можно понять только, если учесть “возможное” прикладное использование записей, о котором я говорил выше, т.е. — если Пастернака арестуют, то вот какие у Тарасенкова были с ним отношения...». *Гладков А.* «Я не признаю историю без подробностей...». (Из дневниковых записей 1945–1973) // *In memoriam.* СПб., 2000. С. 574.

⁸⁹ *Тарасенков А.* Пастернак. Черновые записи. 1930–1939 // *Воспоминания о Пастернаке.* М., 1993. С. 161–162.

⁹⁰ Диалог писателей. Из истории русско-французских культурных связей XX века. 1920–1970. М., 2002. С. 363.

⁹¹ Напечатано в газете «Заря Востока» от 1 авг. 1936 за № 177; подлинный текст письма в архиве В. Гольцева: РГАЛИ. Ф. 2192. Оп. 1. Ед. хр. 233.

⁹² *Максименков Л. и Барнес Христофер.* Борис Пастернак в 1936 году. *Toronto Slavic Quarterly. Academic Electronic Journal in Slavic Studies.* № 6 (Fall 2003).

⁹³ *Флейшман Л.* Борис Пастернак и литературное движение 30-х годов. СПб., С. 524.

⁹⁴ *Тарасенков А.* Пастернак. Черновые записи. 1930–1939. С. 168–169.

⁹⁵ РГАСПИ. Ф. 88. Оп. 1. Ед. хр. 466.

⁹⁶ РГАЛИ. Ф. 1604. Оп. 1. Ед. хр. 264.

⁹⁷ *Там же.* Оп. 2. Ед. хр. 9.

⁹⁸ *Там же.*

⁹⁹ *Чуковская Л.* Записки об Анне Ахматовой. Т. 1. С. 451–452.

¹⁰⁰ *Там же.* С. 491.

¹⁰¹ *Зелинский К.* В июне 1954 года // *Минувшее.* Т. 5. С. 69–70.

¹⁰² *Власть и художественная интеллигенция. Документы.* 1917–1953. С. 316–318.

¹⁰³ РГАЛИ. Ф. 631. Оп. 15. Ед. хр. 72.

¹⁰⁴ *Тарасенков А.* Пастернак. Черновые записи. 1930–1939. С. 169.

¹⁰⁵ РГАЛИ. Ф. 631. Оп. 15. Ед. хр. 72.

¹⁰⁶ *Там же.* Ед. хр. 73.

¹⁰⁷ *Власть и художественная интеллигенция.* С. 321.

¹⁰⁸ *Тарасенков А.* Пастернак. Черновые записи. 1930–1939. С. 169.

ПРИМЕЧАНИЯ

- ¹⁰⁹ РГАЛИ. Ф. 631. Оп. 16. Ед. хр. 51.
¹¹⁰ Там же.
¹¹¹ Власть и художественная интеллигенция. С. 348.
¹¹² Копия — архив автора.
¹¹³ Копия — архив автора.
¹¹⁴ Копия — архив автора.
¹¹⁵ Литературная газета. 1937. 31 дек.
¹¹⁶ Громова Н. Узел. Поэты: дружбы и разрывы. М., 2006. С. 493.
¹¹⁷ Копия — архив автора.
¹¹⁸ Тарасенков А. Пастернак. Черновые записи. 1930–1939. С. 169–170.
¹¹⁹ Там же. С. 172–174.

Часть II. 1947–1949. Космополиты безродные

- ¹ Симонов К. Глазами человека моего поколения. М., 1990. С. 126.
² Подробнее о «деятельности» Демешкан см. в кн.: Костырченко Г.В. Тайная политика Сталина. С. 317–318.
³ РГАЛИ. Ф. 631. Оп. 15. Ед. хр. 860.
⁴ Подробнее см.: Берзер А. Сталин и литература // Звезда. 1995. № 11. С. 51.
⁵ Симонов К. Глазами человека моего поколения. С. 131
⁶ Маркиш С. ЕАК. Время и место / Лехаим, 2006. 4 (168). www.lechaim.ru.
⁷ РГАЛИ. Ф. 1038. Оп. 1. Ед. хр. 2137.
⁸ РГАЛИ. Ф. 3270. Оп. 1. Ед. хр. 11. Данин в пересказе Соколовой говорил: «Мне в конце сороковых было хуже, чем тому же Рунину, беспартийному. Я был кандидатом партии (вступил на фронте), из-за этого никак не мог забиться, укрыться».
⁹ Копия — архив автора.
¹⁰ Левин Ф. Из глубин памяти. М., 1984. С. 96–98.
¹¹ В частности, Пастернак в письме к Фадееву писал: «У меня нет никаких притязаний на вновь вводимые высшие тарифы. Я не Сельвинский, не Твардовский, не Лозинский и не Маршак. Но в пределе старых расценок, остающихся для большей части членов Союза, мне бы хотелось, выражаясь высоким слогом,

видеть плоды своих трудов напечатанными и извлекать из них пользу. Всё это, разумеется, если ты считаешь эти пожелания справедливыми и они не противоречат твоим убеждениям. Тебе, наверное, показалось бы деланным и неестественным, если бы, следуя собственному непосредственному чувству, я бы только ограничился этими просьбами и умолчал о враждебных мне выпадах этого года. Вот, чтобы у тебя не было такого впечатления, несколько слов о них. Очень разумно и справедливо всё, что ты и некоторые другие писали и говорили обо мне зимой. Странно и несправедливо только то, что ты всё это показываешь на мне одном, что ты меня избрал этим экспериментальным экземпляром. Я — точный сколок большинства беспартийной интеллигенции. Если бы и меня возвели в лауреаты, как огромное множество художников и музыкантов моего возраста, мне не требовалось бы исповедоваться и обо мне не было бы разговоров. Потому что все они тоже любят глубокий и неистребимый тип личности, тоже помнят Христа и Толстого, тоже всегда были противниками смертной казни, так недавно упраздненной, и многое, многое другое.

Надеюсь, ты не употребишь во зло этого частного письма, хотя, впрочем, твоя воля.

Твой Б.П.». Пастернак Б. ПСС. Т. 9. С. 499—500.

¹² Цит. по: *Фадеев А.* Письма и документы. М., 2001. С. 261.

¹³ Автографы советских поэтов в собрании А.К. Тарасенкова. С. 56.

¹⁴ Там же.

¹⁵ *Данин Д.* Бремя стыда. М., 1997. С. 372. О годовщине своего спасения 16 октября 1941 года Данин в книге писал: «Мне тогда неслыханно повезло на заснеженно-слякотной платформе Нарофоминска. В разбитых ботинках, рваной шинелишке и пробитой осколком пилотке, с разряженным на два патрона чужим наганом в матерчатой кобуре, без вещмешка, денег и хоть какой-нибудь военной справочки, словом — совершенно бездокументный, я ни к кому не рисковал обращаться ни за какими советами и разрешениями. Но зато и не был принят за дезертира носившимся вдоль пассажирского состава начальством. То был ночной поезд в Москву — последний дачный поезд по

Брянской дороге. Он шел без расписания и без огней. И счастливо доставил в Москву окруженца-ополченца на рассвете несчастливо-го в ее истории дня, заслужившего горько-ироническое прозвище “Дня патриотов”. Именно в этот день — 16 октября 1941-го — начался исход москвичей из столицы. Я ж — москвич — в нее вошел!»

¹⁶ Копия — архив автора.

¹⁷ Письмо Тарасенкова — Заболоцкому; цит. по: *Заболоцкий Н.Н.* Жизнь Н.А. Заболоцкого. 2-е изд., дораб. СПб., 2003. С. 463.

¹⁸ Идеологические шатания, связанные с поэзией Заболоцкого, отражены в его статьях 30-х годов. *Тарасенков Ан.* Похвала Заболоцкому // *Красная новь*. 1933. № 9. С. 177—181; *Тарасенков А.* Графоманское косноязычие // *Знамя*. 1935. № 1. С. 192—197. *Тарасенков А.* На поэтическом фронте // *Знамя*. 1938. № 1. С. 252—267. С. 266, 267.

¹⁹ *Фадеев А.* Письма и документы. С. 134.

²⁰ *Там же*. С. 135—136.

²¹ *Поливанов М.* Тайная свобода. Борис Пастернак в воспоминаниях // *Б. Пастернак*. ПСС. Т. 11. С. 461—462.

²² *Шенталинский В.* Донос на Сократа. М., 2001. С. 448.

²³ РГАЛИ. Ф. 2587. Оп. 1. Ед. хр. 718.

²⁴ *Тарасенков Ан.* Космополиты от литературоведения // *Новый мир*. № 2. 1948.

²⁵ *Пастернак Б.* Переписка с Ольгой Фрейденберг. Нью-Йорк; Лондон, 1980. С. 268.

²⁶ *Фадеев А.* Письма и документы. С. 134.

²⁷ *Там же*. С. 137.

²⁸ *Пастернак Б.* Письма. ПСС. Т. 9. С. 517.

²⁹ *Там же*. Письмо Б. Губареву. С. 518.

³⁰ *Там же*. Письмо В. Авдееву. С. 519.

³¹ *Там же*. Письмо Д. Шостаковичу. С. 517.

³² *Там же*. С. 525—526. Письмо Г. Ярцеву. Комментарий к данному письму Пастернака о том, что «вмешательство А.К. Тарасенкова, бывшего главным редактором “Советского писателя”, остановило издание», не совсем точно. О том, как развивались события в действительности, — см. в указанном издании.

³³ РГАЛИ. Ф. 1234. Оп. 13. Ед. хр. 407; в выписке из постановления секретариата Союза писателей № 30 от 18.06.1948 ска-

зано, «что секретариат в принципе не возражает против издания в 1948 году в издательстве “Советский писатель” книги переводов Пастернака <...>» (РГАЛИ. Ф. 1234. Оп. 13. Ед. хр. 408).

³⁴ Пастернак Б. Второе рождение. Письма к З.Н. Пастернак. С. 217.

³⁵ Неизвестный Б. Пастернак в собрании Томаса Н. Уитни // Новый журнал. 1984. Кн. 15. С. 52.

³⁶ РГАЛИ. Ф. 1234. Оп. 13. Ед. хр. 126.

³⁷ Там же. Ед. хр. 414 (лицевые счета издательства «Советский писатель»).

³⁸ РГАЛИ. Ф. 3270. Оп. 1. Ед. хр. 11.

³⁹ Тарасенков Ан. Советская литература на путях социалистического реализма // Большевик. 1948. № 9.

⁴⁰ Копия – архив автора.

⁴¹ В предисловии к небольшой книжечке «Пропавшая тетрадь» (М., 2002) Мария Белкина писала о судьбе той тетради со стихами: «И вот эта-то тетрадь и пропала... Когда я хватилась ее, Тарасенков уже умер, спросить было не у кого. Я обыскалась, перерыла все ящики, перепотрошила все папки с архивом – нигде! А у нас никогда ничего не пропадало... Очень было обидно, – когда писала книгу “Скрещенье судеб”, мне так была нужна эта тетрадь. Я помнила, что где-то в “Поэме Воздуха” – в этой самой трудной, самой жестокой и так мало изученной ее поэме, – она оставила на полях пометку, что написала эту поэму для того, чтобы “опробовать смерть”, что-то в этом роде, но не было тетради, не было документа, а памяти я довериться не смела...»

Не один раз я принималась рыться в книгах, понимая бессмысленность этого занятия, ибо Тарасенков мог поставить эту тетрадь только там, где ей должно было стоять. Я даже одно время стала убеждать себя, что, может, и не было этой тетради, может, мне причудилось – ведь все это было так давно... Но я знаю – была, я держала ее в руках, читала правку на полях с ятями и твердыми знаками! *Была тетрадь и не было тетради!*

А годы снова неумолимо бежали... И стояла зима, ноябрь, 1990 год. И пришел из Америки, из издательства “Ardis” пакет. И на стол из пакета вывалилась тетрадь – та самая!! Точнее, ксерокопия тетради.

В сопроводительном письме говорилось, что издатель “Ardis” Карл Проффер (ныне покойный уже) купил эту тетрадь Александра Гладкова, драматурга, мемуариста, в Москве, в конце шестидесятых годов. И что в его записях сказано: А. Гладков был одним из немногих, кто дружил с Цветаевой, когда она вернулась в 1939 году в Россию. Но издательство, которое хотело бы издать эту тетрадь факсимильным способом, смущает то обстоятельство, что сам Гладков в своих мемуарах ни словом не обмолвился о встрече с Цветаевой, о том, что знал ее. И нигде никаких указаний на их знакомство. А известно, что Тарасенков вел подобные тетради и встречался с Цветаевой. Так вот не могли помочь разобраться...

В том, что это тетрадь Тарасенкова, — сомнений быть не могло, достаточно было взглянуть на почерк или снять с полки другие тетради и положить рядом! Но как эта тетрадь могла попасть к букинисту? И почему букинист продал ее Профферу как тетрадь Гладкова?

Несколько дней я пребывала буквально в шоковом состоянии, ничего не могла понять, не могла решить этот ребус. Обзванивала тех — увы, их уже совсем немного осталось, — кто в те годы встречался с Тарасенковым и Гладковым, но никто мне не мог ничем помочь. И вдруг в одном из телефонных разговоров была обронена фраза об аресте Гладкова — и меня как током ударило! Господи, да как же я могла забыть ту ночь?! Да я никогда и не забывала!... Просто в памяти, в глубинных завалах пережитого, отдельно, не перекрещиваясь, хранились и та ночь, и та тетрадь. <...> Но что же случилось с тетрадью после ареста Гладкова? Рукописи обычно забирались. Завалилась за книги? Не заметили?! Кто взял ее? Кто отнес к букинисту? Говорят, и среди кагебешников встречались сведущие в литературе, прикарманивали, придерживали, потом продавали... Ну, а коль тетрадь из дома Гладкова — то, стало быть, тетрадь самого Гладкова! Но все это не столь уже важно: главное, тетрадь не погибла в подвалах Лубянки».

⁴² Гладков А. «Я не признаю историю без подробностей...». (Из дневниковых записей 1945–1973) // In memoiam. Предисловие С. Шумихина. С. 523.

⁴³ Гладков А. Встречи с Пастернаком. М., 2002. С. 177–178.

⁴⁴ Копия — архив автора.

⁴⁵ РГАЛИ. Ф. 2587. Оп. 1. Ед. хр. 718. С министром флота Ширшовым связана одна из драматичнейших историй того времени. Знаменитый участник северных экспедиций, в 1941 году, будучи женатым, он страстно полюбил актрису московского театра Моссовета Евгению Горкушу. Евгения повсюду сопровождала Ширшова, который много ездил по служебным делам. Когда его семья вернулась из эвакуации, Евгения уже родила ему дочку, и он, бросив семью, остался с ней. В 1946 году на одном из приемов Евгению Горкушу заметил Лаврентий Берия и сделал ей непристойное предложение. Она прилюдно ответила пощечиной. 28 июля 1946 года к Ширшовым на дачу заехал их знакомый и заместитель Берии Виктор Абакумов. Он сказал, что Евгению вызывают в театр. Е. Горкуша села в машину, и больше ее никто не видел. Ее дочери Марине было всего полтора года. В ноябре 1947 года по сфабрикованному обвинению в шпионаже Евгения Горкуша была осуждена на восемь лет лагерей. А 22 августа 1948 года, находясь в заключении, она покончила с собой, приняв смертельную дозу снотворного. Ширшов ничем не мог помочь жене. Он пил, порвал портрет Сталина в своем кабинете, прилюдно обозвал Берия «фашистом», но не застрелился, так как сотрудники министерства привели к его кабинету двухлетнюю дочь. В 1948 году он был снят с должности министра, а в феврале 1953-го, за месяц до смерти Сталина, скончался в возрасте 47 лет.

⁴⁶ Там же.

⁴⁷ *Самойлов Д.* Поденные записи. М., 2002. Т. 1. С. 260. В записи за май того же года Давид Самойлов приводит эпиграмму на Тарасенкова:

Готов продать отца и мать
И брата сделает калекой,
Готов поэзию продать,
Но... дорожит библиотекой.

⁴⁸ РГАЛИ. Ф. 1628. Оп. 2. Ед. хр. 1190.

⁴⁹ РГАЛИ. Ф. 2587. Оп. 1. Ед. хр. 718.

⁵⁰ РГАЛИ. Ф. 1038. Оп. 1. Ед. хр. 2146.

ПРИМЕЧАНИЯ

⁵¹ Сафонов И. Мечты об оловянной ложке // Знамя. 2001. № 8.

⁵² Наталья Соколова писала: «Я хорошо знала еще со студенческих лет умного, острого, ироничного Боба (Борис Рунин. — Н.Г.) и его жену обаятельную Нюню Мельман, отличного редактора прозы. Наум Мельников ее младший брат. Это как раз автор раскритикованной “Редакции”. Бездетная Нюня нежно любила своего братишку <...>» (РГАЛИ. Ф. 3270. Оп. 1. Ед. хр. 11).

⁵³ РГАЛИ. Ф. 1038. Оп. 1. Ед. хр. 2146.

⁵⁴ РГАЛИ. Ф. 3270. Оп. 1. Ед. хр. 11.

⁵⁵ Копия стенограммы — в архиве автора.

⁵⁶ Рунин Б. Мое окружение. Записки случайно уцелевшего. С. 90–91.

⁵⁷ РГАЛИ. Ф. 1038. Оп. 1. Ед. хр. 2146.

⁵⁸ Пастернак Е. Биография. М., 1997. С. 636.

⁵⁹ Ваксберг А. Моя жизнь в жизни: В 2 т. М., 2000. Т. 1. С. 101–102.

⁶⁰ РГАЛИ. Ф. 1038. Оп. 1. Ед. хр. 2146.

⁶¹ Чуковская Л. Отрывки из дневника / В кн.: Пастернак Б. ПСС. Т. 11. С. 427.

⁶² РГАЛИ. Ф. 1038. Оп. 1. Ед. хр. 2146.

⁶³ Отзвуки этого застолья в дневниковых записях Гладкова от 13 мая 1957 г.: «История о скандале Пастернака и Вишневского на новоселье у Федина в начале 50-х годов. “Пью за будущего советского поэта П.”, и Б.Л. спокойно: “Идите вы в п...”. Общий ужас. Б.Л. повторяет. В<ишневский> быстро уходит, потом истерика Федина». Гладков А. «Я не признаю историю без подробностей...». (Из дневниковых записей 1945–1973) // In memoiam. С. 536.

⁶⁴ Борщаговский А. Записки баловня судьбы. М., 1991. С. 132.

⁶⁵ РГАЛИ. Ф. 3270. Оп. 1. Ед. хр. 13.

⁶⁶ Там же.

⁶⁷ Там же.

⁶⁸ Рассказ — архив автора.

⁶⁹ РГАЛИ. Ф. 3270. Оп. 1. Ед. хр. 13.

⁷⁰ Матусовский М. Только лишь полчаса... // Дружба народов. № 4. 1989. С. 139–140.

⁷¹ РГАЛИ. Ф. 3270. Оп. 1. Ед. хр. 13.

⁷² Рассказ — архив автора.

ПРИМЕЧАНИЯ

⁷³ Матусовский М. Только лишь полчаса... // Дружба народов. С. 140–141.

⁷⁴ РГАЛИ. Ф. 3270. Оп. 1. Ед. хр. 13; стихотворение полностью выглядело так:

Подушку раскромсал вконец.
Чехольчик плюшевый не трогай.
Вот сердце – тут ищи, слепец,
Идёшь неверною дорогой.
Ты думаешь: в подушке – нож?
Живу по своему закону.
Чуть шевельнусь – в меня стрельнёшь.
А я тебя вовек не трону.
Ты перья вытряс, а вот их,
Вот этих крыльев не заметил.
Лечу я из тисков твоих
Туда, где мир широк и светел.
А возвращаюсь я сюда –
И не могу сказать словами,
Какая страшная беда
Стряслась в стране со всеми нами.
Надежда теплится едва.
В руках у смерти мы – игрушки.
От горя никнет голова
К соломенной худой подушке.
А та подушечка со мной
Скитается по белу свету,
Хоть дом покинул я родной,
Куда назад тропинки нету.
Ты видишь – русый волосок
И чёрный? Сохранились оба.
Я был в те дни не одинок,
Не знал, как убивает злоба.
Подушечка – всё та же была.
Такое снится мне. Такое...
Ты видишь: солнечная пыль –
Как символ мира и покоя!

Абезь, 1951

ПРИМЕЧАНИЯ

⁷⁵ РГАЛИ. Ф. 1038. Оп. 1. Ед. хр. 2147.

⁷⁶ Сталин и космополитизм. Документы Агитпропа ЦК КПСС 1945–1953 // Сост. Д. Наджафаров, Э. Белоусова. М., 2005. С. 241.

⁷⁷ *Борщаговский А.* Записки баловня судьбы. С. 76.

⁷⁸ *Там же.* С. 84.

⁷⁹ *Там же.* С. 188–189.

⁸⁰ Власть и художественная интеллигенция. С. 658.

⁸¹ РГАЛИ. Ф. 1038. Оп. 1. Ед. хр. 2147.

⁸² РГАЛИ. Ф. 3270. Оп. 1. Ед. хр. 14.

⁸³ *Там же;* Наталья Соколова писала о выступающих: «У Погодина было смелое выступление на декабрьском пленуме СП, после которого его чуть не сожрали. Сейчас на него, видно, как следует нажали, пришлось ему оставить недавнюю смелость, расшаркиваться. Шкловский – плохо кается. Погодин хорошо».

⁸⁴ *Там же.*

⁸⁵ *Там же.*

⁸⁶ *Там же.*

⁸⁷ *Там же.*

⁸⁸ Власть и художественная интеллигенция. С. 126.

⁸⁹ *Данин Д.* Бремя стыда. С. 412.

⁹⁰ *Свирский Г.* Герои расстрельных лет. – EUROMOVY – Библиотека.htm

⁹¹ *Данин Д.* Бремя стыда. С. 412.

⁹² *Пастернак Б.* Переписка с Ольгой Фрейденберг. С. 282.

⁹³ *Казакевич Э.* Слушая время. М., 1990. С. 217.

⁹⁴ *Борщаговский А.* Записки баловня судьбы. С. 292.

⁹⁵ Архив автора.

⁹⁶ РГАЛИ. Ф. 1038. Оп. 1. Ед. хр. 2147.

⁹⁷ РГАЛИ. Ф. 3270. Оп. 1. Ед. хр. 14.

⁹⁸ РГАЛИ. Ф. 1038. Оп. 1. Ед. хр. 2147.

⁹⁹ *Данин Д.* Бремя стыда. С. 380.

¹⁰⁰ *Там же.* С. 381–382; собственный рассказ Белкиной – архив автора.

¹⁰¹ Копия – архив автора.

¹⁰² Копия – архив автора.

¹⁰³ РГАЛИ. Ф. 1038. Оп. 1. Ед. хр. 2147.

- ¹⁰⁴ Копия — архив автора.
¹⁰⁵ РГАЛИ. Ф. 1038. Оп. 1. Ед. хр. 2147.
¹⁰⁶ Данин Д. Бремя стыда. С. 394.
¹⁰⁷ Пастернак Б. ПСС. Т. 9. С. 565—567.
¹⁰⁸ Там же. С. 569.
¹⁰⁹ Луконин М. Проблемы советской поэзии. (Итоги 1948 года) [Доклад на собрании поэтической секции Союза советских писателей в Москве] // Звезда. 1949. № 3 С. 181—199.
¹¹⁰ РГАЛИ. Ф. 2587. Оп. 1. Ед. хр. 672.
¹¹¹ Тарасенков Ан. Заметки критика // Знамя. 1949. № 10.
¹¹² Государственный антисемитизм в СССР 1938—1953. Документы // Сост. Г. Костырченко. М., 2005. С. 311.
¹¹³ РГАЛИ. Ф. 3270. Оп. 1. Ед. хр. 14.

**Часть III. 1950—1953. Первый «Новый мир» Твардовского.
Дело Гроссмана**

- ¹ РГАЛИ. Ф. 1038. Оп. 1. Ед. хр. 3124.
² РГАЛИ. Ф. 2587. Оп. 1. Ед. хр. 357.
³ Там же.
⁴ Там же.
⁵ Там же.
⁶ РГАЛИ. Ф. 1038. Оп. 1. Ед. хр. 3124.
⁷ Пастернак Б. ПСС. Т. 9. С. 594.
⁸ Цит. по: Ивинская О. Годы с Борисом Пастернаком. М., 1992. С. 133; в комментариях указано, что письмо это от 7 мая 1958 года. Написано на немецком языке. Оpubл. в кн.: Швейцер Р. Дружба с Борисом Пастернаком. Мюнхен, 1963. С. 43.
⁹ Пастернак Е. Биография. С. 646.
¹⁰ Пастернак Б. ПСС. Т. 9. С. 606; письмо от 6 апреля 1950 г.
¹¹ РГАЛИ. Ф. 2587. Оп. 1. Ед. хр. 357.
¹² Там же.
¹³ Там же.
¹⁴ Архив автора.
¹⁵ Копия — архив автора.
¹⁶ Кондратович А. Нас волокло время // Знамя. 2001. № 3.
¹⁷ Данин Д. Бремя стыда. С. 383.
¹⁸ РГАЛИ. Ф. 1710. Оп. 1. Ед. хр. 113.

¹⁹ Бочаров А. Василий Гроссман. Жизнь. Творчество. Судьба. М., 1990. С. 168.

²⁰ Липкин С. Жизнь и судьба Василия Гроссмана. Берзер А. Прощание. С. 124.

²¹ Бочаров А. Василий Гроссман. С. 168.

²² Там же.

²³ РГАЛИ. Ф. 1628. Оп. 2. Ед. хр. 1190.

²⁴ Фадеев А. Письма и документы. С. 278–279.

²⁵ Копия — архив автора.

²⁶ Постановление цит. по кн.: Бианки Н. К. Симонов и А. Твардовский в «Новом мире». М., 1999. С. 87–88.

²⁷ Цит. по: Бочаров А. Василий Гроссман. С. 172.

²⁸ Фадеев А. Письма и документы. С. 282–283.

²⁹ Огнев В. Амнистия таланту. М., 2001. С. 121. «Для моего поколения символичной была фигура нашего учителя в критике Анатолия Тарасенкова, — писал о нем Вл. Огнев, выразивший некий общий взгляд, сложившийся в литературной среде. — Влюбленный в поэзию, обладатель лучшей и полнейшей библиотеки поэтических раритетов XX века, он мог часами, со слезами радости, читать Пастернака, восхищаться ритмами “Улялаевщины”, обожать Ахматову, Цветаеву, переходя на полусшепот, читать Гумилева. В его доме я познакомился с Ариадной Эфрон, Симоном Чиковани, с которым меня связывала дружба до самой его смерти. Тарасенков нежно относился ко мне, предоставил мне доступ в уникальную свою библиотеку. Беседовать с ним о поэтах было необыкновенно интересно и поучительно. Он сидел в глубоком кресле, всегда подогнув ногу и охватив ее одной рукой, другой же выписывал ритмические фигуры и время от времени закрывал ладонью глаза... Будучи на поколение старше, он, вероятно, любил во мне собственное прошлое, прошедшее на войне, как говорили, весьма достойно. А может, и просто рад был слушателю, который понимал стихи и разделял его пристрастия.

Но официальные его оценки Пастернака и Сельвинского не раз оказывались прямо противоположными тем, какие я слышал от него дома» (С. 110).

³⁰ Пастернак Б. ПСС. Т. 9. С. 704.

³¹ Там же. С. 710–711.

³² Там же. С. 709.

³³ Липкин С. Жизнь и судьба Василия Гроссмана. Берзер А. Прощание. С. 28.

³⁴ Бочаров А. Василий Гроссман. С. 172.

³⁵ Копия – архив автора.

³⁶ Копия – архив автора.

³⁷ Копия – архив автора.

³⁸ Копия – архив автора.

³⁹ Пастернак Б. ПСС. Т. 9. С. 721.

⁴⁰ Там же. С. 723.

⁴¹ Там же.

⁴² Там же.

⁴³ Там же. Т. 4. С. 630.

⁴⁴ Там же. Т. 10. С. 9.

⁴⁵ Там же. С. 401–402.

⁴⁶ Копия – архив автора.

⁴⁷ Казакевич Э. Слушая время. С. 58.

⁴⁸ Фадеев А. Письма и документы. Цит. по предисл. Н. Дикушиной. С. 15–16.

⁴⁹ Таратута Е. Книга воспоминаний. Ч. 2. М., 2001. С. 44.

⁵⁰ Чуковский К. Дневники. Т. 13. С. 137.

Часть IV. 1954–1956. Усилье воскресенья

¹ Гроссман В. Жизнь и судьба. М., 1989. С. 625–628.

² Бочаров А. Василий Гроссман. С. 174.

³ Там же. С. 175.

⁴ Там же. С. 177.

⁵ Липкин С. Жизнь и судьба Василия Гроссмана. Берзер А. Прощание. С. 33.

⁶ Белкина М. Скрещение судеб. М., 2008. С. 724–725.

⁷ Эфрон А. Из воспоминаний о Э.Г. Казакевиче. М., 1979. С. 243; более полный вариант воспоминаний – Белкина М. Скрещение судеб. С. 729–730.

⁸ Белкина М. Скрещение судеб. С. 730.

⁹ Эфрон А. Марина Цветаева. Воспоминания дочери. Письма. Калининград, 2000. С. 606–607.

¹⁰ Белкина М. Скрещение судеб. С. 730–731.

¹¹ Там же. С. 734–736.

¹² Пастернак Б. ПСС. Т. 4. С. 480.

ПРИМЕЧАНИЯ

- ¹³ *Белкина М.* Скращенье судьбы. С. 736–739.
- ¹⁴ Копия – архив автора.
- ¹⁵ *Фадеев А.* Письма и документы. С. 215–216.
- ¹⁶ *Зелинский К.* В июне 1954 года // *Минувшее*. С. 103.
- ¹⁷ *Чуковский К.* Дневник. Т. 13. С. 215.
- ¹⁸ Копия – архив автора.
- ¹⁹ *Там же.*
- ²⁰ *Там же.*
- ²¹ *Белкина М.* Главная книга // *Новый мир*. 1966. № 11. С. 216–222.
- ²² Копия – архив автора.

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

Абакумов Виктор Семенович (1906–1954, расстрелян), министр государственной безопасности. 306, 447

Августа, сестра Уткина. 254

Авдеев Валерий Дмитриевич (1908–1981), профессор, доктор биологических наук; сын Д.Д. Авдеева. Адресат писем Б.Л. Пастернака. 209, 234, 444

Авербах Леопольд Леонидович (1903–1939, расстрелян), руководитель РАППа. Редактор журнала «На литературном посту». 167, 411

Агапов Борис Николаевич (1899–1973), писатель, публицист. 404

Агранович Леонид Данилович (р. 1915), кинодраматург, режиссер. 9, 262, 263, 294, 295

Агранович Мира (Раппопорт; псевд. Мирова), поэт-переводчик, жена Л.Д. Аграновича. 294, 295

Адалис Аделина Ефимовна (Ефрон; 1900–1969), поэт, переводчик. 29, 416

Адуев Николай Альфредович (Рабинович; 1895–1950), поэт. 109

Азадовский Марк Константинович (1888–1954), фольклорист, филолог и литературовед. 205

Азаров Всеволод Борисович (1913–1990), поэт, автор очерков о флоте. 21

Александров Георгий Федорович (1908–1961), начальник Агитпропа ЦК ВКП(б), философ. 17, 22, 29, 89, 106, 189, 416, 419

Алигер Маргарита Иосифовна (1915–1992), поэт; училась в поэтическом семинаре у Луговского. Дружила со Смеляковым, Долматовским, Даниным, Антокольским. 7, 22, 46, 48, 91, 174, 189, 264, 266, 271, 281, 403, 404, 417, 434, 435, 437

Алтаузен Яков (Джек) Моисеевич (1907–1942, погиб на фронте), поэт. 128, 132, 141, 165

Альберти Рафаэль (1901–1999), испанский поэт 211, 213

Альтман Иоганн Львович (1900–1955, репрессирован), театральный критик. 112, 253, 255–257, 259, 260, 266, 276, 361, 412

Антокольский Павел Григорьевич (1896–1978), поэт. 26, 46, 99, 191, 214, 215, 265, 271, 281, 294, 404, 407, 411, 414, 417, 434

Антонов Сергей Петрович (1915–1995), писатель. 398

Арагон Луи (1897–1982), французский поэт и писатель. 135

Асеев Николай Николаевич (1889–1963), поэт. 16, 26, 100, 124, 128, 132, 149, 176, 297, 300, 407, 411, 440

Асмус Валентин Фердинандович (1894–1975), историк философии, близкий друг Б.Л. Пастернака. 142, 160, 161

Астахов И.Б., критик. 404, 413

Артузов А. 432

Афанасьева, работник Агитпропа. 405

Афиногенов Александр Николаевич (1904–1941), драматург. 160, 440

Ахматова Анна Андреевна (урожд. Горенко; 1889–1966), поэт. 12, 49–51, 57, 70–75, 79, 87–97, 99–101, 105, 112, 113, 154, 156, 234, 235, 237, 239, 251, 261, 264, 306–308, 343, 395, 397, 435, 437, 441, 452

Бабель Исаак Эммануилович (1894–1940, расстрелян), писатель. 14, 135, 136, 155, 169

Бабиченко Д. 439

Багрицкий Эдуард Георгиевич (Дзюбин; 1895–1934), поэт. 198, 215, 276, 277, 297

Байрон Джордж Ноэл Гордон (1788–1824), английский поэт. 210

Балашов Сергей Михайлович (1903 – после 1988), чтец-декламатор. 57–59

Балицкий Всеволод Аполлонович (1892–1937, расстрелян), председатель украинской ЧК, комиссар государственной безопасности I ранга. 151

Бальмонт Константин Дмитриевич (1867–1942), поэт. 126, 383

Баранович Мария Казимировна (1901/2–1975), переводчица, друг Б.Л. Пастернака. 343

Бараташвили Николоз Мелитонович (1817–1845), грузинский поэт. 78, 210

Барнес Христофер 441

Барто Агния Львовна (1906–1981), детский поэт, состояла в РАППе. 237, 238

Баулин, работник аппарата Союза писателей. 315, 316

Бевин Эрнест (1881–1951), один из лидеров Лейбористской партии, председатель тред-юнионов, в 1945–1951 г. министр иностранных дел Великобритании. 183

Бегичева Анна, работник отдела литературы в газете «Известия». 253

Бедный Демьян (Ефим Алексеевич Придворов; 1883–1945), пролетарский поэт. 165

Безыменский Александр Ильич (1898–1973), поэт, состоял в руководстве РАППа. 53, 128, 132, 165

Бек Александр Альфредович (1903–1972), писатель. 232, 404, 417, 420

Белинский Виссарион Григорьевич (1811–1848), литературный критик. 216

Белкин Осип Григорьевич (1884–1946), отец М.И. Белкиной 171

Белкина Мария Иосифовна (1912–2008), писатель, жена А.К. Тарасенкова. 1, 5, 6, 20, 38, 39, 53, 62, 72, 87, 89, 121, 128, 133, 162, 164, 168, 170–174, 178, 191, 195, 197, 206, 208, 217, 220, 231, 240–242, 246, 269, 273, 274, 276–282, 292, 303, 311–313, 323, 332, 348, 349, 351, 352, 360, 362, 370, 371, 373, 375, 378, 380–383, 386, 390–392, 395–398, 424, 437, 439, 440, 445, 450, 453, 454

Белоусова Э. 450

Белый Андрей (Бугаев Борис Николаевич; 1880–1934), поэт, писатель. 131, 161, 383

Берггольц Ольга Федоровна (1910–1975, была репрессирована), поэт. 22, 50, 71, 73, 75, 234, 404, 407

Бергельсон Давид Рафаилович (1884–1952, расстрелян), еврейский писатель. 185

Берзер Анна (Ася) Самойловна (1917–1994), критик, литературный редактор «Нового мира» А.Т. Твардовского. 182, 330, 351, 360, 431, 442, 452, 453

Берия Лаврентий Павлович (1899–1953, расстрелян), нарком НКВД. 36, 136, 146, 155, 361, 447

Беркштейн 268

Берлин Исая (1909–1997), английский философ, литературовед, дипломат. В 1945 г. встречался с А. Ахматовой. 56, 57, 88, 89

Бершадская Любовь, актриса, игравшая с Яхонтовым в драме «Маскарад», автор воспоминаний о нем. 59, 60, 435

Бехер Иоганнес Роберт (1891–1958), немецкий писатель и государственный деятель. 211

Бианки Н. 452

Блантер Матвей Исаакович (1903–1990), композитор, автор известных советских песен. 320

Блок Александр Александрович (1880–1921), поэт. 85, 120, 285, 302

Богомолов, посол СССР в Париже. 433

Болеславская-Вульфсон Болеслава Самуиловна (?–1941, расстреляна), секретарь М. Кольцова по Иностранной комиссии Союза писателей. 137

Болотин, муж Т. Сикорской. 154

Болтин, полковник Генштаба. 30, 401, 418

Боровский см. Воровский В.В.

Борщаговский Александр Михайлович (1913–2006), драматург, писатель. Автор книг «Обвиняется кровь», «Записки баловня судьбы», посвященных трагическим событиям конца 40-х – начала 50-х гг. 253, 254, 256, 258, 259, 262, 263, 266, 267, 272, 276, 292, 448, 450

Боур Сесил Морис (1898–1971), английский литературовед, переводчик на английский Маяковского и Пастернака. 292

Бочаров А. 452, 453

Бояджиев Георгий Нерсесович (1909–1974), театровед, критик. 253

Браун Николай Леопольдович (1902–1975), ленинградский поэт. 71

Брик Лиля Юрьевна (урожд. Каган; 1891–1978), литератор, жена О.М. Брика, адресат любовной лирики В.В. Маяковского. 172, 315, 322

Бровман Григорий Абрамович (1907–1984), критик, преподаватель Литинститута. 411, 413

Бруштейн Александр Яковлевич (1884–1968), писатель, драматург. 429

Бубеннов Михаил Семенович (1902–1982), писатель. 268, 271, 273, 274, 316, 325, 328, 330, 331, 336–339, 346, 350, 360, 365, 434

Бубрих Дмитрий Владимирович (1890–1949), лингвист. 270

Булгакова Елена Сергеевна (1893–1970), жена М.А. Булгакова. 235

Бунин Иван Алексеевич (1870–1953), писатель. 42, 43, 178, 381, 383, 433, 436

Бухарин Николай Иванович (1888–1938, расстрелян), политический деятель. 158, 165, 166, 204, 271, 308, 356

Быкова Елена Леонидовна (Майя Луговская; 1914–1993), третья жена В. Луговского, поэт, художница. 54, 96, 97, 294, 435, 438

Бялик Хаим-Нахман (1873–1934), еврейский поэт, писал на идиш. 230

Ваксберг Аркадий Иосифович (р. 1933), писатель, публицист, адвокат. 235, 236, 448

Варшавский Сергей Петрович (1906–1980), писатель, искусствовед. 253, 266

Василевская Ванда Львовна (1905–1964), писатель. 428

Васильев Павел Николаевич (1909–1937, расстрелян), поэт. 138, 141, 267–269

Васильев Сергей Александрович (1911–1975), поэт 266, 434

Васнецов Аполлинарий Михайлович (1856–1933) или **Васнецов Виктор Михайлович** (1848–1926), живописцы, братья. 325

Вахтин Борис Борисович (1930–1981) – писатель, драматург. 45

Верлен Поль (1844–1896), французский поэт-символист. 78, 210, 213, 290

Вертинский Александр Николаевич (1889–1957) – русский эстрадный артист, киноактер, композитор, поэт и певец, кумир эстрады в первой половине XX в. 73–75

Вершигора Петр Петрович (1905–1963), генерал-майор, Герой Советского Союза, автор документально-беллетристических произведений о подвигах советских партизан. 360

Веселовский Алексей Николаевич (1843–1918), русский литературовед, профессор Московского университета и бывших Высших женских курсов; брат академика А.Н. Веселовского. 182, 204

Вигдорова Фрида Абрамовна (1915–1965), писательница. 392

Виленкин Владимир Яковлевич (1911–1997), театровед. 71, 437

Вильдрак Шарль (Массаже; 1882–1971), французский писатель. 178

Вильмонт Катя. 190

Вильмонт Н.Н. см. Вильям-Вильмонт Н.Н.

Вильмонт Тата. 190

Вильям-Вильмонт Николай Николаевич (1901–1986), литературовед, переводчик. 104, 190, 412

Виноградов Владимир Никитич (1882–1964), академик РАМН, доктор медицинских наук. 344, 345

Вирта Николай Евгеньевич (1906–1976), писатель. 95

Вишневецкая Софья Касьяновна (1899–1963), художница и сценаристка, в первом браке жена Н. Адуева, во втором – Е.Я. Хазина, в третьем – Вс. Вишневецкого. 65, 67, 81, 82, 109, 116, 260, 415

Вишневецкий Всеволод Витальевич (1900–1951), драматург. Во время войны был в Ленинграде и на Северном флоте. 7, 9, 18, 21, 28, 29, 31, 33, 34, 43, 45, 48, 52, 61–71, 79, 80, 82, 85, 86, 94, 95, 96, 99–103, 105, 107, 109, 110, 112–114, 116–120, 130, 157, 159, 167, 175, 186, 188, 189, 221, 222, 226,

228–230, 235, 237–239, 251, 260, 262, 275, 276, 279, 280, 282, 283, 293, 296, 298–302, 304, 306, 309, 311, 312, 324, 329, 333, 401–403, 406, 413–415, 417, 418, 422, 439, 448

Владыкин Григорий Иванович (1909–1983), директор Гослитиздата. 350, 413, 415

Вовси Мирон (Меер) Семенович (1897–1960, привлечался по «делу врачей»), терапевт, академик РАМН. 344, 345

Вознесенский Николай Алексеевич (1903–1950, расстрелян), государственный и партийный деятель. 228

Воложенин А.П., критик, автор книг о советских писателях. 414

Воровский Вацлав Вацлавович (1871–1923), политический деятель. С ноября 1917 г. посол. Убит в Лозанне. 124

Ворошилов Климент Ефремович (1881–1969), государственный и партийный деятель. 127

Всеволод III Большое Гнездо (1154–1212), великий князь владимирский, сын Юрия Долгорукова. В его правление Русь достигла наивысшего расцвета. 431

Вышинский Андрей Януарьевич (1883–1955), прокурор СССР в годы террора, министр иностранных дел. 158, 183

Гаврилов 440

Галкин Самуил Залманович (1897–1960, был репрессирован), еврейский поэт. 245–251, 275

Ганшин Герман, поэт. 235, 236

Гельфанд, критик 264, 268

Герасимов Михаил Прокофьевич (1889–1939, репрессирован), поэт. 394

Герман Юрий Николаевич (1883–1954), писатель 337

Гиляровский Владимир Алексеевич (1853/55–1935), журналист, прозаик, поэт. 124

Гитлер Адольф (Шикльгрубер; 1889–1945), глава фашистской Германии. 183, 309

Гладков Александр Константинович (1912–1976), драматург, мемуарист. Жил в Чистополе в 1941–1942 гг. 133, 188, 217, 218, 239, 355, 441, 446, 448

Головановский Савва Евсеевич (1910–1989), украинский поэт, переводчик. 230

Голодный Михаил Семенович (Эпштейн; 1903–1949), поэт. 128, 165

Гольцев Виктор Викторович (1901–1955), литературный критик. 146

Горбатов Борис Леонтьевич (1908–1954), прозаик, журналист. 17, 99–101, 113, 114, 179, 183, 202, 228, 230, 310, 439

Горкуша Евгения, актриса, репрессирована, покончила с собой в лагере. 447

Горнунг Лев Владимирович (1902–1993), поэт, автор мемуаров, фотограф. 72, 437

Городецкий Сергей Митрофанович (1884–1967), поэт. 405

Горький Максим (Пешков Алексей Максимович; 1868–1936), писатель. 118, 135, 137, 148, 149, 152, 153, 198, 261, 367

Горюнов Анатолий Иосифович (Бендель; 1902–1951), актер. 153

Грибачев Николай Матвеевич (1910–1992), поэт. 48, 202, 214, 224, 261, 264, 268, 271, 274, 315, 328, 360, 435

Грин Александр Степанович (Гриневский, 1880–1932), писатель. 297

Гринштейн Александр Михайлович (1881–1960, арестован в 1953 как врач-вредитель), врач-невропатолог. 344, 345

Грищенко Петр Денисович, капитан подводной лодки. 65

Громова Н.А. 434, 442

Громыко Андрей Андреевич (1909–1989) – советский политический и государственный деятель. 227

Гронский Иван Михайлович (1894–1985, был репрессирован), журналист, ответственный секретарь газеты «Известия». 139

Гроссман Василий Семенович (Иосиф Соломонович; 1905–1964), писатель. 7, 10, 11, 99, 101, 113, 178, 296, 302, 325, 327–329, 331, 333, 334, 336, 337, 339, 341, 346–350, 352, 360, 363, 365–370, 431, 451–453

Гроссман (Губер) Ольга Михайловна, жена В.С. Гроссмана. 369

Грудская Анна Яковлевна (1902–1937, расстреляна), критик, член РАППа. 164

Губарев Б. 444

Гудзь Галина Игнатьевна (1810–1986), жена В.Т. Шаламова.

Гумилев Лев Николаевич (1912–1992, был трижды репрессирован), историк, сын А.А. Ахматовой. 92, 306, 307

Гумилев Николай Степанович (1886–1921; расстрелян), поэт. 394, 452

Гурвич Абрам Соломонович (1897–1962), литературный и театральный критик. 99, 233, 253–255, 258, 262, 266, 311, 334, 335, 348.

Гуревич Самуил Давыдович (Муля; 1903–1952, расстрелян), переводчик, журналист, близкий друг А.С. Эфрон. 384

Гус Михаил Семенович (1900–1984), критик. 404

Гусев Виктор Михайлович (1909–1944), поэт. 132

Гусева. 321

Гуторов И.В., секретарь Союза писателей, работник ЦК ВКП(б). 28, 415

Данин Даниил Семенович (Плотке; 1914–2000), литературный критик, писатель, автор мемуарной прозы

«Бремя стыда». 5, 7, 11, 45, 46, 48, 50, 86, 116–119, 174, 187, 188, 195, 197, 215, 231, 261, 265, 267–269, 271, 276–278, 281, 283, 312, 326, 398, 434, 442, 443, 450, 451

Дар Давид Яковлевич (Рывкин; 1910–1980), писатель, муж В.Ф. Пановой. 429

Даргомыжский Александр Сергеевич (1813–1869), композитор. 325

Демешкан Елена Борисовна, аспирантка Института мировой литературы, спровоцировала доносами кампанию борьбы с евреями-космополитами. 181, 442

Диккенс Чарльз (1812–1870), английский писатель. 180

Дикушина Н. 453

Дмитриева Цецилия Ефимовна (1898–1981), редактор журнала «Знамя». 426

Довженко Александр Петрович (1894–1956), кинорежиссер. 260

Долгушин И., критик. 242

Долматовский Евгений Александрович (Аронович; 1915–1994), поэт. 17, 46, 143, 163

Достоевский Федор Михайлович (1821–1881). 174, 278, 285

Дрейден Симон Давыдович (1906–1991, был репрессирован), театральный критик, сценарист. 266

Дудин Михаил Александрович (1916–1993), поэт, прозаик. 71

Евгеньев, литературный критик. 174, 175

Еголин Александр Михайлович (1896–1959), заместитель начальника управления агитации и пропаганды при ЦК ВКП(б). 22, 24, 26, 89, 111, 403, 406, 407, 409, 410, 433

Егоров П.И., врач-терапевт, проходил по «делу врачей». 344, 345

Ежов Николай Иванович (1895–1940), нарком внутренних дел. 153

Емельянова Ирина Ивановна (р. 1938, была репрессирована), литературовед, мемуаристка, дочь О.В. Ивинской. 239, 343

Ермилов Владимир Владимирович (1904–1965, был репрессирован), литературный критик, входил в руководство РАППа. 189, 266, 312, 313, 315, 316, 413, 414

Есенин Сергей Александрович (1895–1925; покончил с собой), поэт. 138

Жаров Александр Алексеевич (1904–1984), поэт. 41, 128, 132, 141, 165, 278

Жданов Андрей Александрович (1896–1948), секретарь ЦК партии. 27, 29, 36, 37, 87, 89, 90, 91, 95, 97, 102, 189, 206–208, 344, 345, 416

Жемчужина Полина Семеновна (Карповская Перл; 1897–1970, была репрессирована), партийный и государственный деятель, жена В.М. Молотова. 271

Жига Иван Федорович (Смирнов; 1895–1949), писатель. 159

Жид Андре Поль Гийом (1869–1951), французский писатель, автор антисоветского очерка «Возвращение из СССР». 133, 134–138, 143–146, 161–163, 216

Жирмунский Виктор Максимович (1891–1971), литературовед, академик АН СССР. 205

Жуков Георгий Константинович (1896–1974), Маршал Советского Союза. 330

Заболоцкий Николай Алексеевич (1903–1958, был репрессирован), поэт. 198–201, 444

Заболоцкий Н.Н. 444

Закс Борис Германович (1908–?), критик, друг юности А.К. Тарасенкова, работал в журнале «Новый мир» А.Т. Твардовского. 125, 133, 440

Зарудин Николай Николаевич (1899–1937, расстрелян), поэт. 394

Заславский Давид Иосифович (1880–1965), журналист газеты «Правда». 253

Захаров Владимир Григорьевич (1901–1956), композитор, руководитель хора имени Пятницкого. 268

Звягинцева Вера Константиновна (1894–1972), поэт, переводчик. 104

Зелинский Корнелий Люцианович (1896–1970), литературный критик. 102, 104, 147–157, 388, 434, 441, 454

Зелинский Л.Т., отец К.Л. Зелинского. 150, 151, 153

Зиновьев Георгий Евсеевич (Радомысльский; 1883–1936; репрессирован), партийный деятель. 142, 158, 271

Зощенко Михаил Михайлович (1895–1958), писатель. 12, 16, 87, 89, 90, 93, 5–97, 99

Зускин Вениамин Львович (1899–1952, расстрелян), еврейский актер театра и кино. 239, 337

Иван IV Грозный (1530–1584), великий князь «всея Руси», первый русский царь (с 1547). Создал сильное централизованное государство. Во внутренней политике часто прибегал к массовым опалам и казням. 12–16, 102

Иванов Всеволод Вячеславович (1895–1963), писатель. 94, 147, 149, 388, 389, 440

Иванов Вячеслав Всеволодович (Кома; р. 1929), лингвист, сын В.В. Иванова. 148, 149, 275

Иванов Вячеслав Иванович (1866–1949), поэт, теоретик символизма. 299, 302

Иванов С., критик. 191

Иванова Тамара Владимировна (1900–1995), переводчик, мемуаристка; жена Вс. Иванова. 108

Ивинская Ольга Всеволодовна (1912–1995, была репрессирована), переводчица, возлюбленная Б.Л. Пастернака. 105, 106, 239, 284, 304–306, 309, 343, 451

Ильин Иван Александрович (1882–1954), философ, публицист. 151

Ильичев Леонид Федорович (1906–1990), с 1949 г. главный редактор «Правды». 28, 415

Ильф Илья (Файнзильберг Илья Арнольдович; 1897–1937), писатель. 198, 220, 221, 284

Инбер Вера Михайловна (1890–1972), поэт, мемуаристка. 21, 22, 26, 30, 32, 33, 35, 44, 63, 192, 201, 402, 403, 408, 413, 414, 416–423, 427, 429

Иовчук Михаил Трифонович (1908–1990), заместитель начальника Агитпропа. 22, 24, 29, 31, 34, 403, 406, 409, 410, 416, 419, 423

Исаковский Михаил Васильевич (1900–1973), поэт. 314, 320, 321

Исаакян Аветик Саакович (1875–1957), армянский поэт. 26, 213, 407

Каверда (Конради Морис Морисович; 1869–1946), офицер-белоэмигрант.

Казакевич Эммануил Генрихович (1913–1962), писатель. 7, 11, 109, 116, 119, 228–230, 271, 273, 274, 327, 361, 373–380, 385, 398, 450, 453

Казьмин Петр Михайлович (1892–1964), художественный руководитель хора имени Пятницкого. 268

Каменев Лев Борисович (Розенфельд; 1883–1936, расстрелян), советский партийный деятель. 131, 136, 142, 158, 271

Капица Петр Иосифович (1909–1998), писатель. 43, 90, 433, 437

Караваева Анна Александровна (1893–1979), писательница. 427, 428

Карцев А.Д. 427, 428

Кассиль Лев Абрамович (1905–1970) – детский писатель. 242

Катаев Валентин Петрович (1897–1986), писатель. 100, 172, 242, 325

Катанян Василий Абгарович (1902–1980), режиссер документального кино, биограф В.В. Маяковского. 315

Каутский Карл (1854–1938), немецкий экономист, историк и публицист. 338

Квитко Берта Самойловна, жена Л.М. Квитко. 41, 242

Квитко Лев Моисеевич (1890–1952, расстрелян), еврейский поэт. 41, 185, 239–143, 243, 246–248, 337

Кедрин Дмитрий Борисович (1907–1945), поэт. 192, 268

Кеменов Владимир Семенович (1908–1988), искусствовед, критик, председатель ВОКС. 189, 433

Керзон Джордж Натаниель (1859–1925), министр внутренних дел Великобритании. 124

Кириллов Владимир Тимофеевич (1890–1943, расстрелян), поэт. 394

Кирпотин Валерий Яковлевич (1898–1997), литературовед, критик. Заведовал сектором художественной литературы при ЦК ВКП(б) (1932–1936), секретарь оргкомитета Союза писателей СССР (1932–1934). С 1956 г. – профессор Литературного института имени А.М. Горького. 159

Кирсанов Семен Исаакович (1906–1972), поэт. 26, 132, 222, 407, 411

Киршон Владимир Михайлович (1902–1938, расстрелян), поэт, драматург. Входил в руководство РАПП. 159

Киселева Елена Александровна, мать К.Л. Зеленского, преподаватель. 150

Кислов Л., член правления ВОКС. 433

Китс Джон (1795–1821), английский поэт. 210

Клейман Наум Ихильевич (р. 1937), киновед, специалист по творчеству С.М. Эйзенштейна. 431

Клейст Генрих фон (1777–1811), немецкий писатель. 52, 174, 176, 210

Книпович Евгения Федоровна (1898–1988), критик, литературовед. 389

Ковальчик Евгения Ивановна (1907–1953), заместитель редактора «Литературной газеты». 49, 410, 411

Коварский Николай Аронович (1904–1974), критик, сценарист. 266

Коган Аркадий, комсомольский поэт. 143, 163, 168

Коган Борис Борисович, профессор-терапевт, проходил по «делу врачей». 344, 345

Коган Михаил Борисович, его брат, врач, проходил по «делу врачей». 344, 345

Кожевников Вадим Михайлович (1909–1984), писатель, главный редактор журнала «Знамя». 224, 230, 265, 299, 303, 369, 370, 404, 413, 428

Колас Якуб (Мицкевич Константин Михайлович; 1882–1956), белорусский поэт. 26

Кольцов Михаил Ефимович (Фридлянд; 1898–1940, расстрелян), журналист, главный редактор журнала «Огонек». 135, 137, 169

Кондратович Алексей Иванович (1920–1984), литературный критик, заместитель А.Т. Твардовского во «втором» «Новом мире». 324, 451

Копылов, генерал-майор. 368

Корабельников Григорий Маркович (1904–?), писатель, критик. 412

Коржавин Наум Моисеевич (Мандель; р. 1925, был репрессирован), поэт. 102

Корнейчук Александр Евдокимович (1905–1972), драматург. 99, 258, 310

Косарев Александр Васильевич (1903–1939, расстрелян), первый секретарь ЦК ВЛКСМ. 40

Космодемьянская Зоя Анатольевна (1923–1941), партизанка, казнена фашистами. Герой Советского Союза (1942, посмертно). 46

Костырченко Геннадий Васильевич, историк. 88, 437, 451

Котов Анатолий Константинович (1909–1956), литературовед, директор Гослитиздата. 375

Коцюбинский Михаил Михайлович (1864–1913), украинский писатель. 288

Крекшин Евгений, друг А.К. Тарасенкова в 20-е гг. 125

Кривицкий Александр Юльевич (1910–1986), заместитель главного редактора журнала «Новый мир» 114, 321

Крон Александр Александрович (Крейн; 1909–1983), писатель. 21, 63, 71, 280

Крученых Алексей Елисеевич (1886–1968), поэт, собиратель. 376

Крымова Наталья Анатольевна (1930–2003), историк театра, критик. 57, 59

Крючков Павел Михайлович, литератор, сотрудник музея К. Чуковского. 58, 435

Кузнецов Алексей Александрович (1905–1950, расстрелян), партийный деятель. 90, 228, 313

Кулиев Кайсын Шуваевич (1917–1985, репрессирован), балкарский поэт. 202, 208

Куприн Александр Иванович (1870–1938), писатель. 178

Кустодиев Борис Михайлович (1878–1927), художник. 317

Лагин Лазарь Иосифович (1903–1979), писатель. 95

Лагина Татьяна, первая жена Л.И. Лагина. 95, 96

Ланн Евгений Львович (Лозман; 1896–1958, покончил с собой), писатель. 180

Лахути Абулькасим (1887–1957), таджикский поэт. 160

Левин Федор Маркович (1901–1981), литературный критик. 192, 233, 234, 281, 284, 412, 442

Левина Фанни Абрамовна, секретарь редакции журнала «Знамя». 413, 426

Левитан Исаак Ильич (1860–1900), живописец. 29, 416

Левицкий Лев Абелевич (1929–2005), критик. 133

Левыкина Ольга (Ляля), актриса, жена А.С. Гурвича. 255

Лежнев Исайя Григорьевич (Альтшуллер; 1891–1955), критик, литературовед, публицист. 311

Лейтес Александр Михайлович (1899–1976), литературный критик. 261

Ленин Владимир Ильич (Ульянов; 1870–1924), политический и государственный деятель. 37, 118, 391

Ленч Леонид Сергеевич (Попов; 1905–1991), писатель. 67, 109

Ленч Мария, жена Л.С. Ленча. 67

Леонидзе Георгий Николаевич (1899–1966), грузинский поэт. 213

Леонов Леонид Максимович (1899–1994), писатель. 31, 94, 99, 181, 226, 310, 416–418

Лессинг Готхольд Эфраим (1729–1781), немецкий драматург, теоретик искусства, литературный критик, основоположник немецкой классической литературы. 258

Лещенко-Сухомлина Татьяна Ивановна (1903–1998; была репрессирована), переводчица, исполнительница старинных песен, мемуаристка. 61, 95, 255, 435, 436, 438

Либединская Лидия Борисовна (урожд. Толстая, 1921–2006), писательница, автор мемуаров, жена Ю.Н. Либединского. 387

Либединский Юрий Николаевич (1898–1959), писатель, один из руководителей РАППа. 387

Лидин Владимир Германович (Громберг; 1894–1979), писатель. 139

Липкин Самуил (Семен) Израилевич (1911–2003), поэт, переводчик. 347, 365, 369, 431, 452, 453

Литвинов Максим Максимович (Меир Валлах; 1876–1951), нарком иностранных дел СССР в 30-е гг. 431

Лихарев Борис Михайлович (1906–1962), поэт. 44

Лозинский Михаил Леонидович (1886–1955), поэт, переводчик. 189, 246

Лозовский Соломон Абрамович (1878–1952, расстрелян), заместитель наркома иностранных дел. 188, 189, 246

Ломоносов Михаил Васильевич (1711–1765). 180

Луговская Майя см. **Быкова Е.Л.**

Луговской Владимир Александрович (1901–1957), поэт. 54, 55, 96, 97, 98, 128, 132, 134, 160, 169, 293–295

Лукин Д.Б., деятель областной комиссии Союза писателей. 428

Луконин Михаил Кузьмич (1918–1976), поэт. 284, 287, 451

Луначарский Анатолий Васильевич (1875–1933), нарком просвещения. 128

Лутохин см. **Луконин М.К.**

Лысогорский Ондра (Эрвин Гой; 1905–1990), чешский поэт. 210, 213

Любимов Николай Михайлович (1912–1993), переводчик. 235

Майоров Г.И., врач-терапевт, арестованный по «делу врачей». 344

Макаров-Ракитин Константин Дмитриевич (1912–1941), композитор, первый муж М. Алигер. 46, 48, 284, 315

Максименков Леонид Валентинович, историк-архивист. 140, 153, 441

Маленков Георгий Максимилианович (1902–1988), член Политбюро КПСС. 17, 27–29, 31–33, 36, 37, 43, 87, 89, 90, 220, 230, 253, 257, 310, 321, 407, 408, 411, 412, 415, 416, 419, 420–422

Малюгин Леонид Антонович (1909–1968), драматург. 266

Мамашулы см. **Момыш-Улы Баурджан**.

Мандельштам Надежда Яковлевна (1900–1980), жена О.Э. Мандельштама. 109

Мандельштам Осип Эмильевич (1891–1938, погиб в заключении), поэт. 395

Мао Цзэдун (1893–1976), глава КНДР. 319

Маркиш Давид Перецович (р. 1938), еврейский писатель, сын П. Маркиша. 185

Маркиш Перец Давидович (1895–1952, расстрелян), поэт. 185, 186, 229, 240, 337

Маркиш Симон Перецович (1931–2003), переводчик, филолог. 442

Мартынов Леонид Николаевич (1905–1980, был в ссылке), поэт. 201

Марченко, секретарь московской партийной организации Союза писателей в 30-е гг. 164

Маршак Самуил Яковлевич (1887–1964), поэт. 169, 216, 221, 404, 442

Маршалл Джорж Кэттлет (1880–1959), в 50-е гг. государственный секретарь США. 183

Матусовский Михаил Львович (1915–1990), поэт. 108, 211, 212, 214, 215, 222, 243, 248, 448

Мацкин Александр Петрович (1906–1996), театральный критик. 49, 231, 255, 264

Маяковский Владимир Владимирович (1893–1930; покончил с собой), поэт. 15, 71, 103, 117, 119, 124, 125,

132, 138, 140, 146–149, 151, 152, 168, 172, 198, 261, 298, 303, 315, 322, 332, 338, 387, 388

Межиров Александр Петрович (р. 1923), поэт. 223

Мейерхольд Всеволод Эмильевич (1874–1940, расстрелян), режиссер. 14, 124, 125, 140, 169, 254, 431, 440

Мельников Наум Дмитриевич (Мельман; 1918–?), писатель, сценарист. 228, 229, 231, 448

Мельман Анна Дмитриевна, сестра Наума Мельникова, жена Б. Рунина, редактор. 231

Мендельсон-Прокофьева Мира Абрамовна (1915–1968), вторая жена С. Прокофьева. 206

Минц Исаак Израилевич (1896–1976), историк, академик. 365

Мирова см. **Агранович М.**

Мирская, сотрудник «Литературной газеты». 413

Мирский Д. см. **Святополк-Мирский Д.П.**

Михалков Сергей Владимирович (р. 1913), детский поэт. 100, 110, 262, 263, 320

Михоэлс Соломон Михайлович (Вовси; 1890–1948, убит), актер, политический деятель. 15, 185–187, 243, 244, 251, 252, 254, 256, 345

Мишакова Ольга Петровна (1906–1980), секретарь ЦК ВЛКСМ. 29, 40, 416

Мишле Жюль (1798–1874), французский историк. 365

Молодцов, главный редактор журнала «Славяне». 189

Молотов Вячеслав Михайлович (Скрябин; 1890–1986), политический деятель. 154, 271, 327

Молчанов Георгий Андреевич (1897–1937, расстрелян), начальник секретно-политического отдела НКВД. 137

Момыш-Улы Баурджан (1910–1980) – казахский писатель, полковник, военный педагог. Автор книг «За нами Москва. Записки офицера» (1959), «Фронтовые

встречи» (1962) и др. Являясь реальным прототипом художественного обобщенного образа, от лица которого ведется повествование в «Волоколамском шоссе», ревновал к литературному успеху А. Бека, недоумевая, отчего собственные его тексты никакого резонанса не имеют. 420

Монтгомери Аламейский Бернард Лоу (1887–1976), командующий армиями США во Вторую мировую войну. 309

Мотылева Тамара Лазаревна (1910–1992), литературовед. 334

Муля см. **С.Д. Гуревич**

Мурадели Вано Ильич (1908–1970), композитор. 187, 200

Мясковский Николай Яковлевич (1881–1950), композитор. 200

Навои Алишер (1441–1501), узбекский поэт, мыслитель, государственный деятель. 211

Наджафаров Д. 450

Надирадзе Колау Галактионович (1895–1990), грузинский поэт. 213

Надсон Семен Яковлевич (1862–1887), поэт. 126

Наполеон I Бонапарт (1769–1821), французский император в 1804–1814 и в марте-июне 1815. 142

Наумов О. 432

Нейгауз Адик Генрихович (Адик; 1925–1945), сын З.Н. Пастернак и Г.Г. Нейгауза. 56

Нейгауз Станислав Генрихович (1927–1980), пианист; сын З.Н. Пастернак и Г.Г. Нейгауза. 54, 211

Некрасов Виктор Платонович (1911–1987), прозаик. 11, 69, 109, 230, 327, 336, 437

Немирович-Данченко Владимир Иванович (1858–1943), режиссер. 254

Нетте Теодор Иванович (1896–1926), советский дипкурьер. Убит в Латвии при исполнении служебных обязанностей. 151, 152

Николаева Галина Евгеньевна (1911–1963), писатель. 359, 260, 417, 420

Никулин Лев Вениаминович (1891–1967), писатель. 266

Нусинов Исаак Маркович (1889–1950, погиб в заключении), литературовед, критик. 180–182, 204

Образцов. Возможно, **Образцов Сергей Владимирович** (1901–1992), актер и режиссер Театра кукол. 436

Огнев Владимир Федорович (р. 1923), критик, прозаик. 338, 432, 452

Озернов Владимир Семенович, друг Д.Я. Дара, муж дочери В.Ф. Пановой. 429

Окуджава Булат Шалвович (1924–1997), прозаик, поэт, бард. 11

Окуневская Татьяна Кирилловна (1924–2002, была репрессирована), актриса. 225

Олеша Юрий Карлович (1899–1960), прозаик. 29, 160, 297, 416

Омельченко, капитан буксира, на котором спасся А.К. Тарасенков в 1941 г. под Таллинном. 62, 436

Орлов Владимир Николаевич (1908–1985), литературовед. 88

Орлова, сотрудница Агитпропа. 22, 403

Орловская Елена Дмитриевна (1900–1984), журналистка и переводчица с киргизского. 202, 208, 304

Островская Софья Казимировна (1902–1983), переводчица. 157

Павленко Петр Андреевич (1899–1951), писатель, один из крупных литературных функционеров, автор

романа «Счастье», сценариев кинофильмов «Клятва» и «Падение Берлина», трижды удостоенных Сталинских премий (1947, 1948, 1950). 109, 142, 158, 159, 178

Падерин Иван, писатель. 330

Панова Вера Федоровна (1905–1973), прозаик. 23, 24, 31–33, 35, 36, 109, 230, 327, 392, 393, 398, 406, 409, 410, 413, 416–424, 427, 429, 433, 436

Панферов Федор Иванович (1896–1960), писатель. 230, 310, 315, 316, 391, 414

Паперный Зиновий Самойлович (1910–1996), литературный критик. 279

Пастернак Борис Леонидович (1890–1960), поэт. 5–8, 17, 18, 20, 26, 29, 50–54, 56–59, 61, 70–86, 94, 99–101, 103–106, 110–121, 129–131, 133, 134, 136, 140–149, 151, 154–157, 159–163, 165–172, 174–178, 190–198, 201, 202, 206–216, 218, 219, 222, 233–239, 253, 261, 274, 276, 277, 281–284, 286–289, 290–293, 296, 299–306, 308, 309, 332, 339, 341–343, 353–359, 370, 374, 376, 382, 384, 390, 391, 397, 407, 411, 414, 416, 431, 432, 435, 436, 439–444, 446, 448, 450–453

Пастернак Евгений Борисович (1890–1960), историк литературы. Сын Б.Л. Пастернака. 306

Пастернак Жозефина Леонидовна (1900–1993), сестра Б.Л. Пастернака. 56, 115

Пастернак Зинаида Николаевна (1897–1966), вторая жена Б.Л. Пастернака. 54, 55, 58, 105, 142, 161, 190, 305, 343, 435, 445

Пастернак Леонид Осипович (1862–1945), художник, отец Б.Л. Пастернака. 54, 56

Пастернак Лидия Леонидовна (Слейтер; 1902–1989), биохимик, сестра Б.Л. Пастернака. 56

Паустовский Константин Георгиевич (1892–1968), писатель. 58, 239, 294, 297

Пашенко, капитан I ранга. 294

Первенцев Аркадий Алексеевич (1905–1981), писатель, драматург. 261, 262, 273–275, 360

Петефи Шандор (1823–1849), венгерский поэт. 190, 201, 210

Петров Евгений Петрович (1903–1942), писатель. 198, 220, 284

Петровский Дмитрий Васильевич (1892–1955), писатель. 134

Пильняк Борис Владимирович (Вогау; 1894–1938, репрессирован), писатель. 139, 141, 146, 149, 161, 169

Пименов В.Ф., начальник управления театров и Комитета по делам искусств. 266

Пирожкова Антонина Николаевна, жена И.Э. Бабеля. 135, 136

Платонов Андрей Платонович (1899–1951), писатель. 311

Погодин Николай Федорович (Стукалов; 1900–1962), драматург. 54, 104, 265, 450

Полевой Борис Николаевич (Кампов; 1908–1981), писатель, журналист.

Поливанов Михаил Константинович (1930–1992), физик. 202, 444

Поликарпов Дмитрий Алексеевич (1905–1965), ответственный секретарь Союза писателей СССР. 17, 18, 20–26, 28–34, 36–41, 44, 61, 62, 67, 69, 79, 99, 222, 313, 393, 397, 401–404, 406–422, 424–426, 429, 433

Попов Г.М. 257

Попова Лиля Ефимовна, жена В.Н. Яхонтова. 436

Поскребышев Александр Николаевич (1891–1965), секретарь И.В. Сталина. 406, 426

Поспелов Петр Николаевич (1898–1979), главный редактор газеты «Правда». 28, 29, 31, 415, 416, 427

Пришвин Михаил Михайлович (1873–1954), писатель. 317

Прокофьев Сергей Сергеевич (1891–1953), композитор. 71, 165, 187, 200, 206

Пропп Владимир Яковлевич (1895–1970), филолог, фольклорист. 205

Проффер Карл, издатель. 446

Пуришкевич Владимир Митрофанович (1870–1920), один из лидеров черносотенных организаций – «Союза русского народа», «Союза Михаила Архангела». 267

Пушкин Александр Сергеевич (1799–1837). 165, 180, 181, 297, 322, 324, 325, 434

Пшавела Важа (1861–1915), грузинский поэт. 130

Пырьев Иван Александрович (1901–1968), кинорежиссер. 226, 268

Пятаков Георгий Леонидович (1890–1937, расстрелян), политический деятель. 158, 163

Радек Карл Бернгардович (Собельсон; 1885–1939, погиб в заключении), политический деятель. 163, 166

Разумовская Софья Дмитриевна (Туся; 1904–1981), редактор журнала «Знамя», жена Д. Данина. 45, 49, 116, 118, 119, 188, 424

Раковский Христиан Георгиевич (1873–1941, расстрелян) председатель Красного Креста, в 1925–1927 гг. полпред СССР во Франции.

Раппопорт см. Агранович Мира.

Раскин Александр Борисович (1914–1971), пародист, драматург. 265, 392, 393

Резник О. 281

Рекк Марика (Роок Илона; 1913–2004), немецкая актриса. 225

Репин Илья Ефимович (1844–1930), живописец. 325

Рильке Райнер Мария (1875–1926), австрийский поэт. 82, 120

Робсон Поль (1898–1976), американский певец. 243–245, 248

Роллан Ромен (1866–1944), французский писатель. 137, 148, 152

Ромм Михаил Ильич (1901–1971), кинорежиссер, младший брат А.И. Ромма. 13

Российский, врач-кардиолог, знакомый А.К. Тарасенкова и М.И. Белкиной по дачной жизни на Николиной горе. 331

Рубинчик, врач 251

Рунин Борис Михайлович (Рубинштейн; 1912–1994), литературный критик. 7, 229, 231, 232, 234, 240–242, 265, 268, 442, 448

Русланова Лидия Андреевна (1900–1973, была репрессирована), певица. 431

Рыков Алексей Иванович (1881–1938, расстрелян), председатель Совнаркома. 158

Рыльский Максим Федорович (1895–1964), украинский поэт. 211

Рябинина Александра Петровна (1897–1977), редактор Гослитиздата. 287

Сакс Ганс (1494–1576), немецкий мастерзингер. 210

Салтыков Михаил Евграфович (Салтыков, псевд. Щедрин Н.; 1826–1889), писатель-сатирик. 420

Самойлов Давид Самойлович (Кауфман; 1920–1990), поэт. 11, 102, 223, 439, 447

Сарнов Бенедикт Михайлович (р. 1927), критик, публицист. 273, 274

Сатюков Петр Алексеевич (1911–1976), работник ЦК, ответственный секретарь газеты «Правды». 313

Сафонов И. 448

Саянов Виссарион (наст. имя Махлин Виссарион Михайлович, 1903–1959), поэт, сотрудник редакции журнала «Звезда». 71, 90

Светлов Михаил Аркадьевич (Шейнкман; 1903–1964), поэт, член группы «Молодая гвардия». 97, 128, 294

Свирский Григорий Израилевич (р. 1921), писатель, мемуарист. 267, 450

Святополк-Мирский Дмитрий Петрович (1890–1939, репрессирован), критик, историк литературы. Вернулся в СССР из эмиграции. 134, 165, 166

Седов Сергей Львович (1908–1937, расстрелян), младший сын Л.Д. Троцкого от второго брака, инженер. 231

Сейфуллина Лидия Николаевна (1889–1954), писательница. 159

Селивановский Алексей Павлович (1900–1937, расстрелян), литературный критик, член руководства РАППа. 83–85, 164

Сельвинский Илья (Карл) Львович (1899–1968), советский поэт, драматург. 16, 25, 79, 139, 141, 146, 147, 149, 152, 169, 214, 295, 297–299, 301, 303, 406, 432, 439, 440, 442, 452

Семушкин Тихон Захарович (1900–1978), писатель. 268

Сергеев-Ценский Сергей Николаевич (1875–1958), писатель. 417

Серебрякова Галина Иосифовна (1905–1980; была репрессирована), писатель. 164

Серов Валентин Александрович (1865–1911), художник. 29, 416

Серова Валентина Васильевна (1917–1975), киноактриса, жена К. Симонова. 321

Сикорская Татьяна Сергеевна (1901–1984), поэтесса, переводчица. 154

Симонов Константин (Кирилл) Михайлович (1915–1979), писатель. 11, 18, 24, 51, 79, 99, 114–116, 119, 170, 179–182, 199, 206, 211, 223, 259, 261–264, 266, 275, 276, 292, 310, 316, 318, 321, 323, 324, 391, 404, 406, 442, 452

Скосырев Петр Григорьевич (1900–1960), работник НКВД. 433

Славин Лев Исаевич (1896–1984), писатель. 404

Словацкий Юлиуш (1809–1849), польский поэт. 210, 213

Слуцкий Борис Абрамович (1919–1986), поэт. 398

Смеляков Ярослав Васильевич (1913–1972, трижды был репрессирован), поэт. 46, 103

Смирнов Сергей Сергеевич, редактор «Воениздата», работал в 1-м «Новом мире» А.Т. Твардовского. 325

Соколова Наталья Викторовна (Ата Типот; 1916–2002), писательница. 47, 48, 95, 107, 187, 214, 229, 241, 251, 261, 264, 274, 276, 433, 434, 438, 442, 448, 450

Сокольников Григорий Яковлевич (Бриллиант; 1888–1939, убит в тюрьме), большевик, нарком финансов (1922–1926), посол в Великобритании (с 1929), заместитель наркома иностранных дел (1933–1934). 164

Сократ (ок. 470–399 до н.э.), древнегреческий философ. 444

Солженицын Александр Исаевич (1918–2008; был репрессирован), писатель. 17

Сологуб Федор (Тетерников Федор Кузьмич; 1863–1927), поэт, прозаик. 302

Соловьев Владимир Александрович (1907–1978), прозаик, драматург. 25, 26, 406

Софронов Анатолий Владимирович (1911–1990), писатель, драматург. 202, 224, 230, 252, 257, 259, 261, 262, 264–266, 268, 269, 271, 273–275, 279, 281, 289, 294, 297, 303, 349, 397

Спасский Сергей Дмитриевич (1898–1956, был репрессирован), поэт. 234

Ставский Владимир Петрович (1900–1943), секретарь Союза писателей. 142, 143, 159, 163–165, 167, 176, 440

Сталин Иосиф Виссарионович (1879–1953), политический деятель. 5, 6, 11, 15, 27, 29, 32, 36, 37, 42, 56, 67, 87–91, 98, 99, 132, 135, 136, 138, 147, 159, 164, 179, 182–185, 203, 220, 223, 228–230, 234, 252, 253, 257, 260, 267, 272, 279, 284, 294, 297, 298, 300, 306, 307, 308, 313, 328, 331, 338, 346, 352–358, 361, 367, 370, 389, 392, 416, 432, 437, 442, 447, 450

Степанова Ангелина Иосифовна (1905–2000), актриса МХАТ, вторая жена А.А. Фадеева. 287

Стрижак О. 436

Страшун Илья Давидович (1892–1967), врач-гигиенист, муж В. Инбер.

Субоцкий Лев Матвеевич (1900–1959), литературный критик. 113, 261, 279, 280, 411, 414

Сурков Алексей Александрович (1899–1983), поэт. 26, 53, 100, 106–108, 117, 128, 132, 165, 193, 196, 202, 207, 224, 230, 262, 273, 274, 283, 303, 322, 331, 397, 407, 413, 414, 417

Суркова (Кревс) Софья, жена А.А. Суркова. 107, 108

Суров Анатолий Алексеевич (1911–1987), драматург. 224, 252, 253, 262, 268, 271–274, 284, 294, 328

Суслов Михаил Андреевич (1902–1982), член Политбюро ЦК КПСС. 106, 230, 257, 293, 331, 397

Сучков Борис Леонтьевич (1917–1974, был репрессирован), литературовед. 385, 415

Табидзе Нина Александровна (1900–1965), жена Т. Табидзе. 146, 176, 304, 305, 307, 308, 341

Табидзе Тициан Юстинович (1895–1937, расстрелян), грузинский поэт. 305

Таиров Александр Яковлевич (Корнблит; 1885–1950), театральный режиссер. 254, 439

Танин Михаил Александрович (расстрелян в 1937), секретарь Хрущева. 154

Тарасенков Дмитрий Анатольевич (р. 1941), сын А.К. Тарасенкова и М.И. Белкиной, журналист, писатель. 62, 323, 380, 381

Тарасенкова, мать А.К. Тарасенкова. 122, 123, 126–128

Тарасенков, отец А.К. Тарасенкова. 126, 128, 439

Тарасов-Родионов Александр Игнатьевич (1885–1938, расстрелян), критик.

Таратута Евгения Александровна (1912–2005, была репрессирована), литературный критик, писатель. 362, 453

Тарковский Арсений Александрович (1907–1989), поэт, переводчик. 11

Тарле Евгений Викторович (1874–1955), историк. 142

Твардовская Мария Илларионовна (1910–1991), жена А.Т. Твардовского. 314, 315, 318–320, 323, 369

Твардовский Александр Трифонович (1910–1971), поэт. 7, 11, 24–26, 28, 31, 34, 131, 133, 164, 165, 170, 221, 274, 296, 312–319, 321–329, 331–334, 338, 348, 350–353, 365, 370, 393, 406, 407, 411, 415, 417, 418, 422, 451, 452

Телешов Николай Дмитриевич (1867–1957), писатель. 42

Тимофеев Леонид Иванович (1904–1984), литературовед, профессор. 18, 51

Тихонов Николай Семенович (1896–1979), поэт. 17, 18, 25, 28, 29, 31–33, 41, 43, 51, 71, 79, 80, 94–99, 139, 180, 181, 199, 201, 202, 310, 402, 404, 408, 415, 416, 419, 421, 422, 424

Тихонова А.Я. 412

Тихонова Мария Константиновна (Казимировна; 1892–1975), жена Н.С. Тихонова. 95, 98

Толстой Алексей Николаевич (1883–1945), писатель. 13

Толстой Лев Николаевич (1829–1910), писатель. 174, 204, 328, 443

Толченев Александр Павлович, литератор. 405

Томашевский Борис Викторович (1890–1957), литературовед. 205

Томский Михаил Павлович (Ефремов; 1880–1936, покончил с собой), партийный деятель. 158

Трауберг Леонид Захарович (1902–1990), кинорежиссер. 266

Трегуб Семен Адольфович (1907–1975), литературный критик. 281

Третьяков Сергей Николаевич (1896–1938, расстрелян), поэт. 14, 431

Триоле Эльза Юрьевна (урожд. Каган, 1896–1970), сестра Л.Ю. Брик, жена Луи Арагона, французская писательница. 135

Трофименко Ирина Дмитриевна, жена командующего Белорусским военным округом. 185, 186

Троцкий Лев Давыдович (Бронштейн; 1879–1940; убит), политический деятель. 161, 166, 204, 231, 234, 432

Трощенко Екатерина, критик РАППа. 164

Трумэн Гарри (1884–1972), президент США (1945–1972). 183

Тынянов Юрий Николаевич (1894–1943), писатель. 198, 284

Тычина Павло (Павел Григорьевич; 1891–1967), украинский поэт. 211, 246, 287, 288

Тэн Ипполит (1826–1893), французский философ, историк. 21, 402

Уайльд Оскар (1854–1900), английский писатель. 216

Уитни Томас Н. 445

Усиевич Елена Феликсовна (1893–1968), литературный критик, дочь революционера Ф. Кона. 17, 175, 440

Успенский Лев Васильевич (1900–1978), писатель. 21, 44, 63, 402

Уткин Иосиф Павлович (1903–1944), поэт. 132, 254

Фадеев Александр Александрович (1901–1956; покончил с собой), писатель, генеральный секретарь Союза писателей СССР. 6, 7, 16, 17, 22, 26, 35, 46–49, 87, 97, 99–101, 105, 107, 110, 112, 113, 115, 149, 155, 166, 169, 179–182, 187, 188, 190, 191, 199–203, 206, 207, 220–224, 240–242, 246, 252, 253, 255–257, 259, 261, 263, 266, 271, 273–277, 279, 281, 282, 284, 287, 289, 292, 293, 297, 300, 302, 303, 306, 310, 313, 316, 319, 320, 322–324, 327, 328, 332–334, 336, 337, 347, 348, 350, 351, 353, 357, 360–363, 368, 386–390, 403, 423, 434, 439, 442–444, 452–454

Фадеев Михаил Александрович, сын А.А. Фадеева. 389

Февральский Александр Вильямович (1901–1984), театральный критик. 137, 140, 155, 156

Федерольф А.А. см. **Шкодина А.А.**

Федин Константин Александрович (1892–1977), писатель. 16, 41, 104, 118, 158, 159, 235, 238, 325, 336, 388, 389, 448

Федорова Зоя Алексеевна (1907–1981, была репрессирована), актриса. 225

Федорченко Софья Захаровна (1880–1959), писатель. 237

Федосеев Петр Николаевич (1908–1989), первый заместитель начальника управления агитации и пропаганды при ЦК ВКП(б). 17, 313, 406

Фейхтвангер Лион (1884–1958), немецкий писатель. 162

Фельдман Александр Исидорович, врач-отоларинголог, проходил по «делу врачей». 344, 345

Фефер Ицхак (Ицик) (1900–1952, расстрелян), поэт. 239, 240, 243–246, 248–250

Филипп (Колычев Федор Степанович; 1507–1569), митрополит Московский (с 1566). 14

Финн Константин Яковлевич (Финн-Хальфин; 1904–1975), писатель. 263

Фиш Геннадий Семенович (1903–1971), писатель. 233

Флейшман Л. 441

Фрейденберг Ольга Михайловна (1890–1955), филолог-классик; двоюродная сестра Б.Л. Пастернака. 205, 234, 269, 358, 444, 450

Хазин Евгений Яковлевич (1893–1974), писатель, брат Н.Я. Мандельштам. 109

Хачатурян Арам Ильич (1903–1978), композитор. 200

Хлебников Велимир (Виктор Владимирович; 1885–1939), поэт. 216

Хмелев Николай Павлович (1901–1945), актер МХАТа. 13

Холодов Е. (Меерович; 1918–1981), критик. 266

Хольцман см. **Яковлев**.

Хрущев Никита Сергеевич (1894–1971), политический деятель, с 1953 г. первый секретарь ЦК КПСС, один из инициаторов «оттепели». 154, 164, 397, 398

Цанава Лаврентий Фомич (1900–1955), нарком внутренних дел Белорусской ССР. 186

Цветаева Анастасия Ивановна (1894–1993), писатель, сестра М.И. Цветаевой. 234

Цветаева Марина Ивановна (1892–1941; покончила с собой), поэт, прозаик, драматург. 5, 20, 71, 147, 151, 154, 156, 177, 178, 217, 302, 332, 371–377, 383–386, 396, 436–438, 440, 452, 453

Чагин Петр Иванович (Болдовкин; 1898–1967), издательский деятель. 43, 192, 238

Чаковский Александр Борисович (1913–1994), писатель. 51, 349, 412

Чаренц Егише Абгарович (Согомонян; 1897–1937, репрессирован), армянский поэт. 211

Чарный Марк Борисович (1901–1976, был репрессирован), писатель. 391, 412, 414

Черкасов Николай Константинович (1903–1966), актер. 15

Черных В. 435

Черняк Яков Захарович (1898–1955), историк литературы. 268

Черчилль Уинстон (1874–1965), премьер-министр Великобритании. 89

Черчилль Рандольф, сын У. Черчилля. 102

Чех Святоплук (1846–1908), чешский поэт. 295

Чехов Антон Павлович (1860–1904). 325

Чиаурели Михаил Едишерович (1904–1974), кинорежиссер. 333

Чиковани Симон Иванович (1902/03–1966), грузинский поэт. 54, 55, 213, 452

Чуковская Лидия Корнеевна (1907–1996), критик, писательница. 116, 154, 201, 237, 238, 441, 448

Чуковский Корней Иванович (Корнейчуков; 1882–1969), детский поэт, литературовед, критик. 41, 56, 99, 100, 104, 246, 362, 363, 389, 433, 439, 453, 454

Чуковский Николай Корнеевич (1904–1965), писатель. 21, 63, 54, 104, 198, 201

Шагинян Мариэтта Сергеевна (1888–1982), писательница. 414

Швейцер Рената, литературный критик, адресат писем Б. Пастернака. 305

Шверубович Вадим Васильевич (1901–1981), театральный деятель, педагог. 71

Швецов Сергей Александрович (1903–1969), поэт-сатирик. 169

Шевченко Тарас Григорьевич (1814–1861), украинский поэт и художник. 210, 213

Шейнин Лев Романович (1906–1967), начальник следственного отдела прокуратуры СССР. 185.

Шекспир Уильям (1564–1616), английский драматург, поэт. 17, 52, 78, 86, 94, 193, 210, 216, 304

Шелли Перси Биш (1792–1822), английский поэт. 210

Шенталинский В. 444

Шепилов Дмитрий Тимофеевич (1905–1995), главный редактор газеты «Правда», секретарь ЦК. 252, 313

Шереметьева Е., писательница. 180

Шилов Лев Алексеевич (1932 –2004), писатель, архивист. 58, 435

Шиманский Стефан (1920–1950?), английский литературный критик. 117, 193

Шимелиович Борис Абрамович (1892–1952, расстрелян), главный врач ЦКБ. 345

Ширкевич Зинаида Митрофановна (Зина; 1888–1977), подруга Е.Я. Эфрон. 376

Ширшов Петр Петрович (1905–1953), исследователь Севера, министр флота. 222, 447

Шишков Вячеслав Яковлевич (1873–1945), писатель. 198

Шкирятов Матвей Федорович (1883–1954), партийный деятель. 257

Шкловский Виктор Борисович (1893–1984), писатель. 149, 257, 264, 450

Шкодина Ада Александровна (Федерольф; 1901–1996, была репрессирована), подруга А.С. Эфрон, с которой она жила на поселении в Туруханском крае. 373

Шмидт Петр Петрович (1867–1906), лейтенант, руководитель восстания на крейсере «Очаков». 81, 84, 117, 129, 190, 192, 193, 197, 198, 207

Шолохов Михаил Александрович (1905 – 1984), писатель. 193, 194, 311, 325, 336

Шостакович Дмитрий Дмитриевич (1906–1975), композитор. 187, 200, 209, 444

Шпанов Николай Николаевич (1896–1961), писатель. 173

Штейнберг А. 186

Штраух Максим Максимович (1900–1974), актер. 16, 187

Шумихин С. 446

Щеглов Ю. 440

Щедрин см. **Салтыков-Щедрин М.Е.**

Щербаков Александр Сергеевич (1901–1945), первый секретарь МГК ВКП(б). 146, 345

Эйзенхауэр Дуайт Дейвид (1890–1969), президент США (1953–1961). 183

Эйзенштейн Сергей Михайлович (1898–1948), кинорежиссер. 12–16, 102, 135, 187, 431, 432

Эйхенбаум Борис Михайлович (1886–1959), литературовед. 180, 204, 205, 270

Эльсберг Яков Ефимович (1901–1976), литературовед, критик. 136

«**Эммануэль**», осведомитель НКВД. 156

Эрбар Пьер (1903–1974), французский писатель. 135, 137

Эренбург Илья Григорьевич (1891–1967), писатель. 45, 72, 134, 193, 214, 273, 306, 327, 361, 372, 434, 435, 437

Эрлих Вольф Иосифович (1902–1944, погиб в заключении), поэт. 262

Этингер Яков Гиляриевич (умер в заключении в 1951), врач. 344, 345

Эфрон Ариадна Сергеевна (Аля, 1912–1975, была репрессирована), дочь М.И. Цветаевой и С.Я. Эфро-

на. 130, 234, 309, 339, 343, 371–377, 379, 380, 383–385, 453, 453

Эфрон Георгий Сергеевич (Мур; 1925–1944, погиб на фронте), сын М.И. Цветаевой и С.Я. Эфрона. 154, 375, 384

Эфрон Елизавета Яковлевна (Лиля; 1885–1976), сестра С.Я. Эфрона, педагог, режиссер. 376

Эфрон Сергей Яковлевич (1893–1941, расстрелян), муж М.И. Цветаевой, сотрудничал с НКВД. 384

Юзовский Иосиф Ильич (1902–1964), театральный критик. 13, 17, 233, 253, 254, 258, 261–263, 266, 267, 311

Юзовский Миша, сын И.И. Юзовского. 254

Ягода Генрих Генрихович (1891–1938; расстрелян), в 1934–1936 гг. нарком НКВД. 153

Яковлев Борис Владимирович (Хольцман Борух; р. 1913), литературовед, критик. 261, 311

Ярцев Георгий Алексеевич (1904–1949), директор издательства «Советский писатель». 35, 191, 206, 210, 211, 253, 423, 444

Яхонтов Владимир Николаевич (1899–1945; покончил с собой), актер, чтец. 57, 59–61, 435, 436

Яшвили Паоло (1895–1937; покончил с собой), грузинский поэт. 146

Яшин Александр Яковлевич (1913–1968), поэт. 21, 44, 63, 319, 320

СОДЕРЖАНИЕ

От автора	5
Часть I. 1944–1947. Страсти вокруг Пастернака	8
Возвращение	8
Небольшое отступление о второй серии «Ивана Грозного»	12
Писатели	16
Давид и Голиаф	18
<i>Мария Белкина</i> . О Поликарпове	38
Те, кого защищали	43
Пастернак. 1945 год	50
Вишневский и Тарасенков: о войне	61
Вишневский и Тарасенков: дружба и вражда	67
Пастернак и Ахматова накануне постановления	71
Пастернак как поле боя	79
Постановление	87
Последствия	91
<i>Отступление</i> . Писательские жены	107
Изгнание Тарасенкова из «Знамени»	109
Инвалид литературной проработки	114
Лето 1947 года. Данин	116
Первое отречение Тарасенкова от Пастернака	120
Возвращение назад	120
Тарасенков о себе	121
Продолжение истории Тарасенкова (<i>рассказ</i> <i>Марии Белкиной</i>)	128
История с доносом	132

СОДЕРЖАНИЕ

Отступление. Корнелий Зелинский	150
Процессы	158
Часть II. 1947–1949. Космополиты безродные	179
Как это начиналось. 1947 год	179
Лето-осень 1947 года. Тарасенков	188
1948 год. Тарасенков и космополиты	201
Вторая попытка: история с переводами	209
Гладков и Тарасенков	217
Фадеев и Тарасенков	220
Нависшая тьма	225
Разгром журнала «Знамя»	228
Отступление. Борис Рунин	231
Пастернак: возможный арест	234
Юбилей Льва Квитко	239
Самуил Галкин	246
1949 год. Дело театральных критиков	251
Отступление. Фадеев и Альтман	256
Февраль 1949-го. Собрания... ..	261
Без кого на Руси жить хорошо... ..	266
Литературные злодеи. <i>Суров. Софронов. Грибачев.</i> <i>Бубеннов</i> и др.	271
Тарасенков: ложью доказать истину	275
Второе отречение от Пастернака	282
Луговской и космополиты	293
Часть III. 1950–1953. Первый «Новый мир»	
Твардовского. Дело Гроссмана	296
Возвращение блудного Тарасенкова	296
Пастернак: Маргарита в темнице	304
События 1950 года	309
Смена декораций	312
«Новый мир»	324
Начало дела Гроссмана	328
Дальнейшие происшествия	332
Жизнь в «Новом мире»	336
Пастернак. 1951–1952 годы	341

СОДЕРЖАНИЕ

Дело врачей-вредителей. <i>Январь – февраль 1953 года</i>	344
Смерть Сталина	352
Путь Фадеева	360
Часть IV. 1954–1956. Усилые воскресенья	365
Гроссман. Окончание	365
Осень 1955 года глазами Белкиной	370
Ариадна Эфрон о Тарасенкове	373
Смерть Тарасенкова	379
Сердце устало лгать... ..	382
Самоубийство Фадеева	386
Подведение итогов	390
Эпилог	397
П Р И Л О Ж Е Н И Е	399
История борьбы с Д.А. Поликарповым (<i>сентябрь 1944 – апрель 1946</i>)	401
Примечания В. Пановой к записи Ан. Тарасенкова о борьбе с Поликарповым	424
ПРИМЕЧАНИЯ	431
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН	455

Громова Н.

Г 87 Распад: Судьба советского критика в 40-е – 50-е годы / Громова Н.А. – М.: Эллис Лак, 2009. – 496 с., ил.

ISBN 978-5-902152-70-5

Герои этой книги – Анатолий Кузьмич Тарасенков, в 30–50-х годах ведущий советский критик (его знал Сталин, ему покровительствовал Фадеев), библиофил (он собрал уникальную поэтическую библиотеку), человек сложной и в целом незавидной судьбы: до конца дней он играл роль идеологической машины, штампующей нужные статьи, видимо считая, что именно их создание и является его «охранной грамотой». А рядом с ним Вс. Вишневский, А. Фадеев, А. Твардовский, В. Гроссман, Д. Данин и другие литераторы, затянутые в поток литературной борьбы, и конечно же тот, о котором спорили до хрипоты, к кому апеллировали как к высшей правде, кого ненавидели и любили, – поэт Борис Пастернак.

ББК 83.3(2Рос=Рус)6
УДК 82091.930.85(47)

Наталья Александровна Громова

РАСПАД
Судьба советского критика:
40-50-е годы

Корректор *Е.И. Кортаева*

Подписано в печать 20.04.09.

Формат 84 × 108 ¹/₃₂.

Бумага офсетная № 1.

Печать офсетная.

Усл. печ. л. 19,5 + вклд.

Уч.-изд. л. 26,00.

Тираж 3 000 экз.

Заказ № 2073

Издательство «Эллис Лак 2000»

123242, Москва, Красная Пресня,

д. 6/2, к. 16

Тел. (495)605-37-97.

Факс (495)605-89-47

E-mail: ellisluck@mail.ru

<http://www.ellisluck.ru>

ISBN 978-5-902152-70-5



Отпечатано в полном соответствии с качеством предоставленных диапозитивов в ГУП РМ «Республиканская типография „Красный Октябрь”» 430000, Мордовия, г. Саранск, ул. Советская, 55а

Настоящая книга Натальи Громовой – **третья часть** документальной трилогии о советских писателях и литературном быте той поры.

Первая часть – «Узел. Поэты: дружбы и разрывы» (М.: Эллис Лак, 2006) – посвящена драматической судьбе советских поэтов и писателей на фоне жизни предвоенной Москвы.

Вторая часть – «Эвакуация идет» (М.: Совпадение, 2008) – история писательских колоний в Ташкенте, Чистополе и Елабуге. Перед нами – три акта драмы XX века, герои которой – советские писатели. Вначале – арест, гибель или немое соучастие в страшном, кровавом спектакле, поставленном властью. Затем – война, когда, несмотря на множество трагедий, писатели живут надеждой на долгожданные изменения в духовной атмосфере страны.

И, наконец, послевоенные годы, показавшие, что надеждам этим не суждено сбыться: все попытки двинуться к очищению, к правде сурово наказываются – и опять возвращение назад: к страху, наветам, арестам, расстрелам... Литература разлагается вместе с тираном. Но «усилье воскресенья» приведет ее к новому витку расцвета.



Наталья Громова

Настоящая книга Натальи Громовой — **третья часть** документальной трилогии о советских писателях и литературном быте той поры.

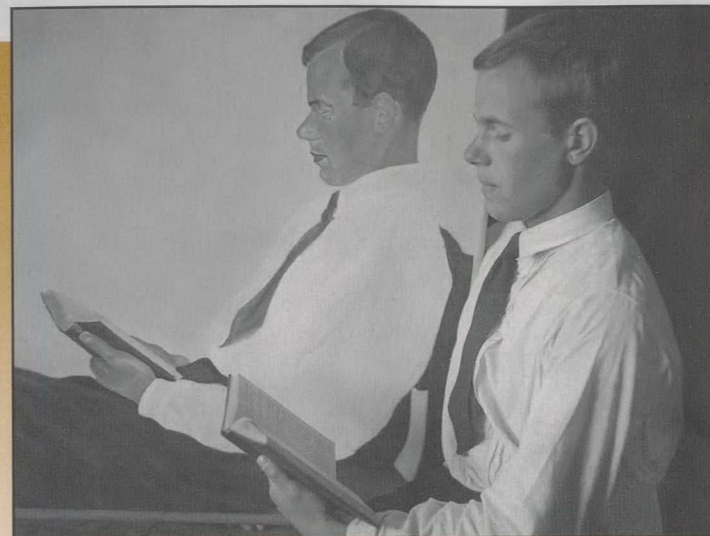
Первая часть — «Узел. Поэты: дружбы и разрывы» (М.: Эллис Лак, 2006) — посвящена драматической судьбе советских поэтов и писателей на фоне жизни предвоенной Москвы.

Вторая часть — «Эвакуация идет» (М.: Совпадение, 2008) — история писательских колоний в Ташкенте, Чистополе и Елабуге. Перед нами — три акта драмы XX века, герои которой — советские писатели. Вначале — арест, гибель или немое соучастие в страшном, кровавом спектакле, поставленном властью. Затем — война, когда, несмотря на множество трагедий, писатели живут надеждой на долгожданные изменения в духовной атмосфере страны. И, наконец, послевоенные годы, показавшие, что надеждам этим не суждено сбыться: все попытки двинуться к очищению, к правде сурово наказываются — и опять возвращение назад: к страху, наветам, арестам, расстрелам... Литература разлагается вместе с тираном. Но «усилье воскресенья» приведет ее к новому витку расцвета.

Наталья
Громова

РАСЦВЕТ

Судьба
советского
критика:
40–50-е годы



РАСЦВЕТ



Судьба советского критика:
40–50-е годы